# АРКАДИЙ ГАЙДАР





Арк. Гайдар

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК"

# АРКАДИЙ ГАЙДАР

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

## 1

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРАВДА"
1986

Составление
и
общая редакция
Т. А. Гайдара

Иллюстрации художника
М. Пиикисевич

# *ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ*

# Р.В.С.

## 1

Раньше сюда иногда забегали ребятишки затем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо.

Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев — еще кто-то. И осталось лежать сено почерневшими, полусгнившими грудами.

А с тех пор, когда атаман Криволоб, тот самый, у которого желто-голубая лента пересекала папаху, расстрелял здесь четырех москалей и одного украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять черные сараи, молчаливые, заброшенные.

Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь и спокойно жужжали шмели над ярко-красными головками широко раскинувшихся лопухов.

А убитые?.. Так ведь их давно уже нет! Их свалили в общую яму и забросали землей. А старый нищий Авдей, тот, которого боится Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из двух палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому.

В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порылся в соломе и извлек оттуда две обоймы патро-

нов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его расположение. По счастливой случайности или еще почему-то, только сегодня ему везло. Он ухитрялся безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьим постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулеметов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимым в свой стан.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врубался в самую гущу репейников и чертополохов, которые геройски умирали, не желая, даже под столь бурным натиском, обращаться в бегство.

Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем, скомандовав «стройся» и «смирно», он обращается к захваченным с гневной речью:

— Против кого идете? Против своего брата рабочего и крестьянина? Генералы вам нужны да адмиралы...

Или:

— Коммунию захотели? Свободы захотели? Против законной власти...

Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди. Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.

«Елки-палки,— подумал он. — Вот теперь мать задаст трепку, а то и жрать, пожалуй, не оставит». И, спрятав свое оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, что бы соврать такое получше.

Но, к величайшему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внимания, несмотря на то, что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана. Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько дернул сзади Димку за штанину. Обернулся — и увидел печально посматривающего мохнатого Шмеля.

— Ты что, дурак? — ласково спросил он и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа.

— Мам! Кто это? — гневно спросил Димка.

— Ах, отстань! — досадливо ответила та, отворачиваясь.— Что я, присматривалась, что ли?

Но Димка почувствовал, что она говорит неправду.

— Это дядя сапогом двинул,— пояснил Топ.

— Какой еще дядя?

— Дядя... серый... он у нас в хате сидит.

Выругавши «серого дядю», Димка отворил дверь. На кровати он увидел валявшегося в солдатской гимнастерке здорового детину. Рядом на лавке лежала казенная серая шинель.

— Головень! — удивился Димка.— Ты откуда?

— Оттуда,— последовал короткий ответ.

— Ты зачем Шмеля ударил?

— Какого еще Шмеля?

— Собаку мою...

— Пусть не гавкает. А то я ей и вовсе башку сверну.

— Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул! — с сердцем ответил Димка и шмыгнул за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжелому сапогу.

Димка никак не мог понять, откуда взялся Головень. Совсем еще недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтоб служба у них была такая короткая.

За ужином он не вытерпел и спросил:

— Ты в отпуск приехал?

— В отпуск.

— Вон что! Надолго?

— Надолго.

— Ты врешь, Головень! — убежденно сказал Димка.— Ни у красных, ни у белых, ни у зеленых надолго сейчас не отпускают, потому что сейчас война. Ты дезертир, наверно.

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее.

— Зачем ребенка бьешь? — вступилась Димкина мать.— Нашел с кем связываться.

Головень покраснел еще больше, его круглая голова с оттопыренными ушами (за которую он и получил кличку) закачалась, и он ответил грубо:

— Помалкивайте-ка лучше... Питерские пролетарии... Дождетесь, что я вас из дома повыгоню.

После этого мать как-то съежилась, осела и выругала глотавшего слезы Димку:

— А ты не суйся, идол, куда не надо, а то еще и не так попадет.

После ужина Димка забился к себе в сени, улегся на груду соломы за ящиками, укрылся материной поддевкой и долго лежал не засыпая.

Потом к нему пробрался Шмель и, положив голову на плечо, взвизгнул тихонько.

— Что, брат, досталось сегодня? — проговорил сочувственно Димка.— Не любит нас с тобой никто... ни Димку... ни Шмельку... Да...

И он вздохнул огорченно.

Уже совсем засыпая, он почувствовал, как кто-то подошел к его постели

— Димушка, не спишь?

— Н-ет еще, мам.

Мать помолчала немного, потом проговорила уже значительно мягче, чем днем:

— И чего ты суешься, куда не надо. Знаешь ведь, какой он аспид... Все сегодня выгнать грозился.

— Уедем, мам, в Питер, к батьке.

— Эх, Димка! Да я бы хоть сейчас... Да разве проедешь теперь? Пропуски разные нужны, а потом и так — кругом вон что делается.

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает! Говорят, что красные. А может, врут. Разве теперь разберешь?

Димка согласился, что разобрать трудно. Уж на что близко волостное село, а и то не поймешь, чье оно. Говорили, что занимал его на днях Козолуп... А что за Козолуп, какой он партии?

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зеленый?

— А пропади они все вместе взятые! — с сердцем ответила та.— Все были люди как люди, а теперь поди-ка...

...В сенцах темно. Сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звездами небо и краешек светлого месяца. Димка зарывается глубже в солому, приготавливаясь видеть продолжение интересного, но не досмотренного вчера сна. Засыпая, он чувствует, как приятно греет шею прикорнувший к нему верный Шмель...

...В синем небе края облаков серебрятся от солнца. Широко по полям желтыми хлебами играет ветер. И лазурно спокоен летний день. Неспокойны только люди. Где-то за темным лесом протрещали раскатисто пулеметы. Где-то за краем перекликнулись глухо орудия. И куда-то промчался легкий кавалерийский отряд.

— Мам, с кем это?

— Отстань!

Отстал Димка, побежал к забору, взобрался на одну из жердей и долго смотрел вслед исчезающим всадникам.

— Вот где жить-то!

Между тем Головень ходил злой. Каждый раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он скрывался где-то. И Димка понял, что Головень — дезертир.

Как-то бабка послала Димку отнести Головню на сеновал кусок сала и ломоть хлеба. Подбираясь к укромному логову, он заметил, что Головень, сидя к нему спиной, мастерит что-то. «Винтовка! — удивился Димка.— Вот так штука! На что она ему?»

Головень тщательно протер затвор, заткнул ствол тряпкой и запрятал винтовку в сено.

Весь вечер и несколько следующих дней Димку разбирало любопытство посмотреть, что за винтовка: «Русская либо немецкая? А может, там и наган есть?» При этой мысли у Димки даже дух захватило, потому что к наганам и ко всем носящим наганы он проникался невольным уважением.

Как раз в это время утихло все кругом. Прогнали красные Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало в маленькой деревушке, и Головень начал покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями зазвенел порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху и когда бестолково зажужжала мошкара, решил Димка пробраться на сеновал.

Дверца была заперта на замок, но у Димки был свой ход — через курятник. Заскрипела отодвигаемая доска, громко заклохтали потревоженные куры. Испугавшись произведенного шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было душно и тихо. Пробрался в угол, где валялась красная подушка в перьях, и, приподнявшись шарить под крышей, наткнулся на что-то твердое. «Приклад!» Прислушался: на дворе — никого. Потянул и вытащил всю винтовку. Нагана не было. Винтовка оказалась русской. Димка долго вертел ее, осторожно ощупывая и осматривая. «А что, если открыть затвор?»

Сам он никогда не открывал, но часто видел, как это делают солдаты. Потянул тихонько — рукоятка вверх поддается. Отодвинул на себя до отказа. «Умею!» — горделиво подумал он, но тут же заметил под затвором вынырнувший откуда-то желтоватый патрон. Это его немного озадачило и он решил закрыть снова. Теперь пошло туже, и Димка заметил, что желтый патрон движется прямо в ствол. Он остановился в нерешительности, отодвинув от себя винтовку.

«И куда лезет, черт!»

Однако надо было торопиться. Он закрыл затвор и начал потихоньку толкать ружье на место. Запрятал почти все, как вдруг распахнулась дверь и прямо перед Димкой очутилось удивленное и рассерженное лицо Головня.

— Ты что, собака, здесь делаешь?

— Ничего! — испуганно ответил Димка.— Я спал...— И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки. В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, то почувствовал, как рассвирепевший Головень вцепился ему в рубаху.

«Убьет! — подумал Димка.— Ни мамки, никого — конец теперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого черная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить еще и еще.

Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не сметь!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги — целые заборы лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

— Не сметь! — повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: — Не плачь, мальчуган, и не бойся. Больше он не тронет ни сейчас, ни после. — Кивнул одному головой и с отрядом умчался вперед.

Отстал один и спросил строго:

— Ты кто такой?

— Здешний,— хмуро ответил Головень.

— Почему не в армии?

— Год не вышел.

— Фамилию... На обратном пути проверим.— Ударил шпорами кавалерист, и прыгнула лошадь с места галопом.

И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся еще Димка. Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая у закатистого горизонта, красный отряд.

## 2

Высохли на глазах слезы. Утихала понемногу боль. Но идти домой Димка боялся и решил обождать до ночи, когда улягутся все спать. Направился к речке. У берегов под кустами вода была темная и спокойная, посередке отсвечивала розоватым блеском и тихонько играла, перекатываясь через мелкое каменистое дно.

На том берегу, возле опушки никольского леса, заблестел тускло огонек костра. Почему-то он показался Димке очень далеким и заманчиво загадочным. «Кто бы это? — подумал он.— Пастухи разве?.. А может, и бандиты! Ужин варят, картошку с салом или еще что-нибудь такое...» Ему здорово захотелось есть, и он пожалел искренне о том, что он не бандит тоже. В сумерках огонек разгорался все ярче и ярче, приветливо мигая

издалека мальчугану. Но еще глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный никольский лес.

Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился, услышав что-то интересное. За поворотом, у берега, кто-то пел высоким переливающимся альтом, как-то странно, хотя и красиво разбивая слова:

Та-ваа-рищи, тава-рищи,—
Сказал он им в ответ,—
Да здра-вству-ит Ра-сия!
Да здра-вству-ит Совет!

«А, чтоб тебе! Вот наяривает!» — с восхищением подумал Димка и бегом пустился вниз.

На берегу он увидал небольшого худенького мальчишку, валявшегося возле затасканной сумки. Заслышав шаги, тот оборвал песню и с опаской посмотрел на Димку:

— Ты чего?

— Ничего... Так!

— А-а! — протянул тот, по-видимому удовлетворенный ответом.— Драться, значит, не будешь?

— Чего-о?

— Драться, говорю... А то смотри! Я даром что маленький, а так отошью...

Димка вовсе и не собирался драться и спросил, в свою очередь:

— Это ты пел?

— Я.

— А ты кто?

— Я — Жиган,— горделиво ответил тот.— Жиган из города... Прозвище у меня такое.

С размаху бросившись на землю, Димка заметил, как мальчишка испуганно отодвинулся.

— Барахло ты, а не жиган... Разве такие жиганы бывают?.. А вот песни поешь здорово.

— Я, брат, всякие знаю. На станциях по эшелонам завсегда пел. Все равно хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому... Ежели товарищам, скажем,— тогда «Алеша-ша» либо про буржуев. Белым, так тут надо другое: «Раньше были денежки, были и бумажки», «Погибла Расея», ну, а потом «Яблочко» — его, конечно, на обе стороны петь можно, слова только переставлять надо.

Помолчали.

— А ты зачем сюда пришел?

— Крестная у меня тут, бабка Онуфриха. Я думал хоть с месяц отожраться. Куды там! Чтоб, говорит, тебя через неделю, через две здесь не было!

— А потом куда?

— Куда-нибудь. Где лучше.

— А где?

— Где? Кабы знать, тогда что! Найти надо.

— Приходи утром на речку, Жиган. Раков по норьям ловить будем!

— Не соврешь? Обязательно приду! — весьма довольный, ответил тот.

Перескочив плетень, Димка пробрался на темный двор и заметил сидящую на крыльце мать. Он подошел к ней и, потянувши за платок, сказал серьезно:

— Ты, мам, не ругайся... Я нарочно долго не шел, потому Головень меня здорово избил.

— Мало тебе! — ответила она, оборачиваясь.— Не так бы надо...

Но Димка слышит в ее словах и обиду, и горечь, и сожаление, но только не гнев.

— Мам,— говорит он, заглядывая ей в лицо,— я есть хочу. Как собака. И неужто ты мне ничего не оставила?..

Пришел как-то на речку скучный-скучный Димка.

— Убежим, Жиган! — предложил он.— Закатимся куда-нибудь подальше отсюда, право!

— А тебя мать пустит?

— Ты дурак, Жиган! Когда убегают, то ни у кого не спрашивают. Головень злой, дерется. Из-за меня мамку и Топа гонит.

— Какого Топа?

— Братишку маленького. Топает он чудно́, когда ходит, ну вот и прозвали. Да и так надоело все. Ну что дома?

— Убежим! — оживленно заговорил Жиган.— Мне что не бежать? Я хоть сейчас. По эшелонам собирать будем.

— Как собирать?

— А так: спою я что-нибудь, а потом скажу: «Всем товарищам нижайшее почтенье, чтобы был вам не фронт, а одно развлеченье. Получать хлеба по два фунта, табаку по осьмушке, не попадаться на дороге ни пулемету, ни пушке». Тут как начнут смеяться, снять шапку в сей же момент и сказать: «Граждане! Будьте добры, оплатите детский труд».

Димка подивился легкости и уверенности, с какой Жиган выбрасывал эти фразы, но такой способ существования ему не особенно понравился, и он сказал, что гораздо лучше бы вступить добровольцами в какой-нибудь отряд, организовать собственный или уйти в партизаны. Жиган не возражал, и даже наоборот, когда Димка благосклонно отозвался о красных, «потому что они за революцию», выяснилось, что Жиган служил уже у красных.

Димка посмотрел на него с удивлением и добавил, что ничего и у зеленых, «потому что гусей они едят много». Дополнительно тут же выяснилось, что Жиган бывал также у зеленых и регулярно получал свою порцию, по полгуся в день.

Димка проникся к нему уважением и сказал, что лучше всего, пожалуй, все-таки у коричневых. Но едва и тут начало что-то выясняться, Димка обругал Жигана хвастуном и треплом, ибо всякому было хорошо известно, что коричневый — один из тех немногих цветов, под которыми не собирались отряды ни у революции, ни у контрреволюции, ни у тех, кто между ними.

План побега разрабатывали долго и тщательно. Предложение Жигана утечь сейчас же, не заходя даже домой, было решительно отвергнуто.

— Перво-наперво хлеба надо хоть для начала захватить,— заявил Димка.— А то как из дома, так и по соседям. А потом спичек...

— Котелок бы хорошо. Картошки в поле нарыл — вот тебе и обед!

Димка вспомнил, что Головень принес с собой крепкий медный котелок. Бабка начистила его золой, и, когда он заблестел, как праздничный самовар, спрятала в чулан.

— Заперто только, а ключ с собой носит.

— Ничего! — заявил Жиган. — Из-под всякого запора при случае можно, повадка только нужна.

Решили теперь же начать запасать провизию. Прятать Димка предложил в солому у сараев.

— Зачем у сараев? — возразил Жиган.— Можно еще куда-либо... А то рядом с мертвыми!

— А тебе что мертвые? — насмешливо спросил Димка.

В этот же день Димка притащил небольшой ломоть сала, а Жиган — тщательно завернутые в бумажку три спички.

— Нельзя помногу,— пояснил он.— У Онуфрихи всего две коробки, так надо, чтоб незаметно.

И с этой минуты побег был решен окончательно.

А везде беспокойно бурлила жизнь. Где-то недалеко проходил большой фронт. Еще ближе — несколько второстепенных, поменьше. А кругом красноармейцы гонялись за бандами, или банды за красноармейцами, или атаманы клочились меж собой. Крепок был атаман Козолуп. У него морщина поперек упрямого лба залегла изломом, а глаза из-под седоватых бровей посматривали тяжело. Угрюмый атаман! Хитер, как черт, атаман Левка. У него и конь смеется, оскаливая белые зубы, так же как и он сам. Жох атаман! Но с тех пор, как отбился он из-под начала Козолупа, сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла между ними.

Написал Козолуп приказ поселянам: «Не давать Левке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлега».

Засмеялся Левка, написал другой.

Прочитали красные оба приказа. Написали третий: «Объявить Левку и Козолупа вне закона» — и все. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт.

И пошло тут что-то такое, чего и не разберешь. Уж на что дед Захарий! На трех войнах был. А и то, когда садился на завалинке возле рыжей собачонки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил:

— Ну и времечко!

Приехали сегодня зеленые, человек с двадцать. Заходили двое к Головню. Гоготали и пили чашками мутный крепкий самогон.

Димка смотрел с любопытством из калитки.

Когда Головень ушел, Димка, давно хотевший узнать вкус самогонки, слил остатки из чашек в одну.

— Ди-мка, мне! — плаксиво захныкал Топ.

— Оставлю, оставлю!

Но едва он опрокинул чашку в рот, как, отчаянно отплевываясь, вылетел на двор.

Возле сараев он застал Жигана.

— А я, брат, штуку знаю.

— Какую?

— У нас за хатой зеленые яму через дорогу роют, а черт ее знает зачем. Должно, чтоб никто не ездил.

— Как же можно не ездить? — с сомнением возразил Димка.— Тут не так что-то. И зеленые торчат и яму роют... Не иначе, как что-нибудь затевается.

Пошли осматривать свои запасы. Их было еще немного: два куска сала, кусок вареного мяса и с десяток спичек.

В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли.

Далеко, в Ольховке, приткнувшейся к опушке никольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, а так просто, мягко-мягко. И когда густые, дрожащие звуки мимо соломенных крыш дошли до уха старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону и, перекрестившись неторопливо, крепко сел на свое место, возле покривившегося крылечка. А когда сел, тогда подумал: «Какой же это праздник завтра будет?» И так прикидывал и этак — ничего не выходит. Потому престольный в Ольховке уже прошел, а спасу еще рано. И спросил Захарий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старухи:

— Горпина, а Горпина, или у нас завтра воскресенье будет?

— Что ты, старый! — недовольно ответила перепачканная в муке Горпина.— Разве же после среды воскресенье бывает?

— О то ж и я так думаю...

И усомнился дед Захарий, не напрасно ли он крест на голову положил и не худой ли какой это звон.

Набежал ветерок, колыхнул чуть седую бороду. И увидел дед Захарий, как высунулись чего-то любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за

ворот, а с поля донесся какой-то протяжный, странный звук, как будто заревел бык либо корова в стаде, только еще резче и дольше.

Уо-уу-ууу...

А потом вдруг как хряснуло по воздуху, как забухали подле поскотины выстрелы... Захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки. И не мог только встать и сдвинуться напуганный старик, пока не закричала на него Горпина:

— Ты тюпайся швидче, старый дурак! Или ты не видишь, что такое начинается?

А в это время у Димки колотилось сердце такими же неровными, как выстрелы, ударами, и хотелось ему выбежать на улицу узнать, что там такое. Было ему страшно, потому что побледнела мать и сказала не своим, тихим, голосом:

— Ляг... ляг на пол, Димушка. Господи, только бы из орудиев не начали!

У Топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, приткнувши голову к ножке стола. Но лежать ему было неудобно, и он сказал плаксиво:

— Мам, я не хочу на полу, я на печку лучше.

— Лежи, лежи! Вот придет гайдамак... он тебе!

В эту минуту что-то особенно здорово грохнуло, так что зазвенели стекла окошек, и показалось Димке, что дрогнула земля. «Бомбы бросают!» — подумал он и услышал, как мимо потемневших окон с топотом и криками пронеслось несколько человек.

Все стихло. Прошло еще с полчаса. Кто-то застучал в сенцах, изругался, наткнувшись на пустое ведро. Распахнулась дверь, и в хату вошел вооруженный Головень.

Он был чем-то сильно разозлен, потому что, выпивши залпом ковш воды, оттолкнул сердито винтовку в угол и сказал с нескрываемой досадой:

— Ах, чтоб ему!..

Утром встретились ребята рано.

— Жиган! — спросил Димка.— Ты не знаешь, отчего вчера... С кем это?

У Жигана зоркие глаза блеснули самодовольно. И он ответил важно:

— О, брат! Было у нас вчера дело...

— Ты не врн только! Я ведь видел, как ты сразу тоже за огороды прнпустился.

— А почем ты зиаешь? Может, я кругом! — обнделся Жиган.

Днмка снльно усомиился в этом, ио перебнвать не стал.

— Машнна вчера езжала, а ей в Ольховке починка была. Оиа только оттуда, а Гаврнла-дьякои в колокол: бум!..— сигнал, значнт.

— Ну?

— Ну вот н ну... Подъехала к деревие, а по ней из ружей. Она было иазад, глядь — ограда уже заперта.

— И поймали кого?

— Нет... Оттуда такую стрельбу подняли, что н не подступиться... А потом вндят — дело плохо, и врассыпную... Тут их и постреляли. А один убег. Бомбу бросил ря-адышком, у Оиуфрихиной хаты все стекла полопались. По нем нз ружей кроют, за ннм гоиятся, а ои через плетень, через огороды, да и утек.

— А машина?

— Машииа н сейчас тут... только иегодная, потому что, как убегать, однн гранатой запустнл. Всю искорежнл... Я уж бегал... Федька Марьнн допрежь меня еще поспел. Гудок стащнл. Нажмешь резину, а он как завоет!

Весь день только и было разговоров, что о вчерашнем пронсшествин. Зеленые ускакалн еще ночью. И осталась сиова без власти малеиькая деревушка.

Между тем приготовлення к побегу подходнли к концу.

Оставалось теперь стащить котелок, что н решено было сделать завтра вечером прн помощи длининой палкн с насаженим гвоздем через маленькое окошко, выходящее в огород.

Жиган пошел обедать. Днмке ие снделось, и он отправился ожидать его к сараям.

Завалнлся было сразу иа солому н иачал баловаться, защищаясь от яростно атакующего его Шмеля, но вскоре прнвстал, иемиого встревоженный. Ему показалось, что сиопы разбросаны как-то не так, не по-обыкиовениому. «Неужели нз ребят кто-нибудь лазил? Вот черти!» И он подошел, чтобы проверить, не открыл ли кто место, где спрятаиа провизия. Пошарнл рукой — нет, тут! Вытащил сало, спички, хлеб. Полез за мясом — нет!

— Ах, черти! — выругался он.— Это не иначе как Жиган сожрал. Если бы кто из ребят, так тот уж все сразу бы.

Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал, а потому был в самом хорошем настроении и подходил, беспечно насвистывая.

— Ты мясо ел? — спросил Димка, уставившись на него сердито.

— Ел! — ответил тот.— Вку-усно...

— Вкусно! — напустился на него разозленный Димка.— А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А на дорогу что?.. Вот я тебя тресну по башке, тогда будет вкусно!..

Жиган опешил.

— Так это же я дома за обедом. Онуфриха раздобрилась, кусок из щей вынула, здоро-овый!

— А отсюда кто взял?

— И не знаю вовсе.

— Побожись.

— Ей-богу! Вот чтоб мне провалиться сей же секунд, ежели брал.

Но потому ли, что Жиган не провалился «сей же секунд», или потому, что отрицал обвинение с необыкновенной горячностью, только Димка решил, что в виде исключения на этот раз он не врет.

И, глазами скользнув на солому, Димка позвал Шмеля, протягивая руку к хворостине:

— Шмель, а ну поди сюда, дрянь ты этакий! Поди сюда, собачий сын!

Но Шмель не любил, когда с ним так разговаривали. И, бросив теребить жгут, опустив хвост, он сразу же направился в сторону.

— Он сожрал,— с негодованием подтвердил Жиган.— Чтобы ему лопнуть было. И кусок-то какой жирный!

Перепрятали все повыше, заложили доской и привалили кирпич.

Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни.

— В лесу ночевать возле костра... хорошо!

— Темно ночью только,— с сожалением заметил Жиган.

— А что темно? У нас ружья будут, мы и сами...

— Вот, если поубивают...— начал опять Жиган и добавил серьезно: — Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали.

— Я тоже,— сознался Димка.— А то что в яме-то... вон как эти,— и он кивнул головой туда, где покривившийся крест чуть-чуть высовывался из-за густых сумерек.

При этом напоминании Жиган съежился и почувствовал, что в вечернем воздухе вроде как бы стало прохладнее. Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно:

— Да, брат... А у нас была один раз штука...

И оборвался, потому что Шмель, улегшийся под боком Димки, поднял голову, насторожил почему-то уши и заворчал предостерегающе и сердито.

— Ты что? Что ты, Шмелик? — с тревогой спросил его Димка и погладил по голове.

Шмель замолчал и снова положил голову между лап.

— Крысу чует,— шепотом проговорил Жиган и, притворно зевнув, добавил: — Домой надо идти, Димка.

— Сейчас. А какая у вас была штука?

Но Жигану стало уже не до штуки, и, кроме того, то, что он собирался соврать, вылетело у него из головы.

— Пойдем,— согласился Димка, обрадовавшийся, что Жиган не вздумал продолжать рассказ.

Встали.

Шмель поднялся тоже, но не пошел сразу, а остановился возле соломы и заворчал тревожно снова, как будто дразнил его кто из темноты.

— Крыс чует! — повторил теперь Димка.

— Крыс? — каким-то упавшим голосом ответил Жиган.— А только почему же это он раньше их не чуял? — И добавил негромко: — Холодно что-то. Давай побежим, Димка! А большевик тот, что убег, где-либо подле деревни недалеко.

— Откуда ты знаешь?

— Так, думаю! Посылала меня сейчас Онуфриха к Горпине, чтобы взять взаймы полчашки соли. А у нее в тот день рубаха с плетня пропала. Я пришел, слышу из сенец ругается кто-то: «И бросил, говорит, какой-то рубаху под жерди. Пес его знает, или собак резал! Мы ж с Егорихой смотрим: она порвана, и кабы немного, а то

вся как есть». А дед Захарий слушал-слушал, да и говорит: «О, Горпина...»

Тут Жиган многозначительно остановился, посматривая на Димку, и, только когда тот нетерпеливо занукал, начал снова:

— А дед Захарий и говорит: «О, Горпина, ты спрячь лучше язык подальше». Тут я вошел в хату. Гляжу, а на лавке рубашка лежит, порванная и вся в крови. И как увидала меня, села на нее Горпина сей же секунд и велит: «Подай ему, старый, с полчашки», а сама не поднимается. А мне что, я и так видел. Так вот, думаю, это большевика пулей подшибло.

Помолчали, обдумывая неожиданно подслушанную новость. У одного глаза прищурились, уставившись неподвижно и серьезно. У другого забегали и заблестели юрко.

И сказал Димка:

— Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали красных у нас возле деревни, и всё поодиночке.

Назавтра утром был назначен побег. Весь день провел Димка сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост Шмелю и чуть не вышиб кринку кислого молока из рук входящей бабки, за что и получил здоровую оплеуху от Головня.

А время шло. Час за часом прошел полдень, обед, наступил вечер.

Спрятались в огороде, за бузиной у плетня, и стали выжидать.

Засели они рановато, и долго еще через двор проходили то один, то другой. Наконец пришел Головень, позвала Топа мать. И прокричала с крыльца:

— Димка! Диму-ушка! Где ты, паршивец, делся?

«Ужинать!» — решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла.

Подождали. Крадучись вышли. Возле стенки чулана остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упершись руками в колени. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко.

— Скорей, ты! у меня спина не каменная.

— Темно очень,— шепотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и спрыгнул.— Есть!

— Жиган,— спросил Димка,— а колбасу где ты взял?

— Там висела ря-адышком. Бежим скорей!

Проворно юркнули в сторону, но за плетнем вспомнили, что забыли палку с крюком у стенки. Димка — назад. Схватил и вдруг увидел, что в дыру плетня просунул голову и любопытно смотрит на него Топ.

Димка, с палкой и с колбасой, так растерялся, что опомнился только тогда, когда Топ спросил его:

— Ты зачем койбасу стащил?

— Это не стащил, Топ. Это надо,— поспешно ответил Димка.— Воробушков кормить. Ты любишь, Топ, воробушков? Чирик-чирик!.. Ты не говори только. Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам хоро-оший!

— Воробушков? — серьезно спросил Топ.

— Да-да! Вот ей-богу!.. У них нет... Бе-едные!

— И гвоздь дашь?

— И гвоздь дам... Ты не скажешь, Топ? А то не дам гвоздя и с Шмелькой играть не дам.

И, получив обещание молчать (но про себя усомнившись в этом сильно), Димка помчался к нетерпеливо ожидавшему Жигану.

Сумерки наступали торопливо, и, когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, было уже темно.

— Прячь скорей!

— Давай! — И Жиган полез в щель, под крышу.— Димка, тут темно,— тревожно ответил он.— Я не найду ничего...

— А, дурной, врешь ты, что не найдешь! Испугался уж!

Полез сам. В потемках нащупал руку Жигана и почувствовал, что она дрожит.

— Ты чего? — спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться и ему.

— Там...— И Жиган крепче ухватился за Димку.

И Димка ясно услыхал доносящийся из темной глубины сарая тяжелый, сдавленный стон.

В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь.

## 3

В эту ночь долго не мог заснуть Димка. Оправившись от испуга и чувствуя себя в безопасности за крепкой задвижкой двери, он сосредоточенно раздумывал над странными событиями последних дней. Понемногу в голове у него начали складываться кое-какие предположения... «Кто съел мясо?.. Почему ворчал Шмель?.. Чей это был стон?.. А что, если?..»

Он долго ворочался и никак не мог отделаться от одной навязчиво повторявшейся мысли.

Утром он был уже у сараев. Отвалил солому и забрался в дыру. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, прорезали полутьму пустого сарая. Передние подпорки там, где должны были быть ворота, обвалились, и крыша осела, наглухо завалив вход. «Где-то тут»,— подумал Димка и пополз. Завернул за груду рассыпавшихся необожженных кирпичей и остановился, испугавшись. В углу, на соломе, вниз лицом лежал человек. Заслышав шорох, он чуть поднял голову и протянул руку к валявшемуся нагану. Но потому ли, что изменили ему силы, или еще почему-либо, только, всмотревшись воспаленными, мутными глазами, разжал он пальцы от рукоятки револьвера и, приподнявшись, проговорил хрипло, с трудом ворочая языком:

— Пить!

Димка сделал шаг вперед. Блеснула звездочка с белым венком, и Димка едва не крикнул от удивления, узнав в раненом когда-то вырвавшего его у Головня незнакомца.

Пропали все страхи, все сомнения, осталось только чувство жалости к человеку, когда-то так горячо заступившемуся за него.

Схватив котелок, Димка помчался за водой на речку. Возвращаясь бегом, он едва не столкнулся с Марьиным Федькой, помогавшим матери тащить мокрое белье. Димка поспешно шмыгнул в кусты и видел оттуда, как Федька замедлил шаг, любопытствуя, поворачивал голову в его сторону. И если бы мать, заметившая, как сразу потяжелела корзина, не крикнула сердито: «Да неси ж, дьяволенок, чего ты завихлялся?», то Федька, конечно, не утерпел бы проверить, кто это спрятался столь поспешно в кустах.

Вернувшись, Димка увидел, что незнакомец лежит, закрыв глаза, и шевелит слегка губами, точно разговаривая с кем во сне. Димка тронул его за плечо, и, когда тот, открыв глаза, увидел перед собой стоящего мальчугана, что-то вроде слабой улыбки обозначилось на его пересохших губах. Напившись, уже ясней и внятней незнакомец спросил:

— Красные далеко?

— Далеко. И не слыхать вовсе.

— А в городе?

— Петлюровцы, кажись...

Поник головой раненый и спросил у Димки:

— Мальчик, ты никому не скажешь?

И было в этой фразе столько тревоги, что вспыхнул Димка и принялся уверять, что не скажет.

— Жигану разве!

— Это с которым вы бежать собирались?

— Да,— смутившись, ответил Димка.— Вот и он, кажется.

Засвистел соловей раскатистыми трелями. Это Жиган разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ.

Высунувшись из дыры, но не желая кричать, Димка запустил в него легонько камешком.

— Ты чего? — спросил Жиган.

— Тише! Лезь сюда... Надо.

— Так ты позвал бы, а то на-ко... камнем! Ты б еще кирпичом запустил.

Спустились оба в дыру. Увидев перед собой незнакомца и темный револьвер на соломе, Жиган остановился, оробев.

Незнакомец открыл глаза и спросил просто:

— Ну что, мальчуганы?

— Это вот Жиган! — И Димка тихонько подтолкнул его вперед.

Незнакомец ничего не ответил и только чуть наклонил голову.

Из своих запасов Димка притащил ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу.

Раненый был голоден, но сначала ел мало и больше всего тянул воду.

Жиган и Димка сидели почти все время молча.

Пуля зеленых прохватила человеку ногу; кроме того, три дня у него не было ни глотка воды во рту, и измучился он сильно.

Закусив, он почувствовал себя лучше, глаза его заблестели.

— Мальчуганы! — сказал он уже совсем ясно. И по голосу только теперь Димка еще раз узнал в нем незнакомца, крикнувшего Головню: «Не сметь!» — Вы славные ребятишки... Я часто слушал, как вы разговаривали... Но если вы проболтаетесь, то меня убьют...

— Не должны бы! — неуверенно вставил Жиган.

— Как, дурак, не должны бы? — разозлился Димка.— Ты говори: нет, да и все... Да вы его не слушайте,— чуть ли не со слезами обратился он к незнакомцу.— Ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне, все обещаю... Вздую...

Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то несуразное, и ответил извиняющимся тоном:

— Да я, Дим, и сам... что не должны значит... ни в коем случае.

И Димка увидел, как незнакомец улыбнулся еще раз.

...За обедом Топ сидел-сидел да и выпалил:

— Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты колбасу воробушкам таскал.

Димка едва не подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой. К счастью, Головни не было, мать доставала похлебку из печки, а бабка была туговата на ухо. И Димка проговорил шепотом, подталкивая Топа ногой:

— Дай пообедаю, у меня уже припасен.

«Чтоб тебе неладно было,— думал он, вставая из-за стола.— Потянуло же за язык».

После некоторых поисков выдернул он в сарае из стены здоровенный железный гвоздь и отнес Топу.

— Большой больно, Димка! — ответил Топ, удивленно поглядывая на толстый и неуклюжий гвоздь.

— Что большой? Вот оно и хорошо, Топ. А чего маленький: заколотишь сразу — и все. А тут долго сидеть можно: тук, тук!.. Хороший гвоздь!

Вечером Жиган нашел у Онуфрихи кусок чистого холста для повязки. А Димка, захватив из своих запасов кусок сала побольше, решился раздобыть йоду.

...Отец Перламутрий, в одном подрясинке и без сапог, лежал на кушетке и с огорчением думал о пришедших в упадок делах из-за церкви, сгоревшей от снаряда еще в прошлом году. Но, полежав немного, он вспомнил о скором приближении храмового праздника и неотделимых от него благодаяниях. И образы поросятины, кружков масла и стройных сметанных криниок дали, по-видимому, другое направление его мыслям, потому что отец Перламутрий откашлялся солидно и подумал о чем-то, улыбаясь.

Вошел Димка и, спрятав кусок сала за спину, проговорил негромко:

— Здравствуйте, батюшка.

Отец Перламутрий вздохнул, перевел взгляд на Димку и спросил, не подымаясь:

— Ты что, чадо, ко мне или к попадье?

— К ней, батюшка.

— Гм... А поелику она в отлучке, я пока за нее.

— Мамка прислала. Повредилась немного, так поди, говорит, не даст ли попадья малость йоду. И пузырек вот прислала махонький.

— Пузырек... Гм...— с сомнением кашлянул отец Перламутрий.— Пузырек что?.. А что ты, хлопец, руки назади держишь?

— Сала тут кусок. Говорила мать, если нальет, отдай в благодарность...

— Если нальет?

— Ей-богу, так и сказала.

— Охо-хо,— проговорил отец Перламутрий, подымаясь.— Нет, чтобы просто прислать, а вот: «если нальет»...— И он покачал головой.— Ну, давай, что ли, сало... Старое!

— Так нового еще ж не кололи, батюшка.

— Знаю и сам, да можно бы пожирнее... хоть и старое. Пузырек где?.. Что это мать тебе целую четверть не дала? Разве ж возможно полный?

— Да в нем, батюшка, два наперстка всего. Куда же меньше?

Батюшка постоял немного, раздумывая.

— Ты скажи-ка, пусть лучше мать сама придет. Я прямо сам ей и смажу. А наливать... к чему же?

Но Димка отчаянио замотал головой.

— Гм... Что ты головой мотаешь?

— Да вы, батюшка, наливайте,— поспешно заговорил Димка,— а то мамка наказывала: «Как если не будут давать, бери, Димка, сало и тащи назад».

— А ты скажи ей: «Дарствующий да не печется о даре своем, ибо будет пред лицом всевышнего дар сей всуе». Запомнишь?

— Запомню!.. А вы все-таки наливайте, батюшка.

Отец Перламутрий надел на босу ногу туфли — причем Димка подивился их необычайиым размерам — и, прихватив сало, ушел с пузырьком в другую комнату.

— На́ вот,— проговорил он, выходя.— Только от доброты своей...— И спросил, подумав: — А у вас куры несутся, хлопец?

— От доброты! — разозлился Димка.— Меньше половины...— И на повторный вопрос, выходя из двери, ответил серьезно: — У нас, батюшка, кур нету, одни петухи только.

Между тем о красных не было слуху, и мальчуганам приходилось быть начеку.

И все же часто они пробирались к сараям и подолгу проводили время возле незнакомца.

Он охотно болтал с ними, рассказывал и шутил даже. Только иногда, особенно когда заходила речь о фронтах, глубокая складка залегала возле бровей, он замолкал и долго думал о чем-то.

— Ну что, мальчуганы, не слыхать, как там?..

«Там» — это на фронте. Но слухи в деревне ходили смутные, разноречивые.

И хмурился и нервничал тогда незнакомец. И видно было, что больше, чем ежеминутная опасность, больше, чем страх за свою участь, тяготили его незнание, бездействие и неопределенность.

Привязались к нему оба мальчугана. Особенно Димка. Как-то раз, оставив дома плачущую мать, пришел он к сараям печальный, мрачный.

— Головень бьет...— пояснил он.— Из-за меня мамку гонит, Топа тоже... Уехать бы к батьке в Питер... Но никак.

— Почему никак?

— Не проедешь: пропуски разные. Да билеты, где их выхлопочешь? А без них нельзя.

Подумал незнакомец и сказал:

— Если бы были красные, я бы тебе достал пропуск, Димка.

— Ты?! — удивился тот. И после некоторого колебания спросил то, что давно его занимало: — А ты кто?.. Я знаю: ты пулеметный начальник, потому тот раз возле тебя солдат был с «льюисом».

Засмеялся незнакомец и кивнул головой так, что можно было понять — и да и нет.

И с тех пор Димка еще больше захотел, чтобы скорее пришли красные. А неприятностей у него набиралось все больше и больше. Безжалостный Топ уже пятый раз требовал по гвоздю и, несмотря на то, что получал их, все-таки проболтался матери. Затем в кармане штанов мать разыскала остатки махорки, которую Димка таскал для раненого. Но самое худшее надвинулось только сегодня. По случаю праздника за доброхотными даяниями завернул в хату отец Перламутрий. Между разговорами он вставил, обращаясь к матери:

— А сало все-таки старое. Так ты бы с десяточек яиц за лекарство дополнительно...

— За какое еще лекарство?

Димка заерзал беспокойно на стуле и съежился под устремленными на него взглядами.

— Я, мама... собачке, Шмелику...— неуверенно ответил он.— У него ссадина была здоровая...

Все замолчали, потому что Головень, двинувшись на скамейке, сказал:

— Сегодня я твоего пса пристрелю.— И потом добавил, поглядывая как-то странно: — А к тому же ты врешь, кажется.— И не сказал больше ничего, не избил даже.

— Возможно ли для всякой твари сей драгоценный медикамент? — с негодованием вставил отец Перламутрий.— А поелику солгал, повинен дважды: на земли и на небеси.— При этом он поднял многозначительно

большой палец, перевел взгляд с земляного пола на потолок и, убедившись в том, что слова его произвели должное впечатление, добавил, обращаясь к матери: — Так я, значит, на десяточек располагаю.

Вечером, выходя из дома, Димка обернулся и заметил, что у плетня стоит Головень и провожает его внимательно взглядом.

Он нарочно свернул к речке.

— Димка, а говорят про нашего-то на деревне,— огорошил его при встрече Жиган.— Тут, мол, он недалеко где-либо. Потому рубашка... а к тому же Семка старостин возле Горпининого забора книжку нашел, тоже кровяная. Я сам один листочек видел. Белый, а в углу буквы «Р. В. С.» и дальше палочки, вроде как на часах.

Димке даже в голову шибануло.

— Жиган,— шепотом сказал он, хотя кругом никого не было,— надо, тово... ты не ходи туда прямо... лучше вокруг бегай. Как бы не заметили.

Предупредили незнакомца.

— Что же,— сказал он,— будьте только осторожней, ребята. А если не поможет, ничего тогда не поделаешь... Не хотелось бы, правда, так нелепо пропадать...

— А если лепо?

— Нет такого слова, Димка. А если не задаром, тогда можно.

— И песня такая есть,— вставил Жиган.— Как бы не теперь, я спел бы,— хорошая песня. Повели коммуниста, а он им объясняет у стенки... Мы знаем, говорит, по какой причине боремся. Знаем, за что и умираем... Только ежели словами рассказывать, не выходит. А вот, когда солдаты на фронт уезжали, ну и пели... Уж на что железнодорожные, и те рты раскрыли, так тебя и забирает.

Домой возвращались поодиночке. Димка ушел раньше; он добросовестно направился к реке, а оттуда домой.

Между тем Жиган со свойственной ему беспечностью захватил у незнакомца флягу, чтобы набрать воды, забыл об уговорах и пошел ближайшим путем — через огороды. Замечтавшись, он засвистел и оборвал сразу, когда услышал, как что-то хрустнуло возле кустов.

— Стой, дьявол! — крикнул кто-то.— Стой, собака!

Он испуганно шарахнулся, бросился в сторону,

взметнулся на какой-то плетень и почувствовал, как кто-то крепко ухватил его за штанину. С отчаянным усилием он лягнул ногой, по-видимому, попав кому-то в лицо. И, перевалившись через плетень на грядки с капустой, выпустив флягу из рук, он кинулся в темноту.

...Димка вернулся, ничего не подозревая, и сразу же завалился спать. Не прошло и двадцати минут, как в хату с ругательствами ввалился Головень и сразу же закричал на мать:

— Пусть лучше твой дьяволенок и не ворочается вовсе... Ногой меня по лицу съездил... Убью, сукина сына.

— Когда съездил? — со страхом спросила мать.

— Когда? Сейчас только.

— Да он спит давно.

— А, черт! Прибег, значит, только что. Каблуком по лицу стукнул, а она — спит! — И он распахнул дверь, направляясь к Димке.

— Что ты! Что ты! — испуганно заговорила мать.— Каким каблуком? Да у него с весны и обувки нет никакой. Он же босый! Кто ему покупал?.. Ты спятил, что ли?

Но, по-видимому, Головень тоже сообразил, что нету у Димки ботинок. Он остановился, выругался и вошел в избу.

— Гм...— промычал он, усаживаясь на лавку и бросая на стол флягу.— Ошибка вышла... Но кто же и где его скрывает? И рубашка, и листки, и фляга...— Потом помолчал и добавил: — А собаку-то вашу я убил все-таки.

— Как убил? — переспросила еще не оправившаяся мать.

— Так. Бабахнул в башку, да и все тут.

И Димка, уткнувшись лицом в полушубок, зарывшись глубоко в поддевку, дергался всем телом и плакал беззвучно, но горько-горько. Когда утихло все, ушел на сеновал Головень, подошла к Димке мать и, заметив, что он всхлипывает, сказала, успокаивая:

— Ну, будет, Димушка. Стоит об собаке...

Но при этом напоминании перед глазами Димки еще яснее и ярче встал образ ласкового, помахивающего хвостом Шмеля, и еще с большей силой он затрясся и еще крепче втиснул голову в намокшую от слез овчину.

— Эх, ты! — проговорил Димка и не сказал больше ничего.

Но почувствовал Жиган в словах его такую горечь, такую обиду, что смутился окончательно.

— Разве ж я знал, Димка?

— «Знал»! А что я говорил?.. Долго ли было кругом обежать? А теперь что? Вот Головень седло налаживает, ехать куда-то хочет. А куда? Не иначе как к Левке или еще к кому — даешь, мол, обыск!

Незнакомец тоже посмотрел на Жигана. Был в его взгляде только легкий укор, и сказал он мягко:

— Хорошие вы, ребята...— И даже не рассердился, как будто не о нем и речь шла.

Жиган стоял молча, глаза его не бегали, как всегда, по сторонам, ему не в чем было оправдываться, да и не хотелось. И он ответил хмуро и не на вопрос:

— А красные в городе. Нищий Авдей пришел. Много, говорит, и все больше на конях.— Потом он поднял глаза и сказал все тем же виноватым и негромким голосом: — Я попробовал бы... Может, проберусь как-нибудь... успею еще.

Удивился Димка. Удивился незнакомец, заметив серьезно остановившиеся на нем большие темные глаза мальчугана. И больше всего удивился откуда-то внезапно набравшейся решимости сам Жиган.

Так и решили. Торопливо вырвал незнакомец листок из книжки. И пока он писал, увидел Димка в левом углу те же три загадочные буквы «Р.В.С.» и потом палочки, как на часах.

— Вот,— проговорил тот, подавая,— возьми, Жиган... ставлю аллюр два креста. С этим значком каждый солдат — хоть ночью, хоть когда — сразу же отдаст начальнику. Да не попадись смотри.

— Ты не подкачай,— добавил Димка.— А то не берись вовсе... Дай я.

Но у Жигана уже снова заблестели глаза, и он ответил с ноткой вернувшегося бахвальства:

— Знаю сам... Что мне, впервой, что ли?

И, выскочив из щели, он огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, пустился краем наперерез дороге.

Солнце стояло еще высоко над никольским лесом, когда выбежал на дорогу Жиган и когда мимо Жигана по той же дороге рысью промчался куда-то Головень.

Недалеко от опушки Жиган догнал подводы, нагруженные мукою и салом. На телегах сидело пять человек с винтовками. Подводы двигались потихоньку, а Жигану надо было торопиться, поэтому он свернул в кусты и пошел дальше не по дороге, а краем леса.

Попадались полянки, заросшие высокими желтыми цветами. В тени начинала жужжать мошкара. Проглядывали ягоды дикой малины. На ходу он оборвал одну, другую, но не остановился ни на минуту.

«Верст пять отмахал! — подумал он.— Хорошо бы дальше так же без задержки».

Замедляли ходьбу сучья, и он вышел на дорогу.

Завернул за поворот и зажмурился. Прямо навстречу брызгали густые красноватые лучи заходящего солнца. С верхушки высокого клена по-вечернему звонко пересвистнула какая-то пташка, и что-то затрепыхалось в листве кустов.

— Эй! — услышал он негромкий окрик.

Обернулся и не увидел никого.

— Эй, хлопец, поди сюда!

И он разглядел за небольшим стогом сена у края дороги двух человек с винтовками, кого-то поджидавших. В стороне у деревьев стояли их кони.

Подошел.

— Откуда ты идешь?.. Куда?

— Откуда...— И он, махнув рукой, запнулся, придумывая дальше.— С хутора я. Корова убегла... Может, повстречали где? Рыжая и рог у ей один спилен. Ейбогу, как провалилась, а без ее хоть не ворочайся.

— Не видели... Телка тут бродила какая-то, так ту наши еще в утро сожрали... А тебе не попались подводы какие?

— Едут какие-то... должно, рядом уже.

Последнее сообщение крайне заинтересовало спрашивающих, потому что они поспешно направились к коням.

— Забирайся! — крикнул один, подводя лошадей.— Сядешь ко мне за спину.

— Мне домой надо, у меня корова...— жалобно завопил Жиган.— Куда я поеду?..

— Забирайся куда говорят. Тут недалеко отпустим. А то ты еще сболтнешь и подводчикам.

Тщетно уверял Жиган, что у него корова, что ему домой и что он ни слова не скажет подводчикам,— ничего не помогало. И совершенно неожиданно для себя он очутился за спиной у одного из зеленых. Поехали рысью; в другое время это доставило бы ему только большое удовольствие. Но сейчас совсем нет, особенно когда он понял из нескольких брошенных слов, что подъедут они к отряду Левки, дожидающемуся чего-то в лесу. «А ну как Головень там,— мелькнула вдруг мысль,— да узнает сейчас, что тогда?» И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего ужаса, он слетел кубарем с лошади и бросился с дороги.

— Куда, дьяволенок? — круто остановил лошадь и вскинул винтовку один.

Может быть, и не успел бы добежать до деревьев Жиган, если бы другой не схватил за руку товарища и не крикнул сердито:

— Стой, дурень... Не стреляй: все дело испортишь.

Не вбежал, а врезался в гущу леса Жиган. Напролом через гущу, наперескок через кусты, глубже и глубже. И только когда очутился посреди сплошной заросли осинника и сообразил, что никак не смогут проникнуть сюда конные, остановился перевести дух.

«Левка! — подумал он.— Не иначе как к нему Головень.— И сразу же сжалось сердце.— Хоть бы не поспели до темноты: ночью все равно не найдут, а утром, может, красные...»

С оставленной им стороны грохнул выстрел, другой... и пошло.

«С обозниками,— догадался он.— Скорей надо, а тут ка-ко: без пути».

Но лес поредел вскоре, и под ногами у него снова очутилась дорога. Жиган вздохнул и бегом пустился дальше. Не прошло и двадцати минут, как рысью, прямо навстречу ему, вылетел торопившийся куда-то отряд. Не успел он опомниться, как оказался окруженным всадниками. Повел испуганными глазами. И чуть не упал со страха, увидав среди них Головня. Но то ли потому, что тот всего раз или два встречал Жигана, потому ли, что

не ожидал наткнуться здесь на мальчугана, или, наконец, может быть, потому, что принялся подтягивать подпругу у плохонького, наспех наложенного седла, только Головень не обратил на него никакого внимания.

— Хлопец,— спросил его один, грузный и с большими седоватыми усами,— тебя куда дьявол несет?

— С хутора...— начал Жиган.— Корова у меня... черная, и пятна на ей...

— Врешь! Тут и хутора никакого нет.

Испугался Жиган еще больше и ответил, запинаясь:

— Да не тут... А как стрелять начали, испугался я и убежал...

— Слышали? — перебил первый.— Я же говорил, что где-то стреляют.

— Ей-богу, стреляли,— заговорил быстро, начиная о чем-то догадываться, Жиган,— на никольской дороге. Там Козолупу мужики продукт везли. А Левкины ребята на них напали.

— Как напали?! — гневно заорал тот.— Как они смели, сукины дети!

— Ей-богу, напали... Сам слышал: чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу... Жирно с него... и так обжирается, старый черт...

— Слышали?! — заревел зеленый.— Это я обжираюсь?

— Обжирается,— подтвердил Жиган, у которого язык заработал, как мельница.— Если, говорят, сунется он, мы напомним ему... Мне что? Это все ихние разговоры.

Прикрываясь несуществовавшими разговорами, Жиган смог бы выпалить еще не один десяток обидных для достоинства Козолупа слов. Но тот и так был взбешен до крайности и потому рявкнул грозно:

— По ко́ням!

— А с ним что? — спросил кто-то, указывая на Жигана.

— А всыпь ему раз плетью, чтобы не мог впредь такие слова слушать.

Ускакал отряд в одну сторону, а Жиган, получив ни за что ни про что по спине, помчался в другую, радуясь, что еще так легко отделался.

«Сейчас схватятся,— подумал он на бегу.— А пока разберутся, глядишь — и ночь уже».

Миновали сумерки. Высыпали звезды, спустилась ночь. А Жиган то бежал, то шел, тяжело дыша, то изредка останавливался — перевести дух. Один раз, заслышав мерное бульканье, отыскал в темноте ручей и хлебнул, разгоряченный, несколько глотков холодной воды. Один раз шарахнулся испуганно, наткнувшись на сиротливо покривившийся придорожный крест. И понемногу отчаяние начало овладевать им. Бежишь, бежишь, и все конца нету. Может, и сбился давно. Хоть бы спросить у кого.

Но не у кого было спрашивать. Не попадались на пути ни крестьяне на ленивых волах, ни косари, приютившиеся возле костра, ни ребята с конями, ни запоздалые прохожие из города. Пуста и молчалива была темная дорога. И только соловей вовсю насвистывал, только он один не боялся и смеялся звонко над ночными страхами притихшей земли.

И вот, в то время, когда Жиган совсем потерял всякую надежду выйти хоть куда-либо, дорога разошлась на две. «Еще новое? Теперь-то по какой?» И он остановился. «Го-го!» — донеслось до его слуха негромкое гоготанье. «Гуси!» — чуть не вскрикнул он. И только сейчас разглядел почти что перед собою, за кустами, небольшой хутор.

Завыла отчаянно собака, точно к дому подходил не мальчуган, а медведь. Захрюкали потревоженные свиньи, и Жиган застучал в дверь:

— Эй! Эй! Отворите!

Сначала молчанье. Потом в хате послышался кашель, возня, и бабий голос проговорил негромко:

— Господи, кого ж еще-то несет?

— Отворите! — повторял Жиган.

Но не такое было время, чтобы в полночь отворять всякому. И чей-то хриплый бас вопросил спросонок:

— Кто там?

— Откройте! Это я, Жиган.

— Какой еще, к черту, жиган? Вот я тебе из берданки пальну через дверь!

Жиган откатился сразу в сторону и, сообразив свою оплошность, завопил:

— Не жиган! Не жиган... Это прозвище такое... Васькой зовут... Я ж еще малый. А мне дорогу б спросить, какая в город.

— Что с краю, та в город, а другая в Поддубовку.

— Так оии ж обе с краю!.. Разве через дверь поймешь!

Очевидио раздумывая, помолчали иемиого за дверью.

— Так иди к окошку, оттуда покажу. А пустить... ие-ет! Мало что маленький. Может, за тобою здоровый битюг сидит.

Окошко открылось, и дорогу Жигану показали.

— Тут иедалече, с версту всего... Сразу за опушкой.

— Только-то! — И, окрылеиный иадеждой, Жигаи сиова пустился бегом.

На кривых уличках его сразу же остаиовил патруль и показал штаб. Соииый красноармеец ответил иехотя:

— Какую еще записку! Приходи утром.— Но, заметив крестики спешиого аллюра, бумажку взял и позвал:— Эй, там!.. Где дежурный?

Дежуриый посмотрел на Жигаиа, развернул записку и, заметив в левом углу все те же три загадочные буквы «Р.В.С.», сразу же подвииул огоиь. И только прочитал — к телефону: «Комаидира!.. Комиссара!» — а сам торопливо заходил по комиате.

Вошли двое.

— Не может быть! — удивлеино крикиул один.

— Ои!.. Коиечио, он! — радостно перебил другой.— Его подпись, его блаик. Кто привез?

И только сейчас взоры всех обратились иа притихшего в углу Жигаиа.

— Какой он?

— Черный... в сапогах... и звезда у его прилеплеиа, а из иее красиый флажок.

— Ну да, да, ордеи!

— Только скорей бы,— добавил Жиган,— светать скоро будет... А тогда баидиты... убьют, коли найдут.

И что тут подиялось только! Забегали, зарвались все, зазвоиили телефоиы, затопали кони. И среди всей этой суматохи разобрал утомлеиный Жигаи иесколько раз повторявшиеся слова: «Коиечио, армия!.. Ои!.. Реввоеисовет!»

Затрубила быстро-быстро труба, и от лошадиного топота задрожали стекла.

— Где? — Порывисто распахнув дверь, вошел вооруженный маузером и шашкой командир.— Это ты, мальчуган?.. Васильченко, с собой его, на коня...

Не успел Жиган опомниться, как кто-то сильными руками поднял его от земли, усаживая на лошадь. И снова заиграла труба.

— Скорей! — повелительно крикнул кто-то с крыльца.— Вы должны успеть!

— Даешь! — ответили эхом десятки голосов с коней.

Потом:

— А-арш!

И сразу, сорвавшись с места, врезался в темноту конный отряд.

А незнакомец и Димка с тревогой ожидали и чутко прислушивались к тому, что делается вокруг.

— Уходи лучше домой,— несколько раз предлагал незнакомец Димке.

Но на того словно упрямство какое нашло.

— Нет,— мотал он головой,— не пойду.

Выбрался из щели, разворошил солому, забросал ею входное отверстие и протискался обратно.

Сидели молча: было не до разговоров. Один раз только проговорил Димка, и то нерешительно:

— Я мамке сказал: может, говорю, к батьке скоро поедем; так она чуть не поперхнулась, а потом давай ругать: «Что ты языком только напрасно треплешь!»

— Поедешь, поедешь, Димка. Только бы...

Но Димка сам чувствует, какое большое и страшное это «только бы», и потому он притих у соломы, о чем-то раздумывая.

Наступал вечер. В пустом сарае резче и резче поглядывала темная пустота осевших углов. И расплывались в ней незаметно остатки пробивающегося сквозь щели света.

— Слушай!

Димка задрожал даже.

— Слышу!

И незнакомец крепко сжал его за плечо.

— Но кто это?

За деревней, в поле, захлопали выстрелы, частые, беспорядочные. И ветер донес их сюда беззвучными хлопками игрушечных пушек.

— Может, красные?

— Нет, нет, Димка! Красным рано еще.

Все смолкло. Прошел еще час. И топот и крики, наполнившие деревеньку, донесли до сараев тревожную весть о том, что кто-то уже здесь, рядом.

Голоса то приближались, то удалялись, но вот послышались близко-близко.

— И по погребам? И по клуням? — спросил чей-то резкий голос.

— Везде,— ответил другой.— Только сдается мне, что скорей здесь где-нибудь.

«Головень!» — узнал Димка, а незнакомец потянул руку, и чуть заблестел в темноте холодновато-спокойный наган.

— Темно, пес их возьми! Проканителились из-за Левки сколько!

— Темно! — повторил кто-то.— Тут и шею себе сломишь. Я полез было в один сарай, а на меня доски сверху... чуть не в башку.

— А место такое подходящее. Не оставить ли вокруг с пяток ребят до рассвета?

— Оставить.

Чуть-чуть отлегло. Пробудилась надежда. Сквозь одну из щелей видно было, как вспыхнул недалеко костер. Почти что к самой заваленной двери подошла лошадь и нехотя пожевала клок соломы.

Рассвет не приходил долго... Задрожала наконец зарница, помутнели звезды.

Скоро и обыск. Не успел или не пробрался вовсе Жиган.

— Димка,— шепотом проговорил незнакомец,— скоро будут искать. В той стороне, где обвалились ворота, есть небольшое отверстие возле земли. Ты маленький и пролезешь... Ползи туда.

— А ты?

— А я тут... Под кирпичами, ты знаешь где, я спрятал сумку, печать и записку про тебя... Отдай красным, когда бы ни пришли. Ну, уползай скорей.— И незнакомец крепко, как большому, пожал ему руку и оттолкнул тихонько от себя.

А у Димки слезы подступили к горлу. И было ему страшно, и было ему жалко оставлять одного незнакомца. И, закусив губу, глотая слезы, он пополз, спотыкаясь о разбросанные остатки кирпичей.

Тара-та-тах! — прорезало вдруг воздух.— Тара-та-тах! Ба-бах!.. Тиу-у, тиу-у...— взвизгнуло над сараями.

И крики, и топот, и зазвеневшее эхо от разряженных обойм «льюисов» — все это так внезапно врезалось, разбило предрассветную тишину и вместе с ней и долгое ожидание, что не запомнил и сам Димка, как очутился он опять возле незнакомца. И, не будучи более в силах сдерживаться, заплакал громко-громко.

— Чего ты, глупый? — радостно спросил тот.

— Да ведь это же они...— отвечал Димка, улыбаясь, но не переставая плакать.

И еще не смолкли выстрелы за деревней, еще кричали где-то, как затопали лошади возле сараев. И знакомый задорный голос завопил:

— Сюда! Зде-есь! Куда вы, черти?

Отлетели снопы в сторону. Ворвался свет в щель. И кто-то спросил тревожно и торопливо:

— Вы здесь, товарищ Сергеев?

И народу кругом сколько появилось вокруг откуда-то — и командиры, и комиссар, и красноармейцы, и фельдшер с сумкой. И все гоготали и кричали что-то совсем несуразное.

— Димка! — захлебываясь от гордости, торопился рассказать Жиган.— Я успел... назад на коне летел... И сейчас с зелеными тоже схватился... в самую гущу... Как рубанул одного по башке, так тот и свалился!..

— Ты врешь, Жиган. Обязательно врешь... У тебя и сабли-то нету,— ответил Димка и смеялся сквозь не высохшие еще слезы.

Весь день было весело. Димка вертелся повсюду. И все ребятишки дивились на него здорово и целыми ватагами ходили смотреть, где прятался беглец, так что к вечеру, как после стада коров, измята и утоптана была солома возле логова.

Должно быть, большим начальником был недавний пленник, потому что слушались его и командиры и красноармейцы.

Написал он Димке всякие бумаги, и на каждую бумагу печать поставили, чтобы не было никакой задержки ни ему, ни матери, ни Топу до самого города Петрограда.

А Жиган среди бойцов чертом ходил и песни такие заворачивал, что только — ну! И хохотали над ним красноармейцы и тоже дивились на его глотку.

— Жиган! А ты теперь куда?

Остановился на минуту Жиган, как будто легкая тень пробежала по его маленькому лицу; потом головой тряхнул отчаянно:

— Я, брат, фьи-ить! Даешь по станциям, по эшелонам. Я сейчас новую песню у них перенял:

Ночь прошла в полевом лазарети;
День весенний и яркий настал.
И при солнечном, теплом рассве-ти
Маладой командир умирал...

Хоро-ошая песня! Я спел — гляжу: у старой Горпины слезы катятся. «Чего ты, говорю, бабка?» — «Та умирал же!» — «Э, бабка, дак ведь это в песне».— «А когда б только в песне,— говорит.— А сколько ж и взаправду». Вот в эшелонах только,— добавил он, запнувшись немного,— некоторые из товарищей не доверяют. «Катись, говорят, колбасой. Может, ты шантрапа или шарлыган. Украдешь чего-либо». Вот кабы и мне бумагу!

— А давайте напишем ему в самом деле,— предложил кто-то.

— Напишем, напишем.

И написали ему, что «есть он, Жиган,— не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность», а потому «оказывать ему, Жигану, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам».

И много ребят подписалось под той бумагой — целые пол-листа да еще на обратной. Даже рябой Пантюшкин, тот, который еще только на прошлой неделе писать научился, вычертил всю фамилию до буквы.

А потом понесли к комиссару, чтобы дал печать. Прочитал комиссар.

— Нельзя,— говорит,— на такую бумагу полковую.

— Как же нельзя? Что, от ней убудет, что ли? Приложите, пожалуйста. Что же, даром, что ли, старался малый?

Улыбнулся комиссар:

— Этот самый, с Сергеевым?

— Он, язви его шельма.

— Ну уж в виде исключения...— И тиснул по бумаге. Сразу же на ней «РСФСР», серп и молот — документ.

И такой это вечер был, что его долго помнили поселяне. Уж чего там говорить, что звезды, как начищенные кирпичом, блестели! Или как ветер густым настоем отцветающей гречихи пропитал все. А на улицах что делалось! Высыпали как есть все за ворота. Смеялись красноармейцы задорно, визжали девчата звонко. А лекпом Придорожный, усевшись на митинговых бревнах перед обступившей его кучкой, наигрывал на двухрядке.

Ночь спускалась тихо-тихо; зажглись огоньками разбросанные домики. Ушли старики, ребятишки. Но долго еще по залитым лунным светом улочкам смеялась молодежь. И долго еще наигрывала искусно лекпомова гармоника и спорили с ней переливчатыми посвистами соловьи из соседней прохладной рощи.

А на другой день уезжал незнакомец. Жиган и Димка провожали его до поскотины. Возле покосившейся загородки он остановился. Остановился за ним и весь отряд.

И перед всеми солдатами незнакомец крепко пожал руки ребятишкам.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Петрограде,— проговорил он, обращаясь к Димке.— А тебя...— И он запнулся немного.

— Может, где-нибудь,— неуверенно ответил Жиган.

Ветер чуть-чуть шевелил волосы на его лохматой головенке. Худенькие руки крепко держались за перекладины, а большие, глубокие глаза уставились вдаль, перед собой.

По дороге чуть заметной точкой виднелся еще отряд. Вот он взметнулся на последнюю горку возле никольского оврага... скрылся. Улеглось облачко пыли, поднятое копытами над гребнем холма. Проглянуло сквозь него поле под гречихой, и на нем — больше никого.

*1925, 1934.*

# ШКОЛА

## I. ШКОЛА

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество «родительской вишни», яблок-скороспелок, терновника и красных пионов. Сады, примыкая один к другому, образовывали сплошные зеленые массивы, неугомонно звеневшие пересвистами синиц, щеглов, снегирей и малиновок.

Через город, мимо садов, тянулись тихие зацветшие пруды, в которых вся порядочная рыба давным-давно передохла и водились только скользкие огольцы да поганая лягва. Под горою текла речонка Теша.

Город был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеских обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон. Пожалуй, даже чудотворных больше, чем простых. Но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в шестидесяти километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками, и эти угодники переманивали все чудеса к своему месту.

Только и было слышно: то в Сарове слепой прозрел, то хромой заходил, то горбатый выпрямился, а возле наших икон — ничего похожего.

Пронесся однажды слух, будто бы Митьке-цыгану, бродяге и известному пьянице, ежегодно купавшемуся

за бутылку водки в крещенской проруби, было видение, и бросил Митька пить, раскаялся и постригается в Спасскую обитель монахом.

Народ валом повалил к монастырю. И точно — Митька возле клироса усердно отбивал поклоны, всенародно каялся в грехах и даже сознался, что в прошлом году спер и пропил козу у купца Бебешина. Купец Бебешин умилился и дал Митьке целковый, чтобы тот поставил свечку за спасение своей души. Многие тогда прослезились, увидав, как порочный человек возвращается с гибельного пути в лоно праведной жизни.

Так продолжалось целую неделю, но уже перед самым пострижением то ли Митьке было какое другое видение, в обратном смысле, то ли еще какая причина, а только в церковь он не явился. И среди прихожан пошел слух, что Митька валяется в овраге по Новоплотинной улице, а рядом с ним лежит опорожненная бутылка из-под водки.

На место происшествия были посланы для увещевания дьякон Пафнутий и церковный староста купец Синюгин. Посланные вскоре вернулись и с негодованием заявили, что Митька действительно бесчувствен, аки зарезанный скот; что рядом с ним уже лежит вторая опорожненная полубутылка, и когда удалось его растолкать, то он, ругаясь, заявил, что в монахи идти раздумал, потому что якобы грешен и недостоин.

Тихий и патриархальный был у нас городок. Под праздники, особенно в пасху, когда колокола всех тридцати церквей начинали трезвонить, над городом поднимался гул, хорошо слышный в деревеньках, раскинутых на двадцать километров в окружности.

Благовещенский колокол заглушал все остальные. Колокол Спасского монастыря был надтреснут и поэтому рявкал отрывистым дребезжащим басом. Тоненькие подголоски Никольской обители звенели высокими, звонкими переливами. Этим трем запевалам вторили прочие колокольни, и даже невзрачная церковь маленькой тюрьмы, приткнувшейся к краю города, присоединялась к общему нестройному хору.

Я любил взбираться на колокольни. Позволялось это мальчишкам только на пасху. Долго кружишь узенькой темной лесенкой. В каменных нишах ласково ворчат голуби. Голова немного кружится от бесчисленных пово-

ротов. Сверху виден весь город с заплатами разбросанных прудов и зарослями садов. Под горою — Теша, старая мельница, Козий остров, перелесок, а дальше — овраги и синяя каемка городского леса.

Отец мой был солдатом 12-го Сибирского стрелкового полка. Стоял тот полк на рижском участке германского фронта.

Я учился во втором классе реального училища. Мать моя, фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе. Каждую неделю направляешься к матери с балльником для подписи. Мать бегло просмотрит отметки, увидит двойку за рисование или чистописание и недовольно покачает головой:

— Это что же такое?

— Я, мам, тут не виноват. Ну что же я поделаю, раз у меня таланта на рисование нет? Я, мам, нарисовал ему лошадь, а он говорит, что это не лошадь, а свинья. Тогда я подаю ему в следующий раз и говорю, что это свинья, а он рассердился и говорит, что это не свинья и не лошадь, а черт знает что такое. Я, мам, в художники и не готовлюсь вовсе.

— Ну, а за чистописание почему? Дай-ка твою тетрадку... Бог ты мой, как наляпано! Почему у тебя на каждой строке клякса, а здесь между страниц таракан раздавлен? Фу, гадость какая!

— Клякса, мам, оттого, что нечаянно, а про таракана я вовсе не виноват. Ведь что это такое, на самом деле,— ко всему придираешься! Что, я нарочно таракана посадил? Сам он, дурак, заполз и удавился, а я за него отвечай! И подумаешь, какая наука — чистописание! Я в писатели вовсе не готовлюсь.

— А к чему ж ты готовишься? — строго спрашивает мать, подписывая балльник.— Лоботрясом быть готовишься? Почему опять инспектор пишет, что ты по пожарной лестнице залез на крышу школы? Это еще к чему? Что ты — в трубочисты готовишься?

— Нет. Ни в художники, ни в писатели, ни в трубочисты... Я буду матросом.

— Почему же матросом? — удивляется озадаченная мать.

— Обязательно матросом... Вот еще... И как ты не понимаешь, что это интересно?

Мать качает головой:

— Ишь, какой выискался. Ты чтобы у меня двоек больше не приносил, а то не посмотрю и на матроса — выдеру.

Ой, как врет! Чтобы она меня выдрала? Никогда еще не драла. В чулан один раз заперла, а потом весь следующий день пирожками кормила и двугривенный на кино дала. Хорошо бы эдак почаще!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Однажды, наскоро попив чаю, кое-как собрав книги, я побежал в школу. По дороге встретил Тимку Штукина — одноклассника, маленького вертлявого человечка.

Тимка Штукин был безобидным и безответным мальчуганом. Его можно было треснуть по башке, не рискуя получить сдачи. Он охотно доедал бутерброды, оставшиеся у товарищей, бегал в соседнюю лавочку покупать сайки к училищному завтраку и, не чувствуя за собой никакой вины, испуганно затихал при приближении классного наставника.

У Тимки была одна страсть — он любил птиц. Вся каморка его отца, сторожа кладбищенской церкви, была заставлена клетками с пичужками. Он покупал птиц, продавал их, выменивал, ловил сам силком или западками на кладбище. Однажды ему здорово влетело от отца, когда купец Синюгин, завернув на могилу своей бабушки, увидал на каменной плите памятника рассыпанную приманку из конопляного семени и лучок — сетку с протянутой от нее бечевой.

По жалобе Синюгина сторож надрал вихры мальчугану, а наш законоучитель отец Геннадий во время урока закона божьего сказал неодобрительно:

— Памятники ставятся для воспоминания об усопших, а не для каких-либо иных целей, и помещать на памятниках капканы и прочие посторонние приспособления не подобает — грешно и богохульно.

Тут же он привел несколько случаев из истории человечества, когда подобное богохульство влекло за собой тягчайшие кары небесных сил.

Надо сказать, что на примеры отец Геннадий был большой мастер. Мне кажется, что если бы он узнал, например, что на прошлой неделе я ходил без увольни-

тельной записки в кино, то, порывшись в памяти, наверняка отыскал бы какой-нибудь исторический случай, когда совершивший подобное преступление понес еще в сей жизни заслуженное божеское наказание.

Тимка шел, насвистывая дроздом. Заметив меня, он приветливо заморгал и в то же время недоверчиво посмотрел в мою сторону, как бы пытаясь определить — подходит к нему человек запросто или с какой-нибудь каверзой.

— Тимка! А мы на урок опоздаем,— сказал я.— Ей-богу, опоздаем. На урок, может быть, еще нет, а уж на молитву — обязательно.

— Не заметят?! — сказал он испуганно и в то же время вопросительно.

— Обязательно заметят. Ну что же, без обеда оставят, только и всего,— умышленно спокойно поддразнил я, зная, что Тимка беда как боится всяких выговоров и замечаний.

Тимка съежился и, прибавляя шаг, заговорил огорченно:

— А я-то тут при чем? Отец пошел церковь отпирать. Меня дома на минутку оставил, а сам—вон сколько. И все из-за молебна. По Вальке Спагине мать приезжала служить.

— Как по Вальке Спагине?— разинул я рот.— Что ты!.. Разве он помер?

— Да не за упокой молебен, а об отыскании.

— О каком еще отыскании? —с дрожью в голосе переспросил я.— Что ты мелешь, Тимка? Я вот тебя тресну... Я, Тимка, не был вчера в школе, у меня вчера температура...

— Пинь-пинь... тарарах... тиу...— засвистел Тимка синицей и, обрадовавшись, что я еще ничего не знаю, подпрыгнул на одной ноге.— А ведь верно, ты вчера не был. Ух, брат, а что вчера было-то, что было!..

— Да что же было-то?

— А вот что. Сидим мы вчера... первый урок у нас французский. Ведьма глаголы на «этр» задавала. Леверб: аллэ, арривэ, антрэ, рестэ, томбэ... Вызвала к доске Раевского. Только стал он писать «рестэ, томбэ», как вдруг отворяется дверь и входит—инспектор (Тимка зажмурился), директор... (Тимка посмотрел на меня многозначительно) и классный наставник. Когда мы се-

ли, директор и говорит нам: «Господа, у нас случилось несчастье: ученик вашего класса Спагин убежал из дому. Оставил записку, что убежал на германский фронт. Я не думаю, господа, чтобы он это сделал без ведома товарищей. Многие из вас знали, конечно, об этом побеге заранее, однако не потрудились сообщить мне. Я, господа...» — и начал, и начал, полчаса говорил.

У меня сперло дыхание. Так вот оно что! Такое происшествие, такая поражающая новость, а я просидел дома, будто по болезни, и ничего не знаю. И никто — ни Яшка Цуккерштейн, ни Федька Башмаков — не зашли ко мне после уроков рассказать. Тоже товарищи... Когда Федьке нужны были пробки от пугача — так он ко мне... А тут — на-ка!.. Тут половина школы на фронт убежит, а я себе, как идиот, сиди!

Я бурей ворвался в училище, на бегу сбросил шинель и, удачно увильнув от надзирателя, смешался с толпой ребят, выходивших из общего зала, где читалась молитва.

В следующие дни только и было толков что о геройском побеге Вальки Спагина.

Директор ошибался, высказывая предположение, что, вероятно, многие были посвящены в план побега Спагина. Ну положительно никто ничего не знал. Никому не могла даже прийти мысль, что Валька Спагин убежит. Такой тихоня был, ни в одной драке, ни в одном налете на чужой сад за яблоками не участвовал, штаны с него всегда сваливались, ну, словом, размазня размазней, и вдруг — такое дело!

Стали мы между собой обсуждать, допытываться друг у друга, не замечал ли кто каких-либо приготовлений. Не может же быть, чтобы человек вдруг, сразу, ни с того ни с сего — вздумал, надел картуз и отправился на фронт.

Федька Башмаков вспомнил, что видел у Вальки карту железных дорог. Второгодник Дубилов сказал, что встретил недавно Вальку в магазине, где тот покупал батарейку для карманного фонаря. Больше, сколько ни допытывались, никаких поступков, указывающих на подготовку к побегу, припомнить не могли.

Настроение в классе было приподнятое. Все бегали, бесновались, на уроках отвечали невпопад, и количество оставленных без обеда возросло в эти дни вдвое

против обыкновенного. Прошло еще несколько дней. И вдруг опять новость — сбежал первоклассник Митька Тупиков.

Училищное начальство всполошилось всерьез.

— Сегодня на уроке закона божия беседа будет,— по секрету сообщил мне Федька.— Насчет побегов. Я, как тетради относил в учительскую, слышал, что про это говорили.

Нашему священнику отцу Геннадию было этак лет под семьдесят. Лица его из-за бороды и бровей не было видно вовсе, был он тучен, и для того, чтобы повернуть голову назад, ему приходилось оборачиваться всем туловищем, ибо шеи у него не было заметно вовсе.

Его любили у нас. На его уроках можно было заниматься чем угодно: играть в карты, рисовать, положить перед собой на парту вместо Ветхого завета запрещенного Ната Пинкертона или Шерлока Холмса, потому что отец Геннадий был близорук.

Отец Геннадий вошел в класс, поднял руку, благословляя всех присутствующих, и тотчас же раздался рев дежурного:

— Царю небесный, утешителю души истинный.

Отец Геннадий был глуховат и вообще требовал, чтобы молитву читали громко и отчетливо, но даже и ему показалось, что сегодня дежурный хватил через край. Он махнул рукой и сказал сердито:

— Ну, ну... Что это? Ты читай, чтобы было благозвучно, а то ровно как бык ревешь.

Отец Геннадий начал издалека. Сначала он рассказал нам притчу о блудном сыне. Этот сын, как я понял тогда, ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему пришлось туго, и он пошел на попятный.

Потом рассказал притчу о талантах: как один господин дал своим рабам деньги, которые назывались талантами, и как одни рабы занялись торговлей и получили от этого дела барыш, а другие спрятали деньги и ничего не получили.

— А что говорят сии притчи? — продолжал отец Геннадий.— Первая притча говорит о непослушном сыне. Сын этот покинул своего отца, долго скитался и все же вернулся домой под родительский кров. Нечего и говорить о ваших товарищах, которые и вовсе не искушены в жизненных невзгодах и оставили тайно дом свой,—

нечего и говорить, что плохо придется им на их гибельном пути. И еще раз убеждаю вас: если кто знает, где они, пусть напишет им, дабы не убоялись они вернуться, пока есть время, под родительский кров. И помните, в притче, когда вернулся блудный сын, то отец по доброте своей не стал попрекать его, а одел в лучшие одежды и велел зарезать упитанного тельца, как для праздника. Так и родители этих двух заблудшихся юношей простят им все и примут их с распростертыми объятиями.

В этих словах я несколько усомнился. Что касается первоклассника Тупикова, то как его встретили бы родители — не знаю, но что булочник Спагин по поводу возвращения сына не станет резать упитанного тельца, а просто хорошенько отстегает сына ремнем,— это уж наверняка.

— А притча о талантах,— продолжал отец Геннадий,— говорит о том, что нельзя зарывать в землю своих способностей. Вы обучаетесь здесь всевозможным наукам. Кончите школу, каждый изберет себе профессию по способностям, призванию и положению. Один из вас будет, скажем, почтенным коммерсантом, другой — доктором, третий — чиновником. Всякий будет уважать вас и думать про себя: «Да, этот достойный человек не зарыл своих талантов в землю, а умножил их и сейчас по заслугам пользуется всеми благами жизни». Но что же,— тут отец Геннадий огорченно воздел руки к небу,— что же, спрашиваю вас, выйдет из этих и им подобных беглецов, кои, презрев все предоставленные им возможности, убежали из дому в поисках пагубных для тела и души приключений? Вы растете, как нежные цветы в теплой оранжерее заботливого садовника, вы не знаете ни бурь, ни треволнений и спокойно расцветаете, радуя взоры учителей и наставников. А они... даже если перенесут все невзгоды, то без ухода вырастут буйными терниями, обвеянными ветрами и обсыпанными придорожной пылью.

Когда отец Геннадий, величественный и воодушевленный, как пророк, вышел из класса и медленно поплыл в учительскую, я вздохнул, подумал и сказал:

— Федька!

— Ну?

— Ты как думаешь насчет талантов?

— Никак. А ты?

— Я?

Тут я замялся немного и добавил уже тише:

— А я, Федька, пожалуй, тоже зарыл бы таланты. Ну что — коммерсантом либо чиновником?

— Я бы тоже,— чуть поколебавшись, сознался Федька.— Какой есть интерес расти, как цветок в оранжерее? На него плюнь, он и завянет. Терпию, тому хоть все нипочем—ни дождь, ни жара.

— Федька,— сказал я,— а как же тогда батюшка говорил: «И ответите в жизни будущей». Ведь хоть и в будущей, а все одно отвечать неохота!

Федька задумался. Видно было, что он и сам не особенно ясно себе представляет, как избежать обещанного наказания. Он тряхнул головой и ответил уклончиво:

— Ну, так ведь это еще не скоро... А там, может быть, что-нибудь и придумается.

Первоклассник Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать: его поймали через три дня в шестидесяти километрах от Арзамаса к Нижнему Новгороду.

Говорят, что дома не знали, куда его посадить, накупили ему подарков, а мать, взяв с него торжественное слово больше не убегать, пообещала купить ему к лету ружье монтекристо. Но зато в школе над Тупиковым смеялись и издевались: «Нечего сказать, этак и многие из нас согласились бы пробегать три дня вокруг города да за это в подарок получить настоящее ружье».

Совершенно неожиданно досталось Тупикову от учителя географии Малиновского, которого у нас за глаза называли «Коля бешеный».

Вызывает Малиновский Тупикова к доске:

— Тэк-с!.. Скажите, молодой человек, на какой же это вы фронт убежать хотели? На японский, что ли?

— Нет,— ответил, побагровев, Тупиков,— на германский.

— Тэк-с! — ехидно продолжал Малиновский.— А позвольте вас спросить, за каким же вас чертом на Нижний Новгород понесло? Где ваша голова и где оной мои уроки географии? Разве же не ясно, как день, что вы должны были направиться через Москву,— он ткнул указкой по карте,— через Смоленск и Брест, если вам угодно было бежать на германский? А вы поперли прямо в противоположную сторону — на восток. Как вас

понесло в обратную сторону? Вы учитесь у меня для того, чтобы уметь на практике применять полученные знания, а не держать их в голове, как в мусорном ящике. Садитесь. Ставлю вам два. И стыдитесь, молодой человек!

Надо заметить, что следствием этой речи было то, что первоклассники, внезапно уяснив себе пользу наук, с совершенно необычным рвением принялись за изучение географии и даже выдумали новую игру, называвшуюся «беглец».

Игра эта состояла в том, что один называл пограничный город, а другой должен был без запинки перечислить главные пункты, через которые лежит туда путь. Если беглец ошибался, то платил фант, а за неимением фанта получал затрещину или щелчок по носу, смотря по уговору.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Каждую неделю, в среду, в общем зале перед началом занятий происходила торжественная молитва о даровании победы.

После молитвы все поворачивались влево, где висели портреты царя и царицы.

Хор начинал петь гимн «Боже, царя храни»,—все подхватывали. Я подпевал во всю глотку. Голос у меня для пения был не особенно приспособлен, но я старался так, что даже надзиратель заметил мне однажды:

— Вы бы, Гориков, полегче, а то уж чересчур.

Я обиделся. Что значит — чересчур?

А если у меня на пение нет таланта, то пусть другие молятся о даровании победы, а я должен помалкивать?

Дома я поделился с матерью своей обидой.

Но мать как-то холодно отнеслась к моему огорчению и сказала мне:

— Мал еще. Подрасти немного... Ну, воюют и воюют. Тебе-то какое дело?

— Как, мам, мне какое дело? А если германцы нас завоюют? Я, мам, тоже об их зверствах читал. Почему германцы такие варвары, что никого не жалеют — ни стариков, ни детей, а почему же наш царь всех жалеет?

— Сиди! — недовольно сказала мне мать.— Все хороши... Как взбесились ровно — и германцы не хуже людей, и наши тоже.

Мать ушла, а я остался в недоумении: то есть как это выходит, что германцы не хуже наших? Как же это не хуже, когда хуже? Еще недавно в кино показывали, как германцы, не щадя никого, всё жгут — разрушили Реймсский собор и надругаются над храмами, а наши ничего не разрушили и ни над чем не надругались. Наоборот даже, в том же кино я сам видел, как один русский офицер спас из огня германское дитя. Я пошел к Федьке. Федька согласился со мной:

— Конечно, зверн. Они затопили «Лузитанию» с мирными пассажирами, а мы ничего не затопили. Наш царь и английский царь — благородные. И французский президент — тоже. А их Вильгельм — хам!

— Федька,— спросил я,— а почему французский царь президентом называется?

Федька задумался.

— Не знаю,— ответил он.— Я что-то слышал, что ихний президент вовсе и не царь, а так просто.

— Как это — так просто?

— Ей-богу, не знаю. Я, знаешь, читал книжку писателя Дюма. Интересная книжка — кругом одни приключения. И по той книжке выходит, что французы убили своего царя, и с тех пор у них не царь, а президент.

— Как же можно, чтобы царя убили? — возмутился я.— Ты врешь, Федька, или напутал что-нибудь.

— А ей-богу же, убили. И его самого убили, и жену его убили. Всем им был суд, и присудили им смертную казнь.

— Ну, уж это ты непременно врешь! Какой же на царя может быть суд? Скажем, наш судья, Иван Федорович, воров судит: вот у Плющихи забор сломали — он судил, Митька-цыган у монахов ящик с просфорами спер — опять он судил. А царя он судить не посмеет, потому что царь сам над всеми начальник.

— Ну, хочешь — верь, хочешь — нет! — рассердился Федька.— Вот Сашка Головешкин прочитает книжку, я тебе ее дам. Там и суд вовсе не этакий был, как у Ивана Федоровича. Там собирался весь народ и судили, и казнили... — добавил он раздраженно,— и даже вспомнил я, как казнили. У них не вешают, а машина этакая

есть — гильотина. Ее заведут, а она раз-раз — и отрубает головы.

— И царю отрубали?

— И царю, и царице, и еще кому-то там. Да хочешь, я тебе эту книжку принесу? Сам прочитаешь. Интересно... Там про монаха одного... Хитрый был, толстый и как будто святой, а на самом деле ничего подобного. Я как читал про него, так до слез хохотал, аж мать рассердилась, слезла с кровати и лампу загасила. А я подождал, пока она заснет, взял от икон лампадку и опять стал читать.

Пронесся слух, что на вокзал пригнали пленных австрийцев. Мы с Федькой тотчас же после уроков понеслись туда. Вокзал у нас находился далеко за городом. Нужно было бежать мимо кладбища, через перелесок, выйти на шоссе и пересечь длинный извилистый овраг.

— Как по-твоему, Федька,— спросил я,— пленные в кандалах или нет?

— Не знаю. Может быть, и в кандалах. А то ведь разбежаться могут. А в кандалах далеко не убежишь! Вон как арестанты в тюрьму идут, так еле ноги волочат.

— Так ведь арестанты — они же воры, а пленные ничего не украли.

Федька сощурился.

— А ты думаешь, что в тюрьме только тот, кто украл либо убил? Там, брат, за разное сидят.

— За какое еще разное?

— А вот за такое... За что ремесленного учителя посадили? Не знаешь? Ну и помалкивай.

Меня всегда сердило, почему Федька больше меня все знает. Обязательно, о чем его ни спроси — только не насчет уроков,— он всегда что-нибудь да знает. Должно быть, через отца. Отец у него почтальон, а почтальон, пока из дома в дом ходит, мало ли чего наслушается.

Ремесленного учителя, или, как его у нас звали, Галку, ребятишки любили. Приехал он в город в начале войны. Снял на окраине квартирку. Я несколько раз бывал у него. Он сам любил ребят, учил их на своем верстаке делать клетки, ящики, западки. Летом, бывало, наберет целую ораву и отправляется с нею в лес или на рыбную ловлю. Сам он был черный, худой и ходил не-

много подпрыгивая, как птица, за что и прозвали его Галкой. Арестовали его совершенно неожиданно, за что — мы толком и не знали. Одни ребята говорили, что будто бы он шпион и передавал по телефону немцам все секреты о передвижении войск. Нашлись и такие, которые утверждали, что будто бы учитель раньше был разбойником и грабил людей на проезжих дорогах, а вот теперь правда и выплыла наружу.

Но я не верил: во-первых, отсюда ни до какой границы телефонный провод не дотянешь; во-вторых, про какие военные секреты и передвижения войск можно передавать из Арзамаса? Тут и войск-то вовсе было мало — семь человек команды у воинского присутствия, офицер Балагушин с денщиком да на вокзале четыре пекаря из военно-продовольственного пункта, у которых одно только название, что солдаты, а на самом деле — обыкновенные булочники. Кроме того, за все это время у нас только и было одно передвижение войск, когда офицер Балагушин переехал с квартиры Пырятиных к Басютиным, а больше никаких передвижений и не было.

Что же касается того, что учитель был разбойником,— это была явная ложь. Выдумал это Петька Золотухин, который, как известно всем, отчаянный враль, и если попросит взаймы три копейки, то потом будет божиться, что отдал, либо вовсе вернет удилище без крючков и потом будет уверять, что так и брал. Да какой же из учителя — разбойник? У него и лицо не такое, и походка смешная, и сам он добрый, а к тому же худой и всегда кашляет.

Так мы добежали с Федькой до самого оврага.

Тут, не в силах более сдерживать свое любопытство, я спросил у Федьки:

— Федь... так за что ж, на самом деле, учителя арестовали? Ведь это же враки и про шпиона и про разбойника?

— Конечно, враки,— ответил он, замедляя шаг и осторожно оглядываясь, как будто бы мы были не в поле, а среди толпы.— Его, брат, за политику арестовали.

Не успел я подробнее повыспросить у Федьки, за какую именно политику арестовали учителя, как за поворотом раздался тяжелый топот приближающейся колонны.

Пленных было около сотни.

Они не были закованы, и сопровождало их всего шесть конвоиров.

Усталые, угрюмые лица австрийцев сливались в одно с их серыми шинелями и измятыми шапками. Шли они молча, плотными рядами, мерным солдатским шагом.

«Так вот какие они,— думали мы с Федькой, пропуская колонну.— Вот они, те самые австрийцы и немцы, зверства которых ужасают все народы. Нахмурились, насупились — не нравится в плену. То-то, голубчики!»

Когда колонна прошла мимо, Федька погрозил ей вдогонку кулаком:

— Газы выдумали! У, немецкая колбаса проклятая!

Возвращались домой мы немного подавленными. Отчего — не знаю. Вероятно, оттого, что усталые, серые пленники не произвели на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Если бы не шинели, они походили бы на беженцев. Те же худые, истощенные лица, та же утомленность и какое-то усталое равнодушие ко всему окружающему.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы впереди предстояло много.

Во-первых, нужно было построить плот, спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя властителями моря и дать морской бой соединенному флоту Пантюшкиных и Симаковых, оберегавшему подступы к их садам на другом берегу.

У нас и до сих пор был маленький флот — спущенная на воду садовая калитка. Но в боевом отношении он значительно уступал силам неприятеля, у которого имелась половина старых ворот, заменявшая тяжелый крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой раньше кормили скот.

Силы были явно неравны.

Поэтому мы решили усилить наше вооружение постройкой колоссального сверхдредноута по последнему слову техники.

Как материал для постройки мы предполагали использовать бревна развалившейся бани. Чтобы не ругалась мать, я дал ей обещание, что наш дредноут будет

построен с таким расчетом, чтобы его можно было всегда использовать вместо подмостков для полоскания белья.

С противоположного берега неприятель, заметив наше перевооружение, забеспокоился и начал тоже что-то сооружать, но наша агентурная разведка донесла нам, что противник в противовес нам не может выставить ничего серьезного за неимением строительного материала. Попытки же спереть со двора доски, предназначенные для обшивки сарая, не увенчались успехом: семейный совет не одобрил самовольного расходования материалов не по назначению, и враждебные нам адмиралы — Сенька Пантюшкин и Гришка Симаков — были беспощадно выдраны отцами.

Несколько дней мы возились с бревнами. Построить дредноут было нелегко. Требовалось много денег и времени, а мы с Федькой как раз испытывали тогда полосу финансовых затруднений. Одних только гвоздей ушло больше чем на полтинник, а оставалось еще приобрести веревки для якоря и материал для флага.

Чтобы раздобыть все необходимое, мы вынуждены были прибегнуть к тайному займу в семьдесят копеек под залог двух учебников закона божьего, немецкой грамматики «Глезер и Петцольд» и хрестоматии по русскому языку.

Зато дредноут наш вышел на славу. Спускали мы его уже под вечер. Помогали спускать Тимка Штукин и Яшка Цукерштейн. В качестве зрителей пришли все ребятишки сапожника, моя сестренка и дворовая собачка Волчок, она же Шарик, она же Жучка — звал ее каждый, как хотел. Плот затрещал, заскрипел и тяжело бухнул в воду. Тотчас же раздалось громкое «ура», салют из пугачей, и над дредноутом взвился флаг.

Флаг у нас был черный с красными каемками и желтым кругом посредине.

Развеваемый слабым теплым ветром, он эффектно затрепыхался,—мы снялись с якорей.

Близился закат. Слышалось далекое звяканье бубенцов возвращавшегося стада коз, которых в Арзамасе бесчисленное множество.

На дредноуте были я и Федька. Позади нас, на почтительном расстоянии, плыла наша маленькая калитка, предназначенная быть посыльным судном.

Наша эскадра медленно, сознавая свою силу, выплыла на середину пруда и продефилировала перед чужими берегами. Тщетно мы вызывали противника и в рупор и сигналами — он не хотел принимать боя и постыдно прятался в бухте под полусгнившей ветлой.

В бессильной ярости береговая артиллерия открыла по нашим судам огонь, но мы сразу же поставили себя вне пределов досягаемости орудий противника и спокойно отплыли в свой порт без всякого урона, если не считать легкой контузии картофелиной, полученной в спину Яшкой Цуккерштейном.

— О-го-го! — закричали мы уплывая.— Что, слабо вам выйти навстречу?

— Подождите! Выйдем, не хвалитесь раньше времени, не испугались!

— То-то, оно и видно, что не испугались... Трусы! Немцы несчастные!

Мы благополучно вошли в свой порт, бросили якоря и, крепко на цепь закрепив плоты, выскочили на берег.

В тот же вечер мы с Федькой чуть не поссорились. Мы не договорились заранее, кто будет командовать флотом. На мое предложение командовать ему посыльным судном Федька ответил презрительным плевком. Тогда я предложил ему, кроме этого, быть начальником порта, начальником береговой артиллерии, а также воздушных сил, как только они у нас появятся. Но даже воздушные силы не соблазнили Федьку, и он упорно стоял на том, что хочет быть адмиралом, а в противном случае пригрозил предаться неприятелю.

Тогда, не желая терять ценного помощника, я плюнул и предложил быть адмиралом по очереди: день — он, день — я. На этом мы и порешили.

Мы смастерили два лука, запаслись десятком стрел и отправились в перелесок. В запасе у нас было несколько «лягушек». «Лягушками» назывались бумажные трубочки, сложенные в несколько раз, туго перетянутые бечевой и начиненные смесью бертолетовой соли с толченым углем. Мы привязывали «лягушку» к концу стрелы, один натягивал бечеву, другой поджигал у «лягушки» шнур. Тотчас же стрела взвивалась в небо, и «ля-

гушка», разрываясь высоко в воздухе, металась огненными зигзагами, спугивая галок и ворон.

Перелесок примыкал к кладбищу. Перелесок был густ, весь изрыт ямами, покрыт маленькими прудами. На тенистых зеленых лужайках цвели желтые кувшинки, куриная слепота и рос папоротник.

Вдоволь наигравшись, мы перелезли через каменную стену и очутились в самом отдаленном и глухом углу кладбища. Тишина, нарушаемая только разноголосым щебетом укрывшихся в листве пташек, действовала успокаивающе на наше возбужденное игрой настроение. Пробираясь через пустырь мимо надмогильных холмиков, иногда едва выступавших над землей, мы разговаривали вполголоса.

— Смотри,— сказал я Федьке,— сейчас за поворотом начнутся солдатские могилы. На прошлой неделе здесь похоронили Семена Кожевникова из лазарета. Я, Федька, хорошо помню Кожевникова. Еще задолго до войны, когда я был вовсе маленьким, он приходил к моему отцу. Он один раз подарил мне резинку для рогатки. Хорошая была резинка. Только ее потом мать в печку выбросила — будто бы я камешком у Басютиных стекло разбил.

— А нет, что ли?

— Ну так что ж, что я? Да ведь это же доказать надо было, а то никто не видел, а по одному только подозрению... Какая же это справедливость выходит? Вдруг бы не я разбил, тогда, значит, все равно бы на меня?

— Все равно бы,— согласился Федька.— Они, матери, всегда такие. У девчонок ничего не трогают, а как мальчишкину какую игру заметят, так и выбрасывают. У меня мать две стрелы с гвоздем сломала да потом крысу из клетки выкинула. А один раз еще хуже было... Свинтил я шарик пустой. Знаешь, которые на кроватях для украшения привернуты. Мать как раз в церковь ушла. Сижу себе, достал селитры, угля. Ну, думаю, начиню шарик порохом, а потом в перелеске взрыв устрою. И так занялся делом, что и не заметил, как мать сзади очутилась. «Ты зачем, говорит, шар с кровати свернул? Ах ты, проклятый! А я смотрю, куда у меня шары делись?» Да как треснет меня по башке! Хорошо, что отец вступился. Спрашивает: «Зачем шар взял?» — «Разве,— отвечаю ему,— не видишь?.. Бомбу делать». На-

хмурился он. «Брось, говорит, не балуй этакими вещами, ишь какой террорист выискался!» А сам засмеялся и по голове погладил.

— Федька,— сказал я ему спокойно,— а я знаю, что такое террорист. Это — которые бомбы в полицейских бросают и против богатых. А мы, Федька, какие — бедные или богатые?

— Средние,— ответил Федька, подумавши.— Чтобы очень бедные, этого тоже не сказать. У нас как отец нашел место, то каждый день обед, а по воскресеньям еще пироги мать стряпает да иной раз компот. Я беда как люблю компот! А ты любишь?

— И я люблю. Только я кисель яблочный еще больше люблю. Я тоже так думаю, что средние. Вон у Бебешиных фабрика целая. Я один раз был у ихнего Васьки. У них одной прислуги сколько и лакей! А Ваське отец живую лошадь подарил... пони называется.

— У них, конечно, все есть,— согласился Федька,— у них денег очень много. А купец Синюгин вышку над домом построил и телескоп поставил. Огро-о-омный! Как надоест ему все на земле, так и идет Синюгин на ту вышку, туда ему закуску несут, бутылку... И сидит он всю ночь да на звезды и планеты смотрит. Только недавно он на той вышке выпивку со знакомыми устроил, так, говорят, после ихнего просмотра какое-то стекло лопнуло, теперь ничего уже не видать.

— Федька! А почему же Синюгин, например, и на звезды, и на планеты, и всякое ему удовольствие, а другому — фига? Вон Сигов, который на его фабрике работает, так тому не то чтобы на планеты, а просто жрать нечего. Вчера приходил вниз к сапожнику полтинник занимать.

— Почему?.. Вот еще... почем я знаю? Ты спроси у учителя или у батюшки.

Федька помолчал, сорвал на ходу ветку душистого одичавшего жасмина, потом добавил уже тише:

— Отец говорил, что скоро все будет наоборот.

— Что наоборот?

— Все как есть. Я, Борька, и сам еще хорошо не разобрался. Я будто бы спал, а на самом деле нарочно, а отец с заводским сторожем разговаривал, что будто бы опять забастовки, как в пятом году, будут. Ты знаешь, что было в пятом году?

— Знаю, но только не особенно,— ответил я, покрасиев.

— Революция была. Только не удалась. Это значит, чтобы помещиков жечь, чтобы всю землю крестьянам, чтобы все от богатых к бедным. Я, знаешь, все это из их разговора услыхал.

Федька умолк. И опять меня взяла досада, почему Федька знает больше меня. Я бы тоже узнал, да не у кого. И в книжках про это ничего не написано. И никто про это со мной не разговаривает.

Дома уже, после обеда, когда мать прилегла отдохнуть, я сел к ней на кровать и сказал:

— Мама, расскажи мне что-нибудь про пятый год. Почему с другими говорят об этом? Федька все интересное знает, а я никогда ничего не знаю.

Мать быстро повернулась, нахмурила брови, по-видимому собираясь выругать меня, потом раздумала ругать и посмотрела с таким любопытством, как будто бы увидала меня в первый раз.

— Про какой еще пятый год?

— Как про какой? Ты сама знаешь, про какой. Ты вон какая здоровая. Тебе тогда уже много лет было, а мне всего один год, и я вовсе даже ничего не запомнил.

— Да чего же тебе рассказывать? Это у отца надо бы спрашивать, он мастер про это рассказывать. А я в пятом году света из-за тебя, сорванца, не видела. Тоже... такой был деточка, что и не приведи бог... горластый, крикастый, ни минуты покоя не давал. Как начнешь орать целую ночь подряд, так тут, бывало, про белый свет и про себя позабудешь.

— А с чего же, мама, я орал? — спросил я, немного обидевшись.— Может, я боялся тогда? Говорят, стрельба была и казаки. Может, с перепугу?

— С какого там еще перепугу! Так просто, блажной был — и орал. Какой у тебя тогда мог быть перепуг? К нам с обыском один раз ночью жандармы пришли, и чего искали — сама не знаю. Тогда у многих подряд обыски были. Всю как есть квартиру перерыли, ничего не нашли. Офицер этакий вежливый был. Пальцем тебя пощекотал, а ты смеешься. «Хороший, говорит, мальчик у вас». А сам, будто шутя, на руки тебя взял и между тем мигнул жандарму, а тот стал чего-то в твоей люльке высматривать. Вдруг как потекло с тебя! Батюшки, пря-

мо офицеру на мундир. Ах ты, боже мой! Я тебя скорей схватила, тащу офицеру тряпку. Подумать только! Мундир новый — и весь насквозь; и на штаны попало, и на шашку. Всего как есть опрудил, шельмец этакий! — И мать рассмеялась.

— Ты, мам, вовсе мне про другое рассказываешь,— совсем обидевшись, прервал я.— Я про революцию спрашиваю, а ты ерунду какую-то...

— Да ну тебя... привязался еще! — отмахнулась мать.

Но тут, заметив мое огорченное лицо, она подумала, достала связку ключей и сказала:

— Что я тебе рассказывать буду? Пойди отопри чулан... Там в большом ящике вверху всякий хлам, а внизу целая куча отцовских книг была. Поищи... Если не все он разодрал, то, может, и найдешь какую и про пятый год.

Я быстро схватил связку ключей и бросился к дверям.

— Да ежели ты,— крикнула мне вдогонку мать,— вместо ящика с книгами в банку с вареньем залезешь или опять, как в прошлый раз, с крынок сметану поснимаешь, то я тебе такую революцию покажу, что и своих не узнаешь!

Несколько дней подряд я был занят чтением. Помню, что из двух отобранных книг в первой я прочел только три страницы. Называлась эта наугад взятая книга — «Философия нищеты». Из этой мудреной философии я тогда ровно ничего не понял. Но зато другая книга — рассказы Степняка-Кравчинского — была мне понятна, я прочел ее до конца и перечел снова.

В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция, а полицейские сыщики, вместо того чтобы возбуждать обычное сочувствие, вызывали только презрение и негодование. Речь в этих книгах шла о революционерах. У революционеров были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстания против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Тогда революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело.

Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я не знал ничего про революционеров. И мне обидно ста-

ло, что Арзамас такой плохой город, что в нем ничего не слышно про революционеров. Воры были: у Тупиковых с чердака начисто все белье сняли; конокрады-цыгане были, даже настоящий разбойник был — Ванька Селедкин, который убил акцизного контролера, а вот революционеров-то и не было.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Я, Федька, Тимка и Яшка Цуккерштейн только собрались играть в городки, как прибежал из сада сапожников мальчишка и сообщил, что к нашему берегу причалили тайно два плота Пантюшкиных и Симаковых; сейчас эти проклятые адмиралы отбивают замок с целью увести наши плоты на свою сторону.

Мы с гиканьем понеслись в сад. Заметив нас, враги быстро повскакали на свои плоты и отчалили.

Тогда мы решили преследовать и потопить неприятеля.

В тот день командовал дредноутом Федька. Пока он и Яшка отталкивали тяжелый, неповоротливый плот, мы с Тимкой на старом суденышке пустились неприятелю наперерез. Наши враги сразу сделали ошибку. Очевидно не предполагая, что мы будем их преследовать, они, вместо того чтобы сразу направиться к своему берегу, взяли курс далеко влево. Когда же они заметили свою ошибку, то были уже далеко и теперь напрягали все свои силы, пытаясь проскочить, прежде чем мы успеем перерезать им дорогу. Но Федька и Яшка никак не могли отвязать большой плот. Нам с Тимкой предстояла героическая задача — на легком суденышке задержать на несколько минут двойные силы неприятеля.

Мы очутились без поддержки перед враждебной эскадрой и самоотверженно открыли по ней огонь. Нечего и говорить, что мы сами тотчас же попали под сильнейший перекрестный обстрел.

Уже дважды я получил комом по спине, а у Тимки сшибло фуражку в воду. Стали истощаться наши снаряды, и мы были насквозь промочены водой,—а Федька и Яшка еще только отчаливали от берега.

Заметив это, неприятель решил идти напролом.

Мы не могли выдержать столкновения с их плотами — наша калитка была бы безусловно потоплена.

— Ураганный огоиь последними сиарядамн! — скомаидовал я.

Отчаяиными залпами мы задержали противиика только иа полминуты. Наш дредноут полиым ходом спешил к нам иа помощь.

— Держнтесь! — кричал Федька, открывая огонь с далекой дистанции.

Одиако вражьи суда были почти рядом. Оставалось только дать им уйти в защищениый порт илн загороднть дорогу, рискуя выдержать смертельиый бой. Я решился на последнее.

Сильным ударом шеста я поставил свой плот поперек пути.

Первый вражеский плот с силой иалетел иа иас, и мы с Тнмкой разом очутнлись по горло в теплой заплесиевелой воде. Однако от удара плот протнвннка тоже остановнлся. Этого только нам и иужно было. Наш могучий дредноут — огромный, неуклюжнй, ио крепко сколоченный — на полном ходу врезался в борт неприятельского судиа и перевернул его. Оставался еще миноиосец нз свиного корыта. Пользуясь своей быстроходностью, он хотел было проскочнть мимо, ио и его опрокииули шестом.

Мы с Тимкой забралнсь иа Федькии плот, и теперь только головы иепрнятельской команды торчалн из воды. Но мы были великодушны: взяв на буксир перевернутые плоты, разрешили взобраться на них побежденным н с трнумфом, под громкие крнки мальчншек, усеявших заборы садов, доставили трофеи и пленников к себе в порт.

Письма от отца мы получали редко. Отец писал мало и все одно н то же: «Жив, здоров, сндим в окопах, н сидеть, кажется, коица-краю ие предвидится».

Меия разочаровывалн его письма. Что это такое иа самом деле? Человек с фронта не может написать ничего интересного. Описал бы бой, атаку или какие-ибудь героические подвиги, а то прочтешь пнсьмо, и остается впечатление, что будто бы скука иа этом фроите хуже, чем в Арзамасе грязной осенью.

Почему другие, вот, например, прапорщик Тупиков, брат Мнтьки, присылает письма с описанием сражений н подвигов н каждую неделю прнсылает всякие фото-

графии? На одиой фотографнн он снят возле орудня, на другой — возле пулемета, на третьей — верхом на коне, с обнаженной шашкой, а еще одну прислал, так иа той н вовсе голову из аэроплана высунул. А отец — не то чтобы из аэроплаиа, а даже в окопе ни разу ие снялся н ни о чем интересиом не пишет.

Одиажды, уже под вечер, в дверь иашей квартиры постучалн. Вошел солдат с костылем и деревяиной иогой и спросил мою мать. Матери не было дома, ио она должна была скоро прийти. Тогда солдат сказал, что он товарищ моего отца, служил с иим в одиом полку, а сейчас едет навовсе домой, в деревню нашего уезда, и привез нам от отца поклои и письмо.

Ои сел на стул, поставнл к печке костыль и, порывшись за пазухой, достал оттуда замаслеииое письмо. Меия сразу же удивила необычайная толщиина пакета. Отец ннкогда ие присылал таких толстых писем, н я решил, что, вероятно, в пнсьмо вложеиы фотографин.

— Вы с ним вместе служнли в одиом полку? — спросил я, с любопытством разглядывая худое, как мне показалось, угрюмое лицо солдата, серую нзмятую шиieль с георгиевским крестиком н грубую деревяшку, прнделаииую к правой иоге.

— И в одиом полку, н в одной роте, н в одиом взводе, и в окопе рядом, локоть к локтю... Ты его сыи, что лн, будешь?

— Сыи.

— Вот что! Борис, виачит? Зиаю. Слыхал от отца. Тут н тебе посылка есть. Только отец наказывал, чтобы спрятал ты ее н не трогал до тех пор, пока он ие вернется.

Солдат полез в самодельную кожаную сумку, сшитую из голеиища; при каждом его движеини по комиате распространялись волны тяжелого запаха йодоформа.

Ои выиул завернутый в тряпку и туго перевязанный сверток и подал его мне. Сверток был небольшой, а тяжелый. Я хотел вскрыть его, но солдат сказал:

— Погоди, ие торопнсь. Успеешь еще посмотреть.

— Ну, как у иас на фроите, как ндут сражения, какой дух у наших войск? — спросил я спокойно н солидио.

Солдат посмотрел иа меия н прищурился. Под его тяжелым, иемного насмешливым взглядом я смутнлся,

и самый вопрос показался мне каким-то напыщенным и надуманным.

— Ишь ты! — И солдат улыбнулся.— Какой дух? Известное дело, милый... Какой дух в окопе может быть... Тяжелый дух. Хуже, чем в нужнике.

Он достал кисет, молча свернул цигарку, выпустил сильную струю едкого махорочного дыма и, глядя мимо меня на покрасневшее от заката окно, добавил:

— Обрыдло все, очертенело все до горечи. И конца что-то не видно.

Вошла мать. Увидев солдата, она остановилась у двери и ухватилась рукой за дверную скобу.

— Что... что случилось? — тихо спросила она побелевшими губами.— Что-нибудь про Алексея?

— Папа письмо прислал! — завопил я.— Толстое... наверное, с фотографиями, и мне тоже подарок прислал.

— Жив, здоров? — спрашивала мать, сбрасывая шаль.— А я как увидала с порога серую шинель, так у меня сердце ёкнуло. Наверное, думаю, с отцом что-нибудь случилось.

— Пока не случилось,— ответил солдат.— Низко кланяется, вот— пакет просил передать. Не хотел он по почте... Почта ныне ненадежная.

Мать разорвала конверт. Никаких фотографий в нем не было, только пачка замасленных, исписанных листков.

К одному из них пристал комок глины и зеленая засохшая травинка.

Я развернул сверток — там лежал небольшой маузер и запасная обойма.

— Что еще отец выдумал! — сказала недовольно мать.— Разве это игрушка?

— Ничего,— ответил солдат.— Что у тебя сын дурной, что ли? Гляди-ка, ведь он вон уже какой, с меня ростом скоро будет. Пусть спрячет пока. Хороший пистолет. Его Алексей в германском окопе нашел. Хорошая штука. Потом всегда пригодиться может.

Я потрогал холодную точеную рукоятку и, осторожно завернув маузер, положил его в ящик.

Солдат пил у нас чай. Выпил стаканов семь и все рассказывал нам про отца и про войну. Я выпил всего полстакана, а мать и вовсе не дотронулась до чашки. Порывшись в своих склянках, она достала пузырек со спиртом и налила солдату. Солдат сощурился, долил

спирт водой и, медленно выпив водку, вздохнул и покачал головой.

— Жисть никуда пошла,— сказал он, отодвигая стакан.— Из дома писали, что хозяйство прахом идет. А чем помочь было можно? Сами голодали месяцами. Такая тоска брала, что думаешь — хоть бы один конец. Замотались люди в доску. Бывало, иногда закипит душа, как ржавая вода в котелке. Эх, думаешь, была бы сила, плюнул бы... и повернул обратно. Пусть воюет, кто хочет, а я у немца ничего не занимал, и он мне ничего не должен! Мы с Алексеем много про это говорили. Ночи долгие... Спать блоха не дает. Только вся и утеха, что песни да разговоры. Иной раз плакать бы впору или удавить кого, а ты сядешь и запоешь. Плакать — слез нету. Злость сорвать на ком следует — руки коротки. Эх, говоришь, ребята, друзья хорошие, товарищи милые, давайте хоть песню споем!

Лицо солдата покраснело, покрылось влагой, и по комнате гуще и гуще расходился запах йодоформа. Я открыл окно. Сразу пахнуло вечерней свежестью, прелью сложенного во дворах сена и переспелой вишней.

Я сидел на подоконнике, чертил пальцем по стеклу и слушал, что говорил солдат. Слова солдата оставляли на душе осадок горькой сухой пыли, и эта пыль постепенно обволакивала густым налетом все до тех пор четкие и понятные для меня представления о войне, о ее героях и ее святом значении. Я почти с ненавистью смотрел на солдата. Он снял пояс, расстегнул мокрый ворот рубахи и, видимо опьянев, продолжал:

— Смерть, конечно, плохо. Но не смертью еще война плоха, а обидою. На смерть не обидно. Это уже такой закон, чтобы рано ли, поздно ли, а человеку помереть. А кто выдумал такой закон, чтобы воевать? Я не выдумывал... ты не выдумывал, он не выдумывал, а кто-то да выдумал. Так вот, кабы был господь бог всемогущ, всеблаг и всемилостив, как об этом в книгах пишут, пусть призвал бы он того человека и сказал ему: «А дай-ка мне ответ, для каких нужд втравил ты в войну миллионы народов? Какая им и какая тебе от этого выгода? Выкладывай все начистоту, чтобы всем было ясно и понятно». Только...— Тут солдат покачнулся и чуть не уронил стакан.— Только... не любит что-то господь в земные дела вмешиваться. Ну что же, подо-

ждем, потерпим. Мы — народ терпеливый. Но уж когда будет терпению край, тогда, видно, придется самим разыскивать и судей и ответчиков.

Солдат умолк, нахмурился, исподлобья посмотрел на мать, которая, опустив глаза на скатерть, за все время не проронила ни слова. Он встал и, протягивая руку к тарелке с селедкой, сказал примирительно и укоризненно:

— Ну, да что ты... Вот еще о чем заговорили! Пустое... Всему будет время, будет и конец. Нет ли у тебя, хозяйка, еще в бутылке?

И мать, не подымая глаз, долила ему в стакан капли теплого пахучего спирта.

Всю эту ночь за стеною проплакала мама; шелестели один за другим перевертываемые листки отцовского письма. Потом через щель мелькнул тусклый зеленый огонек лампадки, и я догадался, что мать молится.

Отцовского письма она мне не показала. О чем он писал и отчего в ту ночь она плакала, я так и не понял тогда.

Солдат ушел от нас утром.

Перед тем как уйти, он похлопал меня по плечу и сказал, точно я его о чем спрашивал:

— Ничего, милый... Твое дело молодое. Эх! Поди-ка, ты и почище нашего еще увидишь!

Он попрощался и ушел, притопывая деревяшкой, унося с собой костыль, запах йодоформа и гнетущее настроение, вызванное его присутствием, его кашляющим смехом и горькими словами.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лето подходило к концу. Федька усиленно готовился к переэкзаменовке. Яшка Цуккерштейн, напившись болотной воды, заболел лихорадкой, и я как-то неожиданно очутился в одиночестве. Я валялся на кровати, читал отцовские книги и газеты.

Про конец войны ничего не было слышно В город понаехало множество беженцев, потому что германцы сильно продвинулись по фронту и заняли уже больше половины Польши. Беженцы побогаче разместились по

частным квартирам, но таких было немного. Наши купцы, монахи и священники были людьми набожными и неохотно пускали к себе беженцев — в большинстве бедных многосемейных евреев, и беженцы главным образом жили в бараках возле перелеска, за городом.

К тому времени из деревень вся молодежь, все здоровые мужики были угнаны на фронт. Многие хозяйства разорились. Работать в полях было некому, и в город потянулись нищие — старики, бабы и ребятишки.

Раньше, бывало, ходишь целый день по улицам — и ни одного незнакомого не встретишь. Иного хоть по фамилии не знаешь, так обязательно где-нибудь встречал, а теперь попадались на каждом шагу незнакомые, чужие лица — евреи, румыны, поляки, пленные австрийцы, раненые солдаты из госпиталя Красного Креста.

Не хватало продуктов. Масло, яйца, молоко по дорогой цене раскупались на базаре с раннего утра. У булочных образовались очереди, исчез белый хлеб, да и черного не всем хватало. Купцы немилосердно набавляли цены на все, даже не съестные продукты.

Говорили у нас, что один Бебешин за последний год нажил столько же, сколько за пять предыдущих. А Синюгин — тот и вовсе так разбогател, что пожертвовал шесть тысяч на храм; забросив свою вышку с телескопом, выписал из Москвы настоящего, живого крокодила, которого пустил в специально выкопанный бассейн.

Когда крокодила везли с вокзала, за телегой тянулось такое множество любопытных, что косой пономарь Спасской церкви Гришка Бочаров, не разобравшись, принял процессию за крестный ход с Оранской иконой божией матери и ударил в колокола. Гришке от епископа было за это назначено тридцатидневное покаяние. Многие же богомольцы говорили, что Гришка врет, будто бы зазвонил по ошибке, а сделал это нарочно, из озорства. Мало ему покаяния, а надо бы для примера засадить в тюрьму, потому что похороны за крестный ход принять — это еще куда ни шло, но чтобы этакую богомерзкую скотину с пресвятой иконой спутать — это уже смертный грех!

Захлопнув книгу, я выбежал на улицу. Делать мне было нечего, и я побежал за город, на кладбище, к

Тимке Штукину. Тимку дома я не застал. Отец его, седой крепкий старик, старый знакомый моего отца, потрепал меня по плечу и сказал:

— Растешь, хлопец! Батько-то приедет и не узнает. Ростом-то ты в отца вышел, во какой здоровенный! А мой Тимка, пес его знает, в деда, что ли, по матери пошел,— хлюпкий, как комар. И куда в его только жратва идет?! Отец-то здоров? Будете писать — от меня поклон. Хороший, настоящий человек. Мы с ним восемь лет в сельской школе проработали. Он — учителем, а я — сторожем... Только давно это... Ты вовсе сосуном был... не помнишь. Ну, ступай! Тимка тут где-нибудь, щеглов ловит. Поищи в березах, там, в углу, за солдатскими могилами. Ближе-то он не ловит — староста, как увидит, ругается.

Тимку я нашел в березняке. Он стоял под деревом и, держа в руке палку с петлей, осторожно подводил ее под едва заметного в пожелтевшей листве щегла. Тимка испуганно, почти умоляюще посмотрел на меня и замотал головой, чтобы я не подходил ближе и не спугнул птицы. Я остановился.

Большей дуры-птицы, чем щегол, по-моему, не было никогда на свете. К концу длинного тонкого удилища ребята-птицеловы прикрепляют конский волос и делают петлю. Петлю эту нужно осторожно накинуть на шею щеглу.

Тимка осторожно подвел конец удилища к самой голове пичужки. Щегол покосился на петлю и лениво перескочил на соседнюю ветку. Высунув кончик языка, стараясь не дышать, Тимка принялся подводить петлю снова. Глупый щегол с любопытством посматривал на Тимкино занятие. Он по-идиотски беспечно позволил окружить петлей нахохлившуюся головку. Тимка дернул палку, и полузадушенный щегол, не успев пискнуть, полетел на траву, отчаянно трепыхаясь крыльями. Через минуту он уже прыгал в клетке вместе с пятком других пленных собратьев.

— Видал?! — заорал Тимка, подпрыгивая на одной ноге.— Во, брат, как ловко... целых шесть штук. Только щеглы всё. Синицу этак не поймаешь... Ее западками надо или лучком... Хитрющая! А эти дураки сами башкой лезут...

Внезапно Тимка оборвал себя на полуслове, лицо его окаменело в таком выражении, как будто бы кто-то

стукнул его поленом по голове. Погрозив мне пальцем, он постоял, не шелохнувшись, минуты две, потом опять подпрыгнул и спросил:

— Что!.. слыхал?

— Ничего не слыхал, Тимка. Слыхал, что паровоз на вокзале загудел.

— Господи ты боже мой! Он не слыхал! — удивленно всплеснул руками Тимка.— Малиновка!.. Слышал ты, пересвистнулась?.. Настоящая, краснозвонка. Я уже по свисту слышу, я ее, голубушку, вторую неделю выслеживаю. Знаешь, где утопленника хоронили? Ну, так вот она там, в кленах, где-то водится. Там густые клены, а сейчас у них листья, как огонь, яркие... Пойдем посмотрим.

Тимка знает каждую могилу, каждый памятник. На ходу прискакивая по-птичьи, он показывал мне:

— Здесь вот — пожарный лежит... в прошлом году сгорел, а здесь — Чурбакин слепой. Тут все этакие, тут купцов не хоронят, для купцов хорошая земля отведена... Вон у Синюгиной бабушки какой памятник поставили, с архангелами. А вот тут,— Тимка ткнул пальцем на еле заметный бугорок,— тут удавленник похоронен. Батька говорил, что сам он, нарочно удавился... слесарь деповский. Вот уж не знаю, как это можно самому, нарочно?

— От плохой жизни, должно быть, Тимка, ведь не от хорошей же?

— Ну-у, что ты! — удивленно и протестующе протянул Тимка.— От какой же это плохой? Разве же она плохая?

— Кто — она?

— Да жизнь-то! Беда, какая хорошая! Как же можно, чтобы смерть лучше была? То бегаешь и все, что хочешь, а то — лежи!

Тимка засмеялся звонким, щебечущим смехом и опять разом замер, точно его оглушили, и, постояв с минутку, сказал шепотом:

— Тише теперь... Она тут где-то, недалеко хоронится... Только хитрая! Ну, да все равно я ее поймаю.

Только к вечеру я вернулся от Тимки. Странный мальчуган, он всего на полтора года моложе меня, а такой маленький, что ему не только двенадцати, а и десяти лет нельзя было дать. Всегда он суетился, товарищ

над ним подсмеивались, частенько щелкали его по затылку, но он никогда надолго не обижался. Когда Тимка просил что-нибудь, ну, скажем, перочинный ножик карандаш очинить, или перо, или решить трудную задачу, то всегда глядел в упор большими круглыми глазами и почему-то виновато улыбался. Он был трусом, но и трусость у него была особая. Не было Тимке большего страха, чем тот, который он испытывал при приближении инспектора или директора. Однажды во время урока пришел швейцар и сказал, что Тимку просят в учительскую. Тимка не мог сразу подняться с парты; потом обвел глазами весь класс, как бы спрашивая: «Да за что же? Ей-богу, ни в чем не виноват». Рябоватое лицо его приняло серый оттенок, и он неуверенно вышел за дверь.

На перемене мы узнали, что вызывали его не для заковывания в кандалы и отправления на каторгу, не для порки и даже не для записи в кондуит, а просто чтобы он расписался за полученный в прошлом году бесплатно учебник арифметики.

Через два дня у нас начались занятия. В классах стоял шум и гомон. Каждый рассказывал о том, как он провел лето, сколько наловил рыбы, раков, ящериц, ежей. Один хвастался убитым ястребом, другой азартно рассказывал о грибах и землянике, третий божился, что поймал живую змею. Были у нас и такие, которые на лето ездили в Крым и на Кавказ — на курорты. Но их было немного. Эти держались особняком, про ежей и землянику не разговаривали, а солидно рассказывали о пальмах, о купаньях и лошадях.

Впервые в этом году нам объявили, что ввиду дороговизны попечитель разрешил взамен суконной формы носить форму из другой, более дешевой материи.

Мать сшила мне гимнастерку и штаны из какой-то материи, которая называлась «чертовой кожей».

Кожа эта действительно, должно быть, была содрана с черта, потому что когда однажды, убегая из монашеского сада от здоровенного инока, вооруженного дубиной, я зацепился за заборный гвоздь, то штаны не разорвались и я повис на заборе, благодаря чему инок успел влепить мне пару здоровых оплеух.

Было еще одно нововведение. К нам прикомандировали офицера, дали деревянные винтовки, которые с виду совсем походили на настоящие, и начали обучать военному строю.

После того письма, которое привез нам от отца безногий солдат, мы не получили ни одного. Каждый раз, когда Федькин отец проходил с сумкой по улице, моя маленькая сестренка, подолгу караулившая его появление, высовывала из окна голову и кричала тоненьким голосом:

— Дядя Сергей! Нам нету от папы?

И тот отвечал неизменно:

— Нету, деточка, нету сегодня!.. Завтра, должно быть, будет.

Но и «завтра» тоже ничего не было.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Однажды, уже в сентябре, Федька засиделся у меня до позднего вечера. Мы вместе заучивали уроки.

Едва мы кончили и он сложил книги и тетради, собираясь бежать домой, как внезапно хлынул проливной дождь.

Я побежал закрывать окно, выходившее в сад.

Налетавшие порывы ветра со свистом поднимали с земли целые груды засохших листьев, несколько крупных капель брызнуло мне в лицо. Я с трудом притянул одну половину окна, высунулся за второй, как внезапно порядочной величины кусок глины упал на подоконник.

«Ну и ветер! — подумал я.— Этак и все деревья переломать может».

Возвращаясь в соседнюю комнату, я сказал Федьке:

— Буря настоящая. Куда ты, дурак, собрался... Такой дождь хлещет! Смотри-ка, какой кусок земли в окно ветром зашвырнуло.

Федька посмотрел недоверчиво:

— Что ты врешь-то? Разве этакий ком зашвырнет?

— Ну вот еще! — обиделся я.— Я же тебе говорю: только я стал закрывать, как плюхнулось на подоконник.

Я посмотрел на ком глины. Не бросил ли кто, на самом деле, нарочно? Но тотчас же я одумался и сказал:

— Глупости какие! Некому бросать. Кого в этакую погоду в сад занесет? Конечно, ветер.

Мать сидела в соседней комнате и шила. Сестренка спала. Федька пробыл у меня еще полчаса. Небо прояснилось. Через мокрое окно заглянула в комнату луна, ветер начал стихать.

— Ну, я побегу,— сказал Федька.

— Ступай. Я не пойду за тобой дверь запирать. Ты захлопни ее покрепче, замок сам защелкнется.

Федька нахлобучил фуражку, сунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и ушел. Я слышал, как гулко стукнула закрытая им дверь.

Я стал снимать ботинки, собираясь ложиться спать. Взглянув на пол, я увидел оброненную и позабытую Федькой тетрадку. Это была та самая тетрадь, в которой мы решали задачи.

«Вот дурной-то,— подумал я.— Завтра у нас алгебра — первый урок... То-то хватится. Надо будет взять ее с собой».

Сбросив одежду, я скользнул под одеяло, но не успел еще перевернуться, как в передней раздался негромкий, осторожный звонок.

— Кого еще это несет? — спросила удивленная мать.— Уж не телеграмма ли от отца?.. Да нет, почтальон сильно за ручку дергает. Ну-ка, пойди отопри.

— Я, мам, разделся уже. Это, мам, наверное, не почтальон, а Федька, он у меня нужную тетрадку забыл, да, должно быть, по дороге спохватился.

— Вот еще идол! — рассердилась мать.— Что он, не мог утром забежать? Где тетрадь-то?

Она взяла тетрадь, надела на босую ногу туфли и ушла.

Мне слышно было, как туфли ее шлепали по ступенькам. Щелкнул замок. И тотчас же снизу до меня донесся заглушенный, сдавленный крик. Я вскочил. В первую минуту я подумал, что на мать напали грабители, и, схватив со стола подсвечник, хотел было разбить им окно и заорать на всю улицу. Но внизу раздался не то смех, не то поцелуй, оживленный, негромкий шепот. Затем зашаркали шаги двух пар ног, подымающихся наверх.

Распахнулась дверь, и я так и прилип к кровати раздетый и с подсвечником в руке.

В дверях, с глазами, полными слез, стояла счастливая, смеющаяся мать, а рядом с нею — заросший щетиной, перепачканный в глине, промокший до нитки, самый дорогой для меня солдат — мой отец.

Один прыжок — и я уже был стиснут его крепкими, загрубелыми лапами.

За стеною в кровати зашевелилась потревоженная шумом сестренка. Я хотел броситься к ней и разбудить ее, но отец удержал меня и сказал вполголоса:

— Не надо, Борис... не буди ее... и не шумите очень.

При этом он обернулся к матери:

— Варюша, если девочка проснется, то не говори ей, что я приехал. Пусть спит. Куда бы ее на эти три дня отправить?

Мать ответила:

— Мы отправим ее рано утром в Ивановское... Она давно просилась к бабушке. Небо прояснилось, кажется. Борис раненько утром отведет ее. Да ты, Алеша, не говори шепотом, она спит очень крепко. За мной иногда по ночам приходят из больницы, так что она привыкла.

Я стоял, раскрыв рот, и отказывался верить всему слышанному.

«Как?.. Маленькую лупоглазую Танюшку хотят чуть свет отправить к бабушке, чтобы она так и не увидела приехавшего на побывку отца? Что же это такое?.. Для чего же?»

— Боря! — сказала мне мать.— Ты ляжешь в моей комнате, а утречком, часов в шесть, соберешь Танюшку и отведешь к бабушке... Да не говори там никому, что папа приехал.

Я посмотрел на отца. Он крепко прижал меня к себе, хотел что-то сказать, но вместо этого еще крепче обнял и промолчал.

Я лег на мамину кровать, а отец и мать остались в столовой и закрыли за собой дверь. Долго я не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, пробовал считать до пятидесяти, до ста — сон не приходил.

В голове у меня образовался какой-то хаос. Стоило мне только начать думать обо всем случившемся, как тотчас же противоречивые мысли сталкивались и несуразные предположения, одно другого нелепей, лезли в

голову. Начинало слегка давить виски так же, как давит голову, когда долго кружишься на карусели.

Только поздно ночью я задремал. Проснулся я от легкого скрипа. В комнату вошел с зажженной свечой отец. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Отец был без сапог. Тихонько, на носках, он подошел к Танюшкиной кроватке и опустил свечу.

Так простоял он минуты три, рассматривая белокурые локоны и розовое лицо спящей девчурки. Потом наклонился к ней. В нем боролись два чувства: желание приласкать дочку и опасение разбудить ее. Второе одержало верх. Быстро выпрямился, повернулся и вышел.

Дверь еще раз скрипнула — свет в комнате погас.

...Часы пробили семь. Я открыл глаза. Сквозь желтые листья березы за окном блестело яркое солнце. Я быстро оделся и заглянул в соседнюю комнату. Там спали. Притворив дверь, я стал будить сестренку.

— А где мама? — спросила она, протирая глаза и уставившись на пустую кровать.

— Маму вызвали в больницу. Мама, когда уходила, сказала мне, чтобы я свел тебя в гости к бабушке.

Сестренка засмеялась и лукаво погрозила мне пальцем:

— Ой, врешь, Борька! Бабушка еще только вчера просила меня к себе, мама не пускала.

— Вчера не пустила, а сегодня передумала. Одевайся скорей... Смотри, какая погода хорошая. Бабушка возьмет тебя сегодня в лес рябину собирать.

Поверив, что я не шучу, сестренка быстро вскочила и, пока я помогал ей одеваться, защебетала:

— Так, значит, мама передумала? Ой, как я люблю, когда мама передумывает! Давай, Борька, возьмем с собой кошку Лизку... Ну, не хочешь кошку, тогда Жучка возьмем. Он веселей... Он меня как вчера лизнул в лицо! Только мама заругалась. Она не любит, чтобы лицо лизали. Жучок один раз лизнул ее, когда она в саду лежала, а она его хворостиной.

Сестренка соскочила с кровати и подбежала к двери.

— Борька, открой мне дверь. У меня там платок в углу лежит и еще коляска.

Я оттащил ее и посадил на кровать.

— Туда нельзя, Танюшка, там чужой дядя спит. Вечером приехал. Я сам тебе принесу платок.

— Какой дядя? — спросила она.— Как в прошлый раз?

— Да, как в прошлый.

— И с деревянной ногой?

— Нет, с железной.

— Ой, Борька! Я еще никогда не видала с железной. Дай я в щелочку посмотрю тихо-онечко... я на цыпочках.

— Я вот тебе посмотрю! Сиди смирно!

Осторожно пробравшись в комнату, я достал платок и вернулся обратно.

— А коляску?

— Ну, выдумала еще, зачем с коляской тащиться? Там тебя дядя Егор на настоящей телеге покатает.

Тропка в Ивановское проходила по берегу Теши. Сестренка бежала впереди, поминутно останавливаясь, то затем, чтобы поднять хворостину, то посмотреть на гусей, барахтавшихся в воде, то еще зачем-нибудь. Я шел потихоньку позади. Утренняя свежесть, желто-зеленая ширь осенних полей, монотонное позвякивание медных колокольчиков пасущегося стада — все это успокаивающе действовало на меня.

И теперь уже та назойливая мысль, которая так мучила меня ночью, прочно утвердилась в моей голове, и я уже не силился отделаться от нее.

Я вспомнил комок глины, брошенный на подоконник. Конечно, это не ветер бросил. Как мог ветер вырвать из грядки такой перепутанный корнями кусок? Это бросил отец, чтобы привлечь мое внимание. Это он в дождь и бурю прятался в саду, выжидая, пока уйдет от меня Федька. Он не хочет, чтобы сестренка видела его, потому что она маленькая и может проболтаться о его приезде. Солдаты, которые приезжают в отпуск, не прячутся и не скрываются ни от кого...

Сомнений больше не было — мой отец дезертир.

На обратном пути я неожиданно в упор столкнулся с училищным инспектором.

— Гориков,— сказал он строго,— это еще что такое?.. Почему вы во время уроков не в школе?

— Я болен,— ответил я машинально, не соображая всей нелепости своего ответа.

— Болен? — переспросил инспектор.— Что вы городите чушь! Больные лежат дома, а не шатаются по улицам.

— Я болен, — упрямо повторил я,— и у меня температура...

— У каждого человека температура,— ответил он сердито.— Не выдумывайте ерунды и марш со мной в школу...

«Вот тебе и на! — думал я, шагая вслед за ним.— И зачем я соврал ему, что болен? Разве я не мог, не называя настоящей причины своего отсутствия в школе, придумать какое-нибудь другое, более правдоподобное объяснение?»

Старичок, училищный доктор, приложил ладонь к моему лбу и, даже не измерив температуры, поставил вслух диагноз:

— Болен острым приступом лени. Вместо лекарства советую четверку за поведение и после уроков на два часа без обеда.

Инспектор с видом ученого аптекаря одобрил этот рецепт и, позвав сторожа Семена, приказал ему отвести меня в класс.

Несчастья одно за другим приходили ко мне в этот день.

Едва только я вошел, как немка Эльза Францисковна окончила спрашивать Торопыгина и, недовольная моим появлением среди урока, сказала:

— Гориков! Коммэн зи хэр! Спрягайте мне глагол «иметь». Их хабэ,— начала она.

— Ду хаст,— подсказал мне Чижиков.

— Эр хат,— вспомнил я сам.— Вир...— Тут я опять запнулся. Ну, положительно мне сегодня было не до немецких глаголов.

— Хастус,— нарочно подсказал мне кто-то с задней парты.

— Хастус,— машинально повторил я.

— Что вы говорите? Где ваша голова? Надо думать, а не слюшать, что глупый мальшик подсказывает. Дайте вашу тетрадь.

— Я позабыл тетрадь, Эльза Францисковна, приготовил уроки, только позабыл все книги и тетради. Я принесу их вам на перемене.

— Как можно забывать все книги и тетради! — возмутилась немка.— Вы не забыли, а вы обманываете. Останьтесь за это на час после уроков.

— Эльза Францисковна,— сказал я возмущенно,— меня и так уже сегодня инспектор на два часа оставил. Куда же еще на час? Что мне, до ночи сидеть, что ли?

В ответ учительница разразилась длиннейшей немецкой фразой, из которой я едва понял, что леность и ложь должны быть наказуемы, и хорошо понял, что третьего часа отсидки мне не избежать.

На перемене ко мне подошел Федька:

— Ты что же это без книг и почему тебя Семен в класс привел?

Я соврал ему что-то. Следующий, последний урок — географию — я провел в каком-то полусне. Что говорил учитель, что ему отвечали — все это прошло мимо моего сознания, и я очнулся, только когда задребезжал звонок.

Дежурный прочел молитву. Ребята, хлопая крышками парт, один за другим вылетали за двери. Класс опустел. Я остался один. «Боже мой,— подумал я с тоской,— еще три часа... целых три часа, когда дома отец, когда все так странно...»

Я спустился вниз. Там возле учительской стояла длинная, узкая, вся изрезанная перочинными ножами скамья. На ней уже сидели трое. Один первоклассник, оставленный на час за то, что запустил в товарища катышком из жеваной бумаги, другой — за драку, третий — за то, что с лестницы третьего этажа старался попасть плевком в макушку проходившего внизу ученика.

Я сел на лавку и задумался. Мимо, громыхая ключами, прошел сторож Семен.

Вышел дежурный надзиратель, время от времени присматривавший за наказанными, и, лениво зевнув, скрылся.

Я тихонько поднялся и через дверь учительской заглянул на часы. Что такое? Прошло всего-навсего только полчаса, а я-то был уверен, что сижу уже не меньше часа.

Внезапно преступная мысль пришла мне в голову: «Что же это, на самом деле? Я не вор и не сижу под стражей. Дома у меня отец, которого я не видел два

года и теперь должен увидеть при такой странной и загадочной обстановке, а я, как арестант, должен сидеть здесь только потому, что это взбрело на ум инспектору и немке?» Я встал, но тотчас же заколебался. Самовольно уйти, будучи оставленным,— это было у нас одним из тягчайших школьных преступлений.

«Нет, подожду уж»,— решил я и направился к скамье.

Но тут приступ непонятной злобы овладел мной. «Все равно,— подумал я,— вон отец с фронта убежал...— тут я криво усмехнулся,— а я отсюда боюсь».

Я побежал к вешалке, кое-как накинул шинель и, тяжело хлопнув дверью, выскочил на улицу.

На многое в тот вечер старался раскрыть мне глаза отец.

— Ну, если все с фронта убегут, тогда что же, тогда немцы завоюют нас? — все еще не понимая и не оправдывая его поступка, говорил я.

— Милый, немцам самим нужен мир,— отвечал отец,— они согласились бы на мир, если бы им предложили. Нужно заставить правительство подписать мир, а если оно не захочет, то тогда...

— Тогда что же?

— Тогда мы постараемся заставить.

— Папа,— спросил я после некоторого молчания,— а ведь прежде, чем убежать с фронта, ты ведь был смелым, ты ведь не из страха убежал?

— Я и сейчас не трус,— улыбнулся он.— Здесь я еще в большей опасности, чем на фронте.

Он сказал это спокойно, но я невольно повернул голову к окну и вздрогнул.

С противоположной стороны прямо к нашему дому шел полицейский. Шел он медленно, вперевалку. Дошел до середины улицы и свернул вправо, направившись к базарной площади, вдоль мостовой.

— Он... не... к нам,— сказал я отрывисто, чуть не по слогам, и учащенно задышал.

На другой день вечером отец говорил мне:

— Борька, со дня на день к вам могут нагрянуть гости. Спрячь подальше игрушку, которую я тебе прислал. Держись крепче! Ты у меня вон уже какой взрос-

лый. Если тебе будут в школе неприятности из-за меня, плюнь на все и не бойся ничего, следи внимательней за всем, что происходит вокруг, и ты поймешь тогда, о чем я тебе говорил.

— Мы увидимся еще, папа?

— Увидимся. Я буду здесь иногда бывать, только не у вас.

— А где же?

— Увидаешь, когда будет надо, вам передадут.

Было уже совсем темно, но у ворот на лавочке сидел сапожник с гармонией, а возле него гомонила целая куча девок и ребят.

— Мне бы пора уже,— сказал отец, заметно волнуясь,— как бы не опоздать.

— Они, папа, до поздней ночи, должно быть, не уйдут, потому что сегодня суббота.

Отец нахмурился.

— Вот еще беда-то. Нельзя ли, Борис, где-нибудь через забор или через чужой сад пролезть? Ну-ка подумай... Ты ведь должен все дыры знать.

— Нет,— ответил я,— через чужой сад нельзя. Слева, у Аглаковых, забор высоченный и с гвоздями, а справа можно бы, но там собака, как волк, злющая... Вот что. Если ты хочешь, то спустимся со мной к пруду, там у меня плот есть, я тебя перевезу задами прямо к оврагу. Сейчас темно, никто не разберет, и место там глухое.

Под грузной фигурой отца плот осел, и вода залила нам подошвы. Отец стоял не шевелясь. Плот бесшумно скользил по черной воде. Шест то и дело застревал в вязком, илистом дне. Я с трудом вытаскивал его из заплесневевшей воды.

Два раза я пробовал пристать к берегу, и все неудачно — дно оврага было низкое и мокрое. Тогда я взял правее и причалил к крайнему саду.

Сад этот был глух, никем не охранялся, и заборы его были поломаны.

Я проводил отца до первой дыры, через которую можно было выбраться в овраг. Здесь мы распрощались.

Я постоял еще несколько минут. Хруст веток под отцовскими тяжелыми шагами становился все тише и тише.

Через три дня мать вызвали в полицию и сообщили ей, что ее муж дезертировал из части. С матери взяли подписку в том, что «сведений о его настоящем местонахождении она не имеет, а если будет иметь, то обязуется немедленно сообщить об этом властям».

Через сына полицмейстера в училище на другой же день стало известно, что мой отец — дезертир.

На уроке закона божьего отец Геннадий произнес небольшую поучительную проповедь о верности царю и отечеству и ненарушимости присяги. Кстати же он рассказал исторический случай, как во время японской войны один солдат, решившись спасти свою жизнь, убежал с поля битвы, однако вместо спасения обрел смерть от зубов хищного тигра.

Случай этот, по мнению отца Геннадия, несомненно доказывал вмешательство провидения, которое достойно покарало беглеца, ибо тигр тот вопреки обыкновению не сожрал ни одного куска, а только разодрал солдата и удалился прочь.

На некоторых ребят проповедь эта произвела сильное впечатление. Во время перемены Христька Торопыгин высказал робкое предположение, что тигр тот, должно быть, вовсе был не тигр, а архангел Михаил, принявший образ тигра.

Однако Симка Горбушин усомнился в том, чтобы это был Михаил, потому что у Михаила ухватки вовсе другие: он не действует зубами, а рубит мечом или колет копьем.

Большинство согласилось с этим, потому что на одной из священных картин, развешанных по стенам класса, была изображена битва ангелов с силами ада. На картине архангел Михаил был с копьем, на котором корчились уже четыре черта, а три других, задрав хвосты, во весь дух неслись к своим подземным убежищам, не хуже, чем германцы от пики Козьмы Крючкова.

Через два дня мне сообщили, что за самовольный побег из школы учительский совет решил поставить мне тройку за поведение.

Тройка обычно означала, что при первом же замечании ученик исключается из училища.

Через три дня мне вручили повестку, в которой говорилось о том, что мать моя должна немедленно полностью внести за меня плату за первое полугодие, от которой я был раньше освобожден наполовину как сын солдата.

Наступили тяжелые дни. Позорная кличка «дезертиров сын» крепко укрепилась за мной. Многие ученики перестали со мною дружить. Другие хотя и разговаривали и не чуждались, но как-то странно обращались со мной, как будто мне отрезало ногу или у меня дома покойник. Постепенно я отдалился от всех, перестал ввязываться в игры, участвовать в набегах на соседние классы и бывать в гостях у товарищей.

Длинные осенние вечера я проводил у себя дома или у Тимки Штукина среди его птиц.

Я очень сдружился с Тимкой за это время. Его отец был ласков со мной. Только мне непонятно было, почему он иногда начнет сбоку пристально смотреть на меня, потом подойдет, погладит по голове и уйдет, позвякивая ключами, не сказав ни слова.

Наступило странное и оживленное время. В городе удвоилось население. Очереди у лавок растягивались на кварталы. Повсюду, на каждом углу, собирались кучки. Одна за другой тянулись процессии с чудотворными иконами. Внезапно возникали всевозможные нелепые слухи. То будто бы на озерах вверх по реке Сереже староверы уходят в лес. То будто бы внизу, у бугров, цыгане сбывают фальшивые деньги и оттого все так дорого, что расплодилась уйма фальшивых денег. А один раз пронеслось тревожное известие, что в ночь с пятницы на субботу будут «бить жидов», потому что война затягивается из-за их шпионажа и измен.

Невесть откуда появилось в городе много бродяг. Только и слышно стало, что там замок сбили, там квартиру очистили. Приехала на постой полусотня казаков. Когда казаки, хмурые, чубастые, с дикой, взвизгивающей и гикающей песней, плотными рядами ехали по улице, мать отшатнулась от окна и сказала:

— Давненько я их... с пятого года уже не видала. Опять орлами сидят, как в те времена.

От отца мы не имели никаких известий. Догадывался я, что он, должно быть, в Сормове, под Нижним Новгородом, но эта догадка была основана у меня толь-

ко на том, что перед уходом отец долго н подробно расспрашнвал у матери о ее брате Николае, работавшем иа вагоностроительном заводе.

Однажды, уже знмою, в школе ко мие подошел Тнмка Штукнн н тнхонько поманил меня пальцем. Меня скорее уднвила, чем заннтересовала его таииствеииость, н я равнодушно пошел за ннм в угол.

Оглянувшнсь, Тнмка сказал мне шепотом:

— Сегодня под вечер приходн к иам. Мой батька обязательно велел прнйтн.

— Зачем я ему нужеи? Что ты еще выдумал?

— А вот и не выдумал. Приходи обязательио, тогда узнаешь.

Лнцо у Тнмкн было при этом серьезиое, казалось даже немного нспугаиным, и я поверил, что Тнмка не шутнт.

Вечером я отправился иа кладбнще. Кружила метель, тусклые фоиари, залеплеииые сиегом, почтн вовсе не освещалн улицы. Для того чтобы попасть к перелеску н на кладбнще, надо было перейти иебольшое поле. Острые снежннкн покалывалн лнцо. Я глубже засунул голову в воротник и зашагал по заметеиной тропке к зелеиому огоньку лампадки, зажжеиной у ворот кладбнща. Зацепнвшись иогой за могильиую плиту, я упал и весь вывалялся в снегу. Дверь сторожкн была заперта. Я постучал — открыли ие сразу, мне пришлось постучаться вторично. За дверямн послышалнсь шагн.

— Кто там? — спросил меия строгий зиакомый бас сторожа.

— Откройте, дядя Федор, это я.

— Ты, что ли, Борька?

— Да я же... Открывайте скорей.

Я вошел в тепло натоплеииую сторожку. На столе стоял самовар, блюдце с медом и лежала коврнга хлеба. Тнмка как ни в чем ие бывало чинил клетку.

— Вьюга? — спроснл он, увидав мое красиое, мокрое лнцо.

— Да еще какая! — ответил я.— Ногу я себе расшнб. Ннчего не видно.

Тнмка рассмеялся. Мне было иепонятно, чему он смеется, и я уднвленно посмотрел на него. Тнмка рассмеялся еще звонче, н по его взгляду я поиял, что он смеется не надо мною, а над чем-то, что иаходится по-

вади меня. Обернувшись, я увидел сторожа, дядю Федора, и своего отца.

— Он уже у нас два дня,— сказал Тимка, когда мы сели за чай.

— Два дня... И ты ничего не сказал мне раньше! Какой же ты после этого товарищ, Тимка?

Тимка виновато посмотрел сначала на своего, потом на моего отца, как бы ища у них поддержки.

— Камень! — сказал сторож, тяжелой рукой хлопая сына по плечу.— Ты не смотри, что он такой неприглядный, на него положиться можно.

Отец был в штатском. Он был весел, оживлен. Расспрашивал меня о моих училищных делах, поминутно смеялся и говорил мне:

— Ничего... Ничего... плюнь на все. Время-то, брат, какое подходит, чувствуешь?

Я сказал ему, что чувствую, как при первом же замечании меня вышибут из школы.

— Ну и вышибут,— хладнокровно заявил он,— велика важность! Было бы желание да голова, тогда и без школы дураком не останешься.

— Папа,— спросил я его,— отчего ты такой веселый и гогочешь? Тут про тебя и батюшка проповедь читал, и все-то тебя как за покойника считают, а ты — вон какой!

С тех пор как я стал невольным сообщником отца, я и разговаривал с ним по-другому: как со старшим, но равным. Я видел, что отцу это нравится.

— Оттого веселый, что времена такие веселые подходят. Хватит, поплакали!.. Ну ладно. Кати теперь домой! Скоро опять увидимся.

Было поздно. Я попрощался, надел шинель и выскочил на крыльцо. Не успел еще сторож спуститься и закрыть за мной засов, как я почувствовал, что кто-то отшвырнул меня в сторону с такой силой, что я полетел головой в сугроб. Тотчас же в сенях раздался топот, свистки, крики. Я вскочил и увидел перед собой городового Евграфа Тимофеевича, сын которого, Пашка, учился со мной еще в приходском.

— Постой,— сказал он, узнав меня и удерживая за руку.— Куда ты? Там и без тебя обойдутся. Возьми-ка у меня конец башлыка да оботри лицо. Ты уж, упаси бог, не ушибся ли головой?

— Нет, Евграф Тимофеевич, не ушибся,— прошептал я.— А как же папа?

— Что же папа? Против закона никто не велел ему идти. Разве же против закона можно?

Из сторожки вывели связанного отца и сторожа. Позади их с шинелью, накинутой на плечи, но без шапки, плелся Тимка. Он не плакал, а только как-то странно вздрагивал.

— Тимка,— строго сказал сторож,— переночуешь у крестного, да скажи ему, чтобы он за домом посмотрел, как бы после обыска чего не пропало.

Отец шел молча и низко наклонив голову. Руки его были завязаны назад. Заметив меня, он выпрямился и крикнул мне подбадривающе:

— Ничего, сынка! Прощай пока! Мать поцелуй и Танюшку. Да не горюй очень: время, брат, идет... веселое!

## II. ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Двадцать второго февраля 1917 года военный суд шестого армейского корпуса приговорил рядового 12-го Сибирского стрелкового полка Алексея Горикова за побег с театра военных действий и за вредную, антиправительственную пропаганду — к расстрелу.

Двадцать пятого февраля приговор был приведен в исполнение. Второго марта из Петрограда пришла телеграмма о том, что восставшими войсками и рабочими занят царский Зимний дворец.

Первым хорошо видимым заревом разгорающейся революции было для меня зарево от пожара барской усадьбы Полутиных.

С чердака дома я до полуночи глядел на огненные языки, дразнившие свежий весенний ветер. Тихонько поглаживая нагревшуюся в кармане рукоятку маузера, самую дорогую память от отца, я улыбался сквозь слезы, еще не высохшие после тяжелой утраты, радуясь тому, что «веселое время» подходит.

В первые дни Февральской революции школа была похожа на муравьиную кучу, в которую бросили горя-

щую головешку. После молитвы о даровании победы часть ученического хора начала было, как и всегда, гимн «Боже, царя храни», однако другая половина заорала «долой», засвистела, загикала. Поднялся шум, ряды учащихся смешались, кто-то запустил булкой в портрет царицы, а первоклассники, обрадовавшись возможности безнаказанно пошуметь, дико завыли котами и заблеяли козами.

Тщетно пытался растерявшийся инспектор перекричать толпу. Визг и крики не умолкали до тех пор, пока сторож Семен не снял царские портреты. С визгом и топотом разбегались взволнованные ребята по классам. Откуда-то появились красные банты. Старшеклассники демонстративно заправили брюки в сапоги (что раньше не разрешалось) и, собравшись возле уборной, нарочно, на глазах у классных наставников, закурили. К ним подошел преподаватель гимнастики офицер Балагушин. Его тоже угостили папиросой. Он не отказался. При виде такого, доселе небывалого, объединения начальства с учащимися окружающие закричали громко «ура».

Однако из всего происходящего поняли сначала только одно: царя свергли и начинается революция. Но почему надо было радоваться революции, что хорошего в том, что свергли царя, перед портретом которого еще только несколько дней тому назад хор с воодушевлением распевал гимны,— этого большинство ребят, а особенно из младших классов, еще не понимало.

В первые дни уроков почти не было. Старшеклассники записывались в милицию. Им выдавали винтовки, красные повязки, и они гордо расхаживали по улицам, наблюдая за порядком. Впрочем, порядка никто нарушать и не думал. Колокола тридцати церквей гудели пасхальными перезвонами. Священники в блестящих ризах принимали присягу Временному правительству. Появились люди в красных рубахах. Сын попа Ионы, семинарист Архангельский, два сельских учителя и еще трое, незнакомых мне, называли себя эсерами. Появились люди и в черных рубахах, в большинстве воспитанники старших классов учительской и духовной семинарий, называвшие себя анархистами.

Большинство в городе сразу примкнуло к эсерам. Немало этому способствовало то, что во время всенародной проповеди после многолетия Временному правитель-

ству соборный священник отец Павел объявил, что Иисус Христос тоже был и социалистом и революционером. А так как в городе у нас проживали люди благочестивые, преимущественно купцы, ремесленники, монахи и божьи странники, то, услышав такую интересную новость про Иисуса, они сразу же прониклись сочувствием к эсерам, тем более что эсеры насчет религии не особенно распространялись, а говорили больше про свободу и про необходимость с новыми силами продолжать войну. Анархисты хотя насчет войны говорили то же самое, но о боге отзывались плохо.

Так, например, семинарист Великанов прямо заявил с трибуны, что бога нет, а если есть бог, то пусть он примет его, Великанова, вызов и покажет свое могущество. При этих словах Великанов задрал голову и плюнул прямо в небо. Толпа ахнула, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса и грянет гром на голову нечестивца. Но так как небеса не разверзались, то из толпы послышались голоса, что не лучше ли, не дожидаясь небесных кар, своими силами набить морду анархисту? Услыхав такие разговоры, Великанов быстро смылся с трибуны и благоразумно скрылся, получив всего только один тычок от богомолки Маремьяны Сергеевны, ехидной старушонки, продававшей целебное масло из лампад иконы Саровской божьей матери и сушеные сухарики, которыми пресвятой угодник Серафим Саровский собственноручно кормил диких медведей и волков.

В общем, меня поразило, как удивительно много революционеров оказалось в Арзамасе. Ну, положительно все были революционерами. Даже бывший земский начальник Захаров нацепил огромный красный бант, сшитый из шелка. В Петрограде и в Москве хоть бои были, полицейские с крыш стреляли в народ, а у нас полицейские добровольно отдали оружие и, одевшись в штатское, мирно ходили по улицам.

Однажды в толпе на митинге я встретился с Евграфом Тимофеевичем, тем самым городовым, который участвовал в аресте моего отца.

Он шел с базара с корзиной, из которой выглядывала бутылка постного масла и кочаны капусты. Он стоял и слушал, о чем говорят социалисты. Заметив меня, приложил руку к козырьку и вежливо поклонился.

— Как живы-здоровы? — спросил он.— Что... тоже

послушать пришли? Послушайте, послушайте... Ваше дело еще молодое! Нам, старикам, и то интересно... Вишь ты, как дело обернулось!

Я сказал ему:

— Помните, Евграф Тимофеевич, как вы приходили папу арестовывать, вы тогда говорили, что «закон», что против закона нельзя идти. А теперь — где же ваш закон? Нету вашего закона, и всем вам, полицейским, тоже суд будет.

Он добродушно засмеялся, и масло в горлышке бутылки заколыхалось.

— И раньше был закон, и теперь тоже будет. А без закона, молодой человек, нельзя. А что судить нас будут, так это — пускай судят. Повесить — не повесят. Начальников наших и то не вешают... Сам государь император и то только под домашним арестом, а уж чего же с нас спрашивать!.. Вон, слышите? Оратор говорит, что не нужно никакой мести, что люди должны быть братьями и теперь, в свободной России, не должно быть ни тюрем, ни казней. Значит, и нам не будет ни тюрем, ни казней.

Он поднял сумку с капустой и ушел вперевалку.

Я посмотрел ему вслед и подумал: «Как же так не нужно?.. Неужели же, если бы отец вырвался из тюрьмы, он позволил бы спокойно расхаживать своему тюремщику и не тронул бы его только потому, что все люди должны быть братьями?»

Я спросил об этом Федьку.

— При чем тут твой отец? — сказал он.— Твой отец был дезертиром, и на нем все равно осталось пятно. Дезертиров и сейчас ловят. Дезертир — не революционер, а просто беглец, который не хочет защищать родину.

— Мой отец не был трусом,— ответил я, бледнея.— Ты врешь, Федька! Моего отца расстреляли за побег и за пропаганду. У нас дома есть приговор.

Федька смутился и ответил примирительно:

— Так что же это я сам выдумал? Об этом во всех газетах пишут. Прочитай в «Русском слове» речь Керенского. Хорошая речь... ее когда на общем собрании в женской гимназии читали, так полза́ла плакало. Там про войну говорится, что надо напрягать все силы, что дезертиры — позор армии и что «над могилами павших в борьбе с немцами свободная Россия воздвигнет памят-

ник неугасаемой славы». Так прямо сказано — «неугасаемой»! А ты еще споришь!

...На трибуну один за другим выходили ораторы. Охрипшими голосами они рассказывали о социализме. Тут же записывали желающих в партию и добровольцев на фронт. Были такие ораторы, которые, взобравшись на трибуну, говорили до тех пор, пока их не стаскивали. На их место выталкивали новых ораторов.

Я все слушал, слушал, и казалось мне, что от всего услышанного голова раздувается, как пустой бычий пузырь. Перепутывались речи отдельных ораторов. И никак я не мог понять, чем отличить эсера от кадета, кадета от народного социалиста, трудовика от анархиста, и из всех речей оставалось в памяти только одно слово:

— Свобода... свобода... свобода...

— Гориков,— услышал я позади себя и почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо.

Около меня стоял неизвестно откуда появившийся ремесленный учитель Галка.

— Откуда вы? — спросил я, искренно обрадовавшись.

— Из Нижнего, из тюрьмы. Идем, милый, ко мне. Я здесь неподалеку комнату снял. Будем пить чай, у меня есть булка и мед. Я так рад, что тебя увидел. Я только вчера приехал и сегодня хотел нарочно к вам зайти.

Он взял меня за руку, и мы стали проталкиваться через гомонливую толпу. На соседней площади мы наткнулись на новую толчею. Здесь горели костры, и вокруг них толпились любопытные.

— Что это такое?

— А... пустое,— ответил, улыбнувшись, Галка.— Анархисты царские флаги жгут. Лучше бы разодрали ситец да роздали, а то мужики ругаются. Сам знаешь, каждая тряпка теперь дорога.

Руки у Галки были худые и длинные. Заваривая чай, он говорил быстро, то и дело улыбаясь:

— Отец твой оставил письмо. Мы с ним вместе сидели, пока его не отправили в корпусной суд. Только у меня сейчас письма нет, оно в корзине на вокзале.

— Семен Иванович,— спросил я за чаем,— вот вы говорите, что с отцом товарищами по партии были. Раз-

ве же он был в партии? Он мне про это никогда не говорил.

— Нельзя было говорить, вот и не говорил.

— И вы тоже не говорили. Когда вас арестовали, то про вас Петька Золотухин рассказывал, что вы шпион.

Галка засмеялся:

— Шпион! Ха-ха-ха! Петька Золотухин? Ха-ха! Золотухину простительно, он глупый мальчишка, а вот когда теперь про нас большие дураки распускают слухи, что мы шпионы,— это, брат, еще смешнее.

— Про кого это про вас, Семен Иванович?

— А про нас, про большевиков.

Я покосился на него.

— Так вы разве большевики, то есть, я хочу сказать, значит, и отец тоже был большевиком?

— Тоже.

— И что это с отцом все не по-людски выходит? — огорченно спросил я, немного подумав.

— Как не по-людски?

— А так. Другие солдаты как солдаты: революционеры так уж революционеры, никто про них ничего плохого не говорит, все их уважают. А отец то дезертиром был, то вдруг оказывается большевиком. Почему большевиком, а не настоящим революционером, ну, хотя бы эсером или анархистом? А то вот, как назло, большевиком. То хоть бы я мог сказать в ответ всем, что моего отца расстреляли за то, что он был революционером, и все бы заткнули рты и никто бы не тыкал в меня пальцем, а то я если скажу, что расстреляли отца как большевика, так каждый скажет — туда ему и дорога, потому что во всех газетах напечатано, что большевики — немецкие наемники и ихний Ленин у Вильгельма на службе.

— Да кто «каждый»-то скажет? — спросил Галка, во время моей горячей речи смотревший на меня смеющимися глазами.

— Да каждый. Кто ни попадется. Все соседи и батюшка на проповеди, вот и ораторы...

— Соседи!.. Ораторы!..— перебил меня Галка.— Глупый! Да твой отец был в десять раз более настоящим революционером, чем все эти ораторы и соседи. Какие у тебя соседи? Монахи, выездновские лабазники, купцы, божьи странники, базарные мясники да мелкие

обыватели. Ведь в том-то и беда, что среди соседей твоих редко-редко сто́ящего человека найдешь. Мы всю эту ораву и не агитируем даже. Пусть перед ними эти красиорубахие пустозвоны рассыпаются. Нам здесь времени тратить нечего, потому что монахи да лабазники все равно нашими помощниками не будут! Ты погоди, вот я тебя сведу, куда мы на митинги ходим. В бараки к раненым, в казармы к солдатам, на вокзал, в деревни. Ты вот там послушай! А тут — нашел судей... Соседи!

Галка рассмеялся.

Отца Тимки Штукина освободили еще в начале революции, но прежнего места ему не возвратили, и церковный староста Синюгин приказал ему немедленно освободить сторожку для вновь нанятого человека.

Никто из купцов не хотел принимать сторожа на работу. Ткнулся он к одному, к другому — нет ли места истопника или дворника,— ничего не вышло.

Синюгин, так тот прямо заявил:

— Я русской армии помогаю. Тысячу рублей на Красный Крест пожертвовал да одних подарков, флажков и портретов Александра Федоровича Керенского больше чем на две сотни в лазареты роздал, а ты дезертиров разводишь. Нет у меня для тебя места.

Не стерпел сторож и ответил:

— Покорно вас благодарю за такие слова. А только дозвольте вам заметить, что ни флажками, ни портретами вы не откупитесь, придет и на вас управа. И ты на меня не гикай! — рассердился внезапно дядя Федор.— Ты думаешь, пузо нарастил, телескоп завел, крокодила говядиной кормишь — так ты царь и бог? Погоди, послушай-ка лучше, что на твоих фабриках народ поговаривает. Ударили, мол, да мало, не дать ли подбавки?

— Я тебя... я тебя упеку! — забормотал ошеломленный Синюгин.— Вон оно что!.. Я на тебя жалобу... У меня завод на армию работает. Меня и теперешнее начальство ценит, а ты... Пошел вон отсюда!

Сторож надел шапку и вышел.

— Революцию устроили... Вся сволочь на прежнем месте. И упрекает еще, когда он и с воинским начальником и в городской думе. Разве же на них, толсторо-

жих, такую революцию надо? На них с гвоздями надо, чтобы продрало. Патриот...— бурчал он, шагая по улицам.— На гнилых сапогах тысячи нажил. Сына-то своего откупил от службы. Воинскому триста сунул да госпитальному доктору пятьсот — сам, пьяный, хвастался. Все вы хороши чужими руками воевать. Портреты Александра Федоровича купил. Взять бы вас да с вашим Александром Федоровичем — на одну осину! Дождались свободы... С праздничком вас Христовым!

Все точно перебесились. Только и было слышно: «Керенский, Керенский...» В каждом номере газеты были помещены его портреты: «Керенский говорит речь», «Население устилает путь Керенского цветами», «Восторженная толпа женщин несет Керенского на руках». Член арзамасской городской думы Феофанов ездил по делам в Москву и за руку поздоровался с Керенским. За Феофановым табунами бегали.

— Да неужели же так и поздоровался?

— Так и поздоровался,— гордо отвечал Феофанов.

— Прямо за руку?

— Прямо за правую руку, да потряс еще.

— Вот! — раздавался кругом взволнованный шепот.— Царь бы ни за что не поздоровался, а Керенский поздоровался. К нему тысячи людей за день приходят, и со всеми он за руку, а раньше бы...

— Раньше был царизм...

— Ясно... А теперь свобода.

— Ура! Ура! Да здравствует свобода!.. Да здравствует Керенский!.. Послать ему приветственную телеграмму.

Надо сказать, что к этому времени каждая десятая телеграмма, проходившая через почтовую контору, была приветственной и адресованной Керенскому. Посылали с митингов, с училищных собраний, с заседаний церковного совета, от думы, от общества хоругвеносцев — ну, положительно отовсюду, где собиралось несколько человек, посылалась приветственная телеграмма.

Однажды пошли слухи о том, что от арзамасского общества любителей куроводства «дорогому вождю» не было послано ни одной телеграммы. В местной еженедельной газетке появилось негодующее опровержение председателя общества Офендулина. Офендулин прямо утверждал, что слухи эти — злостная клевета. Было по-

слано целых две телеграммы, причем в особой сноске редакция удостоверяла, что в подтверждение своего опровержения уважаемый М. Я. Офендулин представил «оказавшиеся в надлежащем порядке квитанции почтово-телеграфной конторы».

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Прошло несколько месяцев с тех пор, как я встретился с Галкой.

На Сальниковой улице, рядом с огромным зданием духовного училища, стоял маленький, окруженный садиком домик. Обыватели, проходя мимо его распахнутых окон, через которые виднелись окутанные махорочным дымом лица, прибавляли шагу и, удалившись на квартал, злобно сплевывали:

— Заседают провокаторы!

Здесь находился клуб большевиков. Большевиков в городе было всего человек двадцать, но домик всегда был набит до отказа. Вход в него был открыт для всех, но главными завсегдатаями здесь были солдаты из госпиталя, пленные австрийцы и рабочие кожевенной и кошмовальной фабрик.

Почти все свободное время проводил там и я. Сначала я ходил туда с Галкой из любопытства, потом по привычке, потом втянуло, завертело и ошарашило. Точно очистки картофеля под острым ножом, вылетала вся шелуха, которой до сих пор была забита моя голова.

Наши большевики не выступали на церковных диспутах и на митингах среди краснорядцев — они собирали толпы у бараков, за городом и в измученных войной деревнях.

Помню, однажды в Каменке был митинг.

— Пойдем обязательно! Схватка будет. От эсеров сам Кругликов выступит. А знаешь, как он поет,— заслушаешься,— сказал мне Галка.— В Ивановском после его речи нам, не разобравшись, сначала чуть было по шее мужики не наклали.

— Пойдемте,— обрадовался я. — Вы чего, Семен Иванович, никогда с собой свой револьвер не берете? Всегда он у вас где попало: то в табак засунете, а вчера я его у вас в хлебнице видел. У меня мой так всег-

да со миой. Я даже, когда спать ложусь, под подушку его кладу.

Галка засмеялся, и борода его, засыпаииая махоркой, заколыхалась.

— Мальчуган! — сказал ои.— Ежели теперь в случае иеудачи мне просто шею иабьют, то попробуй вынуть револьвер, тогда, пожалуй, н костей ие соберешь! Прндет время, и мы возьмемся за револьверы, а пока наше лучшее оружне — слово. Баскаков сегодня от наших выступать будет.

— Что вы! — удивился я.— Баскаков вовсе плохо говорнт. Он н фразы-то с трудом подбнрает. У иего от слова до слова пообедать можио.

— Это он здесь, а ты послушай, как ои иа митннгах разговаривает.

Дорога в Каменку пролегала через старый, подгнивший мост, мнмо покрытых еще не скошеиной травой заливных лугов и мнмо мелкнх протоков, заросшнх высоким густым камышом. Тянулнсь нз города крестьянскне подводы. Шли с базара босоногие бабы с пустыми крннками нз-под молока. Мы ие торопились, ио, когда нас обогнала пролетка, до отказа иабнтая эсерами, мы прибавнлн шагу.

По широкнм улнцам со всех концов двигались к площадн кучкн мужиков нз сосединх селеннй. Мнтинг еще ие начинался, ио гомон и шум слышны были издалека.

В толпе я увндел Федьку. Он шнырял взад-вперед н совал проходившнм какне-то листовки. Заметнв меия, ои подбежал:

— Эгей! И ты пришел... Ух, сегодня и весело будет! Ha вот, возьмн пачку и помогай раздавать.

Он суиул мие десяток лнстовок. Я развернул одну — листовкн были эсеровские, за войну до победы н протнв дезертнрства. Я протянул пачку обратио:

— Нет, Федька, я не буду раздавать такие листовки. Раздавай сам, когда хочешь.

Федька плюнул:

— Дурак ты... Ты что, тоже с инмн? — И он мотиул головой в сторону проходнвшнх Галки н Баскакова.— Тоже хорош... Нечего сказать. А я-то еще на тебя надеялся!

И, презрительно пожав плечами, Федька исчез в толпе.

«Он на меня надеялся,— усмехнулся я.— Что у меня своей головы, что ли, нет?»

— До победы...— услышал я рядом с собой негромкий голос.

Обернувшись, я увидел рябого мужичка без шапки. Он был босиком, в одной руке держал листовку, в другой — разорванную уздечку. Должно быть, он был занят починкой и вышел из избы послушать, о чем будет говорить народ.

— До победы... ишь ты! — как бы с удивлением повторил он и обвел толпу недоумевающим взглядом.

Покачал головой, сел на завалинку и, тыкая пальцем в листовку, прокричал на ухо сидевшему рядом глухому старику:

— Опять до победы... С четырнадцатого года — и все до победы. Как же это выходит, дедушка Прохор?

Выкатили на середину площади телегу. Влез неизвестно кем выбранный председатель — маленький, вертлявый человечек — и прокричал:

— Граждане! Объявляю митинг открытым. Слово для доклада о Временном правительстве, о войне и текущих моментах предоставляется социалисту-революционеру товарищу Кругликову.

Председатель соскочил с телеги. С минуту на «трибуне» никого не было. Вдруг разом вскочил, стал во весь рост и поднял руку Кругликов. Гул умолк.

— Граждане великой свободной России! От имени партии социалистов-революционеров передаю вам пламенный привет.

Кругликов заговорил. Я слушал его, стараясь не проронить ни слова.

Он говорил о тех тяжелых условиях, в которых приходится работать Временному правительству. Германцы напирают, фронт трещит, темные силы — немецкие шпионы и большевики — ведут агитацию в пользу Вильгельма.

— Был царь Николай, будет Вильгельм. Хотите ли вы опять царя? — спрашивал он.

— Нет, хватит! — сотнями голосов откликнулась толпа.

— Мы устали от войны,— продолжал Кругликов.— Разве нам не надоела война? Разве же не пора ее окончить?

— Пора! — еще единодушнее отозвалась толпа.

— Что он говорит по чужой программе? — возмущенно зашептал я Галке.— Разве они тоже за конец войны?

Галка ткнул меня легонько в бок: «Помалкивай и слушай».

— Пора! Ну, так вот видите,— продолжал эсер,— вы все, как один, говорите это. А большевики не позволяют измученной стране скорее, с победой, окончить войну. Они разлагают армию, и армия становится небоеспособной. Если бы у нас была боеспособная армия, мы бы одним решительным ударом победили врага и заключили мир. А теперь мы не можем заключить мира. Кто виноват в этом? Кто виноват в том, что ваши сыновья, братья, мужья и отцы гниют в окопах, вместо того чтобы вернуться к мирному труду? Кто отдаляет победу и удлиняет войну? Мы, социалисты-революционеры, во всеуслышание заявляем: да здравствует последний, решительный удар по врагу, да здравствует победа революционной армии над полчищами немца, и после этого — долой войну и да здравствует мир!

Толпа тяжело дышала клубами махорки; то здесь, то там слышались отдельные одобрительные возгласы.

Кругликов заговорил об Учредительном собрании, которое должно быть хозяином земли, о вреде самочинных захватов помещичьих земель, о необходимости соблюдать порядок и исполнять приказы Временного правительства. Тонкой искусной паутиной он оплетал головы слушателей. Сначала он брал сторону крестьянства, напоминал ему о его нуждах. Когда толпа начинала сочувственно выкрикивать: «Правильно!», «Верно говоришь!», «Хуже уж некуда!», Кругликов начинал незаметно поворачивать. Внезапно оказывалось, что толпа, которая только что соглашалась с ним в том, что без земли крестьянину нет никакой свободы, приходила к выводу, что в свободной стране нельзя захватом отбирать у помещиков землю.

Свою полуторачасовую речь он кончил под громкий гул аплодисментов и ругательств по адресу шпионов и большевиков.

«Ну,— подумал я,— куда Баскакову с Кругликовым тягаться! Вон как все расходились».

К моему удивлению, Баскаков стоял рядом, пыхтел трубкой и не обнаруживал ни малейшего намерения влезать на трибуну.

Столпившиеся возле телеги эсеры тоже были несколько озадачены поведением большевиков. Посовещавшись, они решили, что большевики поджидают еще кого-то, и потому выпустили нового оратора. Оратор этот был намного слабее Круглнкова. Говорил он запинаясь, тихо и, главное, повторял уже сказанное. Когда он слез, хлопков ему уже было меньше.

Баскаков все стоял и продолжал курить. Его узкие, продолговатые глаза были прищурены, а лицо имело добродушно-простоватый вид и как бы говорило: «Пусть их там болтают. Мне-то какое до этого дело! Я себе покуриваю и никому не мешаю».

Третий оратор был не сильнее второго, и, когда он сходил, большинство слушателей засвистело, загикало и заорало:

— Эй, там... председатель!

— Ты, чертова башка! Давай других ораторов!

— Подавай сюда этих большевиков! Что ты им слова не даешь?

В ответ на такое обвинение председатель возмущенно заявил, что слово он дает всем желающим, а большевики сами не просят слова, потому что боятся, должно быть, и он не может их силой заставить говорить.

— Ты не можешь, так мы сможем!

— Наблудили и хоронятся!

— Тащи их за ворот на телегу! Пусть при народе выкладывают всё начистоту...

Рев толпы испугал меня. Я взглянул на Галку. Он улыбался, но был бледен.

— Баскаков,— проговорил он,— хватит. А то плохо кончиться может.

Баскаков кашлянул, как будто у него в горле разорвалось что-то, сунул трубку в карман и вперевалку мимо расступающейся озлобленной толпы пошел к телеге.

Говорить он начал не сразу. Равнодушно посмотрев на толпившихся возле телеги эсеров, он вытер ладонью лоб, потом обвел глазами толпу, сложил огромный кулак дулею, выставил его так, чтобы он был всем виден, и спросил спокойно, громко и с издевкою:

— А этого вы не видели?

Такое необычайное начало речи смутило меня. Удивило оно сразу и мужиков.

Почти тотчас же раздались негодующие выкрики:

— Это штой-то?

— Ты што людям кукиш выставил?

— Ты, пес тебя возьми, словами отвечай, а не фигой, а то по шее получишь!

— Этого не видели? — начал опять Баскаков.— Ну так не горюйте. Они...— тут Баскаков мотнул головой на эсеров,— они вам еще почище покажут. Па-а-ду-умаешь!..— протянул Баскаков, сощурив глаза и качая головой.— Па-а-ду-умаешь... Развесили уши граждане свободной России. А скажите мне, граждане, какая вам есть польза от этой революции? Война была — война есть. Земли не было — земли нет. Помещик жил рядом — жил. А сейчас живет? Живет, живет. Что ему сделается? Вы не гикайте, не храбритесь. Помещика и это правительство в обиду не даст. Вон спросите-ка у водоватовских: пробовали было они до барской земли сунуться, а там отряд. Покрутились-покрутились около. Хоть и хороша землица, да не укусишь. Триста лет, говорите, терпели, так еще мало, еще терпеть захотели? Что ж, терпите. Господь терпеливых любит. Дожидайтесь, пока помещик сам к вам придет и поклонится: «А не надо ли вам землицы? Возьмите Христа ради». Ой, дождетесь ли только? А слыхали ли вы, что в Учредительном собрании, когда еще оно соберется, обсуждать вопрос будут: «Как отдать землю крестьянину — без выкупа либо с выкупом?» А ну-ка, придете домой, посчитаете у себя деньжата, хватит ли выкупить? На то, по-вашему, революция произошла, чтобы свою землю у помещиков выкупать? Да на кой пес, я вас спрашиваю, такая революция нужна была? Разве же без нее нельзя было за свои деньги земли купить?

— Какой еще выкуп! — послышались из толпы рассерженные и встревоженные голоса.

— А вот такой...— Тут Баскаков вынул из кармана смятую листовку и прочел: «Справедливость требует, чтобы за земли, переходящие от помещиков к крестьянам, землевладельцы получили вознаграждение». Вот какой выкуп. Пишут это от партии кадетов, а она тоже будет заседать в Учредительном. Она тоже своего добиваться будет. А вот как мы, большевики, по-простому говорим:

неча нам ждать Учредительного, а давай землю сейчас, чтобы никакого обсуждения не было, никакой оттяжки и никакого выкупа! Хватит... выкупили.

— Вы-икупили!..— сотнями голосов ахнула толпа.

— Какие еще могут быть обсуждения? Этак, может, и опять ничего не достанется.

— Да замолчите вы, окаянные!.. Хай большевик говорит! Может, он еще что-нибудь этакое скажет.

Раскрыв рот, я стоял возле Галки. Внезапный прилив радости и гордости за нашего Баскакова нахлынул на меня.

— Семен Иванович! — крикнул я, дергая Галку за рукав.— А я-то разве думал... Как он с ними... Он даже не речь держит, а просто разговаривает.

«Ой, какой хороший и какой умный Баскаков!» — думал я, слушая, как падают его спокойные, тяжелые слова в гущу взволнованной толпы.

— Мир после победы? — говорил Баскаков.— Что же, дело хорошее. Завоюем Константинополь. Ну прямо как до зарезу нужен нам этот Константинополь! А то еще и Берлин завоюем. Я тебя спрашиваю,— тут Баскаков ткнул пальцем на рябого мужичка с уздечкой, пробравшегося к трибуне,— я спрашиваю: что у тебя немец либо турок взаймы, что ли, взяли и не отдают? Ну, скажи мне на милость, дорогой человек, какие у тебя дела могут быть в Константинополе? Что ты, картошку туда на базар продавать повезешь? Чего же ты молчишь?

Рябой мужичок покраснел, заморгал и, разводя руками, ответил высоким негодующим голосом:

— Да мне же вовсе он и не нужен... Да зачем же он мне сдался?

— Тебе не нужен, ну и мне не нужен и им никому не нужен! А нужен он купцам, чтобы торговать им, видишь, прибыльней было. Так им нужен, пускай они и завоевывают. А мужик тут при чем? Зачем у вас полдеревни на фронт угнали? Затем, чтобы купцы прибыль огребали! Дурни вы, дурни! Большие, бородатые, а всякий вас вокруг пальца окрутить может.

— А ей-богу же, может! — хлопая себя руками, прошептал рябой мужик.— Ей-богу, может.— И, вздохнув глубоко, он понуро опустил голову.

— Так вот мы и говорим вам,— заканчивал Баскаков,— чтобы мир не после победы, не после дождичка

в четверг, не после того, когда будут изувечены еще тысячи рабочих и мужиков, а давайте нам мир сейчас, без всяких побед. Мы еще и на своей земле помещика не победили. Так я говорю, братцы, или нет? Ну, а теперь пусть, кто не согласен, выйдет на это место и скажет, что я соврал, что я неправду сказал, а мне вам говорить больше нечего!

Помню: заревело, застонало. Выскочил побледневший эсер Кругликов, замахал руками, пытаясь что-то сказать. Спихнули его с телеги. Баскаков стоял рядом и закуривал трубку, а рябой мужик, тот, у которого Баскаков спрашивал, зачем ему нужен Константинополь, тянул его за рукав, зазывая в избу чай пить.

— С медом! — каким-то почти умоляющим голосом говорил он.— Осталось маленько. Не обидь же, товарищ! И они, ваши, пускай тоже идут.

Пили кипяток, заваренный сушеной малиной. В избе вкусно пахло сотами.

Мимо окон по пыльной дороге прокатила обратно бричка, набитая эсерами. Наступал сухой, душный вечер. Далеко в городе гудели колокола. Черные монахи тридцати церквей возносили молитвы об успокоении начинавшей всерьез бунтоваться земли.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я пошел на кладбище проститься с Тимкой Штукиным. Вместе с отцом он уезжал на Украину, к своему дяде, у которого был где-то возле Житомира небольшой хутор.

Вещи были сложены. Отец ушел за подводой. Тимка казался веселым. Он не мог стоять на месте, поминутно бросался то в один, то в другой угол, точно хотел напоследок еще раз осмотреть стены сторожки, в которой он вырос.

Но мне казалось, что Тимка не по-настоящему веселый и с трудом удерживается, чтобы не расплакаться. Птиц он своих распустил.

— Всех... Все разлетелись,— говорил Тимка.— И малиновка, и синицы, и щеглы, и чиж. Я, Борька, знаешь, больше всего чижа любил. Он у меня совсем ручной был. Я открыл дверку клетки, а он не вылетает.

Я шугнул его палочкой... Взметнулся он на ветку тополя да как запоет, как запоет!.. Я сел под дерево, клетку на сучок повесил. Сижу, а сам про все думаю: и как мы жили, и про птиц, и про кладбище, и про школу, как все кончилось и уезжать приходится. Долго сидел, думал, потом встаю, хочу взять клетку. Гляжу, а на ней мой чижик сидит. Спустился, значит, сел и не хочет улетать. И мне вдруг так жалко всего стало, что я... я чуть не заплакал, Борька.

— Ты врешь, Тимка,— взволнованно сказал я.— Ты, наверное, и на самом деле заплакал.

— И на самом деле,— дрогнувшим голосом сознался Тимка.— Я, знаешь, Борька, привык. Мне так жаль, что нас отсюда выгнали! Знаешь, я даже тайком от отца к старосте Синюгину ходил проситься, чтобы оставили. Так нет,— Тимка вздохнул и отвернулся,— не вышло. Ему что?.. У него вон какой свой дом...

Последние слова Тимка договорил почти шепотом и быстро вышел в соседнюю комнату. Когда через минуту я зашел к нему, то увидел, что Тимка, крепко уткнувшись лицом в большой узел с подушками, плачет.

На вокзале, подхваченные людской массой, ринувшейся к вагонам подошедшего поезда, Тимка с отцом исчезли.

«Раздавят еще Тимку,— забеспокоился я.— И куда это такая прорва народу едет?»

Перрон был набит до отказа. Солдаты, офицеры, матросы. «Ну, эти-то хоть привыкли и у них служба, а вот те куда едут?» — подумал я, оглядывая кучки расположившихся среди вороха коробок, корзин и чемоданов. Штатские ехали целыми семьями. Бритые озлобленные мужчины с потными от беготни и волнения лбами. Женщины с тонкими чертами лиц и растерянно-усталым блеском глаз. Какие-то старинные мамаши в замысловатых шляпках, ошарашенные сутолокой, упрямые и раздраженные.

Слева от меня на огромном чемодане сидела, придерживая одной рукой перетянутую ремнями постель, другой — клетку с попугаем, какая-то старуха, похожая на одну из тех старых благородных графинь, которых показывают в кино.

Она кричала что-то молодому морскому офицеру, пытавшемуся сдвинуть с перрона тяжелый кованый сундук.

— Оставьте,— отвечал он,— какой тут еще вам носильщик! О черт!.. Слушай! — крикнул он, бросая сундук и поворачиваясь к проходившему мимо солдату.— Эй, ты!.. Ну-ка, помоги втащить вещи в вагон.

Врасплох захваченный солдат, подчиняясь начальственному тону, быстро остановился, опустив руки по швам, но почти тотчас же, как будто устыдившись своей поспешности, под насмешливым взглядом товарищей ослабил вытяжку, неторопливо заложил руку за ремень и, чуть прищурив глаз, хитро посмотрел на офицера.

— Тебе говорят! — повторил офицер.— Ты оглох, что ли?

— Никак нет, не оглох, господин лейтенант, а не мое это дело — ваши гардеробы перетаскивать.

Солдат повернулся и неторопливо, вразвалку пошел вдоль поезда.

— Грегуар!..— выкатив выцветшие глаза, крикнула старуха.— Грегуар, найди жандарма, пусть он арестует, пусть отдаст под суд грубияна!

Но офицер безнадежно махнул рукой и, обозлившись, внезапно ответил ей резко:

— Вы-то еще чего лезете? Что вы понимаете? Какого вам жандарма — с того света, что ли? Сидите да помалкивайте!

Тимка неожиданно высунулся из окошка:

— Эгей! Борька, мы здесь!

— Ну, как вы там?

— Ничего... Мы хорошо устроились. Отец на вещах сидит, а меня матрос к себе на верхнюю полку в ноги пустил. «Только, говорит, не дрыгайся, а то сгоню».

Вспугнутая вторым звонком толпа загомонила еще громче. Отборная ругань смешивалась с французской речью, запах духов — с запахом пота, переливы гармоники — с чьим-то плачем,— и все это разом покрыл мощный гудок паровоза.

— Прощай, Тим-ка!

— Прощай, Борь-ка! — ответил он, высовывая вихор и махая мне рукой.

Поезд скрылся, увозя с собой сотни разношерстного, разноязычного народа, но казалось, что вокзал не освободился нисколько.

— Ух, и прет же! — услышал я рядом с собой голос.— И все на юг, все на юг. На Ростов, на Дон. Как

иа север поезд, так одни солдаты да служнвый народ, а как на юг, то господа так н прут!

— На курорт едут, что ли?

— На курорт...— послышалось насмешливое.— Полечнться от страха, ныиче страхом господа больны.

Мимо ящиков, сундуков, мешков, мимо людей, пнвшнх чай, щелкавшнх семечки, спавших, смеявшнхся и переругнвавшнхся, я пошел к выходу.

Хромой газетчнк Семен Яковлевич выскочил откуда-то и, пробегая с необычной для его деревяииой ноги прытью, заорал тоикнм, скрнпучнм голосом:

— Свежие газеты!.. «Русское слово»!.. Потрясающие подробностн о выступлеиии большевиков! Правнтельство разогнало большевистскую демоистрацню! Есть убитые и раиеиые. Безуспешные поиски главиого большевнка Леннна!..

Газету рвали нз рук — сдачу не спрашивали.

Возвращаясь, я взял чуть правее шоссе н иаправился по узкой тропке, пролегавшей меж колосьев спелой ржн. Спускаясь в овраг, я заметил иа противоположном склоне шагавшего навстречу человека, согнувшегося под тяжестью ношн. Без труда я узиал Галку.

— Борнс,— крнкнул он мие,— ты что здесь делаешь? Ты с вокзала?

— С вокзала, а вы-то куда? Уж ие иа поезд лн? Тогда фьють... опоздали, Семеи Иванович, поезд только что ушел.

«Ремесленый учнтель» Галка остаиовнлся, бухнул тяжелую ношу иа траву и, опускаясь иа землю, проговорнл огорченно:

— Ну н ну! Что же теперь делать мне с этнм? — И он ткнул иогой в завяваиный узел.

— А тут что такое? — полюбопытствовал я.

— Разное... лнтература... Да н так еще кое-что.

— Тогда давайте. Я вам обратио помогу доиести. Вы в клубе оставнте, а завтра поедете.

Галка затряс своей черной и, как всегда, обсыпаиной махоркой бородой:

— В том-то, брат, и дело: что в клуб иельзя. Клуб-то, брат, у нас тю-тю. Нету больше клуба.

— Как нету? — чуть не подпрыгнул я.— Сгорел, что лн? Да я же только утром, как сюда идти, проходил мимо...

— Не сгорел, брат, а закрыли его. Хорошо, что нас свои люди успели предупредить. Там сейчас обыск идет.

— Семен Иванович,— спросил я недоумевая,— да как же это? Кто же это может закрыть клуб? Разве теперь старый режим?.. Теперь свобода. Ведь у эсеров есть клуб, и у меньшевиков, и у кадетов, а анархисты сроду пьяные и вдобавок еще окна у себя снаружи досками заколотили, и то им ничего. А у нас все спокойно, и вдруг закрыли!

— Свобода! — улыбнулся Галка.— Кому, брат, свобода, а кому и нет. Вот что мне с узлом-то делать? Спрятать бы пока до завтра надо, а то назад в город тащить неудобно, отберут еще, пожалуй.

— А давайте спрячем, Семен Иванович! Я место тут неподалеку знаю. Тут, если оврагом немного пройти, пруд будет, а еще сбоку этакая выемка, там раньше глину для кирпичей рыли и в стенках ям много. Туда не только что узел, а телегу с конем спрятать можно. Только говорят, что змеюки там попадаются, а я босиком. Ну, вам-то, в ботинках, можно. Да они если и укусят, то ничего — не помрешь, а только как бы обалдеешь.

Последнее добавление не понравилось Галке, и он спросил, нет ли где поблизости другого укромного местечка, но чтобы без змеюк.

Я ответил, что другого такого места поблизости нету и кругом народ бывает: либо стадо пасется, либо картошку перепалывают, либо мальчишки возле чужих огородов околачиваются.

Тогда Галка взвалил узел на плечо, и мы пошли по берегу ручья. Узел спрятали надежно.

— Беги теперь в город,— сказал Галка.— Я завтра сам заберу его отсюда. Да если увидишь кого из комитетчиков, то передай, что я еще не уехал. Постой...— остановил он меня, заглядывая мне в лицо.— Постой! А ты, брат, не того...— тут он покрутил пальцем перед моим лицом,— не сболтнешь?

— Что вы, Семен Иванович! — забормотал я, съежившись от обидного подозрения.— Что вы! Разве я о ком-нибудь хоть что... когда-нибудь? Да я в школе ни о ком ничего никогда, когда даже в игре, а ведь это же всерьез, а вы еще...

Не дав договорить, Галка потрепал меня по плечу худою цепкою пятерней и сказал, улыбаясь:

— Ну ладно, ладно... Кати... Эх ты, заговорщик!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

За лето Федька вырос и возмужал. Он отпустил длинные волосы, завел черную рубаху-косоворотку и папку. С этой папкой, набитой газетами, он носился по училищным митингам и собраниям. Федька — председатель классного комитета. Федька — делегат от реального в женскую гимназию. Федька — выбранный на родительские заседания. Навострился он такие речи заворачивать — прямо второй Кругликов. Влезет на парту на диспутах: «Должны ли учащиеся отвечать учителям сидя или обязаны стоять?», «Допустима ли в свободной стране игра в карты во время уроков закона божьего?» Выставит ногу вперед, руку за пояс и начнет: «Граждане, мы призываем... обстановка обязывает... мы несем ответственность за судьбы революции...» И пошел, и пошел.

С Федькой у нас что-то не ладилось. До открытой ссоры дело еще не доходило, но отношения портились с каждым днем.

Я опять остался на отшибе.

Только что начала забываться история с моим отцом, только что начал таять холодок между мной и некоторыми из прежних товарищей, как подул новый ветер из столицы; обозлились обитатели города на большевиков и закрыли клуб. Арестовала думская милиция Баскакова, и тут опять я очутился виноватым: зачем с большевиками околачивался, зачем к 1 Мая над ихним клубом на крыше флаг вывешивал, почему на митинге отказался помогать Федьке раздавать листовки за войну до победы?

Листовки у нас все раздавали. Иной нахватает и кадетских, и анархистских, и христианских социалистов, и большевистских — бежит и какая попала под руку, ту и сует прохожему. И этаким все ничего, как будто так и надо!

Как же мог я взять у Федьки эсеровские листовки, когда мне Баскаков только что полную груду своих

прокламаций дал? Как же можно раздавать и те и другие? Ну, хоть бы сходные листовки были, а то в одной — «Да здравствует победа над немцами», в другой — «Долой грабительскую войну». В одной — «Поддерживайте Временное правительство», в другой — «Долой десять министров-капиталистов». Как же можно сваливать их в одну кучу, когда одна листовка другую сожрать готова?

Учеба в это время была плохая. Преподаватели заседали по клубам, явные монархисты подали в отставку. Половину школы заняли под Красный Крест.

— Я, мать, уйду из школы,— говаривал я иногда.— Учебы все равно никакой, со всеми я на ножах. Вчера, например, Коренев собирал с кружкой в пользу раненых; было у меня двадцать копеек, опустил и я, а он перекосился и говорит: «Родина в подачках авантюристов не нуждается». Я аж губу закусил. Это при всех-то! Говорю ему: «Если я сын дезертира, то ты сын вора. Отец твой, подрядчик, на поставках армию грабил, и ты, вероятно, на сборах раненым подзаработать не прочь». Чуть дело до драки не дошло. На днях товарищеский суд будет. Плевал я только на суд. Тоже... судьи какие нашлись!

С маузером, который подарил мне отец, я не расставался никогда. Маузер был небольшой, удобный, в мягкой замшевой кобуре. Я носил его не для самозащиты. На меня никто еще не собирался нападать, но он дорог мне был как память об отце, его подарок — единственная ценная вещь, имевшаяся у меня. И еще потому любил я маузер, что всегда испытывал какое-то приятное волнение и гордость, когда чувствовал его с собой. Кроме того, мне было тогда пятнадцать лет, и я не знал да и до сих пор не знаю ни одного мальчугана этого возраста, который отказался бы иметь настоящий револьвер. Об этом маузере знал только Федька. Еще в дни дружбы я показал ему его. Я видел, с какой завистью осторожно рассматривал он тогда отцовский подарок.

На другой день после истории с Кореневым я вошел в класс, как и всегда в последнее время, ни с кем не здороваясь, ни на кого не обращая внимания.

Первым уроком была география. Рассказав немного о западном Китае, учитель остановился и начал делить-

ся последними газетными новостями. Пока споры да разговоры, я заметил, что Федька пишет какие-то записки и рассылает их по партам. Через плечо соседа в начале одной из записок я успел прочесть свою фамилию. Я насторожился.

После звонка, внимательно наблюдая за окружавшими, я встал, направился к двери и тотчас же заметил, что от двери я отгорожен кучкой наиболее крепких одноклассников. Около меня образовалось полукольцо; из середины его вышел Федька и направился ко мне.

— Что тебе надо? — спросил я.

— Сдай револьвер,— нагло заявил он.— Классный комитет постановил, чтобы ты сдал револьвер в комиссариат думской милиции. Сдай его сейчас же комитету, и завтра ты получишь от милиции расписку.

— Какой еще револьвер? — отступая к окну и стараясь, насколько хватало сил, казаться спокойным, переспросил я.

— Не запирайся, пожалуйста! Я знаю, что ты всегда носишь маузер с собой. И сейчас он у тебя в правом кармане. Сдай лучше добровольно, или мы вызовем милицию. Давай! — И он протянул руку.

— Маузер?

— Да.

— А этого не хочешь? — резко выкрикнул я, показывая ему фигу.— Ты мне его давал? Нет. Ну, так и катись к черту, пока не получил по морде!

Быстро повернув голову, я увидел, что за моей спиной стоят четверо, готовых схватить меня сзади. Тогда я прыгнул вперед, пытаясь прорваться к двери. Федька рванул меня за плечо. Я ударил его кулаком, и тотчас же меня схватили за плечи и поперек груди. Кто-то пытался вытолкнуть мою руку из кармана. Не вынимая руки, я крепко впился в рукоятку револьвера.

«Отберут... Сейчас отберут...»

Тогда, как пойманный в капкан звереныш, я взвизгнул. Я вынул маузер, большим пальцем вздернул предохранитель и нажал спуск.

Четыре пары рук, державших меня, мгновенно разжались. Я вскочил на подоконник. Оттуда я успел разглядеть белые, будто ватные лица учеников, желтую плиту каменного пола, разбитую выстрелом, и превратившегося в библейский соляной столб застрявшего

в дверях отца Геннадия. Не раздумывая, я спрыгнул с высоты второго этажа на клумбы ярко-красных георгин.

Поздно вечером по водосточной трубе, со стороны сада, я пробирался к окну своей квартиры. Старался лезть потихоньку, чтобы не испугать домашних, но мать услышала шорох, подошла и спросила тихонько:

— Кто там? Это ты, Борис?

— Я, мама.

— Не ползи по трубе... сорвешься еще. Иди, я тебе дверь открою.

— Не надо, мама... Пустяки, я и так...

Спрыгнув с подоконника, я остановился, приготовившись выслушать ее упреки и жалобы.

— Есть хочешь? — все так же тихо спросила мать.— Садись, я тебе супу достану, он теплый еще.

Тогда, решив, что мать ничего еще не знает, я поцеловал ее и, усевшись за стол, стал обдумывать, как передать ей обо всем случившемся.

Рассеянно черпая ложкой перепрелый суп, я почувствовал, что мать сбоку пристально смотрит на меня. От этого мне стало неловко, и я опустил ложку на край тарелки.

— Был инспектор,— сказала мать,— говорил, что из школы тебя исключают и что если завтра к двенадцати часам ты не сдашь свой револьвер в милицию, то они сообщат туда об этом, и у тебя отберут его силой. Сдай, Борис!

— Не сдам,— упрямо и не глядя на нее, ответил я.— Это папин.

— Мало ли что папин! Зачем он тебе? Ты потом себе другой достанешь. Ты и без маузера за последние месяцы какой-то шальной стал, еще застрелишь кого-нибудь! Отнеси завтра и сдай.

— Нет,— быстро заговорил я, отодвигая тарелку.— Я не хочу другого, я хочу этот! Это папин. Я не шальной, я никого не задеваю... Они сами лезут. Мне наплевать на то, что исключили, я бы и сам ушел. Я спрячу его и не отдам.

— Бог ты мой! — уже раздраженно начала мать.— Ну, тогда тебя посадят и будут держать, пока не отдашь!

— Ну и пусть посадят,— обозлился я.— Вон и Баскакова посадили... Ну что ж, и буду сидеть, все равно

не отдам... Не отдам! — после небольшого молчания крикнул я так громко, что мать отшатнулась.

— Ну, ну, не отдавай,— уже мягче проговорила она.— Мне-то что? — Она помолчала, над чем-то раздумывая, встала и добавила с горечью, выходя за дверь: — И сколько жизни вы у меня раньше времени посожжете!

Меня удивила уступчивость матери. Это было не похоже на нее. Мать редко вмешивалась в мои дела, но зато уже когда заладит что-нибудь, то не успокоится до тех пор, пока не добьется своего.

Спал крепко. Во сне пришел ко мне Тимка и принес в подарок кукушку. «Зачем, Тимка, мне кукушка?» Тимка молчал. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет?» И она прокуковала — семнадцать. «Неправда,— сказал я,— мне только пятнадцать».— «Нет,— замотал Тимка головой.— Тебя мать обманула».— «Зачем матери меня обманывать?» Но тут я увидел, что Тимка вовсе не Тимка, а Федька — стоит и усмехается.

Проснулся, соскочил с кровати и заглянул в соседнюю комнату — без пяти семь. Матери не было. Нужно было торопиться и спрятать незаметно в саду маузер.

Накинул рубаху, сдернул со стула штаны — и внезапный холодок разошелся по телу: штаны были подозрительно легкими. Тогда осторожно, как бы боясь обжечься, я протянул руку к карману. Так и есть — маузера там не было: пока я спал, мать вытащила его. «Ах, вот оно... вот оно что!.. И она тоже против меня. А я-то поверил ей вчера. То-то она так легко перестала уговаривать меня... Она, должно быть, понесла его в милицию».

Я хотел уже броситься догонять ее.

«Стой!.. Стой!.. Стой!..» — протяжно запели, отбивая время, часы. Я остановился и взглянул на циферблат. Что же это я, на самом деле? Ведь всего только еще семь часов. Куда же она могла уйти? Оглядевшись по углам, я заметил, что большой плетеной корзины нет, и догадался, что мать ушла на базар.

Но если ушла на базар, то не взяла же она с собой маузер? Значит, она спрятала его пока дома. Куда? И тотчас же решил: в верхний ящик шкафа, потому что это был единственный ящик, который запирался на ключ.

И тут я вспомнил, что когда-то, давно еще, мать принесла из аптеки розовые шарики сулемы и для безопасности заперла их в этот ящик. А мы с Федькой хотели сгубить у Симаковых рыжего кота за то, что Симаковы перешибли лапу нашей собачонке. Порывшись в железном хламе, мы тогда подобрали ключ, вытащили один шарик и, кажется, бросили ключ на прежнее место.

Я вышел в чулан и выдвинул тяжелый ящик. Разбрасывая ненужные обломки, гайки, винты, я принялся за поиски.

Обрезал руку куском жести и нашел сразу три заржавленных ключа. Из них какой-то подходит... Должно быть, вот этот.

Вернулся к шкафу. Ключ входил туго... Крак! Замок щелкнул. Потянул за ручку. Есть... маузер... Кобура лежит отдельно. Схватил и то и другое. Запер ящик, ключ через окно выбросил в сад и выбежал на улицу. Оглядевшись по сторонам, я заметил возвращавшуюся с базара мать. Тогда я завернул за угол и побежал по направлению к кладбищу.

На опушке перелеска остановился передохнуть. Бухнулся на ворох теплых сухих листьев и тяжело задышал, то и дело оглядываясь по сторонам, точно опасаясь погони. Рядом протекал тихий, безмолвный ручеек. Вода была чистая, но теплая и пахла водорослями. Не поднимаясь, я зачерпнул горсть воды и выпил, потом положил голову на руки и задумался.

Что же теперь делать? Домой возвращаться нельзя, в школу нельзя. Впрочем, домой можно... Спрятать маузер и вернуться. Мать посердится и перестанет когда-нибудь. Сама же виновата — зачем тайком вытащила? А из милиции придут? Сказать, что потерял,— не поверят. Сказать, что чужой,— спросят, чей. Ничего не говорить — как бы еще на самом деле не посадили! Подлец Федька... Подлец!

Сквозь редкие деревья опушки виднелся вокзал.

У-у-у-у-у! — донеслось оттуда эхо далекого паровозного гудка. Над полотном протянулась волнистая полоса белого пара, и черный, отсюда похожий на жука паровоз медленно выкатился из-за поворота.

У-у-у-у-у! — заревел он опять, здороваясь с дружески протянутой лапой семафора.

«А что, если...»

Я тихонько приподнялся и задумался.

И чем больше я думал, тем сильнее и сильнее манил меня вокзал. Звал ревом гудков, протяжно-певучими сигналами путевых будок, почти что ощущаемым запахом горячей нефти и глубиной далекого пути, убегающего к чужим, незнакомым горизонтам.

«Уеду в Нижний,— подумал я.— Там найду Галку. Он в Сормове. Он будет рад и оставит меня пока у себя, а дальше будет видно. Все утихнет, и тогда вернусь. А может быть...— и тут что-то изнутри подсказало мне: — может быть, и не вернусь».

«Будет так»,— с неожиданной для самого себя твердостью решил я и, сознавая всю важность принятого решения, встал; почувствовав себя крепким, большим, сильным, улыбнулся.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В Нижний Новгород поезд пришел ночью. Сразу же у вокзала я очутился на большой площади. Под огнями фонарей поблескивали штыки новеньких винтовок, отсвечивали повсюду погоны.

С трибуны рыжий бородатый человек говорил солдатам речь о необходимости защищать родину, уверял в неизбежности скорого поражения «проклятых империалистов-немцев».

Он поминутно оборачивался в сторону своего соседа — старенького, седого полковника, который каждый раз, как бы удостоверяя правильность заключений рыжего оратора, одобрительно кивал круглой лысой головой.

Вид у оратора был измученный, он бил себя растопыренной ладонью, поднимал вверх поочередно то одну, то обе руки. Он обращался к сознательности и совести солдат. Под конец, когда ему показалось, что речь его проникла в гущу серой массы, он взмахнул рукой, так что едва не заехал в ухо испуганно отшатнувшегося полковника, и громко запел «Марсельезу». Несколько десятков разрозненных голосов подхватили мотив, но вся солдатская колонна молчала.

Тогда рыжий оратор оборвал на полуслове песню и, бросив шапку оземь, стал слезать с трибуны.

Старик полковник постоял еще немного, беспомощно развел руками и, наклонив голову, придерживаясь за перила, полез вниз.

Оказывается, маршевый батальон отправляли на германский фронт.

До вокзала солдаты пошли с песнями, их закидывали цветами и подарками. Все было благополучно. И уже здесь, на станции, воспользовавшись тем, что благодаря чьей-то нераспорядительности не хватило кипятку в баках и в нескольких вагонах недоставало деревянных нар, солдаты затеяли митинг.

Появились не приглашенные командованием ораторы, и, начав с недостачи кипятку, батальон неожиданно пришел к заключению: «Хватит, повоевали, дома хозяйство рушится, помещичья земля не поделена, на фронт идти не хотим!»

Загорелись костры, запахло смолой расщепленных досок, махоркой, сушеной рыбой, сваленной штабелями на соседних пристанях, и свежим волжским ветром.

Так мимо огней, мимо винтовок, мимо возбужденных солдат, кричавших ораторов, растерянно-озлобленных офицеров я, взволнованный и радостный, зашагал в темноту незнакомых привокзальных улиц.

Первый же прохожий, которого я спросил о том, как пройти в Сормово, ответил мне удивленно:

— В Сормово, милый человек, отсюда никак пройти невозможно. В Сормово отсюда на пароходах ездят. Заплатил полтинник — и садись, а сейчас до утра никаких пароходов нету.

Тогда побродив еще немного, я забрался в один из пустых ящиков, сваленных грудами у какого-то забора, и решил переждать до рассвета. Вскоре заснул.

Разбудила меня песня. Работали грузчики — поднимали скопом что-то тяжелое.

Э-эй, ребятушки, да дружно! —

заводил запевала надорванным, но приятным тенором.

Остальные враз подхватывали резкими, надорванными голосами:

По-оста́-раться еще нужно.

Что-то двинулось, треснуло и заскрипело.

И-э-эх... начать-то мы нача́ли.
А всю сволочь не скачали.

Я высунул голову. Как муравьи, облепившие кусок ржаного хлеба, со всех сторон окружили грузчики огромную ржавую лебедку и по положенным наискосок рельсам втаскивали ее на платформу. Опять невидимый в куче запевала завел:

И-э-эх... прогнали мы Николку,
И-э-эх... да что-то мало толку!

Опять хрустнуло.

А не подняться ли народу,
Чтоб Сашку за ноги да в воду!

Лязгнуло, грохнуло. Лебедка тяжело села на крякнувшую платформу. Песня оборвалась, послышались крики, говор и ругательства.

«Ну и песня! — подумал я.— Про какого же это Сашку? Да ведь это же про Керенского! У нас бы в Арзамасе за такую песню живо сгребли, а здесь милиционер рядом стоит, отвернулся и как будто бы не слышит».

Маленький грязный пароходик давно уже причалил к пристани. Полтинника на билет у меня не было, а возле узкого трапа стояли рыжий контролер и матрос с винтовкой.

Я грыз ногти и уныло посматривал на узенькую полоску маслянистой воды, журчавшей между пристанью и бортом парохода. По воде плыли арбузные корки, щепки, обрывки газет и прочая дрянь.

«Пойти разве попроситься у контролера? — подумал я.— Совру ему что-нибудь. Вот, мол, скажу, сирота. Приехал к больной бабушке. Пропустите, пожалуйста, проехать до старушки».

Маслянистая поверхность мутной воды отразила мое загорелое лицо, подстриженную ежиком крупную голову и крепкую, поблескивавшую медными пуговицами ученическую гимнастерку.

Вздохнув, я решил, что сироту надо оставить в покое, потому что сироты с эдакими здоровыми физиономиями доверия не внушают.

Читал я в книгах, что некоторые юноши, не имея денег на билет, нанимались на пароход юнгами. Но и этот способ не мог пригодиться здесь, когда всего-навсего надо мне было попасть на противоположный берег реки.

— Чего стоишь? Подвинься,— услышал я задорный вопрос и увидел невысокого рябого мальчугана.

Мальчуган небрежно швырнул на ящик пачку каких-то листовок и быстро вытащил из-под моих ног толстый грязный окурок.

— Эх ты, ворона,— сказал он снисходительно.— Окурок-то какой проглядел!

Я ответил ему, что на окурки мне наплевать, потому что я не курю, и, в свою очередь, спросил его, что он тут делает.

— Я-то? — Тут мальчуган ловко сплюнул, попав прямо в середину проплывавшего мимо полена.— Я листовки раздаю от нашего комитета.

— От какого комитета?

— Ясно, от какого... от рабочего. Хочешь, помогай раздавать.

— Я бы помог,— ответил я,— да мне вот на пароход надо в Сормово, а билета нет.

— А что тебе в Сормове?

— К дяде приехал. Дядя на заводе работает.

— Как же это ты,— укоризненно спросил мальчуган,— едешь к дяде, а полтинником не запасся?

— Запасаются загодя,— искренне вырвалось у меня,— а я вот нечаянно собрался и убежал из дому.

— Убежа-ал? — Глаза мальчугана с недоверчивым любопытством скользнули по мне. Тут он шмыгнул носом и добавил сочувственно: — То-то, когда вернешься, отец выдерет.

— А я не вернусь. И потом, у меня нет отца. Отца у меня еще в царское время убили. У меня отец большевик был.

— И у меня большевик,— быстро заговорил мальчуган,— только у меня живой. У меня, брат, такой отец, что на все Сормово первый человек! Хоть кого хочешь спроси: «Где живет Павел Корчагин?» — всякий тебе ответит: «А это в комитете... На Варихе, на заводе Тер-Акопова». Вот какой у меня человек отец!

Тут мальчуган отшвырнул окурок и, поддернув сползавшие штаны, нырнул куда-то в толпу, оставив листовки возле меня. Я поднял одну.

В листовке было написано, что Керенский — изменник, готовит соглашение с контрреволюционным генералом Корниловым. Листовка открыто призывала сверг-

нуть Временное правительство и провозгласить Советскую власть.

Резкий тон листовки поразил меня еще больше, чем озорная песня грузчиков. Откуда-то из-за бочек с селедками вынырнул запыхавшийся мальчуган и еще на бегу крикнул мне:

— Нету, брат!

— Кого нету? — не понял я.

— Полтинника нету. Тут Симона Котылкина из наших увидал. Нету, говорит.

— Да зачем тебе полтинник?

— А тебе-то! — Он с удивлением посмотрел на меня.— Ты бы купил билет, а в Сормове взял у дяди и отдал бы: я, чай, тоже сормовский.

Он повертелся, опять исчез куда-то и опять вскоре вернулся.

— Ну, брат, мы и так обойдемся. Возьми вот мои листовки и кати прямо на пароход. Видишь, там матрос стоит с винтовкой? Это Сурков Пашка. Ты, когда проходить по сходням будешь, повернись к матросу и скажи: с листовками, мол, от комитета, а с контролером и не разговаривай. Прй себе прямо. Матрос свой, он в случае чего заступится.

— А ты?

— Я-то, брат, везде пройду. Я здесь не чужой.

Старенький пароходик, замызганный шелухой и огрызками яблок, давно уже отчалил от берега, а моего товарища все еще не было видно.

Я примостился на груде ржавых якорных цепей и, вдыхая пахнущий яблоками, нефтью и рыбой прохладный воздух, с любопытством разглядывал пассажиров. Рядом со мной сидел не то дьякон, не то монах, притихший и, очевидно, старавшийся быть как можно менее заметным. Он украдкой озирался по сторонам, грыз ломоть арбуза, аккуратно выплевывая косточки в ладонь.

Кроме монаха и нескольких баб с бидонами из-под молока, на пароходе ехали два офицера, четыре милиционера, державшихся поодаль, возле штатского с красной повязкой на рукаве.

Все же остальные пассажиры были рабочие. Сгрудившись кучками, они громко разговаривали, спорили, переругивались, смеялись, читали вслух газеты. Было

похоже иа то, что все оии между собой знакомы, потому что многие из иих бесцеремонно вмешнвались в чужие споры; замечаиия и шутки летели от одного борта к другому.

Впереди вырнсовывалось Сормово. Было безветренное утро. Фабричный дым, собираясь нетающнми клубамн, казался отсюда черными щупальцами ветвей, раскииувшихся иад камеиными стволамн гигантскнх труб.

— Эгей! —услышал я позади себя знакомый голос рябого мальчугана.

Я обрадовался ему, потому что не знал, что делать с листовками.

Он сел рядом иа свернутый канат и, вынув нз кармана яблоко, протянул его мне:

— Возьмн. Мне грузчики полный картуз насыпалн, потому что как новая листовка илн газета, так я нм всегда первым. Вчера целую связку воблы подарили. Им что! Суиул руку в мешок — только-то и делов. А я трн воблы сам съел да две домой прнтащнл: одну Аньке, другую Маньке. Сестры это у меня,— пояснил он н снисходительно добавнл: — Дуры еще девчонкн... Им только жрать подавай.

Оживлениые разговоры виезапио умолкли, потому что штатскнй с красиой повязкой, сопровождаемый мнлиционерами, прииялся иеожидаино проверять докумеиты. Рабочне, молча доставая измятые, замусолениые бумажки, провожалн штатского враждебно-холодными замечаниями.

— Кого ищут-то?

— А пес их зиает.

— К иам бы в Сормово прншли, там понскали бы!

Мнлнцноиеры шли как бы нехотя; видио было, что им иеловко чувствовать на себе десяткн подозрительно иастороженных взглядов.

Не обращая виимания на общее сдержаииое недовольство, штатскнй вызывающе дернул бровями и подошел к моиаху. Монах еще больше съежился и, огорчеиио разведя руками, показал иа висевшую у живота кружку с иадписью: «Милосердные христиаие, пожертвуйте иа восстановлеиие разрушеииых германцами храмов».

Штатский брезгливо усмехиулся и, отворачиваясь от монаха, довольно бесцеремонно потяиул за плечи моего соседа — мальчугаиа.

— Документ?

— Еще подрасту, тогда запасу,— сердито ответил тот.

Пытаясь высвободиться из-под цепкой руки штатского, мальчуган дернулся, потерял равновесие и выронил кипу листовок.

Штатский поднял одну из бумажек, торопливо просмотрел ее и тихо, но зло сказал:

— Документы мал носить, а прокламации — вырос? А ну-ка, захватите его!

Но не только один штатский прочел листовку. Ветер вырвал из рассыпанной пачки десяток беленьких бумажек и разметал их по переполненной людьми палубе. Не успели еще вялые, смущенные милиционеры подойти к рябому мальчугану, как зажужжала, загомонила вся палуба:

— Корнилова бы лучше поискали!

— Моиах без документа ничего, а к мальчишке привязался!

— Тут тебе не город, а Сормово.

— Ну, ну, тише вы! — огрызнулся штатский, растерянно глядя на милиционеров.

— Не нукай, не запрягал! Жандарм переодетый! Видали, как он за листовками кинулся?

Огрызок свежего огурца пролетел мимо фуражки штатского.

Стиснутые со всех сторон повскакавшими пассажирами, милиционеры растерянно оглядывались и встревоженно уговаривали:

— Не налезай, не налезай. Граждане, тише!

Внезапно заревела сирена, и с капитанского мостика кто-то отчаянно заорал:

— От левого борта... от левого борта... пароход опрокинете!

По накренившейся палубе толпа шарахнулась в противоположную сторону. Воспользовавшись этим, штатский зло выругал милиционеров и проскользнул к лестнице капитанского мостика, возле которого стояли два побледневших, взволнованных офицера.

Пароход причалил, рабочие торопливо сходили на пристань. Возле меня опять очутился рябой мальчуган.

Глаза его горели, в растопыренных руках он цепко держал измятый ворох подобранных листовок.

— Приходи! — крикнул он мне.— Прямо на Варниху! Ваську Корчагина спросишь, тебе всякий покажет.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

С удивлением и любопытством поглядывал я на серые от копоти домики, на каменные стены заводов, через черные окна которых поблескивали языки яркого пламени и доносилось глухое рычание запертых машин.

Был обеденный перерыв. Мимо меня прямо через улицу, паром распугивая бродячих собак, покатил паровоз, тащивший платформы, нагруженные вагонными колесами. Разноголосо хрипели гудки. Из ворот выходили толпы потных, усталых рабочих.

Навстречу им неслись стайки босоногих задирчивых ребятишек, тащивших небольшие узелки с мисками и тарелками, от которых пахло луком, кислой капустой и паром.

Кривыми улочками добрался я наконец до переулка, где была квартира Галки.

Я постучал в окно небольшого деревянного домика. Тощая седая старуха, оторвавшись от корыта с бельем, высунула красное, распаренное лицо и сердито спросила, кого мне надо.

Я сказал.

— Нету такого,— ответила она, захлопывая окно.— Жил когда-то, теперь давно уже нету.

Ошеломленный таким сообщением, я отошел за угол и, остановившись возле груды наваленного булыжника, почувствовал, как я устал, как мне хочется есть и спать.

Кроме Галки, в Сормове жил дядя Николай, брат моей матери. Но я совсем не знал, где он живет, где работает и как примет меня.

Несколько часов я шатался по улицам, с тупым упрямством заглядывая в лица проходивших рабочих. Дядю я, конечно, не встретил.

Вконец отчаявшись и почувствовав себя одиноким, никому не нужным, я опустился на небольшую чахлую лужайку, замусоренную рыбьей кожурой и кусками пожелтевшей от дождей известки. Тут я прилег и, закрыв

глаза, стал думать о своей горькой судьбе, о своих неудачах.

И чем больше я думал, тем горше становилось мне, тем бессмысленнее представлялся мой побег из дома.

Но даже сейчас я отгонял мысль о том, чтобы вернуться в Арзамас. Мне казалось, что теперь в Арзамасе я буду еще более одинок: надо мной будут презрительно смеяться, как когда-то над Тупиковым. Мать будет тихонько страдать и еще, чего доброго, пойдет в школу просить за меня директора.

А я был упрям. Еще в Арзамасе я видел, как мимо города вместе с дышавшими искрами и сверкавшими огнями поездами летит настоящая, крепкая жизнь. Мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда назад меня уже не столкнешь.

К забору подошел старик. Нес он ведро, кисть и свернутые в трубку плакаты. Старик густо смазал клейстером доски, прилепил плакат, разгладил его, чтобы не было морщин; поставив на землю ведро, оглянулся и подозвал меня:

— Достань, малый, спички из моего кармана, а то у меня руки в клейстере. Спасибо,— поблагодарил он, когда я зажег спичку и поднес огонь к его потухшей трубке.

Закурив, он с кряхтеньем поднял грязное ведро и сказал добродушно:

— Эх, старость не радость! Бывало, пудовым молотом грохаешь, грохаешь, а теперь ведро понес — рука занемела.

— Давай, дедушка, я понесу,— с готовностью предложил я.— У меня не занемеет. Я вон какой здоровый.

И, как бы испугавшись, что он не согласится, я поспешно потянул ведро к себе.

— Понеси,—охотно согласился старик,— понеси, коли так, оно вдвоем-то быстро управимся.

Продвигаясь вдоль заборов, мы со стариком прошли много улиц.

Только мы останавливались, как сзади нас собирались прохожие, любопытствовавшие поскорее узнать, что такое мы расклеиваем. Увлекшись работой, я совсем позабыл о своих несчастьях. Лозунги были разные, напри-

мер: «Восемь часов работы, восемь сна, восемь отдыха». Но, по правде сказать, лозунг этот казался мне каким-то будничным, неувлекательным. Гораздо больше нравился мне большой синий плакат с густо-красными буквами: «Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма».

Это «светлое царство», которое пролетариат должен был завоевать, увлекало меня своей загадочной, невиданной красотою еще больше, чем далекие экзотические страны манят начитавшихся Майн Рида восторженных школьников. Те страны, как ни далеки они, все же разведаны, поделены и занесены на скучные школьные карты. А это «светлое царство», о котором упоминал плакат, не было еще никем завоевано. Ни одна человеческая нога еще не ступала по его необыкновенным владениям.

— Может быть, устал, парень? — спросил старик, останавливаясь.— Тогда беги домой. Я теперь и один управлюсь.

— Нет, нет, не устал,— проговорил я, с горечью вспомнив о том, что скоро опять останусь в одиночестве.

— Ну, ин ладно,—согласился старик.— Дома только, смотри, чтобы не заругали.

— У меня нет дома,— с внезапной откровенностью сказал я.— То есть у меня есть дом, только далеко.

И, подчиняясь желанию поделиться с кем-нибудь своим горем, я рассказал старику все.

Он внимательно выслушал меня, пристально и чуть-чуть насмешливо посмотрел в мое смущенное лицо.

— Это дело разобрать надо,—сказал он спокойно.— Хотя Сормово и велико, но все же человек — не иголка. Слесарем, говоришь у тебя дядя?

— Был слесарем,— ответил я, ободрившись.— Николаем зовут. Николай Егорович Дубряков. Он партийный, должно быть, как и отец. Может, в комитете его знают?

— Нет, не знаю что-то такого. Ну, да уж ладно. Вот кончим расклеивать, пойдешь со мною. Я тут кой у кого из наших поспрошу.

Старик почему-то нахмурился и пошел, молча попыхивая горячей трубкой.

— Так отца-то у тебя убили? — неожиданно спросил он.

— Убили.

Старик вытер руки о промасленные, заплатанные штаны и, похлопав меня по плечу, сказал:

— Ко мне сейчас зайдешь. Картошку с луком есть будем и кипяток согреем. Чай, ты беда как есть хочешь?

Ведро показалось мне совсем легким. И мой побег из Арзамаса показался мне опять нужным и осмысленным.

Дядя мой отыскался. Оказывается, он был не слесарем, а мастером котельного цеха.

Дядя коротко сказал, чтобы я не дурил и отправлялся обратно.

— Делать тебе у меня нечего... Из человека только тогда толк выйдет, когда он свое место знает,— угрюмо говорил он в первый же день за обедом, вытирая полотенцем рыжие сальные усы.— Я вот знаю свое место... Был подручным, потом слесарем, теперь в мастера вышел. Почему, скажем, я вышел, а другой не вышел? А потому, что он тары да бары. Работать ему, видишь, не нравится, он инженеру завидует. Ему бы сразу. Тебе, скажем, чего в школе не сиделось? Учился бы тихо на доктора или там на техника. Так нет вот... дай помудрю. От лени все это. А по-моему, раз уж человек определился к какому делу, должен он стараться дальше продвинуться. Потихоньку, полегоньку, глядишь — и вышел в люди.

— Как же, дядя Николай? — тихо и оскорбленно спросил я.— Отца, к примеру, взять. Он солдатом был. По-твоему выходит, что нужно ему было в школу прапорщиков поступать. Офицером бы был. Может, до капитана дослужился. А все, что он делал, и то, что, вместо того чтобы в капитаны, он в подпольщики ушел, этого не нужно было?

Дядя нахмурился:

— Я про твоего отца не хочу плохо сказать, однако толку в его поступках мало что-то вижу. Так, баламутный был человек, неспокойный. Он и меня-то чуть было не запутал. Меня контора в мастера только наметила, и вдруг такое дело сообщают мне: вот, мол, какой к вам родственник приезжал. Насилу замял дело.

Тут дядя достал из миски жирную кость, густо смазал ее горчицей, посыпал крупно солью и, вгрызаясь

в мясо крепкими желтыми зубами, недовольно покачал головой.

Когда жена его, высокая красивая баба, подала после обеда узорную глиняную кружку домашнего кваса, он сказал ей:

— Сейчас прилягу, разбудишь через часок. Надо сестре Варваре письмо черкнуть. Борис заодно захватит, когда поедет.

— А когда поедет?

— Ну когда — завтра поедет.

В окно постучали.

— Дядя Миколай,— послышался с улицы голос.— на митинг пойдешь?

— Куда еще?

— На митинг, говорю. Народу на площади собралось уйма.

— А ну их,— отмахнулся рукой дядя,— нужно-то не больно.

Подождав, пока дядя ляжет отдыхать, я тихонько выбежал на улицу.

«А дядя-то у меня, оказывается, выжига! — подумал я.— Подумаешь, шишка какая — мастер! А я-то еще думал, что он партийный. Неужели так-таки и придется в Арзамас возвращаться?»

Две или три тысячи человек стояли около дощатой трибуны и слушали ораторов. Из-за людей мелькнуло знакомое рябое лицо пронырливого Васьки Корчагина. Я окликнул его, но он не услышал меня.

Я пустился догонять его. Раза два его курчавая голова показывалась среди толпы, но потом исчезла окончательно. Я очутился недалеко от трибуны.

Ближе пробраться было трудно. Стал прислушиваться. Ораторы сменялись часто. Запомнился мне один — невзрачный, плохо одетый, с виду такой же рабочий, какие сотнями попадались на сормовских улицах, не привлекая ничьего внимания. Он неловко сдернул сплющенную блином кепку, откашлялся и, напрягая надорванный и, как мне показалось, озлобленный голос, заговорил:

— Вы, товарищи, которые с паровозного, а также с вагонного, да многие и с нефтяники, знаете, что восемь годов я просидел на каторге как политический. И что ж — не успел я только вернуться, не успел свежим воз-

духом подышать, как бац — опять меня на два месяца в тюрьму! Кто запер? Заперли не полицейские старого режима, а прихвостни нового. От царя было не обидно сидеть. От царя сроду наши сидели. А от прихвостней обидно! Генералы да офицеры понавесили красные банты, вроде как друзья революции. А нашего брата чуть что — опять пхают в кутузки. Травят нас и разгоняют. Я не за свою обиду говорю, товарищи, не за то, что два месяца лишних отсидел. Я за нашу, рабочую обиду говорю.

Тут он закашлялся. Отдышавшись, открыл было рот, опять закашлялся. Долго вздрагивал, вцепившись руками в перила, потом замотал головой и полез вниз.

— Доездили человека! — громко и негодующе сказал кто-то.

С серого, насупившегося неба посыпались крупинки первого снега. Срывая последние почерневшие листья, дул сухой холодный ветер. Ноги у меня захолодали. Я хотел выбраться из толпы, чтобы на ходу согреться. Проталкиваясь, я перестал было смотреть на ораторов, но вдруг знакомый высокий голос заставил меня повернуться к трибуне. Снежные крупинки засыпали глаза. Сбоку толкали. Кто-то больно наступил на ногу. Приподнявшись на носки, я с удивлением и радостью увидел на трибуне знакомое бородатое лицо Галки.

Двигая локтями, протискиваясь через плотную, с трудом пробиваемую толпу, я продвигался вперед. Я боялся, что, окончив говорить, Галка смешается с толпой, не услышит моего окрика, и я опять потеряю его. Я тряс фуражкой, чтобы привлечь его внимание, махал растопыренными пальцами. Но он не замечал меня.

Когда я увидел, что Галка уже поднял руку, уже повышает голос и вот-вот кончит говорить, я закричал громко:

— Семен Иванович... Семен Ивано-ви-и-ич!..

Сбоку на меня шикали. Кто-то пихнул меня в спину. А я еще отчаянней заорал:

— Семен Иванови-и-ич!

Я видел, как удивленный Галка неловко развел руками и, скомкав конец фразы, стал торопливо спускаться по лестнице.

Кто-то из обозленных соседей схватил меня за руку и потащил в сторону.

А я, не обращая вннмання на ругательства и тычки, рассмеялся весело, как шальной.

— Ты что хулнгаиншь? — крепко встряхивая, строго спросил тащнвший меня за руку рабочий.

— Я ие хулнганю,— не переставая счастливо улыбаться, отвечал я, подпрыгнвая на озябшнх иогах.— Я Галку нашел... Я Семена Ивановнча...

Вероятно, было в моем лнце что-то такое, от чего серднтый человек улыбнулся сам н спроснл уже не очень сердито:

— Какую еще галку?

— Да ие какую... Я Семена Ивановича... Вои он сам сюда пробирается.

Галка вынырнул, схватнл меня за плечо:

— Ты откуда?

Толпа волиовалась. Площадь неспокойно шумела. Кругом виднелнсь озлобленные, встревожеииые и растеряиные лнца.

— Семен Ивановнч,— иа ходу спроснл я, ие отвечая на его вопрос,— отчего народ шумнт?

— Телеграмма пришла... Только что,— пояснил он скороговоркой.— Керенскнй предает революцию! Корнилов ндет иа Петроград.

Короткне осеннне дии замелькалн передо мною, как никогда не видаиные стаицин, сверкающие огнями иа пути скорого поезда. Сразу же нашлось н мие дело. И я оказался теперь полезиым, втянутым в круговорот стремнтельно развертывавшнхся событнй.

В однн из беспокойиых дней Галка встревожеино сказал мне:

— Бегн, Борис, в комитет. Скажи, что с Варнхн срочио проснлн агитатора и я пошел туда. Найди Ершова, пусть ои вместо меня сходнт в тнпографню. Еслн Ершова не найдешь. то... Дай-ка караидаш... Вот снесн эту записку сам в типографню. Да не в коитору, а передай лучше прямо в руки метранпажу! Помннншь... у Корчагнна был, черный такой, в очках? Ну вот... Сделаешь все, тогда ко мие, иа Вариху. Да еслн в комнтете свежне листовки есть— захватн. Скажешь Павлу, что я просил... Стой, стой!— закрнчал ои озабочеиио вдогои-

ку.— Холодно ведь. Ты бы хоть мой старый плащик накинул!

Но я уже с упоением и азартом, как кавалерийская лошадь, пущенная в карьер, несся, перепрыгивая через лужи и выбоины грязной мостовой.

В дверях партийного комитета, шумного, как вокзал перед отправлением поезда, я налетел на Корчагина. Если б это был не он, а кто-нибудь другой, поменьше и послабее, я, вероятно, сшиб бы его с ног. Об Корчагина же я ударился, как о телеграфный столб.

— Эк тебя носит,— быстро сказал он.— Что ты, с колокольни свалился?

— Нет, не с колокольни,— сконфуженно, потирая зашибленную голову и тяжело дыша, ответил я.— Семен Иванович прислал сказать, что он на Вариху...

— Знаю, звонили уже.

— Еще просили листовки.

—Послано уже, еще что?

— Еще Ершова надо. Пусть в типографию идет. Вот записка.

— Что тут про типографию? Дай-ка записку,— вмешался в разговор незнакомый мне вооруженный рабочий в шинели, накинутой поверх старого пиджака.

— Мудрит что-то Семен,— сказал он, прочитав записку и обращаясь к Корчагину.— Чего он боится за типографию? Я еще с обеда туда свой караул выслал.

К крыльцу подходили новые и новые люди. Несмотря на холод, двери комитета были распахнуты настежь, мелькали шинели, блузы, порыжевшие кожаные куртки. В сенях двое отбивали молотками доски от ящика. В соломе лежали новенькие, густо промазанные маслом трехлинейные винтовки. Несколько таких же уже опорожненных ящиков валялись в грязи около крыльца.

Опять показался Корчагин. На ходу он быстро говорил троим вооруженным рабочим:

— Идите скорей. Сами там останетесь. И никого без пропусков комитета не пускать. Оттуда пришлите кого-нибудь сообщить, как устроились.

— Кого послать?

— Ну, из своих кого-нибудь, кто под руку подвернется.

— Я подвернусь под руку! — крикнул я, испытывая сильное возбуждение и желание не отставать от других.

— Ну возьмите хоть его! Он быстро бегает.

Тут я увидел, что из разбитого ящика берет винтовку почти каждый выходящий из дверей.

— Товарищ Корчагин,— попросил я,— все берут винтовки, и я возьму.

— Что тебе? — недовольно спросил он, прерывая разговор с крепким растатуированным матросом.

— Да винтовку. Что я — хуже других, что ли?

Тут из соседней комнаты громко закричали Корчагина, и он поспешил туда, махнув на меня рукой.

Возможно, что он просто хотел, чтобы я не мешал ему, но я понял этот жест как разрешение. Выхватив из короба винтовку и крепко прижимая ее, пустился вдогонку за сходившими с крыльца дружинниками.

Пробегая через двор, я успел уже услышать только что полученную новость: в Петрограде объявлена Советская власть. Керенский бежал. В Москве идут бои с юнкерами.

# III. ФРОНТ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Прошло полгода.

Письмо, адресованное мною к матери, в солнечный апрельский день было опущено на вокзале.

«Мама!

Прощай, прощай! Уезжаю в группу славного товарища Сиверса, который бьется с белыми войсками корниловцев и калединцев. Уезжает нас трое. Дали нам документы из сормовской дружины, в которой состоял я вместе с Галкой. Мне долго давать не хотели, говорили, что молод. Насилу упросил я Галку, и он устроил. Он бы и сам поехал, да слаб и кашляет тяжело. Голова у меня горячая от радости. Все, что было раньше,— это пустяки, а настоящее в жизни только начинается, оттого и весело...»

На третий день пути, во время шестичасовой стоянки на какой-то маленькой станции, мы узнали о том,



«Р.В.С.»



«Р.В.С.»

что в соседних волостях не совсем спокойно: появились небольшие бандитские шайки и кое-где были перестрелки кулаков с продотрядами. Уже поздно ночью к составу подали паровоз. Я и мои товарищи лежали бок о бок на верхних нарах товарного вагона. Заслышав мерное постукивание колес и скрип раскачиваемого вагона, я натянул на себя покрепче выписанное мне Галкой драповое пальто и собрался спать.

Из темноты слышался храп, покашливание, почесывание. Те, кому удалось протиснуться на нары, спали. С полу же, с мешков, из плотной кучи устроившихся кое-как то и дело доносилось ворчание, ругательства и тычки в сторону напиравших соседей.

— Не пхайся, не пхайся,— спокойно ворчал бас.— Чего ты меня с моего мешка пхаешь? А то я так тебя пхну, что и не запхаешься!

— Гляди-ка, черт! — взвизгнул озлобленный бабий голос.— Куды же ты мне прямо сапожищами в лицо лезешь? А-ах, черт, а-ах, окаянный!

Вспыхнула спичка, тускло осветив шевелившуюся груду сапог, мешков, корзин, кепок, рук и ног, погасла, и стало еще темнее. Кто-то в углу монотонно рассказывал усталым, скрипучим голосом длинную, нудную историю своей печальной жизни. Кто-то сочувственно попыхивал цигаркой. Вагон вздрагивал, как искусанная оводами лошадь, и неровными толчками продвигался по рельсам.

Проснулся я оттого, что один из моих спутников дернул меня за руку. Я поднял голову и почувствовал, как из распахнутого окна струя приятного холодного воздуха освежающе плеснула мне на помятое лицо. Поезд шел тихо, должно быть на подъем. Огромное густое зарево обволокло весь горизонт. Над заревом, точно опаленные огнем пожара, потухали светлячки звезд и таяла побледневшая луна.

— Земля бунтует,— послышалось из темного угла чье-то спокойное, бодрое замечание.

— Плети захотела,— оттого и бунтует,— тихо и озлобленно ответил противоположный угол.

Сильный треск оборвал разговоры. Вагон качнуло, ударило, я слетел с нар на головы расположившихся на полу. Все смешалось, и черное нутро вагона с воплями кинулось в распахнутую дверь теплушки.

Крушение.

Я неловко бухнулся в канаву возле насыпи, еле успел вскочить, чтобы не быть раздавленным спрыгивавшими людьми. Два раза ударили выстрелы. Рядом какой-то человек, широко растопырив дрожащие руки, торопливо говорил:

— Это ничего... Это ничего... Только не надо бежать, а то они откроют стрельбу. Это же не белые, это здешние станичники. Они только ограбят и отпустят.

К вагону подбежали двое с винтовками, крича:

— За...алезай!.. За...алезай обратно! Куда выскочили?

Народ шарахнулся к теплушкам. Оттолкнутый кем-то, я оступился и упал в сырую канаву. Распластавшись, быстро, как ящерица, я пополз к хвосту поезда. Наш вагон был предпоследним, и через минуту я очутился уже наравне с тускло посвечивающим сигнальным фонарем заднего вагона. Здесь стоял мужик с винтовкой. Я хотел было повернуть обратно, но человек этот, очевидно заметив кого-то с другой стороны насыпи, побежал туда. Один прыжок — и я уже катился вниз по скату скользкого глинистого оврага. Докатившись до дна, я встал и потащился к кустам, еле поднимая облипшие глиной ноги.

Ожил лес, покрытый дымкой молодой зелени. Где-то далеко задорно перекликались петухи. С соседней поляны доносилось кваканье вылезших погреться лягушек. Кое-где в тени лежали еще островки серого снега, но на солнечных просветах прошлогодняя жесткая трава была суха. Я отдыхал, куском бересты счищая с сапог пласты глины. Потом взял пучок травы, обмокнул его в воду и вытер перепачканное грязью лицо.

Места незнакомые. Какими дорогами выбираться на ближайшую станцию? Где-то собаки лают — должно быть, деревня близко. Если пойти спросить? А вдруг нарвешься на кулацкую засаду? Спросят — кто, откуда, зачем. А у меня документ да еще в кармане маузер. Ну, документ, скажем, в сапог можно запрятать. А маузер? Выбросить?

Я вынул его, повертел. И жалко стало. Маленький маузер так крепко сидел в моей руке, так спокойно поблескивал вороненой сталью плоского ствола, что я устыдился своей мысли, погладил его и сунул обратно

за пазуху, во внутренний, приделанный к подкладке потайной карман.

Утро было яркое, гомонливое, и, сидя на пенышке посреди желтой полянки, не верилось тому, что есть какая-то опасность.

«Пинь, пинь... таррах» — услышал я рядом с собой знакомый свист. Крупная лазоревая синица села над головой на ветку и, скосив глаз, с любопытством посмотрела на меня.

«Пинь, пинь... таррах... здравствуй!» — присвистнула она, перескочив с ноги на ногу.

Я невольно улыбнулся и вспомнил Тимку Штукина. Он звал синиц дурохвостками. Ведь вот, давно ли еще?.. И синицы, и кладбище, игры... А теперь поди-ка... И я нахмурил лоб. Что же делать все-таки?

Совсем недалеко щелкнул бич и послышалось мычание. «Стадо,— понял я.— Пойду-ка спрошу у пастуха дорогу. Что мне пастух сделает? Спрошу, да и скорей с глаз долой».

Небольшое стадо коров, лениво и нехотя отрывавших клочки старой травы, медленно двигалось вдоль опушки. Рядом шел старик пастух с длинной увесистой палкой. Неторопливой и спокойной походкой гуляющего человека я подошел к нему сбоку:

— Здорово, дедушка!

— Здорово! — ответил он не сразу и, остановившись, начал оглядывать меня.

— Далече ли тут до станции?

— До станции? До какой же тебе станции?

Тут я замялся. Я даже не знал, какая станция мне нужна, но старик сам выручил меня:

— До Алексеевки, что ли?

— Как раз же,— согласился я.— До нее самой. А то я шел, да сплутал немного.

— Откуда идешь-то?

Опять я запнулся.

— Оттуда,— насколько мог спокойнее ответил я, неопределенно махая рукой в сторону видневшейся у горизонта деревушки.

— Гм... оттуда... Значит, с Деменева, что ли?

— Как раз прямо с Деменева.

Тут я услышал ворчание собаки и шаги. Оберну-

шись, я увидел подходившего к старику здоровенного парня, должно быть подпаска.

— Чегой-то тут, дядя Лександр? — спросил он, не переставая жевать ломоть ржаного хлеба.

— Да вот, прохожий человек... Дорогу на станцию Алексеевку спрашивает. А говорит, что идет сам из Деменева.

Парень опустил ломоть и, выпялив на меня глаза, спросил недоумевая:

— То-ись, как же это?

— Я уж и сам не знаю как, когда Деменево в аккурат при самой станции стоит. Что Алексеевка, что Деменево — все одно и то же. И как его сюда занесло?

— В село обязательно отправить надо,—спокойно посоветовал парень.— Пусть там на заставе разбирают. Мало ли чего он набрешет!

Хотя я и не знал еще, что такое за застава, которая «все разберет», и как она разбирать будет, но мне уже не захотелось идти на село по одному тому, что сёла здесь были богатые и неспокойные. И поэтому, не дожидаясь дальнейшего, я сильным прыжком отскочил от старика и побежал от опушки в лес.

Парень скоро отстал. Но проклятая собака успела дважды укусить меня за ногу. Несмотря на толстые голенища сапог, ее острые зубы сумели пройти до кожи. Впрочем, боли я тогда не почувствовал, как не чувствовал нахлестывания веток, растопыривших цепкие пальцы перед моим лицом, ни кочек, ни пней, попадавших под ноги.

Так проблудил я по лесу до вечера. Лес был не дикий, так как торчали пни срубленных деревьев.

Чем больше старался я забраться вглубь, тем реже становились деревья и чаще попадались поляны со следами лошадиных копыт и навоза. Наступала ночь. Я устал, был голоден и исцарапан. Нужно было думать о ночлеге. Выбрав укромное сухое местечко под кустом, положил под голову чурбан и лег. Усталость начала сказываться. Щеки горели, и побаливала прокушенная собакой нога. «Засну,—решил я.— Сейчас ночь, никто меня здесь не найдет. Я устал... засну, а утром что-нибудь придумаю».

Засыпая, вспомнил Арзамас, пруд, нашу войну на плотах, свою кровать со старым теплым одеялом. Еще

вспомнил, как мы с Федькой наловили голубей и изжарили их на Федькиной сковороде. Потом тайком съели. Голуби были такие вкусные...

По верхушкам деревьев засвистел ветер. Пусто и страшно показалось мне в лесу. Теплым, душистым, как жирный праздничный пирог, всплыл в моем воображении прежний Арзамас.

Я крепче натянул на голову воротник и почувствовал, как непрошеная слеза скатилась по щеке. Я все-таки не плакал.

В эту ночь, коченея от холода, я вскакивал, бегал по полянке, пробовал залезть на березу и, чтобы разогреться, начинал даже танцевать. Отогревшись, ложился опять и через некоторое время, когда лесные туманы забирали у меня тепло, вскакивал вновь.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Опять взошло солнце, и стало тепло; затенькали пичужки, и приветливо закричали с неба веселые вереницы весенних журавлей. Я уже улыбался и радовался тому, что ночь прошла и не было больше никаких пасмурных мыслей, кроме разве одной — где бы достать поесть.

Не успел я пройти и двухсот шагов, как услышал гогот гусей, хрюканье свиньи и сквозь листву увидел зеленую крышу одинокого хутора.

«Подкрадусь,— решил я.— Посмотрю, если нет ничего подозрительного, спрошу дорогу и попрошу немного поесть».

Встал за кустом бузины. Было тихо. Людей не было видно, из трубы шел легкий дымок. Стайка гусей вперевалку направлялась в мою сторону. Легкий хруст обломанной веточки раздался сбоку от меня. Ноги разом напряглись, и я повернул голову. Но тотчас же испуг мой сменился удивлением. Из-за куста, в десяти шагах в стороне, на меня пристально смотрели глаза притаившегося там человека. Человек этот не был, очевидно, хозяином хутора, потому что сам спрятался за ветки и следил за двором. Так поглядели мы один на другого внимательно, настороженно, как два хищника, встретившихся на охоте за одной и той же добычей. Потом по

молчаливому соглашению завернули подальше в чащу и подошли один к другому.

Он был одного роста со мной. На мой взгляд, ему было лет семнадцать. Черная суконная тужурка плотно обхватывала его крепкую мускулистую фигуру, но на ней не было ни одной пуговицы — похоже, что пуговицы были не случайно оторваны, а нарочно срезаны. К его крепким брюкам, заправленным в запачканные глиной хромовые сапоги, пристало несколько сухих травинок.

Бледное, измятое лицо с темными впадинами под глазами заставляло думать, что он, вероятно, тоже ночевал в лесу.

— Что,— сказал он негромко, кивая головой в сторону хутора,— думаешь туда?

— Туда,— ответил я.— А ты?

— Не дадут,— проговорил он.— Я видел уже: там трое здоровенных мужиков. Мало ли на что попасть можно.

— А тогда как же... Ведь есть-то надо?

— Надо,—согласился он.— Только не Христа ради. Нынче милостыню не подают. Ты кто? —спросил он и, не дождавшись ответа, добавил: — Ладно... Мы и сами достанем. Одному трудно, я пробовал уже, а вдвоем достанем. Тут в кустах гуси бродят, здоровые.

— Чужие?

Он посмотрел на меня, как бы удивляясь нелепости моего замечания, и добавил тихо:

— Нынче чужого ничего нет — нынче все свое. Ты зайди за полянку и гони тихонько гуся на меня, а я за кустом спрячусь.

Наметив отбившегося от стайки толстого серого гуся, я преградил ему дорогу. Гусь повернулся и неторопливо пошел прочь, иногда останавливаясь и тыкаясь клювом в землю. Шаг за шагом я подвигался, загоняя его к месту засады. Вот он почти поравнялся с кустом и вдруг, насторожившись, изогнул шею и посмотрел в мою сторону, как бы озадаченный настойчивостью моего преследования. Постояв немного, он решительно направился назад, но тут с быстротою кота, бросающегося за выслеженным воробьем, незнакомец метнулся из-за куста и крепко впился руками в гусиную шею. Птица едва успела крикнуть. Загоготало разом встревоженное ста-

до, и незнакомец с трепыхавшимся гусем бросился в чащу. Я за ним.

Долго гусь еще хлопал крыльями, дергал лапами и, обессиленный, затих только тогда, когда мы очутились в укромном глухом овраге. Тогда незнакомец отшвырнул гуся и, доставая табак, сказал, тяжело дыша:

— Хватит.. Здесь можно и остановиться.

Новый товарищ вынул перочинный нож и стал потрошить гуся, молча и изредка поглядывая в мою сторону.

Я набрал хворосту, навалил целую груду и спросил:

— Спички есть?

— Возьми,— и окровавленными пальцами он осторожно протянул коробок.— Не трать много.

Тут я как следует разглядел его. Налет пыли, осевший на коже, не мог скрыть ровной белизны подвижного лица. Когда он говорил, правый уголок его рта чуть вздрагивал и одновременно немного прищуривался левый глаз. Он был старше меня года на два и, по-видимому, сильнее. Пока украденный гусь жарился на вертеле, распространяя вокруг мучительно аппетитный запах, мы лежали на траве.

— Курить хочешь? — спросил незнакомец.

— Нет, не курю.

— Ты в лесу ночевал?.. Холодно,— добавил он, не ожидая ответа.— Ты как сюда попал? Тоже оттуда? — И он махнул рукой в сторону полотна железной дороги.

— Оттуда. Я убежал с поезда, когда его остановили.

— Документы проверяли?

— Нет,— удивился я.— Какие там документы — бандиты напали.

— А-а-а...— И он молча запыхтел папиросой.

— Ты куда пробираешься? — после долгого молчания неожиданно спросил он.

— Я на Дон...— начал было я и замолчал.

— На До-он? — протянул он, привставая.— Ты... на Дон?

Быстрая и недоверчивая улыбка пробежала по его тонким потрескавшимся губам, прищуренные глаза широко раскрылись, но тотчас же потухли, лицо его стало равнодушным, и он спросил лениво:

— Что же у тебя там, родные, что ли?

— Родные...— ответил я осторожно, потому что почувствовал, как он старается выпытать все обо мне, а сам умышленно остается в тени.

Он опять замолчал, повернул на другой бок гуся, с которого скатывались капли шипящего жира, и сказал спокойно:

— Я тоже в те места пробираюсь, только не к родным, а в отряд.

— К Сиверсу? — чуть не крикнул я, обрадовавшись.

Он улыбнулся:

— Не к Сиверсу, а к Саблину.

— Ну, так это все равно: они же всегда работали почти рядом. Хорошо-то как. Я ведь нарочно сказал тебе, что к родным, я сам к Сиверсу... Нас трое было, только я отбился. Как же ты сюда попал?

Он рассказал мне, что учился в Пензе, приехал к дяде-учителю в находившуюся неподалеку отсюда волость, но в волости восстали кулаки, и он еле успел убежать.

Уплетая разорванного на части, обгоревшего и пахнувшего дымом гуся, мы долго и дружески болтали с ним. Я был счастлив, что нашел себе товарища. Прибавилось сразу бодрости, и казалось, что теперь вдвоем нетрудно будет выкрутиться из ловушки, в которую мы оба попали.

— Ляжем спать, пока солнце,— предложил новый товарищ.— Сейчас хоть выспимся, а то ночью из-за холода глаз не сомкнуть.

Мы растянулись на лужайке, и вскоре я задремал. Вероятно, я и уснул бы, если бы не муравей, заползший мне в ноздрю. Я приподнялся и зафыркал. Товарищ уже спал. Ворот его гимнастерки был расстегнут, и на холщовой подкладке я увидел вытисненные черной краской буквы: «Гр. А. К. К.».

«Какое же это училище? — подумал я.—У меня, например, на пряжке пояса буквы А. Р. У., то есть Арзамасское реальное училище. А здесь Гр., потом А. К. К.». И так я прикидывал и этак — ничего не выходило. «Спрошу, когда проснется»,— решил я.

После жирной еды мне захотелось пить. Воды поблизости не было, я решил спуститься на дно оврага, где, по моим предположениям, должен был пробегать ручей. Ручей нашел, но из-за вязкого берега подойти к

к нему было трудно. Я пошел вниз, надеясь разыскать более сухое место. По дну оврага, параллельно течению ручья, пролегала неширокая проселочная дорога. На сырой глине я увидел отпечатки лошадиных подков и свежий конский навоз. Похоже было на то, что утром здесь прогоняли табун. Наклонившись, чтобы поднять выпущенную из рук палочку, я заметил на дороге какую-то блестящую втоптанную в грязь вещичку. Я поднял ее и вытер. Это была сорванная с зацепки жестяная красная звездочка, одна из тех непрочных, грубовато сделанных звездочек, которые красными огоньками горели в восемнадцатом году на папахах красноармейцев, на блузах рабочих и большевиков.

«Как она очутилась здесь?» — подумал я, внимательно оглядывая дорогу. И, опять наклонившись, заметил пустую гильзу от трехлинейной винтовки.

Позабыв даже напиться, я понесся обратно к оставшемуся товарищу. Товарищ почему-то не спал и стоял возле куста, осматриваясь по сторонам и, по-видимому, разыскивая меня.

— Красные! — крикнул я во все горло, подбегая к нему сбоку.

Он отпрыгнул согнувшись, как будто сзади его раздался выстрел, и обернулся ко мне с перекошенным от страха лицом.

Но, увидев только одного меня, он выпрямился и сказал сердито, пытаясь объяснить свой испуг:

— Ч-черт... гаркнул под самое ухо... Я не понял сначала, кто это.

— Красные,— гордо повторил я.

— Где красные? Откуда?

— Сегодня утром проходили. По всей дороге следы от подков, навоз совсем свежий... Гильза стреляная и вот это...— Я протянул ему звездочку.

Товарищ облегченно вздохнул:

— Ну, так бы и говорил.— И опять добавил, как бы оправдываясь: — А то кричит... Я черт знает что подумал.

— Идем скорей... идем по той же дороге. Дойдем до первой деревни, они, может быть, там еще отдыхают. Идем же,— торопил я,— чего раздумывать?

— Идем,— согласился он, как мне показалось, после некоторого колебания.— Да, да, конечно, идем.

Он провел рукой по шее, и опять передо мной мелькнули буквы на холщовой подкладке: «Гр. А. К. К.».

— Слушай,— спросил я,— что означают у тебя эти буквы?

— Какие еще буквы? — недовольно спросил он, наглухо застегиваясь.

— А на воротнике?

— Черт их знает. Это не мой костюм. Я купил его по случаю.

— А-а... А я бы никогда не сказал, что по случаю,—весело, шагая рядом с ним, говорил я.— Костюм как нарочно по тебе сшит. Мне раз мать купила штаны по случаю, так сколько, бывало, ни подтягивай, всё сваливаются.

Чем ближе мы подходили к незнакомой деревеньке, тем чаще и чаще останавливался мой товарищ.

— Нечего торопиться,— убеждал он,— вечером в сумерках удобнее подойти будет. В случае, если отряда там нет, нас никто не заметит. Пройдем задами, да и только. А то сейчас чужому человеку в незнакомой местности опасно!

Я соглашался с ним, что в сумерках разведать безопаснее, но меня брало нетерпение скорее попасть к своим, и я еле сдерживал шаг.

Не доходя до деревеньки, мой спутник остановился у заросшей кустарником лощины, предложил свернуть с дороги и обсудить, как быть дальше. В кустах он сказал мне:

— Я так думаю, что вдвоем на рожон переть нечего. Давай — один останется здесь, а другой проберется огородами к деревне и разузнает. Меня что-то сомнение берет. Тихо уж очень, и собаки не лают. Красных там, может, и нет, а кулачье с винтовками наверное найдется.

— Давай тогда вдвоем проберемся.

— Вдвоем хуже. Чудак! — И он дружески похлопал меня по плечу.— Ты останься, а я один как-нибудь управлюсь, а то зачем тебе понапрасну рисковать? Ты ожидай меня здесь.

«Хороший парень,— подумал я, когда он ушел.— Странный немного, а хороший. Иной бы опасное на другого свалил или предложил жребий тянуть, а этот сам идти вызвался».

Вернулся он через час — раньше, чем я ожидал. В руках его была увесистая, по-видимому только что срезанная и обструганная дубинка.

— Скоро ты! — крикнул я.— Ну что же?

— Нету,— еще издалека замотал он головой.— И нет и не было вовсе! Должно быть, красные завернули на другую дорогу, к Суглинкам, это недалеко отсюда.

— Да хорошо ли ты узнал? — переспросил я упавшим голосом.— Неужели так и нет?

— Так-таки и нет. Мне в крайней избе старуха сказала, да еще мальчишка в огороде попался, тот тоже подтвердил. Видно, брат, заночуем здесь, а завтра дальше вслед.

Я опустился на траву и задумался. И тут-то подкралось ко мне первое сомнение в правдивости слов моего спутника. Смутила меня его палка. Палка была тяжелая, дубовая, вырезанная налобком, то есть с шишкой на конце. Видно было, что он вырезал ее только что. До деревни отсюда около часа ходьбы. Если крадучись пробираться да порасспросить и вернуться, тут как раз в два часа еле-еле управишься, а он ходил никак не больше часа и за это время успел еще дубовую палку вырезать и обделать. А над нею одной с перочинным ножом возни не меньше получаса! Неужели он струсил, ничего не разузнал и просидел все время в кустах? Нет, не может быть, он же сам вызвался идти разузнать. Зачем же тогда было ему вызываться? Да он и не похож на труса. Конечно, страшно, нечего и говорить, но ему и самому надо ведь как-то выбираться. Натаскали охапку сухих листьев и улеглись рядом, укрывшись моим пальто. Так лежали молча с полчаса. Сырость от земли начинала холодить бок. «Листьев набрали мало»,— подумал я и поднялся.

— Ты чего? — полусонным недовольным голосом спросил товарищ.— Чего тебе не спится?

— Сыро... Ты лежи, я сейчас еще охапки две подброшу.

Рядом листву мы уже подобрали, и я пошел в кусты поближе к дороге. Луна только еще всходила, и в темноте было трудно разобраться. Попадались под руку сучья и ветки. Тихий стук донесся со стороны дороги. Кто-то не то шел, не то ехал. Бросив охапку и стараясь не задевать веток, я направился к дороге.

По сырой, мягкой земле неторопливо и почти бесшумно подвигалась крестьянская подвода. Разговаривали вполголоса двое.

— Да ведь как сказать,— спокойно говорил один.— Да ведь если разобраться, он, может, и правильно говорил.

— Командир-от? — переспросил другой.— Конешно, может, и правильно. Да кабы они тут постоянно стояли, а то ныне приехали, поговорили — и дальше. А там придут опять наши заправилы и хотя бы мне, к примеру, скажут: «Ах, такой-разэдакий, ты кулаков показывал, душа из тебя вон!» Красным что... Побыли, а сегодня опять подводы наряжают, а наши-то всегда около. Вот тут и почеши затылок!

— Подводы наряжают?

— А то как же. С вечеру стучал Федор, солдат ихний, чтобы, значит, к двенадцати подводу.

Голоса стихли. Я стоял, не зная, что думать. Значит, правда, значит, красные все-таки в деревне. Значит, мой спутник обманул меня. Красные уезжают, а потом ищи их опять. Надо скорее. Но зачем он обманул меня?

Первою мыслью было броситься одному и бежать по дороге на деревню. Но тут я вспомнил, что пальто мое осталось на полянке. «Надо все-таки вернуться, успею еще. Да и этому сказать надо, хоть он и трус, а все-таки свой же».

Сбоку шорох. Я увидел, что мой товарищ выходит из-за кустов. Очевидно, он пошел вслед за мной и, так же спрятавшись, подслушивал разговор проезжавших мужиков.

— Ты что же это? — укоризненно и сердито начал было я.

— Идем! — вместо ответа возбужденно проговорил он.

Я сделал шаг в сторону дороги, он — за мной.

Сильный удар дубины сбил меня с ног. Удар был тяжел, хотя его и ослабила моя меховая шапка. Я открыл глаза. Опустившись на корточки, мой спутник торопливо разглядывал при лунном свете вытащенный из кармана моих штанов документ.

«Вот что ему нужно было,— понял я.— Вот оно что: он вовсе и не трус, он знал, что в деревне красные и нарочно не сказал этого, чтобы оставить меня ночевать и

обокрасть. Он даже и не повстанец, потому что сам боится кулаков, он — настоящий белый».

Я сделал попытку привстать, с тем чтобы отползти в кусты. Незнакомец заметил это, сунул документы в свою кожаную сумку и подошел ко мне.

— Ты не сдох еще? — холодно спросил он.— Собака, нашел себе товарища! Я бегу на Дон, только не к твоему собачьему Сиверсу, а к генералу Краснову.

Он стоял в двух шагах от меня и помахивал тяжелой дубиной.

Тут-тук...— стукнуло сердце.— Тук-тук...— настойчивее заколотилось оно обо что-то крепкое и твердое. Я лежал на боку, и правая рука моя была на груди. И тут я почувствовал, как мои пальцы осторожно, помимо моей воли, пробираются за пазуху, в потайной карман, где был спрятан папин подарок — мой маузер.

Если незнакомец даже и заметил движение моей руки, он не обратил на это внимания, потому что не знал ничего про маузер. Я крепко сжал теплую рукоятку и тихонько сдернул предохранитель. В это время мой враг отошел еще шага на три — то ли затем, чтобы лучше оглядеть меня, а вернее всего затем, чтобы с разбегу еще раз оглушить дубиной. Сжав задергавшиеся губы, точно распрямляя затекшую руку, я вынул маузер и направил его в сторону приготовившегося к прыжку человека.

Я видел, как внезапно перекосилось его лицо, слышал, как он крикнул, бросаясь на меня, и скорее машинально, чем по своей воле, нажал спуск...

Он лежал в двух шагах от меня со сжатыми кулаками, вытянутыми в мою сторону. Дубинка валялась рядом.

«Убит»,— понял я и уткнул в траву отупевшую голову, гудевшую, как телеграфный столб от ветра.

Так, в полузабытьи, пролежал я долго. Жар спал. Кровь отлила от лица, неожиданно стало холодно, и зубы потихоньку выбивали дробь. Я приподнялся, посмотрел на протянутые ко мне руки, и мне стало страшно. Ведь это уже всерьез! Все, что происходило в моей жизни раньше, было в сущности похоже на игру, даже побег из дома, даже учеба в боевой дружине со славными сормовцами, даже вчерашнее шатанье по лесу, а это уже всерьез. И страшно стало мне, пятнадцатилетнему мальчугану, в черном лесу рядом с по-настоящему уби-

тым мною человеком... Голова перестала шуметь, и холодной росой покрылся лоб.

Подталкиваемый страхом, я поднялся, на цыпочках подкравшись к убитому, схватил валявшуюся на траве сумку, в которой был мой документ, и задом, не спуская с лежавшего глаз, стал пятиться к кустам. Потом обернулся и напролом через кусты побежал к дороге, к деревне, к людям — только бы не оставаться больше одному.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

У первой хаты меня окликнули:

— Кого черт несет? Эй, хлопец! Да стой же ты, балда этакая!

Из тени от стены хаты отделилась фигура человека с винтовкой и направилась ко мне.

— Куда несешься? Откуда? —спросил дозорный, поворачивая меня лицом к лунному свету.

— К вам...— тяжело дыша, ответил я.— Ведь вы товарищи...

Он перебил меня:

— Мы-то товарищи, а ты-то кто?

— Я тоже..— отрывисто начал было я. И, почувствовав, что не могу отдышаться и продолжать говорить, молча протянул ему сумку.

— Ты тоже? — уже веселее, но еще с недоверием переспросил дозорный.— Ну, пойдем тогда к командиру, коли ты тоже!

Несмотря на поздний час, в деревне не спали. Ржали кони. Скрипели распахиваемые ворота — выезжали крестьянские подводы, и кто-то орал рядом:

— До-ку-кин!.. До-ку-кин!.. Куда ты, черт, делся?

— Чего, Васька, горланишь? — строго спросил мой конвоир, поравнявшись с кричавшим.

— Да Мишку ищу,— рассерженно ответил тот.— Нам сахар на двоих выдали, а ребята говорят, что его с караулом к эшелону вперед отсылают.

— Ну и отдаст завтра.

— Отдаст, дожидайся! Будет утром чай пить и сопьет зараз. Он на сладкое падкий, черт!

Тут говоривший заметил меня и, сразу переменив тон, спросил с любопытством:

— Кого это ты, Чубук, поймал? В штаб ведешь? Ну, веди, веди. Там ему покажут. У, сволочь...— неожиданно выругал он меня и сделал движение, как бы намереваясь подтолкнуть меня концом приклада.

Но мой конвоир отпихнул его и сказал сердито:

— Иди, иди... Тебя тут не касается. Нечего на человека допрежь времени лаять. Вот кобель-то, ей-богу, истинный кобель!

Дзинь-динь!.. Дзик-дзак!..— послышался металлический лязг сбоку. Человек в черной папахе, при шпорах, с блестящим волочившимся палашом, с деревянной кобурой маузера и нагайкой, перекинутой через руку, выводил коня из ворот. Рядом шел горнист с трубой.

-- Сбор,— сказал человек, занося ногу в стремя.

Та-та-ра-та... тата...— мягко и нежно запела сигнальная труба.— Та-та-та-та-а-а...

— Шебалов,— окрикнул мой провожатый,— погодь минутку! Вот до тебя тут человека привел.

— На што? — не опуская занесенной в стремя ноги, спросил тот.— Что за человек?

— Говорит, что наш... свой, значит... и документы...

— Некогда мне,— ответил командир, вскакивая на коня.— Ты, Чубук, и сам грамотный, проверь... Коли свой, так отпусти, пусть идет с богом.

— Я никуда не пойду,— заговорил я, испугавшись возможности опять остаться одному.— Я и так два дня один по лесам бегал. Я к вам пришел. И я с вами хочу остаться.

— С нами? — как бы удивляясь, переспросил человек в черной папахе.—Да ты, может, нам и не нужен вовсе!

— Нужен,—упрямо повторил я.— Куда я один пойду?

— А верно ж! Если вправду свой, то куда он один пойдет?— вступился мой конвоир.— Нынче одному здесь прогулки плохие. Ты, Шебалов, не морочь человеку голову, а разберись. Когда врет, так одно дело; а если свой, так нечего от своего отпихиваться. Слазь с жеребца-то, успеешь.

— Чубук! — сурово проговорил командир.— Ты как разговариваешь? Кто этак с начальником разговаривает? Я командир или нет? Командир я, спрашиваю?

— Факт! — спокойно согласился Чубук.

— Ну, так тогда я и без твоих замечаний слезу.

Он соскочил с коня, бросил поводья на ограду и, громыхая палашом, направился в избу.

Только в избе, при свете сальной коптилки, я разглядел его как следует. Бороды и усов не было. Узкое, худощавое лицо его было корявво. Густые белесоватые брови сходились на переносице, из-под них выглядывала пара добродушных круглых глаз, которые он нарочно щурил, очевидно для того, чтобы придать лицу надлежащую суровость. По тому, как долго он читал мой документ и при этом слегка шевелил губами, я понял, что он не особенно грамотен. Прочитав документ, он протянул его Чубуку и сказал с сомнением:

— Ежели не фальшивый документ, то, значит, настоящий. Как ты думаешь, Чубук?

— Ага! — спокойно согласился тот, набивая махоркой кривую трубку.

— Ну, как ты сюда попал? — спросил командир.

Я начал рассказывать горячо и волнуясь, опасаясь, что мне не поверят. Но, по-видимому, мне поверили, потому что, когда я кончил, командир перестал щурить глаза и, опять обращаясь к Чубуку, проговорил добродушно:

— А ведь если не врет, то, значит, вправду наш паренек! Как тебе показалось, Чубук?

— Угу,— спокойно подтвердил Чубук, выколачивая пепел о подошву сапога.

— Ну, так что же мы будем с ним делать-то?

— А мы зачислим его в первую роту, и пускай ему Сухарев даст винтовку, которая осталась от убитого Пашки,—подсказал Чубук.

Командир подумал, постучал пальцами по столу и приказал серьезно:

— Так сведи же его, Чубук, в первую роту и скажи Сухареву, чтобы дал он ему винтовку, которая осталась от убитого Пашки, а также патронов, сколько полагается. Пусть он внесет этого человека в списки нашего революционного отряда.

Дзинь-динь!.. Дзик-дзак!..— лязгнули палаш, шпоры и маузер. Распахнув дверь, командир неторопливо спустился к коню.

— Идем,—сказал солидный Чубук и неожиданно потрепал меня по плечу.

Снова труба сигналиста мягко, переливчато запела. Громче зафыркали кони, сильней заскрипели подводы. Почувствовав себя необыкновенно счастливым и удачливым, я улыбался, шагая к новым товарищам. Всю ночь мы шли. К утру погрузились в поджидавший нас на каком-то полустанке эшелон. К вечеру прицепили ободранный паровоз, и мы покатили дальше, к югу, на помощь отрядам и рабочим дружинам, боровшимся с захватившими Донбасс немцами, гайдамаками и красновцами.

Наш отряд носил гордое название «Особый отряд революционного пролетариата». Бойцов в нем оказалось немного, человек полтораста. Отряд был пеший, но со своей конной разведкой в пятнадцать человек под командой Феди Сырцова. Всем отрядом командовал Шебалов — сапожник, у которого еще пальцы не зажили от порезов дратвой и руки не отмылись от черной краски. Чудной был командир! Относились к нему ребята с уважением, хотя и посмеивались над некоторыми из слабостей. Одной его слабостью была любовь к внешним эффектам: конь был убран красными лентами, шпоры (и где он их только выкопал, в музее, что ли?) были неимоверной длины, изогнутые, с зубцами, — такие я видел только на картинках с изображением средневековых рыцарей; длинный никелированный палаш спускался до земли, а в деревянную покрышку маузера была врезана медная пластинка с вытравленным девизом: «Я умру, но и ты, гад, погибнешь!» Говорили, что дома у него осталась жена и трое ребят. Старший уже сам работает. Дезертировав после Февраля с фронта, он сидел и тачал сапоги, а когда юнкера начали громить Кремль, надел праздничный костюм, чужие, только что сшитые на заказ хромовые сапоги, достал на Арбате у дружинников винтовку и с тех пор, как выражался он, «ударился навек в революцию».

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Через три дня, не доезжая немного до станции Шахтной, отряд спешно выгрузился.

Примчался откуда-то молодой парнишка-кавалерист, сунул Шебалову пакет и сказал, улыбаясь, точно сообщая какую-то приятную новость:

— А вчера уйму наших немцы у Краюшкова положили. Беда прямо, какая жара была!

Отряду была дана задача: минуя разбросанные по деревенькам части противника, зайти в тыл и связаться с действующим отрядом донецких шахтеров Бегичева.

— А что же связаться? —недовольно проговорил Шебалов, тыкая пальцем в карту.— Где я тот отряд искать буду? Накося, написали: между Олешкиным и Сосновкой! Ты мне точно место дай, а то «связаться» да еще «между»...

Тут Шебалов выругал штабных начальников, которые ни черта не смыслят в деле, а только горазды приказы писать, и велел скликать ротных командиров. Однако, несмотря на ругань по адресу штабников, Шебалов был доволен тем, что получил самостоятельную задачу и не был подчинен какому-нибудь другому, более многочисленному отряду.

Командиров было трое: бритый и спокойный чех Галда, хмурый унтер Сухарев и двадцатитрехлетний весельчак, гармонист и плясун, бывший пастух Федя Сырцов.

Все они расположились на полянке вокруг карты, посреди плотного кольца обступивших красноармейцев.

— Ну,— сказал Шебалов, приподнимая бумагу.— Согласно, значит, полученному мною приказа, приходится нам идти в неприятельский тыл, чтобы действовать вблизи отряда Бегичева, и должны мы выступить сегодня в ночь, минуя и не задевая встречных неприятельских отрядов. Понятно вам это?

— Ну, уж и не задевая? Как же это можно, чтобы не задевая? — с хитроватой наивностью спросил Федя Сырцов.

— А так и не задевая,— настороженно повернув голову, ответил Шебалов и показал Феде кулак.— Я тебя, черта, знаю... Я тебе задену! Ты у меня смотри, чтоб без фокусов... Значит, в ночь выступаем,— продолжал он.— Подвод никаких, пулемет и патроны на вьюки, чтобы ни шуму, ни грому. Ежели деревенька какая на пути — обходить осторожно, а не рваться до нее, как голодные собаки до падали. Это тебя, Федор, особенно касается... У тебя твои байбаки, ежели хутор хоть в стороне заметят, все им нипочем, так и прут на сметану.

— У мине тоже прут,— сознался чех Галда.— У мине прошлый рас расфедчнкн катку с сирой теста приноснль. Я нм говорнль: «Защем принтащнль сирой?», а они мине говориль: «На огонь пекать будем...»

Все рассмеялись, даже Шебалов улыбнулся.

— Это за Дебальцовым еще,— засмеялся рядом со мной Васька Шмаков.— Это он про нас жалуется. Мы в разведку ходили, к казаку попали; богатый казак. Как нас из его халупы стеганули нз винтовок, ну, да только все равно мы доперли до хутора, смотрим, а там никого уже. Печь топится, квашня на столе. Мы запалили хутор, а квашню с собою забрали; потом вечером на кострах запекли. Вку-усное тесто, сдобное... чистый кулич.

— Сожгли хутор? — переспросил я.— Разве ж можно хутор сжигать?

— Дочиста,— хладнокровно ответил Васька.— Как же нельзя, раз из него по нас хозяева стрельбу открыли? Они, казаки, вредные. Он богатый, ему што — новый строить начнет, чем гайдамачиничать.

— А ежели он еще больше обозлится и еще больше за это красных ненавидеть будет?

— Больше не будет,— серьезно ответил Васька.— Который богатый, тому больше ненавидеть уже некуда! У нас Петьку Кошкина поймали, так прежде, чем погубить, три дня плетьми тиранили. А ты говоришь — больше... Куда же еще больше-то?

Перед ночным походом ребята варили в котелках кашу с салом, пекли в углях картошку, валялись на траве, чистили винтовки и отдыхали. В повозке у ротного Сухарева я увидал лишнюю старую шинель, подол ее был прожжен, но шинель была еще крепкая и годная к носке. Я попросил ее у Сухарева.

— На што она тебе? — спросил он грубовато.— У тебя ж свое пальто, да еще драповое, мне шинелка самому нужна. Я из нее себе штаны сошью.

— А ты сшей из моего,— предложил я,— честное слово... А то все ребята в шинелях, а я черный, как ворона.

— Ну-у! — Тут Сухарев с удивлением посмотрел на меня, его мужиковатое топорное лицо расплылось в недоверчивую улыбку.— Смеяешь? Конешно,— быстро заговорил он.— И на самом деле, какой же ты сол-

дат в пальте? И виду никакого вовсе. Шинелка, не смотри, что прожжена немного, ее обкоротить можно. А я тебе в придачу серую папаху дам, у меня осталась лишняя.

Мы обменялись с ним, оба довольные своей сделкой. Когда я в форме заправского красноармейца, с закинутой за плечо винтовкой отходил от него, он сказал подошедшему Ваське:

— Обязательно, как будет случай, бабе отошлю. Ему на што оно, стукнет пуля — вот тебе и все пальто спортила, а дома баба куды как рада будет!

Ночью с первого же попавшегося хутора Федя Сырцов добыл двух проводников. Двух для того, чтобы не попал отряд на чужую, вражью дорогу. Проводников разделили порознь, и когда на перекрестках один показывал, что надо брать влево, то спрашивали другого, и только в том случае, если направления сходились, сворачивали по указанному пути.

Шли сначала лесом по два, поминутно натыкаясь на передних. Федя Сырцов еще заранее приказал обернуть копыта лошадей портянками. К рассвету свернули с дороги в рощу. Выбрались на поляну и решили отдыхать: дальше при свете двигаться было опасно. Возле дороги, в гуще малинника, оставили секрет, а к полудню западный ветер донес густые раскаты артиллерийской перестрелки.

Мимо прошел озабоченный Шебалов. Рядом упругой, крепкой походкой шагал Федя и быстро говорил что-то командиру. Остановились возле Сухарева.

До меня долетели слова:

— Разведку по оврагу.

— Конных?

— Конных нельзя, заметно слишком. Пошли трех своих, Сухарев.

— Чубук,— негромко, как бы спрашивая, сказал Шебалов,— ты за старшего пойдешь? С собой Шмакова возьми и еще выбери кого-нибудь понадежнее.

— Возьми меня, Чубук,— тихо попросил я.— Я буду очень надежным.

— Возьми Симку Горшкова,— предложил Сухарев.

— Меня, Чубук,— зашептал я опять,— возьми меня... Я буду самый надежный.

— Угу! — сказал Чубук и мотнул головой.

Я вскочил, едва не завизжав, потому что сам не верил в то, что меня возьмут на такое серьезное дело. Пристегнув подсумок и вскинув винтовку на плечо, остановился, смущенный пристальным, недоверчивым взглядом Сухарева.

— Зачем его берешь? — спросил он Чубука.— Он тебе все дело испортить может — возьми Симку.

— Симку? — переспросил, как бы раздумывая, Чубук и, чиркая спичкой, закурил.

«Дурак! — бледнея от обиды и ненависти к Сухареву, прошептал я про себя.— Как он может при всех так отзываться обо мне? А не возьмут, так я нарочно сам проберусь... Нарочно вот до самой деревни, все разузнаю и вернусь. Пусть тогда Сухарев сдохнет от досады!»

Чубук закурил, хлопнул затвором, вложил в магазин четыре патрона, пятый дослал в ствол и, поставив на предохранитель, сказал равнодушно, не чувствуя, как важно для меня его решение:

— Симку? Что ж, можно и Симку.— Он поправил патронташ и, взглянув на мое побелевшее лицо, неожиданно улыбнулся и сказал грубовато: — Да что ж Симку... Он... и этот постарается, коли у него есть охота. Пошли, парень!

Я кинулся к опушке.

— Стой! — строго остановил меня Чубук.— Не жеребцуй, это тебе не на прогулку. Бомба у тебя есть? Нету? Возьми у меня одну. Погоди, да не суй ее в карман рукояткой, станешь вынимать, кольцо сдернешь. Суй запалом вниз. Ну, так. Эх, ты,— добавил он уже мягче,— белая горячка!

## ГЛАВА ПЯТАЯ

— Пробирайся по правому скату,— приказал Чубук.— Шмаков пойдет по левому, а я — вниз посередке. Как что заметите, так мне знать подавайте.

Мы стали медленно продвигаться. Через полчаса на краю левого ската, чуть-чуть позади, я увидел Шмакова. Он шел согнувшись, немного выставив голову вперед. Обыкновенно добродушно-плутоватое лицо его было сейчас серьезно и зло.

Овраг сделал изгиб, и я потерял из виду и Шмакова и Чубука. Я знал, что они где-то здесь неподалеку так же, как и я, продвигаются, укрываясь за кусты, и сознание того, что, несмотря на кажущуюся разрозненность, мы крепко связаны общей задачей и опасностью, подкрепляло меня. Овраг расширился. Заросли пошли гуще. Опять поворот, и я пластом упал на землю.

По широкой, вымощенной камнем дороге, пролегавшей всего в сотне шагов от правого ската, двигался большой кавалерийский отряд.

Вороные, на подбор сытые кони бодро шагали под всадниками, впереди ехали три или четыре офицера. Как раз напротив меня отряд остановился, командир вынул карту и стал рассматривать ее.

Пятясь задом, я сполз вниз и обернулся, отыскивая взглядом Чубука, с тем чтобы скорее подать ему условленный сигнал.

Было страшно, но все-таки успела промелькнуть горделивая мысль, что я недаром пошел в разведку, что не кто-нибудь другой, а я первый открыл неприятеля.

«Где же Чубук? — подумал я с тревогой, поспешно оглядываясь по сторонам.— Что же это он?» Я уже хотел скатиться вниз и разыскать его, как внимание мое привлек чуть шевельнувшийся куст на левом скате оврага. Я ошибался, когда думал, что только я увидел врага.

С противоположного ската, осторожно высунувшись из-за ветвей, Васька Шмаков подавал мне рукой какие-то непонятные, но тревожные сигналы, указывая на дно оврага.

Сначала я думал, что он приказывал мне спуститься вниз, но, следуя взглядом по направлению его руки, я тихонько ахнул и поджал голову.

По густо разросшемуся дну оврага шел белый солдат и вел в поводу лошадь. То ли он искал водопоя, то ли это был один из дозорных флангового разъезда, охранявшего движение колонны, но это был враг, вклинившийся в расположение нашей разведки. Я не знал теперь, что мне делать. Всадник скрылся за кустами. Мне виден был только Васька. Но Ваське, очевидно, с противоположной стороны было видно еще что-то, скрытое от меня.

Он стоял на одном колене, упершись прикладом в землю, и держал вытянутую в мою сторону руку, пре-

дупреждая, чтобы я не двигался, и в то же время смотрел вниз, приготовившись прыгнуть.

Топот, раздавшийся справа от меня, заставил меня обернуться. Кавалерийский отряд свернул на проселочную дорогу и взял рысь. В тот же момент Васька широко махнул мне рукой и сильным прыжком прямо через кусты кинулся вниз. Я тоже. Скатившись на дно оврага, я рванулся вправо и увидел, что возле одного из кустов кубарем катаются два сцепившихся человека. В одном из них я узнал Чубука, в другом — неприятельского солдата. Не помню даже, как я очутился возле них. Чубук был внизу, он держал за руки белого, пытавшегося вытащить из кобуры револьвер. Вместо того, чтобы сшибить врага ударом приклада, я растерялся, бросил винтовку и потащил его за ноги, но он был тяжел и отпихнул меня. Я упал навзничь и, ухватившись за его руку, укусил ему палец. Белый вскрикнул и отдернул руку. Вдруг кусты с шумом раздвинулись, появился до пояса мокрый Васька и четким учебным приемом на скаку сбил солдата прикладом.

Откашливаясь и отплевываясь, Чубук поднялся с травы.

— Васька,— хрипло и отрывисто сказал он и показал рукой на щипавшего траву коня.

— Ага,— ответил Васька и, схватив тащившийся по земле повод, дернул его к себе.

— С собой,— так же быстро проговорил Чубук, указывая на оглушенного гайдамака.

Васька понял его.

— Вяжи руки!

Чубук поднял мою винтовку, двумя взмахами штыка перерезал ружейный ремень и крепко стянул им локти еще не очнувшегося солдата.

— Бери за ноги! — крикнул он мне.— Живее, шкура! — выругался он, заметив мое замешательство.

Перевалили пленника через спину лошади. Васька вскочил в седло, не сказав ни слова, стегнул коня нагайкой и помчался назад по неровному дну оврага.

— Сюда! — прохрипел мне багровый и потный Чубук, дергая меня за руку.— Кати за мной!

И, цепляясь за сучья, он полез наверх.

— Стой,— сказал он, останавливаясь почти у края,— сиди!

Только-только успели мы притаиться за кустами, как внизу показалось сразу пятеро всадников. Очевидно, это и было ядро флангового разъезда. Всадники остановились, оглядываясь; очевидно, они искали своего товарища. Громкие ругательства понеслись снизу. Все пятеро сорвали с плеч карабины. Один соскочил с коня и поднял что-то. Это была шапка солдата, впопыхах оставленная нами на траве. Кавалеристы тревожно заговорили, и один из них, по-видимому старший, протянул руку вперед.

«Догонят Ваську,— подумал я,— у него ноша тяжелая. Их пятеро, а он один».

— Бросай вниз бомбу! — услышал я короткое приказание и увидел, как в руке Чубука блеснуло что-то и полетело вниз.

Тупой грохот ошеломил меня.

— Бросай! — крикнул Чубук и тотчас же рванул и мою занесенную руку, выхватил мою бомбу и, щелкнув предохранителем, швырнул ее вниз.

— Дура! — рявкнул он мне, совершенно оглушенному взрывами и ошарашенному быстрой сменой неожиданных опасностей.— Дура! Кольцо снял, а предохранитель оставил!

Мы бежали по свежевспаханному вязкому огороду. Белые, очевидно, не могли через кусты верхами вынестись по скату наверх и, наверно, выбирались спешившись. Мы успели добежать до другого оврага, завернули в одно из ответвлений, опять пробежали по полю, затем попали в перелесок и ударились напрямик в чащу. Далеко, где-то сзади, послышались выстрелы.

— Не Ваську нагнали? — дрогнувшим, чужим голосом спросил я.

— Нет,— ответил Чубук, прислушиваясь,— это так... после времени досаду срывают. Ну, понатужься, парень, прибавим еще ходу! Теперь мы им все следы запутаем.

Мы шли молча. Мне казалось, что Чубук сердится и презирает меня за то, что я, испугавшись, выронил винтовку и по-мальчишески нелепо укусил солдата за палец, что у меня дрожали руки, когда взваливали пленника на лошадь, и главное за то, что я растерялся и не сумел даже бросить бомбу. Еще стыднее и горше становилось мне при мысли о том, как Чубук расскажет обо всем в отряде, и Сухарев обязательно поучительно вста-

вит: «Говорил я тебе, не связывайся с ним; взял бы Симку, а то нашел кого!» Слезы от обиды и злости на себя, на свою трусость вот-вот готовы были политься из глаз.

Чубук остановился, вынул кисет с махоркой, и, пока он набивал трубку, я заметил, что пальцы Чубука тоже чуть-чуть дрожат. Он закурил, затянулся несколько раз с такой жадностью, как будто бы пил холодную воду, потом сунул кисет в карман, потрепал меня по плечу и сказал просто и задорно:

— Что... живы, брат, остались? Ничего, Бориска, парень ты ничего. Как это ты его за руку зубами тяпнул! — И Чубук добродушно засмеялся.— Прямо как чистый волчонок тяпнул. Что ж, не всё одной винтовкой — на войне, брат, и зубы пригодятся могут!

— А бомбу...— виновато пробормотал я.— Как же это я ее с предохранителем хотел?

— Бомбу? — улыбнулся Чубук.— Это, брат, не ты один, это почти каждый непривыкший обязательно неладно кинет: либо с предохранителем, либо вовсе без капсюля. Я, когда сам молодой был, так же бросал. Ошалеешь, обалдеешь, так тут не то что предохранитель, а и кольцо-то сдернуть позабудешь. Так вроде бы как булыжником запустишь — и то ладно. Ну, пошли... Идти-то нам еще далеко!

Дальнейший путь до стоянки отряда прошел и легко и без устали. На душе было спокойно и торжественно, как после школьного экзамена... Никогда ничего обидного больше Сухарев обо мне не скажет.

Доскакавши до стоянки отряда, Васька сдал оглушенного пленника командиру. К рассвету белый очухался и показал на допросе, что полотно железной дороги, которое нам надо было пересекать, охраняет бронепоезд, на полустанке стоит немецкий батальон, а в Глуховке расквартирован белогвардейский отряд под командой капитана Жихарева.

Яркая зелень рощи пахла распустившейся черемухой. Отдохнувшие ребята были бодры и казались даже беззаботными. Вернулся из разведки Федя Сырцов со своими развеселыми кавалеристами и сообщил, что впереди никого нет и в ближайшей деревеньке мужики сто-

ят за красных, потому что третьего дня вернулся в деревню бежавший в начале октября помещик и ходил с солдатами по избам, разыскивая добро из своего имения. Всех, у кого дома нашли барские вещи, секли на площади перед церковью жестче, чем в крепостное время, и потому приходу красных крестьяне будут только рады.

Напившись и закусив шматком сала, я поднялся и направился туда, где возле пленника толпилась кучка красноармейцев.

— Эгей! — приветливо крикнул мне встретившийся Васька Шмаков, вытирая рукавом шинели лицо, взмокшее после осушенного котелка кипятку.— Ты что же это, брат, вчера-то, а?

— Что вчера?

— Да винтовку-то кинул.

— А ты чего первый со ската прыгнул, а после меня на помощь прибежал? — задорно огрызнулся я.

— Я, брат, как сиганул — да прямо в болото, насилу ноги вытащил, оттого и после. А ловко мы все-таки... Я как заслышал, что сзади дернули бомбой, ну, думаю, каюк вам с Чубуком. Ей-богу, так и думал — каюк. Прискакал к своим и говорю: «Влопались наши, должно, не выберутся». А сам про себя еще подумал: «Вот, мол... не хотел мне сумку сменять, а теперь она белым задаром достанется!» Хорошая у тебя сумка.— И он потрогал перекинутый через плечо ремень плоской сумочки, которую я захватил еще у убитого мною незнакомца.— Ну и наплевать на твою сумку, если не хочешь сменять,— добавил он,— у меня прошлый месяц еще почище была, только продал ее, а то подумаешь какой сумкой зазнался! — И он презрительно шмыгнул носом.

Я смотрел на Ваську и удивлялся: такое у него было глуповатое курносое лицо, такие развихлястые движения, что никак не похоже было на то, что это он вчера с такой ловкостью полз по кустам, выслеживая белых, и с яростью стегал непослушного коня, когда мчался с прихваченным к седлу пленником.

Красноармейцы суетились, заканчивая завтрак, застегивали гимнастерки, оборачивали портянками отдохнувшие ноги. Вскоре отряд должен был выступать.

Я был уже готов к походу и поэтому пошел к опушке посмотреть на распустившиеся кусты черемухи.

Шаги, раздавшиеся сбоку, привлекли мое внимание. Я увидел захваченного гайдамака, позади него трех товарищей и Чубука.

«Куда это они идут?» — подумал я, оглядывая хмурого растрепанного пленника.

— Стой! — скомандовал Чубук, и все остановились.

Взглянув на белого и на Чубука, я понял, зачем сюда привели пленного; с трудом отдирая ноги, побежал в сторону и остановился, крепко ухватившись за ствол молодой березки.

Позади коротко и деловито прозвучал залп.

— Мальчик,— сказал мне Чубук строго и в то же время с оттенком легкого сожаления,— если ты думаешь, что война — это вроде игры али прогулки по красивым местам, то лучше уходи обратно домой! Белый — это есть белый, и нет между нами и ними никакой средней линии. Они нас стреляют — и мы их жалеть не будем!

Я поднял на него покрасневшие глаза и сказал ему тихо, но твердо:

— Я не пойду домой, Чубук, это просто от неожиданности. А я красный, я сам ушел воевать...— Тут я запнулся и тихо, как бы извиняясь, добавил: — За светлое царство социализма.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мир между Россией и Германией был давно уже подписан, но, несмотря на это, немцы не только наводнили своими войсками украинскую контрреволюционную в то время республику, но вперлись и в Донбасс, помогая белым формировать отряды. Огнем и дымом дышали буйные весенние ветры, метавшиеся над зелеными полями.

Наш отряд, подобно десяткам других партизанских отрядов, действовал в тылу почти самостоятельно, на свой страх и риск. Днями скрывались мы по полям и оврагам или отдыхали, раскинувшись у глухого хутора; ночами делали налеты на полустанки с небольшими гарнизонами. Выставляли засады на проселочную дорогу, нападали на вражеские обозы, перехватывали военные донесения и разгоняли немецких фуражиров.

Но та поспешность, с которой мы убирались прочь от крупных неприятельских отрядов, и постоянное

стремление уклониться от открытого боя казалось мне сначала постыдным. На самом деле прошло уже полтора месяца, как я был в отряде, а я еще не участвовал ни в одном настоящем бою. Перестрелки были. Набеги на сонных или отбившихся белых были. Сколько проводов было перерезано, сколько телеграфных столбов спилено — и не счесть, а боя настоящего еще не было.

— На то мы и партизаны,— ничуть не смущаясь, заявил мне Чубук, когда я высказал свое удивление по поводу такого некрасивого, на мой взгляд, поведения отряда.— Тебе бы, милый, как на картине: выстроиться в колонну, винтовки наперевес, и попер. Вот, мол, смотрите, какие мы храбрые! У нас сколько пулеметов? Один, да и к тому всего три ленты. А вон у Жихарева четыре «максима» да два орудия. Куды ж ты на них попрешь? Мы должны на другом брать. Мы, партизаны, как осы: маленькие, да колючие. Налетели, покусали да и прочь. А храбрость такая, чтоб для показа, она нам ни к чему сейчас; это не храбрость выходит, а дурость!

Многих ребят узнал я за это время. Ночами в караулах, вечером у костра, в полуденную ленивую жару под вишнями медовых садов много услышал я рассказов о жизни своих товарищей.

Всегда хмурый, насупившийся Малыгин, с одним глазом — второй был выбит взрывом в шахте,— рассказывал:

— Про жизнь свою говорить мне нечего. Одним словом, серьезная была жизнь. Жизнь у меня за все последние двадцать годов на три равные части разделена была. В шесть утра встанешь. Башка трещит от вчерашнего; надел шмотки, получил лампу и ухнул в шахту. Там, знай свое, забурил, вставил динамит и грохай. Грохаешь, грохаешь, оглохнешь, отупеешь — и к стволу на подъем. Выкинет тебя наверх, как черта, мокрого, черного. Это первая часть моей жизни. А потом идешь в казенку, взял бутылку — денег с тебя не спрашивают: контора заплатит. Потом в хозяйскую лавку; там показал бутылку, и выдают тебе оттуда без разговора два соленых огурца, ситного и селедку. Это уж на бутылку такая порция полагалась! Закусывайте на здоровье — контора вычтет. Вот тебе и вторая часть моей жизни. А третья — ляжешь спать и спишь. Спал я крепко, пуще

водки любил я спать,— за сны любил. Что такое сон, до сего времени не понимаю. И с чего бы это такое страшное привидеться может? Вот, например, снится мне один раз, что призывает меня штейгер и говорит: «Ступай, Малыгин, в контору и получай расчет».— «За что же,— говорю я ему,— господин штейгер, мне расчет?» — «А за то, говорит, тебе, Малыгин, расчет, что замышляешь ты на директоровой дочке жениться».— «Что вы,— говорю я ему,— господин штейгер, слыханное ли это дело, чтобы шахтер-запальщик на директоровой дочке женился? Где же, говорю, мне на директоровой, когда за меня и простая-то девка не каждая из-за выбитого глаза пойдет?»

Тут смешалось все, спуталось, штейгер вдруг оказывается не штейгер, а будто жеребец директорский, запряженный в ихнюю коляску. Выходит из той коляски сам директор, вежливо кланяется мне и говорит: «Вот, запальщик Малыгин, возьмите в жены мою дочку и приданого десять тысяч и штейгера, то есть жеребца, с коляской». Обомлел я от радости, только было хотел подойти, как ударит меня директор тростью, да еще, да еще, а штейгер ну топтать копытами и ржать... «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!.. Вот чего захотел!» И бьет и бьет копытами. Так злобно бил, что даже закричал я во сне на всю казарму. И кто-то взаправду в бок меня двинул, чтобы не орал и людей ночью не тревожил.

— Ну, уж и сон! — засмеялся Федя Сырцов.— Видно, просто пялил ты глаза на хозяйскую барышню, вот и приснилось. Мне так всегда: про что на ночь думаю, то и снится. Вот сапог третьего дня не успел я с убитого немца снять. Сапог хороший, шевровый, так каждую ночь он мне снится!

— Сапог!.. Сам ты сапог,— рассердившись, ответил Малыгин.— Я ее, дочку-то, один раз за год до того и видел всего. Лежал я пьяный в канаве. Идет она с мамашей пешком возле огородов по тропке, а лошади ихние рядом идут. Мамаша — важная барыня... седая, подошла ко мне и спрашивает: «Как вам не стыдно пить? Где у вас человеческий облик? Вспомнили бы хоть бога».— «Извиняюсь,— говорю я,— облика действительно нет, оттого и пью».

Сжалилась тогда надо мною ихняя мамаша, сует мне в руки гривенник и наставляет: «Посмотрите, мужичок,

природа кругом ликует, солнце светит, птички поют, а вы пьянствуете. Пойдите купите себе содовой воды, протрезвитесь». Тут меня зло разобрало. «Я,— говорю ей,— не мужичок, а рабочий с ваших шахт. Природа пускай ликует, и вы ликуйте на доброе здоровье, а мне ликовать не с чего! Содовой же воды я в жизнь не пил, а если хотите сделать доброе дело — добавьте еще гривенник до полбутылки, а я за нашу приятную встречу с благодарностью опохмелюсь».— «Хам,— говорит мне тогда благородная женщина,— хам! Завтра я скажу мужу, чтобы вас отсюда, с рудников, уволили». Сели они с дочкой в коляску и уехали. Вот только у меня и было с ней разговору, а дочка вовсе, пока мы говорили, отвернувшись стояла, а ты говоришь, пялил!

— Что ж во сне-то! — усмехнулся Федя Сырцов.— А хотите, я вам расскажу, какой со мной и с одной графиней случай был? Ей-богу, из-за этого случая я, можно сказать, и в революцию ударился. Такой случай — ежели вам рассказать, то и ушами захлопаете.

Тут Федя тряхнул чубатой головой и зажмурил глаза, как кот, выбравшийся из хозяйской кладовой.

— Врать будешь, Федька? — подсаживаясь поближе, с любопытством и недоверием спросил Васька Шмаков.

— Это уж твое дело, хочешь — верь, хочешь — нет, документов я тебе предъявлять не буду.

Федя потянулся, покачал головой, как бы раздумывая, стоит ли еще рассказывать или нет, и, прищелкнув языком, начал решительно:

— Было это три года тому назад. А парень я — нечего говорить об этом — красивый был, лучше еще, чем сейчас. И такая судьба моя вышла, что пришлось мне наняться в подпаски при графской экономии. А у графа нашего жена была, звали ее Эмилия, и гувернантка Анна, то есть по-ихнему Жанет.

Вот однажды сижу я возле стада у пруда и вижу, идут обе, зонтиками от солнца загораживаются. У графини белый зонтик, а у Жанет красный. А была та Жанет похожа на сушеную тарань: тощая, очки на носу, и когда идет, бывало, по деревне, то платком нос прикрывает, чтобы, значит, от навозного духу голова не заболела. Надо вам сказать, что был у меня в стаде бык, настоящий симментал — порода такая, огромный. Как

увидел мой бык красный зонт да как попер полным ходом на Жанет! Я вскочил и во весь мах наперескок. Обе барыни закричали. Графиня в кусты, а Жанет некуда деваться, и она со страху в воду сиганула. Симментал до нее рвется, а она, дура, нет, чтобы бросить зонт, закрывается им от быка — тоже нашла защиту! — и визжит при этом что-то по-немецки там или по-французски — кто ее разберет. Я как ухну в воду, вырвал у нее зонт да в морду его симменталу. Он разъярился — за мной, я вплавь, отплыл до середки и бросил зонт, а сам на другой берег и в кусты. Тут пастухи набежали: крик-гам, быка загоняют, вытащили Жанет из тины, а с ней на берегу обморок случился.

Федька тяжело задышал, как будто только сейчас спасся от быка, прищелкнул языком, плюнул и хотел было продолжать, но в это время с крыльца хутора послышался окрик:

— Федор... Сыр-цов! Иди до командира.

— Сейчас,— отмахнулся недовольно Федя и, улыбнувшись, продолжал: — Пока Жанет отходила, подходит ко мне графиня Эмилия, белая, на глазах слезы и в груди волнение. «Юноша, говорит, кто ты?» — «А я,— говорю ей,— ваше сиятельство, подпасок, зовут меня Федором, а фамилия моя Сырцов». Тогда вздохнула графиня и говорит мне: «Теодор,— это то есть, по-ихнему, Федор,— Теодор, подойди сюда ко мне поближе».

Что еще сказала Феде графиня и какое отношение имел этот случай к тому, что он впоследствии ушел к красным, в этот раз дослушать мне не пришлось, потому что рядом послышался звон шпор и рассерженный Шебалов очутился за спиной.

— Федор,— сурово спросил он, останавливаясь и облокачиваясь на палаш,— ты слышал, что я тебя зову?

— Слышал,— буркнул Федя, приподнимаясь.— Ну, что еще?

— Как это «ну, что еще»? Должен ты идти, когда тебя командир требует?

— Слушаю, ваше благородие, чего изволите? — вместо ответа насмешливо огрызнулся Федя.

Но обыкновенно податливого и мягкого Шебалова на этот раз всерьез задело Федино замечание.

— Я тебе не ваше благородие,— серьезно и огорченно сказал он,— я тебе не благородие, и ты мне не инж-

ний чин. Но я командир отряда и должен требовать, чтобы меня слушались. Мужики сейчас с Темлюкова хутора приходили.

— Ну? — Черные глаза Феди виновато и блудливо забегали по сторонам.

— Жаловались. Говорили: «Приезжали вот ваши разведчики. Мы, конечно, обрадовались: свои, мол, товарищи. Старший ихний, черный такой, сходку устроил за поддержку Советской власти, про землю говорил и про помещиков. А мы пока слушали да резолюцию выносили, его ребята давай по погребам сметану шарить да кур ловить». Что же это такое, Федор, а? Ты, может, ошибся малость, ты, может, лучше к гайдамакам пошел бы — у них это заведено, а у меня в отряде этакого безобразия не должно быть!

Федя презрительно молчал и, опустив глаза, постукивал кончиком нагайки о конец своего сапога.

— Я тебе последний раз говорю, Федор,— продолжал Шебалов, теребя пальцем красный темляк блистательного палаша.— Я тебе не благородие, а сапожник и простой человек, но покуда меня назначили командиром, я требую твоего послушания. И последний раз перед всеми обещаю, что если и дальше так будет, то не посмотрю я на то, что хороший боец ты и товарищ, а выгоню из отряда!

Федя вызывающе посмотрел на Шебалова, повел взглядом по столпившимся вокруг красноармейцам и, не найдя ни в ком поддержки, за исключением трех-четырех кавалеристов, одобрительно улыбнувшихся ему, еще больше обозлился и ответил Шебалову с плохо скрываемой злобой:

— Смотри, Шебалов, ты не очень-то людьми расшвыривайся, нынче люди дороги!

— Выгоню,— тихо повторил Шебалов и, опустив голову, неторопливо пошел к крыльцу.

У меня остался нехороший осадок от разговора Шебалова с Сырцовым. Я знал, что Шебалов прав, и все-таки был на стороне Феди. «Ну, скажи ему,— думал я,— а нельзя же грозить».

Федя у нас один из лучших бойцов, и всегда он веселый, задорный. Если нужно разузнать что-либо, сделать неожиданный налет на фуражиров, подобраться к охраняемому белыми помещичьему имению — всегда



«Р.В.С.»



«Р.В.С.»

Федя найдет удобную дорогу, проберется скрытно кривыми оврагами, задами.

Любил Федя подкрасться тихо, чтобы не стучали подковы, чтобы не звякали шпоры, чтобы кони не ржали — а не то кулаком по лошадиной морде, чтобы всадники не шушукались, а не то без разговоров плетью по спине. Не ржали Федины приученные кони, не шушукались приросшие к седлам всадники; сам Федя впереди разведки, немного пригнувшийся к косматой гриве своего иноходца, был похож на хищного ящера, упругими скользящими изгибами подбирающегося к запутавшейся в траве жирной мухе.

Но зато, когда уже спохватится вражий караул и поднимет ошалелую тревогу, не успеет еще врасплох захваченный белый штаны натянуть, не успеет полусонный пулеметчик ленту заправить — как катится с треском винтовочных выстрелов, с грохотом разбрасываемых бомб, с гиканьем и свистом маленький упругий отряд. Тогда шум и грохот любил Федя. Пусть пули, выпущенные на скаку, летят мимо цели, пусть бомба брошена в траву и впустую разорвалась, заставив взметнуться чуть ли не на трубы крыш обалделых кур и жирных гусаков. Было бы побольше грома, побольше паники! Пусть покажется ошарашенному врагу, что неисчислимая сила красных ворвалась в деревеньку. Пусть задрожат пальцы, закладывающие обойму, пусть подавится перекошенною лентою наспех выкаченный пулемет и, главное, пусть вылетит из халупы один, другой солдат и, еще не разглядев ничего, еще не опомнившись от сна, выронит винтовку и заорет одурело и бессмысленно, шарахаясь к забору:

— Окру-жи-ли!.. Красные окружили!

И тогда-то бомбы за пояс, винтовки за спину — и пошли молчаливо работать холодные, до звона отточенные шашки распаленных удачей Фединых разведчиков.

Вот каков был у нас Федя Сырцов. «И разве можно,— думал я,— из-за каких-то кур и сметаны выгонять такого неоценимого бойца из отряда?»

Не успел я еще толком опомниться от размышлений по поводу ссоры Феди с Шебаловым, как с крыши хаты закричал Чубук, сидевший наблюдателем, что по дороге

на хутор движется большой пеший отряд. Забегали, закружились красноармейцы. Казалось, никакому командиру не удастся привести в порядок эту взбудораженную массу. Никто не дожидался приказаний, и каждый заранее знал уже, что ему делать. Поодиночке, на ходу проверяя патроны в магазинах, дожевывая куски недоеденного завтрака, низко пригибаясь, пробежали ребята из первой роты Галды к окраине хутора и, бухаясь наземь, образовывали все гуще и гуще заполнявшуюся цепочку. Подтягивали подпруги, взнуздывали, развязывали, а иногда и ударом клинка разрезали путы на ногах у коней разведчики. Пулеметчики стаскивали с тачанки «кольт» и ленты. Вслед за красным потным Сухаревым побежали по тропке красноармейцы второй роты на опушку рощи. Еще минута, другая — и все стихло. Вот уже сошел с крыльца Шебалов, на ходу приказывая что-то Феде. И Федя мотнул головой: ладно, говорит, будет сделано. Вот уже захлопнулись ставни, и полез хозяин хутора с бабами, ребятишками в погреб.

— Стой,— сказал мне Шебалов.— Останься здесь. Лезай к Чубуку на крышу и все, что ему оттуда видно будет, передавай на опушку мне! Да скажи ему, чтобы поглядывал он вправо, на Хамурскую дорогу, не будет ли оттуда чего.

Раз, два, дзик... дзак... Крякнула лениво греющаяся на солнце утка; задрав перепачканный колесным дегтем хвост, беспечно-торжествующе заорал с забора оранжевый петух. Когда он смолк, тяжело хлопая крыльями, бултыхнулся и утонул в гуще пыльных лопухов, стало совсем тихо на хуторе, так тихо, что выплыло из тишины — до сих пор неслышимое — журчанье солнечного жаворонка и однотонный звон пчел, собиравших с цветов капли разогретого душистого меда.

— Ты чего? — не оборачиваясь, спросил Чубук, когда я залез на соломенную крышу.

— Шебалов прислал тебе на помощь.

— Ладно, сиди да не высовывайся.

— Смотри вправо, Чубук,— передал я приказание Шебалова,— смотри, нет ли чего на Хамурской дороге!

— Сиди,— коротко ответил он и, сняв шапку, высунул из-за трубы свою большую голову.

Вражьего отряда не было видно: он скрылся в лощине, но вот-вот должен был показаться опять. Солома

на крыше была скользкая, и, чтобы не скатиться вниз, я, стараясь не ворочаться, носком расшвыривал себе уступ, на который можно было бы упереться. Голова Чубука была почти у моего лица. И тут я впервые заметил, что сквозь его черные жесткие волосы кое-где пробивается седина. «Неужели он уже старый?» — удивился я.

Отчего-то мне показалось странным, что вот Чубук уже пожилой, и седина и морщины возле глаз, а сидит тут рядом со мной на крыше и, неуклюже раздвинув ноги, чтобы не сползти, высовывает из-за трубы большую взлохмаченную голову.

— Чубук! — окликнул я его шепотом.

— Что тебе?

— Чубук... А ты ведь старый уже,— сам не зная к чему, сказал я.

— Ду-у-ра...— рассерженно обернулся Чубук.— Чего ты языком барабанишь?

Тут Чубук опустил голову на солому и подался туловищем назад. Из лощины поднимался отряд. Я чувствовал, как беспокойство овладевает Чубуком. Он учащенно задышал и заворочался.

— Борис, смотри-ка!

— Вижу.

— Беги вниз и скажи Шебалову — вышли, мол, из лощины, но скажи ему — подозрительно что-то: сначала шли походной колонной, а пока в лощине были, развернулись повзводно. Ну, так вот, понял теперь: с чего бы им повзводно? Может быть, они знают уже, что мы на хуторе? Крой скорей и обратно!

Я выдернул носок из ямки, вырытой в соломе, и, скатившись вниз, бухнулся на толстую свинью, с визгом шарахнувшуюся прочь. Разыскал Шебалова. Он стоял за деревом и смотрел в бинокль. Я передал ему то, что велел Чубук.

— Вижу,— ответил Шебалов таким тоном, точно я его обидел чем-то,— сам вижу.

Я понял, что он просто раздражен неожиданным маневром противника.

— Беги обратно, и не слезайте, а смотрите больше на фланг, на Хамурскую дорогу.

Добежав до пустого двора, я полез на сухой плетень, чтобы оттуда взобраться на крышу.

— Солдатик,— услышал я чей-то шепот.

Я испуганно обернулся, не понимая, кто и откуда зовет меня.

— Солдатик! — повторил тот же голос.

И тут я увидел, что дверь погреба приоткрыта и оттуда высунулась голова бабы, хозяйки хутора.

— Что? — спросила она шепотом.— Идут?

— Идут,— ответил я также шепотом.

— А как... только с пулеметами или орудия есть? — Тут баба быстро перекрестилась.— Господи, хоть бы только с пулеметами, а то ведь из орудиев начисто разобьют хату.

Не успел я ей ответить, как раздался выстрел и невидимая пуля где-то высоко в небе запела звонко. Тии-уу...

Голова бабы исчезла, дверка погреба захлопнулась. «Начинается»,— подумал я, чувствуя прилив того болезненного возбуждения, которое овладевает человеком перед боем. Не тогда, когда уже грохочут выстрелы, злятся, звенят россыпи пулеметных очередей и торжественно бухают ввязавшиеся в бой батареи, а когда еще ничего нет, когда все опасное еще впереди... «Ну,— думаешь,— почему же так тихо, так долго? Хоть бы скорей уже начиналось».

Тии-уу...— взвизгнуло второй раз.

Но ничего еще не начиналось. Вероятно, белые подозревали, но не знали наверное, занят ли хутор красными, и дали два выстрела наугад. Так командир маленькой разведки подбирается к охранению неприятеля, открывает огонь и по ответному грохоту сторожевой заставы, по треску ввязавшихся пулеметов определив силу врага, уходит на другой фланг, начинает пальбу пачками, заставляет неприятеля взбудоражиться и убирается поспешно к своим, никого не победив, никому не нанеся урона, но добившись цели и заставив неразгаданного противника развернуться и показать свои настоящие силы.

Молчал и не отзывался на выстрелы наш рассыпавшийся цепью отряд. Тогда пятеро кавалеристов на вороных танцующих конях, играя опасностью, отделились от неприятеля и легкой рысью понеслись вперед. Не далее как в трехстах метрах от хутора кавалеристы остановились, и один из них навел на хутор бинокль. Стекло

бинокля, скользнув по кромке ограды, медленно поползло вверх по крыше, к трубе, за которой спрятались мы с Чубуком.

«Хитрые тоже, знают, где искать наблюдателя»,— подумал я, пряча голову за спину Чубука и испытывая то неприятное чувство, которое овладевает на войне, когда враг, помимо твоей воли, подтягивает тебя биноклем к глазам или рядом скользит, расплавляя темноту, нащупывая колонну, луч прожектора, когда над головою кружит разведывательный аэроплан и некуда укрыться, некуда спрятаться от его невидимых наблюдателей.

Тогда собственная голова начинает казаться непомерно большой, руки — длинными, туловище — неуклюжим, громоздким. Досадуешь, что некуда их приткнуть, что нельзя съежиться, свернуться в комочек, слиться с соломой крыши, с травою, как сливается с кучей хвороста серый взъерошенный воробей под пристальным взглядом бесшумно парящего коршуна.

— Заметили! — крикнул Чубук. — Заметили! — И как бы показывая, что играть в прятки больше нечего, он открыто высунулся из-за трубы и хлопнул затвором.

Я хотел спуститься вниз и донести Шебалову. Но, вероятно, с опушки уже и сами поняли, что засада не удалась, что белые, не развернувшись в цепь, на хутор не пойдут, потому что из-за деревьев вдогонку кавалеристам полетели пули.

Развернутые взводы белых смешались и тонкими черточками ломаной стрелковой цепи поползли вправо и влево. Не доскакав до бугра, по которому рассыпались белые, задний всадник вместе с лошадью упал на дорогу. Когда ветер отнес клубы поднявшейся пыли, я увидел, что только одна лошадь лежит на дороге, а всадник, припадая на ногу, низко согнувшись, бежит к своим.

Пуля, ударившись о кирпич трубы, обдала пылью осыпавшейся известки и заставила спрятать голову. Труба была хорошей мишенью. Правда, за нею нас не могли достать прямые выстрелы, но зато и мы должны были сидеть не высовываясь. Если бы не приказание Шебалова следить за Хамурской дорогой, мы спустились бы вниз. Беспорядочная перестрелка перешла в огневой бой. Разрозненные винтовочные выстрелы белых стихали, и начинали строчить пулеметы. Под прикрытием их

огня неровная цепь передвигалась на несколько десятков шагов и ложилась опять. Тогда стихали пулеметы, и опять начиналась ружейная перестрелка. Так постепенно, с упорством, доказывавшим хорошую дисциплину и выучку, белые подвигались все ближе и ближе.

— Крепкие, черти,— пробормотал Чубук,— так и лезут в дамки. Не похоже что-то на жихаревцев, уж не немцы ли это?

— Чубук! — закричал я.— Смотри-ка на Хамурскую, там возле опушки что-то движется.

— Где?

— Да не там... Правей смотри. Прямо через пруд смотри... Вот! — крикнул я, увидев, как на опушке блеснуло что-то, похожее на вспышку солнечного луча, отраженного в осколке стекла.

В воздухе послышалось странное звучание, похожее на хрипение лошади, которой перервало горло. Хрип превратился в гул. Воздух зазвенел, как надтреснутый церковный колокол, что-то грохнуло сбоку. В первое мгновение показалось мне, что где-то здесь, совсем рядом со мной. Коричневая молния вырвалась из клубов дыма и черной пыли, воздух вздрогнул и упруго, как волна теплой воды, толкнул меня в спину. Когда я открыл глаза, то увидел, что в огороде сухая солома крыши взорванного сарая горит бледным, почти невидимым на солнце огнем.

Второй снаряд разорвался на грядках.

— Слазим,— сказал Чубук, поворачивая ко мне серое, озабоченное лицо.— Слазим, напоролись-таки, кажется, это не жихаревцы, а немцы. На Хамурской — батарея.

Первый, кто попался мне на опушке,— это маленький красноармеец, прозванный Хорьком.

Он сидел на траве и австрийским штыком распарывал рукав окровавленной гимнастерки. Винтовка его с открытым затвором, из-под которого виднелась недовыброшенная стреляная гильза, валялась рядом.

— Немцы! — не отвечая на наш вопрос, крикнул он.— Сейчас сматываемся!

Я сунул ему свою жестяную кружку зачерпнуть воды, чтобы промыть рану, и побежал дальше.

Собственно говоря, окровавленный рукав Хорька и его слова о немцах — это было последнее из того, что

мог я впоследствии восстановить по порядку в памяти, вспоминая этот первый настоящий бой. Все последующее я помню хорошо, начиная уже с того момента, когда в овраге ко мне подошел Васька Шмаков и попросил кружку напиться.

— Что это ты в руке держишь? — спросил он.

Я посмотрел и смутился, увидав, что в левой руке у меня крепко зажат большой осколок серого камня. Как и зачем попал ко мне этот камень, я не знал.

— Почему на тебе, Васька, каска надета? — спросил я.

— С немца снял. Дай напиться.

— У меня кружки нет. У Хорька.

— У Хорька? — Тут Васька присвистнул.— Ну, брат, с Хорька не получишь.

— Как — не получишь? Я ему дал воды зачерпнуть.

— Пропала твоя кружка,— усмехнулся Васька, зачерпывая из ручья каской воду.— И кружка пропала, и Хорек пропал.

— Убит?

— До́ смерти,— ответил Васька, неизвестно чему усмехаясь.— Погиб солдат Хорек во славу красного оружия!

— И чего ты, Васька, всегда зубы скалишь? — рассердился я.— Неужели тебе нисколько Хорька не жалко?

— Мне? — Тут Васька шмыгнул носом и вытер грязной ладонью мокрые губы.— Жалко, брат, и Хорька жалко, и Никишина, и Серегу, да и себя тоже жалко. Мне они, проклятые, тоже вон как руку прохватили.

Он шевельнул плечом, и тут я заметил, что левая рука Васьки перевязана широкой серою тряпкой.

— В мякоть... пройдет,— добавил он.— Жжет только.— Тут он опять шмыгнул носом и, прищелкнув языком, сказал задорно: — Да ведь и то разобрать, за что жалеть-то? Силой нас сюда никто не гнал, значит, сами знали, на што идем, значит, нечего и жалиться!

Отдельные моменты боя запечатлелись; не мог я восстановить их только последовательно и связно. Помню, как, опустившись на одно колено, я долго перестреливался все с одним и тем же немцем, находившимся не далее как в двухстах шагах от меня. И потому, что,

едва успев кое-как прицелиться, уже боялся, что он выстрелит раньше меня, я дергал за спуск и промахивался. Вероятно, он испытывал то же самое и поэтому также промахивался.

Помню, как взрывом снаряда опрокинуло наш пулемет. Его тотчас же подхватили и потащили на другое место.

— Забирай ленты! — крикнул Сухарев.— Помогайте ж, черти!

Тогда, схватив один из валявшихся в траве ящиков, я потащил его. Помню потом, как будто бы Шебалов дернул меня за плечо и крепко выругал; за что, я не понял тогда.

Потом, кажется, убила пуля Никишина. Или нет... Никишина убило раньше, потому что он упал, когда еще я бежал с ящиком, и перед этим крикнул мне: «Ты куда же в обратную сторону тащишь? Ты к пулемету тащи!»

Под Федей застрелили лошадь.

— Федька плачет,— сказал Чубук.— Такой скаженный, уткнулся в траву и плачет. Я подошел к нему. «Брось, говорю, тут о людях плакать некогда». Как повернулся Федька, хвать за наган. «Уйди, говорит, а не то застрелю и тебя». А глаза такие мутные. Я плюнул и ушел. Ну что с сумасшедшим разговаривать?! Непутевый этот Федька,— раскуривая трубку, продолжал Чубук.— Нет у меня веры в этого человека.

— Как — нет веры? — вступился я.— Он же храбрый, что дальше некуда.

— Мало ли что храбрый, а так непутевый. Порядка не любит, партейных не признает. «Моя, говорит, программа: бей белых, докуда сдохнут, а дальше видно будет». Не нравится мне что-то такая программа! Это туман один, а не программа. Подует ветер, и нет ничего!

Убитых было десять, раненых четырнадцать, из них шестеро умерли. Был бы лазарет, были бы доктора, медикаменты — многие из раненых выжили бы.

Вместо лазарета была поляна, вместо доктора — санитар германской войны Калугин, а из медикаментов

только йод. Йода была целая жестяная баклага из-под керосина. Йода у нас не жалели. На моих глазах Калугин налил до краев деревянную суповую ложку и вылил йод на широкую рваную рану Лукоянову.

— Ничего,— успокаивал он.— Потерпи... ёд — он полезный. Без ёда тебе факт что конец был бы, а тут, глядишь, может, и обойдется.

Надо было уходить отсюда к своим, к северу, где находилась завеса регулярных частей Красной Армии: в патронах уже была недостача. Но раненые связывали. Пятеро еще могли идти, трое не умирали и не выздоравливали. Среди них был цыганенок Яшка. Появился этот Яшка у нас неожиданно.

Однажды, выступая в поход с хутора Архиповки, отряд выстроился развернутым фронтом вдоль улицы.

При расчете левофланговый красноармеец, теперь убитый маленький Хорек, крикнул:

— Сто сорок седьмой неполный!

До тех пор Хорек был всегда сто сорок шестым полным. Шебалов заорал:

— Что врете, пересчитать снова!

Снова пересчитали, и снова Хорек оказался сто сорок седьмым неполным.

— Пес вас возьми! — рассердился Шебалов.— Кто счет путает, Сухарев?

— Никто не путает,— ответил из строя Чубук,— тут же лишний человек объявился.

Поглядели. Действительно, в строю между Чубуком и Никишиным стоял новичок. Было ему лет восемнадцать-девятнадцать. Черный, волосы кудрявые, лохматые.

— Ты откуда взялся? — спросил удивленно Шебалов.

Парень молчал.

— А он встал тут рядом,— объяснил Чубук.— Я думал, нового какого ты принял. Пришел с винтовкой и встал.

— Да ты хоть кто такой? — рассердился Шебалов.

— Я... цыган... красный цыган,— ответил новичок.

— Кра-а-асный цы-га-ан? — вытаращив глаза, переспросил Шебалов и, вдруг засмеявшись, добавил: — Да какой же ты цыган, ты же еще цыганенок!

Он остался у нас в отряде, и за ним так и осталась кличка Цыганенок.

Теперь у Цыганенка была прохвачена грудь. Бледность просвечивала через кожу его коричневого лица, и запекшимися губами он часто шептал что-то на чужом, непонятном наречии.

— Вот уж сколько служу... полгерманской отбубнил и теперь тоже,— говорил Васька Шмаков,— а цыганов в солдатах не видал. Татар видал, мордву видал, чувашинов, а цыганов — нет. Я так смотрю — вредный народ эти цыганы: хлеба не сеют, ремесла никакого, только коней воровать горазды, да бабы их людей дурачат. И никак мне не понятно, зачем к нам его принесло? Свободы — так у них и так ее сколько хочешь! Землю им защищать не приходится. На что им земля? К рабочему тоже он касательства не имеет. Какая же выходит ему выгода, чтобы в это дело ввязываться? Уж какая-нибудь есть выгода, скрытая только!

— А может быть, он тоже за революцию, ты почем знаешь?

— В жисть не поверю, чтобы цыган да за революцию. И до переворота за краденых лошадей его били, и после за то же самое бить будут!

— Да, может, он после революции и красть вовсе не будет?

Васька недоверчиво усмехнулся:

— Уж и не знаю, у нас на деревне и дубьем их били и дрючками, и то не помогало — всё они за свое. Так неужто их революция проймет?

— Дурак ты, Васька,— вставил молчавший доселе Чубук.— Ты из-за своей хаты да из-за своей коняги ни черта не видишь. По-твоему, вот вся революция только и кончится тем, что прирежут тебе барской земли да отпустят из помещичьего леса бревен штук двадцать задаром, ну, да старосту председателем заменят, а жизнь сама какой была, такой и останется.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Через два дня Цыганенку стало лучше. Вечером, когда я подошел к нему, он лежал на охапке сухой листвы и, уставившись в черное звездное небо, тихонько напевал что-то.

— Цыганенок,— предложил я ему,— давай я около тебя костер разожгу, чай согрею, пить будем, у меня в баклаге молоко есть. Хочешь?

Я сбегал за водой, подвесил котелок на шомпол, перекинутый над огнем через два воткнутых в землю штыка, и, подсаживаясь к раненому, спросил:

— Какую это ты песню поешь, Цыганенок?

Он ответил не сразу:

— А пою я песню такую старую, в ней говорится, что нет у цыгана родной земли и та ему земля родная, где его хорошо принимают. А дальше спрашивают: «А где же, цыган, тебя хорошо принимают?» И он отвечает: «Много я стран исходил, был у венгров, был у болгар, был у туретчины, много земель исходил я с табором и еще не нашел такой земли, где бы хорошо мой табор приняли».

— Цыганенок,— спросил я его,— а зачем ты у нас появился? Ведь вас же не забирают на службу.

Он сверкнул белками, приподнялся на локте и ответил:

— Я пришел сам, меня не нужно забирать. Мне надоело в таборе! Отец мой умеет воровать лошадей, а мать гадает. Дед мой воровал лошадей, а бабка гадала. И никто из них себе счастья не украл, и никто себе хорошей судьбы не нагадал, потому что дорога-то ихняя, по-моему, не настоящая. Надо по-другому...

Цыганенок оживился, приподнялся, но боль раны, очевидно, давала себя еще чувствовать, и, стиснув губы, он с легким стоном опустился опять на кучу листвы.

Вскипевшее молоко разом ринулось на огонь и загасило пламя.

Я еле успел выхватить котелок с углей. Цыганенок неожиданно рассмеялся.

— Ты чего?

— Так.— И он задорно тряхнул головой.— Я вот думаю, что и народ весь эдак: и русские, и евреи, и грузины, и татары терпели старую жизнь, терпели, а потом, как вода из котелка, вспенились и кинулись в огонь. Я вот тоже... сидел, сидел, не вытерпел, захватил винтовку и пошел хорошую жизнь искать!

— И найти думаешь?

— Один не нашел бы... а все вместе должны бы... потому — охота большая.

Подошел Чубук.

— Садись с нами чай пить,— предложил я.

— Некогда,— отказался он.— Пойдешь со мной, Борис?

— Пойду,— быстро ответил я, не спрашивая даже о том, куда он зовет меня.

— Ну, так допивай скорее, а то подвода уже ждет!

— Какая подвода, Чубук?

Он отозвал меня и объяснил, что отряд к рассвету снимается, соединится недалеко отсюда с шахтерским отрядом Бегичева, и вместе они будут пробиваться к своим. Трех тяжело раненых брать с собой нельзя: пробираться придется мимо белых и немцев.

Отсюда недалеко пасека. Там место глухое, хозяин свой и согласился приютить у себя раненых на время, пока поправятся. Оттуда Чубук привел подводы, и сейчас надо, пока темно, раненых переправить туда.

— А еще с нами кто?

— Больше никого. Вдвоем мы. Я бы и один управился, да лошадь норовистая попала. Придется одному под уздцы вести, а другому за товарищами присматривать. Так пойдешь, значит?

— Пойду, пойду, Чубук. Я с тобой, Чубук, всегда и всюду пойду. А оттуда куда, назад?

— Нет. Оттуда мы прямой дорогой вброд через речку, там со своими и встретимся. Ну, трогаем.— И Чубук пошел к голове лошади.— Винтовка моя, смотри, чтобы не выпала,— послышался из темноты его голос.

Телега легонько дернула, в лицо брызнули капли росы, упавшие с задетого колесом куста, и черный поворот скрыл от наших глаз догоравшие костры, разбросанные собиравшимся в поход отрядом.

Дорога была плохая: ямы, выбоины. То и дело попадались разлапившиеся по земле корни. Темь была такая, что ни лошади, ни Чубука с телеги видно не было. Раненые лежали на охапках свежего сена и молчали.

Я шел позади и, чтобы не оступиться, придерживался свободной от винтовки рукой за задок телеги. Было тихо. Если бы не однотонное посвистывание полуночной

пигалицы, можно было бы подумать, что темнота, окружавшая нас, мертва. Все молчали. Только изредка, когда колеса проваливались в ямы или натыкались на пень, раненый Тимошкин тихонько стонал.

Жиденький, наполовину вырубленный лесок казался сейчас непроходимым, густым и диким. Затянувшееся тучами небо черным потолком повисло над просекой. Было душно, и казалось, что мы ощупью движемся каким-то длинным извилистым коридором.

Мне вспомнилось почему-то, как давно-давно, года три тому назад, в такую же теплую темную ночь мы с отцом возвращались с вокзала домой прямой тропкой через перелесок. Так же вот свиристела пигалица, так же пахло переспелыми грибами и дикой малиной.

На вокзале, провожая своего брата Петра, отец выпил с ним несколько рюмок водки. То ли от этого, то ли оттого, что чересчур сладко пахло малиной, отец был особенно возбужден и разговорчив. Дорогой он рассказывал мне про свою молодость и про свое ученье в семинарии. Я смеялся, слушая рассказы о его школьной жизни, о том, что их драли розгами, и мне казалось нелепым и невероятным, чтобы такого высокого, крепкого человека, как мой отец, кто-то когда-то мог драть.

— Это ты у одного писателя вычитал,— возражал я.— У него есть про это книга, «Очерки бурсы» называется. Так ведь то давно было, бог знает когда!

— А я, думаешь, недавно учился? Тоже давно.

— Ты в Сибири, папа, жил. А в Сибири страшно: там каторжники. Мне Петька говорил, что там человека в два счета убить могут и некому пожаловаться.

Отец засмеялся и начал мне объяснять что-то. Но что он хотел объяснить мне, я так и не понял тогда, потому что по его словам выходило как-то так странно, что каторжники вовсе не каторжники, и что у него даже знакомые были каторжники, и что в Сибири много хороших людей, во всяком случае больше, чем в Арзамасе.

Но все это я пропускал мимо ушей, как и многие другие разговоры, смысл которых я начинал понимать только теперь.

«Нет... никогда, никогда в прошлую жизнь я не подозревал и не думал, что отец мой был революционером. И вот то, что я сейчас с красными, то, что у меня

винтовка за плечами,— это не потому, что у меня был отец революционер, а я его сын. Это вышло как-то само собой. Я сам к этому пришел»,— подумал я. И эта мысль заставила меня загордиться. Ведь правда, на самом деле, сколько партий есть, а почему же я все-таки выбрал самую правильную, самую революционную партию?

Мне захотелось поделиться этой мыслью с Чубуком. И вдруг мне показалось, что возле головы лошади никого нет и конь давно уже наугад тащит телегу по незнакомой дороге.

— Чубук! — крикнул я, испугавшись.

— Ну! — послышался его грубоватый, строгий голос.— Чего орешь?

— Чубук,— смутился я,— далеко еще?

— Хватит,— ответил он и остановился.— Поди-ка сюда, встань и шинельку раздвинь, закурю я.

Трубка летящим светлячком поплыла рядом с головой лошади. Дорога разгладилась, лес раздвинулся, и мы пошли рядом.

Я сказал Чубуку, о чем думал, и ожидал, что он с похвалой отзовется о моем уме и дальнозоркости, которые толкнули меня к большевикам. Но Чубук не торопился хвалить. Он выкурил по крайней мере полтрубки и только тогда сказал серьезно:

— Бывает и так. Бывает, что человек и своим умом дойдет... Вот Ленин, например. Ну, а ты, парень, навряд ли...

— А как же, Чубук? — тихо и обиженно спросил я.— Ведь я же сам.

— Сам... Ну, конечно, сам. Это тебе только кажется, что сам. Жизнь так повернулась, вот тебе и сам! Отца у тебя убили — раз. К людям таким попал — два. С товарищами поссорился — три. Из школы тебя выгнали — четыре. Вот ежели все эти события откинуть, то остальное, может, и сам додумал. Да ты не сердись,— добавил он, почувствовав, очевидно, мое огорчение.— Разве с тебя кто спрашивает больше?

— Значит, выходит, Чубук, что я нарочно... что я не красный? — дрогнувшим голосом переспросил я.— А это все неправда, я и в разведку всегда с тобой, я и поэтому ведь на фронт ушел, чтобы защищать... а, значит, выходит...

— Ду-ура! Ничего не выходит. Я тебе говорю — обстановка... а ты — «я сам, я сам». Скажем, к примеру: отдали бы тебя в кадетский корпус — глядишь, из тебя и калединский юнкер вышел бы.

— А тебя?

— Меня? — Чубук усмехнулся.— За мной, парень, двадцать годов шахты. А этого никакой юнкерской школой не вышибешь!

Мне было несказанно обидно. Я был глубоко оскорблен словами Чубука и замолчал. Но мне не молчалось.

— Чубук... так значит меня и в отряде не нужно, раз я такой, что и юнкером бы... и калединцем...

— Дура! — спокойно и как бы не замечая моей злости, ответил Чубук.— Зачем же не нужно? Мало что, кем ты мог бы быть. Важно — кто ты есть. Я тебе только говорю, чтобы ты не задавался. А так... что же, парень ты хороший, горячка у тебя наша. Мы тебя, погоди, поглядим еще немного, да и в партию примем. Ду-ура! — совсем уже ласково добавил он.

Я ведь знал, что Чубук любит меня, но чувствовал ли Чубук, как горячо, больше, чем кого бы то ни было в ту минуту, любил я его? «Хороший Чубук,— думал я.— Вот он и коммунист, и двадцать лет в шахте, и волосы уже седеют, а всегда он со мною... И ни с кем больше, а со мной. Значит, я заслуживаю. И еще больше буду заслуживать. Когда будет бой, я нарочно не буду нагибаться, и если меня убьют, то тоже ничего. Тогда матери напишут: «Сын ваш был коммунист и умер за великое дело революции». И мать заплачет и повесит на стену мой портрет рядом с отцовским, а новая светлая жизнь пойдет своим чередом мимо той стены.

«Жалко только, что попы наврали,— подумал я,— и нет у человека никакой души. А если б была душа, то посмотрела бы, какая будет жизнь. Должно быть, хорошая, очень интересная будет жизнь».

Телега остановилась. Чубук поспешно сунул руку в карман и сказал тихо:

— Как будто бы стучит что-то впереди. Дай-ка винтовку.

Лошадей с ранеными отвели в кусты. Я остался возле телеги, а Чубук исчез куда-то. Вскоре он вернулся.

— Молчок теперь... Четверо казаков верхами. Дай мешок... лошади морду закрою, а то не заржала бы еще некстати.

Топот подков приближался. Недалеко от нас казаки сменили рысь на шаг. Краешек луны, выскочив в прореху разорванной тучи, озарил дорогу. Из-за кустов я увидел четыре папахи. С казаками был офицер, на его плече вспыхнул и погас золотой погон. Мы выждали, пока топот стихнет, и тронулись дальше.

Уже рассветало, когда мы подъехали к маленькому хутору. На стук телеги вышел к воротам заспанный пасечник — длинный рыжий мужик с вдавленной грудью и острыми, резко выпиравшими из-под расстегнутой ситцевой рубахи плечами. Он повел лошадь через двор, распахнул калитку, от которой тянулась еле заметная, поросшая травой дорога.

— Туда поедем... У болотца в лесу клуня, там им спокойнее будет.

В небольшом, забитом сеном сарае было свежо и тихо. В дальнем углу были постланы дерюги. Две овчины, аккуратно сложенные, лежали вместо подушек у изголовья. Рядом стояло ведро воды и берестовый жбан с квасом.

Перетащили раненых.

— Кушать, может, хотят? — спросил пасечник.— Тогда под головами хлеб и сало. А хозяйка коров подоит, молока принесет.

Нам надо было уходить, чтобы не разойтись у брода со своими. Но, несмотря на то что мы сделали для раненых все, что могли, нам было как-то неловко перед ними. Неловко за то, что мы оставляли их одних, без помощи в чужом, враждебном краю.

Тимошкин, должно быть, понял это.

— Ну, с богом! — сказал он побелевшими, потрескавшимися губами.— Спасибо, Чубук, и тебе, парень, тоже. Может, приведет еще судьба встретиться.

Более других утомленный, Самарин открыл глаза и приветливо кивнул головой. Цыганенок молчал, облокотившись на руки, серьезно смотрел на нас и чему-то слабо улыбался.

— Так всего же хорошего, ребята,— проговорил Чубук,— поправляйтесь лучше. Хозяин надежный, он вас не оставит. Будьте живы, здоровы...

Повернувшись к выходу, Чубук громко кашлянул и, опустив глаза, на ходу стал выколачивать о приклад трубку.

— Дай вам счастья и победы, товарищи! — звонко крикнул вдогонку Цыганенок. Звук его голоса заставил нас остановиться и обернуться с порога.— Пошли вам победы над всеми белыми, какие только есть на свете,— так же четко и ясно добавил Цыганенок и тихо уронил горячую черную голову на мягкую овчину.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Рыжий от загара песчаный берег таял в воде, искрившейся на отмелях солнечной рябью. У брода наших не было.

— Прошли, должно быть,— решил Чубук.— Это нам все равно... Тут недалеко отсюда кордон должен быть брошенный, и возле него отряд привал сделает.

— Давай выкупаемся, Чубук,— предложил я.— Мы скоренько! Вода, посмотри, какая те-еплая.

— Тут купаться нехорошо, Борька. Место открытое.

— Ну и что ж, что открытое?

— Как что? Голый человек — это не солдат. Голого всякий и с палкой забрать может. Казак, скажем, к броду подъедет, заберет винтовку, и делай с ним что хочешь. Был такой случай у Хопра. Не то что двое, а весь отряд человек в сорок купаться полез. Наскочили пятеро казаков и открыли по реке стрельбу. Так что было-то!.. Которых побило, которые на другой берег убегли. Так нагишом и бродили по лесу. Сёла там богатые... Кулачьё. Куда ни сунешься, всем сразу видно — раз голый, значит, большевик.

Все-таки уговорил я его. Мы отошли от брода в кусты и наскоро выкупались. Реку переходили, нацепив на штыки винтовок связанные ремнем узелки со штанами и сапогами. После купания винтовка стала легче и подсумок не давил бок. Бодро зашагали краем рощи по направлению к избушке. Избушка была заброшена, стекла выставлены, даже котел из плиты был выломан. Видно было, что перед тем, как оставить ее, хозяева вывезли все, что только было можно.

Чубук настороженно, сощурив глаза, обошел избу кругом, заложил два пальца в рот и продолжительно свистнул. Долго металось эхо по лесу, рассыпалось и перекатывалось и, измельчав, запуталось, заглохло в чаще однотонно шумливой листвы. Ответа не было.

— Неужели же мы опередили их? Что же, придется подождать.

В стороне от дороги выбрали тень под кустом и легли. Было жарко. Свернув в скатку шинель, я подложил ее под голову и, чтобы не мешалась, снял кожаную сумку. За время походов и ночевок на сырой земле сумка пообтерлась и выгорела.

В сумке этой у меня лежали перочинный нож, кусок мыла, игла, клубок ниток и подобранная где-то середина из энциклопедического словаря Павленкова.

Словарь — такая книга, которую можно перечитывать без конца — все равно всего не запомнишь. Именно поэтому-то я и носил его с собой и часто в отдых, во время отсиживания где-нибудь в логу или в чаще леса, доставал измятые листки и начинал перечитывать по порядку все, что попадалось. Были там биографии монахов, генералов, королей, рецепты лака, философские термины, упоминания о давнишних войнах, история какого-то доселе неслыханного мной государства Коста-Рика и тут же рядом способ добывания удобрения из костей животных. Много самых разнообразных, нужных и ненужных сведений от буквы «З» до «Р», на которой был оборван словарь, получил я за чтением этого словаря.

Несколько дней тому назад, перед тем как идти на пост, заторопившись, я сунул в эту же сумку кусок черного хлеба. И сейчас я увидел, что позабытый кусок раскрошился и залепил мякишем листки. Я вытряхнул все содержимое на траву и стал ладонью прочищать стенку сумки. Нечаянно мой палец задел за отогнувшийся край кожаной подкладки.

Повернув сумку к солнцу, я заглянул в нее и увидел, что из-под отставшей кожи виднеется какая-то белая бумага.

Любопытство овладело мной, я надорвал подкладку побольше и вытащил тоненький сверток каких-то бумажек. Развернул одну: посредине герб с позолоченным

двуглавым орлом, пониже золотыми буквами вытиснено: «Аттестат».

Был выдан этот аттестат воспитаннику 2-й роты имени графа Аракчеева кадетского корпуса Юрию Ваальду в том, что он успешно окончил курс учения, был отличного прилежания, поведения и переводится в следующий класс.

«Вот оно что!» — понял я, вспоминая убитого мною лесного незнакомца и его черную гимнастерку, на которой нарочно были срезаны пуговицы, и вытисненные на подкладке ворота буквы: «Гр. А. К. К.».

Другая бумага — было письмо, написанное по-французски, с недавней датой. И, хотя школа оставила у меня самое слабое воспоминание об этом языке, все же, посидев с полчаса, по отдельным словам, дополняя провалы строчек догадками, я понял, что письмо это содержит рекомендацию и адресовано какому-то полковнику Коренькову с просьбой принять участие в судьбе кадета Юрия Ваальда.

Я хотел показать эти любопытные бумажки Чубуку, но тут я увидел, что Чубук спит. Мне было жалко будить его: он не отдыхал еще со вчерашнего утра. Я сунул бумаги обратно в сумку и стал читать словарь.

Прошло около часа. Через шорох ветра к гомонливой трескотне птиц примешался далекий чужой шум. Я встал и приложил ладонь к уху — топот и голоса слышались все яснее и яснее.

— Чубук! — дернул я его за плечо.— Вставай, Чубук, наши идут!

— Наши идут? — машинально повторил Чубук, приподнимаясь и протирая глаза.

— Ну да... рядом уже. Идем скорей.

— Как же это я заснул? — удивился Чубук.— Прилег только — и заснул.

Глаза его были еще сонные и жмурились от солнца, когда, вскинув винтовку, он зашагал за мной.

Голоса раздавались почти рядом. Я поспешно выскочил из-за избушки и, подбрасывая шапку, заорал что-то, приветствуя подходящих товарищей.

Куда упала шапка, я так и не видел, потому что сознание страшной ошибки оглушило меня.

— Назад! — каким-то хриплым, рычащим голосом крикнул сзади Чубук.

Тах... тах... тах...

Три выстрела почти одновременно жахнули из первых рядов колонны. Какая-то невидимая сила рванула из рук и расщепила приклад моей винтовки с такой яростью, что я едва устоял на ногах. Но этот же грохот и толчок вывели меня из оцепенения. «Белые»,— понял я, бросаясь к Чубуку. Чубук выстрелил.

Целый час мы были под угрозой быть пойманными рассыпавшейся облавой. Все-таки вывернулись. Но еще долго после того, как смолкли голоса преследовавших, шли мы наугад, мокрые, раскрасневшиеся. Пересохшими глотками жадно вдыхали влажный лесной воздух и цеплялись ноющими, точно отдавленными подошвами ног за пни и кочки.

— Будет,— сказал Чубук, бухаясь на траву,— отдохнем. Ну и врезались же мы с тобой, Бориска! А все я... Заснул, ты заорал: «Наши, наши!» — я не разобрал спросонья, думаю, что ты разузнал уже, и пру себе.

Тут только я посмотрел на свою винтовку. Ложе было разбито в щепы, и магазинная коробка исковеркана.

Я подал Чубуку винтовку. Он повертел ее и отбросил в траву.

— Палка,— презрительно сказал он,— это уж теперь не винтовка, а дубинка, свиней ею только глушить. Ну ладно. Хорошо хоть сам-то цел остался. Шинелька где? Тоже нету. И я свою скатку бросил. Вот какие дела, брат!

Хотелось бы еще отдохнуть, долго лежать не двигаясь, снять сапоги и расстегнуть ворот рубахи, но сильней, чем усталость, мучила жажда, а воды рядом нигде не было.

Поднялись и тихонько пошли дальше. Перешли поле, под горой внизу приткнулись плотно сдвинутые домики деревеньки, и белые мазанки коричневыми соломенными крышами похожи были отсюда на кучку крупных березовых грибов. Спуститься туда мы не решились. Перешли поле и опять очутились в роще.

— Дом,— прошептал я, останавливаясь и показывая пальцем на краешек красной железной крыши.

Опасаясь нарваться на какую-нибудь засаду, мы осторожно подобрались к высокой изгороди. Ворота были наглухо заперты. Не лаяли собаки, не кудахтали ку-

ры, не топтались в хлеву коровы — все было тихо, точно все живое нарочно притаилось при нашем приближении. Мы обошли кругом усадьбу — прохода нигде не было.

— Залезай мне на спину,— приказал Чубук,— заглянешь через забор, что там есть.

Через забор я увидел пустой, поросший травой двор, вытоптанные клумбы, из которых кое-где подымались помятые георгины и густо-синие звездочки анютиных глазок.

— Ну? — спросил Чубук нетерпеливо.— Да слезай же! Что я тебе, каменный, что ли?

— Нету никого,— ответил я, спрыгивая.— Передние окна забиты досками, а сбоку вовсе рам нету — видать сразу, что брошенный дом. А колодец во дворе есть.

Отодвинув неплотно прибитую доску, мы полезли через дыру во двор. В заплесневелой яме колодца чернильным наплывом отсвечивала глубокая вода, но зачерпнуть было нечем. Под навесом, среди сваленной кучи хлама, Чубук разыскал ржавое худое ведро. Пока мы его подтягивали, воды оставалось на донышке. Тогда заткнули дыру пучком травы и зачерпнули второй раз. Вода была чистая, студеная, и пить ее пришлось маленькими глотками. Ополоснули потные, пыльные лица и пошли к дому. Передние окна были заколочены, но зато сбоку дверь, выходившая на веранду, была распахнута и отвисло держалась на одной нижней петле. Осторожно ступая по скрипучим половицам, пошли в комнаты.

На полу, усыпанном соломой, обрывками бумаги, тряпками, стояло несколько пустых дощатых ящиков, сломанный стул и буфет с дверцами, расщепленными чем-то тупым и тяжелым.

— Мужики усадьбу грабили,— тихо сказал Чубук.— Ограбили все нужное и бросили.

В следующей комнате лежала беспорядочная груда запыленных книг, покрытых рогожей, испачканной известкой. Тут же в общей куче валялся надорванный портрет полного господина, поперек пышного белого лба которого пальцем, обмакнутым в чернила, было коряво выведено неприличное слово.

Было странно и интересно пробираться из комнаты в комнату заброшенного разграбленного дома. Каждая

мелочь: разбитый цветочный горшок, позабытая фотография, поблескивающая в мусоре пуговица, рассыпанные, растоптанные фигурки шахмат, затерявшийся от колоды король пик, сиротливо прятавшийся в осколках разбитой японской вазы,— все это напоминало о людях, о хозяевах, о не похожем на настоящее уютном прошлом спокойных обитателей этой усадьбы.

За стеной что-то мягко стукнуло, и этот стук, слишком неожиданный среди мертвого тления заброшенных комнат, заставил нас вздрогнуть.

— Кто там? — зычно разбивая тишину, спросил Чубук, приподнимая винтовку.

Большой рыжий кот широкими крадущимися шагами шел нам навстречу. И, остановившись в двух шагах, он с злобным, голодным мяуканьем уставился на нас холодными зелеными глазами. Я хотел погладить его, но кот попятился назад и одним махом, не прикасаясь даже к подоконнику, вылетел на заглохшую клумбу и исчез в траве.

— Как он не сдох?

— Чего ему сдыхать? Он мышей жрет, по духу слышно, что здесь мышей до черта.

Нудным, хватающим за сердце скрипом заныла какая-то далекая дверь, и послышалось неторопливое шарканье: как будто кто-то тер сухой тряпкой об пол. Мы переглянулись. Это были шаги человека.

— Кого тут еще черт носит? — тихо проговорил Чубук, подталкивая меня за простенок и бесшумно свертывая предохранитель винтовки.

Донеслось легкое покашливание, захрустел отодвигаемый дверью ком бумаги, и в комнату вошел невысокий, плохо выбритый старичок в потертой пижаме голубого цвета и в туфлях, обутых на босую ногу. Старичок с удивлением, но без страха посмотрел на нас, вежливо поклонился и сказал равнодушно:

— А я слушаю... кто это внизу ходит? Думаю, может, мужички пришли, ан нету. Глянул в окно — телег не видно.

— Кто ты есть за человек? — с любопытством спросил Чубук, закидывая винтовку за плечо.

— Позвольте спросить мне прежде, кто вы? — так же тихо и равнодушно поправил старичок.— Ибо если вы сочли нужным нанести визит, то будьте добры пред-

ставиться хозяину. Впрочем...— тут он немного склонил голову и пыльными серыми глазами скользнул по Чубуку,— впрочем, я и сам догадываюсь: вы — красные.

Тут нижняя губа хозяина дрогнула, будто кто-то дернул ее книзу. Блеснул желтым огоньком и потух золотой зуб, смахнули ожившие веки пыль с его серых глаз. Широким жестом хлебосольного хозяина старичок пригласил нас за собой:

— Прошу пожаловать!

Недоумевая, мы переглянулись и мимо разгромленных комнат пошли к узенькой деревянной лестнице, ведшей наверх.

— Я, видите ли, наверху принимаю,— точно извиняясь, говорил на ходу хозяин.— Внизу, знаете, беспорядок, не убрано, убирать некому, все куда-то провалились, и никого не дозовешься. Сюда пожалуйте.

Мы очутились в небольшой светлой комнате. У стены стоял старый сломанный диван с вывороченным нутром, вместо простыни покрытый рогожей, а вместо одеяла — остатком красивого, но во многих местах прожженного ковра. Тут же стоял трехногий письменный стол, а над столом висела клетка с канарейкой. Канарейка, очевидно, давным-давно сдохла и лежала в кормушке кверху лапками. Со стены глядело несколько пыльных фотографий. Очевидно, кто-то помог хозяину перетащить негодные остатки разбитой мебели и обставить эту комнату.

— Прошу садиться,— сказал старик, указывая на диван.— Живу, знаете ли, один, гостей видеть давненько уж никого не видел. Мужички заезжают иногда, продукты привозят, а вот порядочных людей давно не видал. Был у меня как-то ротмистр Шварц. Знаете, может быть?.. Ах, впрочем, извините, ведь вы же красные.

Не спрашивая нас, хозяин полез в буфет, достал оттуда две недобитых тарелки, две вилки — одну простую кухонную, с деревянным черенком, другую — вычурно изогнутую, десертную, у которой не хватало одного зубца, потом достал каравай черствого хлеба и полкружка украинской колбасы.

Поставив на кособокую фитильную керосинку залепленный жирной сажей чайник, он вытер руки о полотенце, не стиранное бог знает с какого времени, снял со стены причудливую трубку, с которой беззубо скалил-

ся резной козел с человечьей головой, набил трубку махоркой и сел на драное, зазвеневшее выпершими пружинами кресло. Во время всех его приготовлений мы сидели молча на диване. Чубук тихонько толкнул меня и, хитро улыбнувшись, постучал незаметно пальцем о свой лоб. Я понял его и тоже улыбнулся.

— Давненько уж не видал я красных,— сказал хозяин и тут же поинтересовался: — Каково здоровье Ленина?

— Ничего, спасибо, жив-здоров,— серьезно ответил Чубук.

— Гм, здоров...

Старичок помешал проволокой жерло чадившей трубки и вздохнул.

— Да и то сказать, с чего им болеть? — он помолчал и потом, точно отвечая на наш вопрос, сообщил: — А я вот прихварываю понемногу. По ночам, знаете, бессонница. Нету прежнего душевного равновесия. Встану иногда, пройдусь по комнатам — тишина, только мыши скребутся.

— Что это вы пишете? — спросил я, увидав на столе целую кипу исписанных бисерным почерком листочков.

— Так,— ответил он.— Соображения по поводу текущих событий. Набрасываю план мирового переустройства. Я, знаете, философ и спокойно взираю на все возникающее и проходящее. Ни на что не жалуюсь... нет, ни на что.

Тут старичок встал и, мельком взглянув в окно, сел опять на свое место.

— Жизнь пошумит, пошумит, а правда останется. Да, останется,— слегка возбуждаясь, повторил старик.— Были и раньше бунты, была пугачевщина, был пятый год, так же разрушались, сжигались усадьбы. Проходило время, и, как птица Феникс из пепла, возникало разрушенное, собиралось разрозненное.

— То есть что же это? На старый лад все повернуть думаете? — настороженно и грубовато спросил Чубук.— Мы вам, пожалуй, перевернем!

При этом прямом вопросе старичок съежился и, заискивающе улыбаясь, заговорил:

— Нет, нет... что вы! Я не к тому. Это ротмистр Шварц хочет, а я не хочу. Вот предлагал он мне воз-

вратить все, что мужички у меня позаимствовали, а я отказался. На что оно мне, говорю. Время не такое, чтобы возвращать, пусть лучше они мне понемногу на прожитие продуктов доставляют и пусть на доброе здоровье моим добром пользуются.

Тут старичок опять приподнялся, постоял у окна и быстро обернулся к столу.

— Что же это я... Вот и чайник вскипел. Прошу к столу, кушайте, пожалуйста.

Упрашивать нас было не к чему: хлебные корки захрустели у нас на зубах, и запах вкусной чесночной колбасы приятно защекотал ноздри.

Хозяин вышел в соседнюю комнату, и слышно было, как возится он, отодвигая какие-то ящики.

— Забавный старик,— тихо заметил я.

— Забавный,— вполголоса согласился Чубук,— а только... только что это он все в окошко поглядывает?

Тут Чубук обернулся, пристально осмотрел комнату, и внимание его привлекла старая дерюга, разостланная в углу. Он нахмурился и подошел к окну.

Вошел хозяин. В руках он держал бутылку и полой пижамы стирал с нее налет пыли.

— Вот,— проговорил он, подходя к столу.— Прошу. Ротмистр Шварц заезжал и не допил. Позвольте, я вам в чай коньячку. Я и сам люблю, но для гостей... для гостей...— Тут старичок выдернул бумагу, которой было закупорено горлышко, и дополнил жидкостью наши стаканы.

Я протянул руку к стакану, но тут Чубук быстро отошел от окна и сказал мне сердито:

— Что это ты, милый? Не видишь, что ли, что посуды не хватает? Уступи место старику, а то расселся. Ты и потом успеешь. Садись, папаша, вместе выпьем.

Я посмотрел на Чубука, удивляясь тому грубому тону, которым он обратился ко мне.

— Нет, нет! — И старик отодвинул стакан.— Я потом... вы же гости...

— Пей, папаша,— повторил Чубук и решительно подвинул стакан хозяину.

— Нет, нет, не беспокойтесь,— упрямо отказался старик и, неловко отодвигая стакан, опрокинул его.

Я сел на прежнее место, а старик отошел к окну и задернул грязную ситцевую занавеску.

— Пошто задергиваешь? — спросил Чубук.

— Комары,— ответил хозяин.— Комары одолели. Место тут низкое... столько расплодилось, проклятых.

— Ты один живешь? — неожиданно спросил Чубук.— Как же это один?.. А чья это вторая постель у тебя в углу? — И он показал на дерюгу.

Не дождаясь ответа, Чубук поднялся, отдернул занавеску и высунул голову в окно. Вслед за ним приподнялся и я.

Из окна открывался широкий вид на холмы и рощицы. Ныряя и выплывая, убегала вдаль дорога; у края приподнятого горизонта на фоне покрасневшего неба обозначились четыре прыгающие точки.

— Комары! — грубо крикнул Чубук хозяину и, смерив презрительным взглядом его съежившуюся фигуру, добавил: — Ты, как я вижу, и сам комар, крови пососать захотел? Идем, Борис!

Когда по лесенке мы сбежали вниз, Чубук остановился, вынул коробок и, чиркнув спичкой, бросил ее на кучу хлама. Большой ком серой сухой бумаги вспыхнул, и пламя потянулось к валявшейся на полу соломе. Еще минута, другая, и вся замусоренная комната загорелась бы. Но тут Чубук с неожиданной решимостью растоптал огонь и потянул меня к выходу.

— Не надо,— как бы оправдываясь, сказал он.— Все равно наше будет.

Минут через десять мимо кустов, в которых мы спрятались, промчались четверо всадников.

— На усадьбу скачут,— пояснил Чубук.— Я как увидел в углу постеленную дерюгу, понял, что старик не один живет, а еще с кем-то. Видел ты, он все к окну подходил? Пока мы внизу по комнатам лазили, он послал за белыми кого-то. Так же и с чаем. Подозрительным мне что-то этот коньяк показался, может, разбавил его каким-нибудь крысомором? Не люблю я и не верю разграбленным, но гостеприимным помещикам! Кем он ни прикидывайся, а все равно про себя он мне первый враг!

Ночевали мы в сенокосном шалаше. В ночь ударила буря, хлынул дождь, а мы были рады. Шалаш не протекал, и в такую непогоду можно было безопасно отоспаться. Едва начало светать, Чубук разбудил меня.

— Теперь караулить друг друга надо,— сказал он.— Я уже давно возле тебя сижу. Теперь прилягу маленько, а ты посторожи. Неравно, как пойдет кто. Да смотри не засни тоже!

— Нет, Чубук, я не засну.

Я высунулся из шалаша. Под горой дымилась река. Вчера мы попали по пояс в грязное вязкое болотце, за ночь вода обсохла, и тина липкой коростой облепила тело.

«Искупаться бы,— подумал я.— Речка рядышком, только под горку спуститься».

С полчаса я сидел и караулил Чубука. И все не мог отвязаться от желания сбегать и искупаться. «Никого нет кругом,— думал я,— кто в этакую рань пойдет, да тут и дороги никакой около не видно. Не успеет Чубук на другой бок перевернуться, как я уже и готов».

Соблазн был слишком велик, тело зудело и чесалось. Скинув никчемный патронташ, я бегом покатился под гору.

Однако речка оказалась совсем не так близко, как мне казалось, и прошло, должно быть, минут десять, прежде чем я был на берегу. Сбросив черную ученическую гимнастерку, еще ту, в которой я убежал из дому, сдернув кожаную сумку, сапоги и штаны, я бултыхнулся в воду. Сердце ёкнуло. Забарахтался. Сразу стало теплее. У-ух, как хорошо! Поплыл тихонько на середину. Там, на отмели, стоял куст. Под кустом запуталось что-то: не то тряпка, не то упущенная при полоскании рубаха. Раздвинул ветки и сразу же отпрянул назад. Зацепившись штаниной за сук, вниз лицом лежал человек. Рубаха на нем была порвана, и широкая рваная рана чернела на спине. Быстрыми саженками, точно опасаясь, что кто-то вот-вот больно укусит меня, поплыл назад.

Одеваясь, я с содроганием отворачивал голову от куста, буйно зеленевшего на отмели. То ли вода ударила крепче, то ли, раздвигая куст, я нечаянно отцепил покойника, а только он выплыл, его перевернуло течением и понесло к моему берегу.

Торопливо натянув штаны, я начал надевать гимнастерку, чтобы скорей убежать прочь. Когда я просунул голову в ворот, тело расстрелянного было уже рядом, почти у моих ног.

Дико вскрикнув, я невольно шагнул вперед и, оступившись, едва не полетел в воду. Я узнал убитого. Это был один из трех раненых, оставленных нами на пасеке, это был наш Цыганенок.

— Эгей, хлопец! — услышал я позади себя окрик.— Подходи-ка сюда.

Трое незнакомых направлялись прямо ко мне. Двое из них были с винтовками. Бежать мне было некуда — спереди они, сзади река.

— Ты чей? — спросил меня высокий чернобородый мужчина.

Я молчал. Я не знал, кто эти люди — красные или белые.

— Чей? Тебя я спрашиваю! — уже грубее переспросил он, хватая меня за руку.

— Да что с ним разговаривать! — вставил другой.— Сведем его на село, а там и без нас спросят.

Подъехали две телеги.

— Дай-ка кнут-то! — закричал чернобородый одному из мужиков-подводчиков, робко жавшемуся к лошади.

— Для че? — недовольно спросил другой.— Для че кнутом? Ты веди к селу, там разберут.

— Да не драть. Руки я ему перекручу, а то вон как смотрит, того и гляди, что стреканет.

Ловким вывертом закинули мне локти назад и легонько толкнули к телеге:

— Садись!

Сытые кони дернули и быстрой рысцой понесли к большому селу, сверкавшему белыми трубами на зеленом пригорке.

Сидя в телеге, я еще надеялся на то, что мои провожатые — партизаны одного из красных отрядов, что на месте все выяснится и меня сразу же отпустят.

В кустах недалеко от села постовой окликнул:

— Кто едет?

— Свои... староста,— ответил чернобородый.

— А-а-а!.. Куда ездил?

— Подводы с хутора выгонял.

Кони рванулись и понеслись мимо постового. Я не успел рассмотреть ни его одежды, ни его лица, потому что все мое внимание было приковано к его плечам. На плечах были погоны.

Солдат на улице еще не было видно — вероятно, спали. Возле церкви стояло несколько двуколок, крытый фургон с красным крестом, а около походной кухни заспанные кашевары кололи на растопку лучину.

— В штаб везти? — спросил возница у старосты.

— Можно и в штаб. Хотя их благородие спят еще. Не стоит из-за такого мальца тревожить. Вези пока в холодную.

Телега остановилась возле низкой каменной избушки с решетчатыми окнами. Меня подтолкнули к двери. Наспех прощупав мои карманы, староста снял с меня кожаную сумку. Дверь захлопнулась, хрустнула пружина замка. В первые минуты острого, причинившего физическую боль страха я решил, что погиб, погиб окончательно и бесповоротно, что нет никакой надежды на спасение. Взойдет солнце выше, проснется его благородие, о котором упоминал староста, вызовет, и тогда смерть, тогда конец.

Я сел на лавку и, опустив голову на подоконник, закоченел в каком-то тупом бездумье. В виски молоточками стучала кровь: тук-тук, тук-тук, и мысль, как неисправная граммофонная пластинка, повторяла, сбиваясь все на одно и то же: «Конец... конец... конец...» Потом, навертевшись до одури, от какого-то неслышного толчка острие сознания попало в нужную извилину мозга, и мысли в бурной стремительности понеслись безудержной чередой.

«Неужели никак нельзя спастись? И так нелепо попался! Может быть, можно бежать? Нет, бежать нельзя. Может быть, на село нападут красные и успеют отбить? А если не нападут? Или нападут уже потом, когда будет поздно? Может быть... Нет, ничего не может быть, ничего не выходит».

Мимо окна погнали стадо. Тесно сгрудившись, колыхались овцы, блеяли и позвякивали колокольцами козы, щелкал бичом пастух. Маленький теленок бежал подпрыгивая и смешно пытался на ходу ухватить вымя коровы.

Эта мирная деревенская картина заставила еще больше почувствовать тяжесть положения, к чувству страха примешалась и даже подавила его на короткое время

злая обида — вот... утро такое... все живут. И овцы, и везде жизнь как жизнь, а ты помирай!

И, как это часто бывает, из хаоса сумбурных мыслей, нелепых и невозможных планов выплыла одна необыкновенно простая и четкая мысль, именно та самая, которая, казалось бы, естественней всего и прежде всего должна была прийти на помощь.

Я так крепко освоился с положением красноармейца и бойца пролетарского отряда, что позабыл совершенно о том, что моя принадлежность к красным вовсе не написана на моем лбу. То, что я красный, как бы подразумевалось само собой и не требовало никаких доказательств, и доказывать или отрицать казалось мне вообще таким никчемным, как объяснять постороннему, что волосы мои белые, а не черные,— объяснять в то время, когда всем и без объяснения это отличио видно.

«Постой,— сказал я себе, радостно хватаясь за спасительную нить.— Ну ладно... я красный. Это я об этом знаю, а есть ли какие-нибудь признаки, по которым могли бы узнать об этом они?»

Поразмыслив немного, я пришел к окончательному убеждению, что признаков таких нет. Красноармейских документов у меня не было. Серую солдатскую папаху со звездочкой я потерял, убегая от кордона. Тогда же бросил я и шинель. Разбитая винтовка валялась в лесу на траве, патронташ, перед тем как идти купаться, я оставил в шалаше. Гимнастерка у меня была черная, ученическая. Возраст у меня был не солдатский. Что же еще остается? Ах, да! Маленький маузер, спрятанный на груди, и еще что? Еще история о том, как я попал на берег речки. Но маузер можно запихать под печь, а историю... историю можно и выдумать.

Чтобы не запутаться, я решил не усложнять обстоятельств выдумыванием нового имени и новой фамилии, возраста и места рождения. Я решил остаться самим собой, то есть Борисом Гориковым, учеником пятого класса Арзамасского реального училища, отправившимся с дядей (чтобы не сбиться, дядю настоящего вспомнил) в город Харьков к тетке (адрес тетки остался у дяди). По дороге я отстал от дяди, меня ссадили с поезда за проезд без пропуска и документов (они у дяди). Тогда я решил пройти вдоль полотна, чтобы сесть на поезд со следующей станции. Но тут красные

кончились и начались белые. Если спросят, чем жил, пока шел, скажу, что подавали по деревням. Если спросят, зачем направлялся в Харьков, раз не знаю адреса тетки, скажу, что надеялся узнать в адресном столе. Если скажут: «Какие же, к черту, могут быть сейчас адресные столы?» — удивлюсь и скажу, что могут, потому уж на что Арзамас худой город, и то там есть адресный стол. Если спросят: «Как же так дядя надеялся пробраться из красной России в белый Харьков?» — скажу, что дядя у меня такой пройдоха, что не только в Харьков, а хоть за границу проберется. А я вот... нет, не пройдоха, не могу никак. На этом месте нужно будет заплакать. Не особенно, а так, чтобы печаль была видна. Вот и все пока, остальное будет видно на месте.

Вынул маузер. Хотел было сунуть его под печь, но раздумал. Даже если отпустят, отсюда его уже не вытащишь. Комната имела два окна: одно выходило на улицу, другое — в узенький проулок, по которому пролегала тропка, заросшая по краям густой крапивой. Тогда я поднял с пола обрывок бумаги, завернул маузер и бросил небольшой сверток в самую гущу крапивы. Только что успел я это сделать, как на крыльце застучали. Привели еще троих: двух мужиков, скрывших лошадей при обходе за подводами, и парнишку, уж не знаю зачем укравшего запасную возвратную пружину с двуколки у пулеметчика.

Парнишка был избит, но не охал, а только тяжело дышал, точно его прогнали бегом.

Между тем улица села оживилась. Проходили солдаты, ржали кони, звякали котелки возле походной кухни. Показались связисты, разматывающие на рогульки телефонный провод. Четко в ногу, под командой важного унтера прошел мимо не то караул к разводу, не то застава к смене.

Опять щелкнул замок, просунулась голова солдата. Остановившись у порога, солдат вытащил из кармана смятую бумажку, заглянул в нее и крикнул громко:

— Который тут Ваалд, что ли? Выходи.

Я посмотрел на своих соседей, те на меня — никто не подымался.

— Ваалд... Ну, кто тут?

«Ваальд Юрий!» — ужаснулся я, вспомнив про бумаги, которые нашел в подкладке и о которых позабыл

среди волнений последнего времени. Выбора у меня не было. Я встал и нетвердо направился к двери.

«Ну да, конечно,— понял я.— Они нашли бумаги и принимают меня за того... за убитого. Ой, как это скверно! Какой хороший и простой был мой первый план и как легко мне теперь сбиться и запутаться. А отказаться от бумаг нельзя. Сразу же возникнет подозрение — где достал документы, зачем?» Вылетела из головы вся тщательно придуманная история с поездкой к тете, с пройдохой-дядей... Нужно что-то сообразить новое, но что сообразишь? Тут уж придется, видно, на месте.

Да... а-а-ах, какой же я дурень! Ну, ладно, я Ваальд, меня ведут к своим. Наконец-то я добрался, должен быть веселым, довольным, а я иду, опустив голову, точно покойника провожаю».

Выпрямился и попробовал улыбнуться. Но как трудно иногда быть веселым, как невольно, точно резиновые, сжимаются и вздрагивают насильно растянутые в улыбку губы! С крыльца штаба спускался высокий пожилой офицер в погонах капитана, рядом с ним, с видом собаки, которой дали пинка, шагал староста. Заметив меня, староста остановился и развел руками: извините, мол, ошибка вышла.

Офицер сказал старосте что-то резкое, и тот, подобострастно кивнув головой, побежал вдоль улицы.

— Здравствуй, военнопленный,— немного насмешливо, но совсем не сердито сказал капитан.

— Здравия желаю, господин капитан! — ответил я так, как учили нас в реальном на уроках военной гимнастики.

— Ступай,— отпустил офицер моего конвоира и подал мне руку.— Ты как здесь? — спросил он, хитро улыбаясь и доставая папиросу.— Родину и отечество защищать? Я прочел письмо к полковнику Коренькову, но оно ни к чему тебе теперь, потому что полковник уже месяц как убит.

«И очень хорошо, что убит»,— подумал я.

— Пойдем ко мне. Как же это ты, братец, не сказался старосте? Вот и пришлось тебе посидеть. Попал к своим, да сразу и в кутузку.

— А я не знал, кто он такой. Погонов у него нет, мужик мужиком. Думал, что красный это. Тут ведь, го-

ворят, шатаются,— выдавил я из себя и в то же время подумал, что офицер, кажется, хороший, не очень иаблюдательиый, иначе бы он по моему неестественному виду сразу бы догадался, что я ие тот, за кого он меня приннмает.

— Зиавал я твоего отца,— сказал капитаи.— Давненько только, в седьмом году на маиеврах в Озерках у вас был. Ты тогда еще совсем мальчуган был, только смутиое какое-то сходство осталось. А ты не помнишь меия?

— Нет,— как бы извиняясь, ответил я,— не помню. Маневры помню чуть-чуть, только тогда у нас много офицеров было.

Если бы я не имел того «смутного сходства», о котором упоминал капитан, и если бы у него появилось хоть малеиькое подозрение, он двумя-тремя вопросами об отце, о кадетском корпусе мог бы вконец угробить меня.

Но офицер ие подозревал ничего. То, что я не открылся старосте, казалось очень правдоподобным, а воспитанники кадетских корпусов иа Дон бежали тогда из России табуиамн.

— Ты, должио быть, есть хочешь? Пахомов! — крикнул он раздувавшему самовар солдату.— Что у тебя приготовлено?

— Куреиок, ваше благородие. Самовар сейчас вскипит... да попадья квашню выиула, лепешки скоро будут готовы.

— Куреиок! Что иам на двоих куреиок? Ты давай еще чего-нибудь.

— Смалец со шкварками можно, ваше благородие, со вчерашними варениками разогреть.

— Давай вареники, давай куреика, да скоренько!

Тут в соседией комиате заныл вызов телефонного аппарата.

— Ваше благородие, ротмистр Шварц к телефону просит.

Увереииым, спокойиым баритоном капитан передавал распоряжения ротмистру Шварцу.

Когда он положил трубку, кто-то другой, по-видимому также офицер, спросил у капитана:

— Что Шварц знает нового об отряде Бегичева?

— Пока ничего. Заходили вчера двое красных на Кустаревскую усадьбу, а поймать ие удалось. Да! Вик-

тор Ильнч, напншнте в донесеини, что, по агеитурным сведениям Шварца, отряд Шебалова будет пытаться проскочнть мимо полковника Жихарева в райои завесы красных. Нужио не дать нм соедиииться с Бегичевым... Ну-с, молодой человек, пойдемте завтракать. Покушайте, отдохиите, а тогда будем решать, как н куда вас пристроить.

Только что мы успели сесть за стол, денщик поставил плошку с дымящимися вареникамн, куреика, который по размерам походнл скорее на здорового петуха, и шипящую сковороду со шкварками, только что успел я протяиуть руку за деревяниой ложкой и подумать о том, что судьба, кажется, благоприятствует мне, как возле ворот послышался шум, говор и ругательства.

— До вас, ваше благородие,— сказал вернувшнйся денщнк,— красиого привелн с вннтовкой. На Забелином лугу в шалаше поймали. Пошли пулеметчики сено покосить, гляиулн, а он в палатке спит, и вннтовка рядом и бомба. Ну, иавалились и скрутили. Завести прикажете?

— Пусть приведут... Не сюда только. Пусть в соседией комиате подождут, пока я позавтракаю.

Опять затопали, застучалн приклады.

— Сюда! — крикиул за стеной кто-то.— Садись иа лавку да шапку-то сымн, не видишь — иконы.

— Ты руки прежде раскрути, тогда гавкай!

Вареник захолодел в моем полураскрытом рту и плюхиулся обратио в миску. По голосу в плеиином я узиал Чубука.

— Что, обжегся? — спросил капитан.— А ты ие иаваливайся очень-то. Успеешь, иаешься.

Трудно себе представнть то мучительио иапряжениое состояиие, которое охватило меия. Чтобы не внушать подозреиия, я должеи был казаться бодрым и спокойиым. Варeиики глиняиыми комьями размазывались по рту. Требовалось чнсто фнзическое усилие для того, чтобы протолкнуть кусок через сжимавшееся горло. Но капитан был уверен в том, что я сильно голодеи, да и я сам еще до завтрака сказал ему об этом. И теперь я должен был через снлу есть. Тяжело ворочая одеревеиевшими челюстями, машинально иаиизывая лосиящиеся от жира куски иа вилку, я был подавлеи и измят сознаиием своей вины перед Чубуком. Это я вииоват в

том, что его захватили в плен двое пулеметчиков. Это я, несмотря на его предупреждения, самовольно ушел купаться. Я виноват в том, что самого дорогого товарища, самого любимого мной человека взяли сонным и привели во вражеский штаб.

— Э-э, брат, да ты, я вижу, совсем спишь,— как будто бы издалека донесся до меня голос капитана.— Вилку с вареником в рот, а сам глаза закрыл. Ляг поди на сено, отдохни. Пахомов, проводи!

Я встал и направился к двери. Теперь нужно было пройти через комнату телефонистов, в которой сидел пленный Чубук.

Это была тяжелая минута.

Нужно было, чтобы удивленный Чубук ни одним жестом, ни одним восклицанием не выдал меня. Нужно было дать понять, что я попытаюсь сделать все возможное для того, чтобы спасти его.

Чубук сидел, низко опустив голову. Я кашлянул. Чубук приподнял голову и быстро откинулся назад.

Но, уже прежде чем коснуться спиной стены, он пересилил себя, смял и заглушил невольно вырвавшийся возглас. Как бы сдерживаясь от кашля, я приложил палец к губам, и по тому, как Чубук быстро сощурил глаз и перевел взгляд с меня на шагавшего вслед за мной денщика, я догадался, что Чубук все-таки ничего не понял и считает меня также арестованным по подозрению, пытающимся оправдаться. Его подбадривающий взгляд говорил мне: «Ничего, не бойся. Я тебя не выдам».

Вся эта молчаливая сигнализация была такой короткой, что ее не заметили ни денщик, ни конвоир. Покачиваясь, я вышел во двор.

— Сюда пожалуйте,— указал мне денщик на небольшой сарайчик, примыкавший к стене дома.— Там сено снутри и одеяло. Дверцу только заприте за собой, а то поросюки набегут.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Уткнувшись головой в кожаную подушку, я притих. «Что же делать теперь? Как спасти Чубука? Что должен сделать я для того, чтобы помочь ему бежать? Я виноват, я должен изворачиваться, а я сижу, ем вареники, и Чубук должен за меня расплачиваться».

Но придумать ничего я не мог.

Голова нагрелась, щеки горели, и понемногу лихорадочное, возбужденное состояние овладело мной. «А честно ли я поступаю, не должен ли я пойти и открыто заявить, что я тоже красный, что я товарищ Чубука и хочу разделить его участь?» Мысль эта своей простотой и величием ослепила меня. «Ну да, конечно,— шептал я,— это будет, по крайней мере, искуплением моей невольной ошибки». Тут я вспомнил давно еще прочитанный рассказ из времен Французской революции, когда отпущенный на честное слово мальчик вернулся под расстрел к вражескому офицеру. «Ну да, конечно,— торопливо убеждал и уговаривал себя я,— я встану сейчас, выйду и все скажу. Пусть видят тогда и солдаты и капитан, как могут умирать красные. И когда меня поставят к стенке, я крикну: «Да здравствует революция!» Нет... не это. Это всегда кричат. Я крикну: «Проклятие палачам!» Нет, я скажу...»

Все больше и больше упиваясь сознанием мрачной торжественности принятого решения, все более разжигая себя, я дошел до того состояния, когда смысл поступков начинает терять свое настоящее значение.

«Встаю и выхожу.— Тут я приподнялся и сел на сено.— Так что же я крикну?»

На этом месте мысли завертелись яркой, слепящей каруселью, какие-то нелепые, никчемные фразы вспыхивали и гасли в сознании, и, вместо того чтобы придумать предсмертное слово, уж не знаю почему я вспомнил старого цыгана, который играл на свадьбах в Арзамасе на флейте. Вспомнил и многое другое, никак не связанное с тем, о чем я пытался думать в ту туманную минуту.

«Встаю...» — подумал я. Но сено и одеяло крепким, вяжущим цементом обволокли мои ноги.

И тут я понял, почему я не поднимаюсь. Мне не хотелось подниматься, и все эти раздумья о последней фразе, о цыгане — все было только поводом к тому, чтобы оттянуть решительный момент. Что бы я ни говорил, как бы я ни возбуждал себя, мне окончательно не хотелось идти открываться и становиться к стенке.

Сознавшись себе в этом, я покорно лег опять на подушку и тихо заплакал над своим ничтожеством, сравнивая себя с великим мальчиком из далекой Французской революции.

Деревянная стена, к которой было привалено сено, глухо вздрогнула. Кто-то изнутри задел ее чем-то твердым: не то прикладом, не то углом скамейки. За стеной слышались голоса.

Проворной ящерицей я подполз вплотную, приложил ухо к бревнам и тотчас же поймал середину фразы капитана:

— ...поэтому нечего чушь пороть. Хуже себе сделаешь. Сколько пулеметов в отряде?

— Хуже уже некуда, а вилять мне нечего,— отвечал Чубук.

— Пулеметов сколько, я спрашиваю?

— Три... два «максима», один кольт.

«Нарочно говорит,— понял я.— У нас в отряде всего только один кольт».

— Так. А коммунистов сколько?

— Все коммунисты.

— Так-таки и все? И ты коммунист?

Молчание.

— И ты коммунист? Тебя спрашиваю!

— Да что зря спрашивать? Сам билет в руках держит, а спрашивает.

— Мо-ол-чать! Ты, как я смотрю, кажется, идейный. Стой прямо, когда с тобой офицер разговаривает. Это ты в усадьбе был?

— Я.

— С тобой еще кто?

— Товарищ... Еврейчик один.

— Жид? Куда он делся?

— Убег куда-то... в другую сторону.

— В какую сторону?

— В противоположную.

Что-то стукнуло, двинулась табуретка, и баритон протяжно заговорил:

— Я тебе дам «в противоположную»! Я тебя сейчас самого пошлю в противоположную.

— Чем бить, распорядились бы лучше скорей, да и делу конец,— тише прежнего донесся голос Чубука.— Наши бы, если бы вас, ваше благородие, поймали, дали бы раза два в морду — да и в расход. А вы, глядите-ка, всего плетюгой исполосовали, а еще интеллигентный.

— Что-о?.. Что ты сказал? — высоким, срывающимся голосом закричал капитан.

— Я говорю, нечего человека зря валандать!

Вмешался третий голос:

— Господин... командир полка — к аппарату!

Минут десять за стеной молчали. Потом с крыльца уже послышался голос денщика Пахомова:

— Ординарец! Мусабеков!.. Ибрагишка!..

— Ну-у? — донесся из малинника ленивый отклик.

— И где ты, черт, делся? Седлай жеребца капитану.

За стеной опять баритон:

— Виктор Ильич! Я в штаб... Вернусь, вероятно, ночью. Позвоните Шварцу, чтобы он срочно связался с Жихаревым. Жихарев донес, что отряды Бегичева и Шебалова соединились возле Разлома.

— А с этим что?

— Этого... этого можно расстрелять. Или нет — держите его до моего возвращения. Мы еще поговорим с ним. Пахомов! — повышая тон, продолжал капитан.— Лошадь готова? Подай-ка мне бинокль. Да! Когда этот мальчик проснется, накормишь его. Мне обед оставлять не надо. Я там пообедаю.

Мелькнули через щели черные папахи ординарцев. Мягко захлопали по пыли подковы. Через ту же щель я увидел, как конвоиры повели Чубука к избе, в которой я сидел утром.

«Капитан вернется поздно,— подумал я,— значит, в следующий раз Чубука выведут для допроса ночью».

Робкая надежда легким, прохладным дуновением освежила мою голову.

Я здесь на свободе... Никто меня ни в чем не подозревает, больше того: я гость капитана. Я могу беспрепятственно ходить, где хочу, и, когда начнет темнеть, я, как бы прогуливаясь, пойду по тропке, которая пролегает возле окошка, выходящего на зады. Подниму маузер и суну его через решетку. Солдаты придут ночью за Чубуком. Он выйдет на крыльцо и, пользуясь тем, что они будут считать его обезоруженным, сможет убить и того и другого, прежде чем хоть один из них успеет вскинуть винтовку. Ночи теперь темные: два шага отскочил — и пропал. Только бы удалось просунуть маузер, а это сделать нетрудно. Избушка каменная, решетки крепкие, и поэтому часовой, не опасаясь побега через

окно, сидит у крыльца и сторожит дверь; только изредка подойдет он к углу, посмотрит и опять отойдет.

Я вышел из сарайчика. Чтобы скрыть следы слез, вылил себе на голову полный ковш холодной воды. Денщик подал мне кружку квасу и спросил, хочу ли я обедать. От обеда я отказался, пошел на улицу и сел на завалинку.

Решетчатое окошко, за которым сидел Чубук, черной дырой уставилось на меня с противоположной стороны широкой улицы.

«Хорошо, если бы Чубук заметил меня,— подумал я.— Это ободрит его, он поймет, что раз я здесь на свободе, то постараюсь спасти его. Как заставить его выглянуть? Крикнуть нельзя, рукой помахать — часовой заметит... Ага! Вот как. Так же, как когда-то в детстве я вызывал Яшку Цуккерштейна в сад или на пруд».

Сбегал в комнату, снял со стены небольшое походное зеркальце и вернулся на завалинку. Сначала я занялся рассматриванием прыщика, вскочившего на лбу, потом как бы нечаянно пустил солнечного зайчика на крышу противоположного дома и оттуда незаметно перевел светлое пятно в черный провал окна. Часовому, сидевшему на крыльце, был невиден острый луч, ударивший через окно во внутреннюю стену избы. Тогда, не двигая зеркала, я закрыл ладонью стекло, открыл опять, и так несколько раз.

Расчет мой, основанный на том, что арестованный заинтересуется причиной вспышек в затемненной комнате, оправдался.

В следующую минуту в окне под лучами моего солнечного прожектора возник силуэт человека. Сверкнув еще несколько раз, чтобы Чубук проследил направление луча, я отложил зеркало и, встав во весь рост, как бы потягиваясь, поднял руку вверх, что на языке военной сигнализации всегда обозначало: «Внимание! Будьте готовы!»

К крыльцу подошли два стройных юнкера в запыленных бескозырках, с карабинами, ловко перекинутыми наискосок за спину, и спросили капитана. К ним вышел замещавший капитана младший офицер. Юнкера отдали честь, и один протянул пакет:

— От полковника Жихарева.

С завалинки я услышал жужжание телефона: млад-

ший офицер настойчиво вызывал штаб полка. Четыре солдата, присланные от рот для связи, выскочили из штабной избы и мерным солдатским бегом понеслись в разные концы села. Еще через несколько минут распахнулись ворота околицы, и десять черных казаков легкой стайкой выпорхнули за деревню. Быстрота и четкость, с которой выполнялись передаваемые штабом распоряжения, неприятно поразили меня.

Вышколенные юнкера и вымуштрованные казаки, из которых состоял сводный отряд, были не похожи на наших храбрых, но горластых и плохо дисциплинированных ребят.

Солнце еще только близилось к закату, а мне уже не сиделось. По приготовлениям и отдельным фразам я понял, что в ночь отряд будет выступать. Чтобы скоротать до темноты время, а заодно получше осмотреться, я пошел вдоль села и вышел на пруд, в котором казаки купали лошадей. Лошади фыркали, чавкали копытами, увязавшими в вязком, глинистом дне. Взбаламученная затхлая вода теплыми струйками стекала с их лоснящейся жирной кожи.

На берегу бородатый голый казак с крестом на шее рубил шашкой кусты густого ракитника. Занося шашку, казак поджимал губы, а когда опускал ее, то из груди его вылетал короткий выдох, производивший тот самый неопределенный звук, который вырывается у мясников, разделывающих топором коровью тушу: ыых... ыых...

Под острым блестящим клинком толстые сучья валились, как трава. Попади ему сейчас под замах вражья рука — не будет руки. Попади ему красноармейская голова — разрубит наискосок, от шеи до плеча.

Видел я следы казачьих шашек: как будто бы не на скаку, не узким лезвием шашки нанесен гибельный удар, а на плахе топором спокойного, хорошо нацелившегося заплечных дел мастера.

Заслышав звон колокола, призывавшего ко всенощной, казак кончил рубить. Серой суконной портянкой вытер разогревшийся клинок, вложил его в ножны и, тяжело дыша, перекрестился.

Меж картофельных гряд узенькой тропкой дошел я до родника. Ледяная вода с веселым журчаньем стекала со старой, покрытой мхом колоды. Заржавленная икона, врезанная в подгнивший крест, тускло глядела

выцветшими глазами. Под иконой слабо обозначалась вырезанная ножом надпись:

«Все иконы и святые — ложь».

Начинало темнеть. «Еще полчаса,— подумал я,— и надо будет пробираться к каменной избушке». Я решил выйти на конец села, пересечь большую дорогу и оттуда тропкой пробраться к решетчатому окну. Я хорошо знал место, на которое упал маузер. Белая обертка бумаги немного просвечивала сквозь крапиву. Я решил, не останавливаясь, поднять сверток, сунуть его через решетку и идти дальше как ни в чем не бывало.

Завернув за угол, я очутился на пустыре. Здесь я увидел кучку солдат и неожиданно лицом к лицу столкнулся с капитаном.

— Ты что тут ходишь? — удивившись, спросил он.— Или ты тоже пришел посмотреть? Тебе ведь еще в диковинку.

— Вы разве уже приехали? — заплетающимся языком глупо выдавил я из себя, не понимая еще, о чем это он говорит.

Слова команды, раздавшейся сбоку, заставили нас обернуться. И то, что я увидел, толкнуло меня судорожно вцепиться в обшлаг капитанского рукава.

В двадцати шагах, в стороне, пять солдат с винтовками, взятыми наизготовку, стояли перед человеком, поставленным к глиняной стене нежилой мазанки. Человек был без шапки, руки его были стянуты назад, и он в упор смотрел на нас.

— Чубук,— прошептал я, зашатавшись.

Капитан удивленно обернулся и, как бы успокаивая, положил мне руку на плечо. Тогда, не спуская с меня глаз и не обращая внимания на команду, по которой солдаты взяли винтовки к плечу, Чубук выпрямился и, презрительно покачав головой, плюнул.

Тут так сверкнуло, так грохнуло, что как будто бы моей головой ударили по большому турецкому барабану. И, зашатавшись, обдирая хлястик капитанского обшлага, я повалился на землю.

— Кадет,— строго сказал капитан, когда я опомнился,— это еще что такое? Баба... тряпка! Незачем было лезть смотреть, если не можешь. Так нельзя, батенька,— уже мягче добавил он,— а еще в армию прибежал.

— С непривычки это,— зажигая спичку и закуривая, вставил поручик, командовавший солдатами.— Вы не обращайте на это внимания. У меня в роте тоже телефонистик один из кадетов. Сначала по ночам маму звал, а теперь такой аховый. А этот-то хорош,— понижая голос, продолжал офицер.— Стоял, как на часах, не коверкался. И ведь плюнул еще!

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В ту же ночь, захватив свой маузер и сунув в карман бомбу, валявшуюся в капитанской повозке, с первого же пятиминутного привала я убежал.

Всю ночь безостановочно, с тупым упрямством, не сворачивая с опасных дорог, пробирался я к северу. Черные тени кустарников, глухие овраги, мостики — все то, что в другое время заставило бы меня насторожиться, ждать засады, обходить стороной, проходил я в этот раз напролом, не ожидая и не веря в то, что может быть что-нибудь более страшное, чем то, что произошло за последние часы.

Шел, стараясь ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ничего не желая, кроме одного только: скорей попасть к своим.

Следующий день, с полудня до глубоких сумерек, проспал я, как под хлороформом, в кустах запущенной лощины; ночью поднялся и пошел опять. По разговорам в штабе белых я знал приблизительно, где мне нужно искать своих. Они должны были быть уже недалеко. Но напрасно до полуночи кружил я тропками, проселочными дорогами — никто не останавливал меня.

Ночь, как трепыхающаяся птица, билась в разноголосом звоне неумолчных пташек, в кваканье лягушек, в жужжанье комаров. В шорохах пышной листвы, в запахах ночных фиалок и лесной осоки беспокойной совой кричала раззолоченная звездами душная ночь.

Отчаянье стало овладевать мной. Куда идти, где искать? Вышел к подошве холма, поросшего сочным дубняком, и, обессиленный, лег на поляну душистого дикого клевера. Так лежал долго, и чем дольше думал, тем крепче черной пиявкой всасывалось сознание той ошибки, которая произошла. Это на меня плюнул Чу-

бук, на меня, а не на офицера. Чубук не понял ничего, он ведь не знал про документы кадета, я забыл ему сказать про них. Сначала Чубук думал, что я тоже в плену, но когда увидел меня сидящим на завалинке, а особенно потом уже, когда капитан дружески положил мне руку на плечо, то, конечно, Чубук подумал, что я перешел на сторону белых, а может быть даже, что я нарочно оставил его в палатке. Ничем иным Чубук не мог объяснить себе той заботливости и того внимания, которые были проявлены ко мне белым офицером. Его плевок, брошенный в последнюю минуту, жег меня, как серная кислота, вплеснутая в горло. И еще горше становилось от сознания, что поправить дело нельзя, объяснить и оправдаться не перед кем и что Чубука уже больше нет и не будет ни сегодня, ни завтра, никогда...

Злоба на самого себя, на свой непоправимый поступок в шалаше туже и туже скручивала грудь. И никого кругом не было, не с кем было поделиться, поговорить. Тишина. Только гам птиц да лягушиное кваканье.

К злобе на самого себя примешалась ненависть к проклятой, выматывающей душу тишине. Тогда, обозленный, раскаивающийся и оскорбленный, в бессмысленной ярости вскочил я, выхватил из кармана бомбу, сдернул предохранитель и сильным взмахом бросил ее на зеленый луг, на цветы, на густой клевер, на росистые колокольчики.

Бомба разорвалась с тем грохотом, которого я хотел, и с теми далекими, распугивающими тишину перегудами и перекатами ошалелого эха.

Я упрямо зашагал вдоль опушки.

— Эй, кто там идет? — услышал я вскоре из-за кустов.

— Я иду,— ответил я, не останавливаясь.

— Что за я!.. Стрелять буду!

— Стреляй! — с непонятной вызывающей злобой выкрикнул я, вырывая маузер из-за пазухи.

— Стой, шальной! — раздался другой голос, показавшийся мне знакомым и обращавшийся к невидимому для меня спутнику.— Васька, стой же ты, черт! Да ведь это же, кажется, наш Бориска.

У меня хватило здравого смысла опомниться и не бабахнуть в бойца нашего отряда, шахтера Малыгина.

— Да откуда ты взялся? А мы тут недалече. Послали нас разузнать: бомбой кто-то грохнул. Уж не ты ли?

— Я.

— Чего это ты разошелся так? И бомбами швыряешься и на рожон прешь. Ты уж не пьяный ли?

Все рассказал я товарищам: как попал к белым, как был захвачен и погиб славный Чубук, только о последнем, плевке Чубука, не сказал я никому. И тогда же выложил заодно обо всем, что слышал в штабе о планах белых, о расположении, о том, что отряды Жихарева и Шварца постараются нагнать наших.

— Что же,— сказал Шебалов, опираясь на потемневший и поцарапанный в походах палаш,— слов нету, жалко Чубука. Был Чубук первый красноармеец, лучший боец и товарищ. Что и говорить... Большую оплошку сделал ты, парень... Да, большую.— Тут Шебалов вздохнул.— Ну, а как мертвого все равно не воротишь, нечего мне тебе говорить, да и ты сам не нарочно, а с кем беды не бывает.

— С кем беды не бывает,— подхватило несколько голосов.

— Ну, а вот за то, что узнал ты про Жихарева, про ихние планы, за то, что торопился ты сообщить об этом товарищам,— за это тебе вот моя рука и крепкое спасибо!

Круто завернув вправо, большими ночными переходами далеко ушли мы от ловушки, расставленной Жихаревым, и, минуя крупные села, сбивая на пути мелкие разъезды белых, соединившиеся отряды Шебалова и Бегичева вышли через неделю к своим регулярным частям, державшим завесу на участке станции Поворино.

В те же дни я стал кавалеристом. На стоянке подошел ко мне Федя Сырцов, хлопнул по плечу своей маленькой цепкой пятерней.

— Борис,— спросил он,— верхом ездил когда?

— Ездил,— ответил я,— в деревне только, у дядьки, да и то без седла. А что?

— Раз без седла ездил, в седле и подавно сумеешь. Хочешь ко мне в конную?

— Хочу,— ответил я и недоверчиво посмотрел на Федю.

— Ну, так заместо Бурдюкова будешь. Его коня возьмешь.

— А Гришка где?

— Шебалов выгнал,— и Федя выругался.— Вовсе из отряда выгнал. Гришка на обыске у попа надел на палец колечко да и позабыл снять. И колечко-то дрянь, ему в мирное время пятерка — красная цена. Так поди ж ты, поговори с Шебаловым! Выгнал, черт, попову сторону взял.

Я хотел было возразить Феде, что вряд ли Шебалов станет держать попову сторону и что, вероятно, Гришка Бурдюков не нечаянно позабыл снять кольцо. Но тут мне показалось, что Феде не понравится это разъяснение, он, чего доброго, раздумает брать меня в конную разведку, и я смолчал. А в конную давно уже мне хотелось.

Пошли к Шебалову.

Шебалов неохотно согласился отпустить меня из первой роты. Поддержал неожиданно хмурый Малыгин.

— Пусти его,— сказал он.— Парень молодой, проворный. Да и так он ходит все, без Чубука скучает. Они ведь, бывало, всегда на пару, а теперь не с кем ему!

Шебалов отпустил, но, исподлобья посмотрев на Федю, сказал ему не то шутя, не то серьезно:

— Ты, Федор, смотри... не спорть у меня парня! Ты не вихляй глазами-то, серьезно я тебе говорю!

Вместо ответа Федя задорно подмигнул мне: ладно, дескать, сами не маленькие.

Через месяц я уже как заправский кавалерист, подражая Феде, ходил, расставляя в стороны ноги, перестал путаться в шпорах и все свободное время проводил возле тощего пегого жеребца, который достался мне после Бурдюкова.

Я сдружился с Федей Сырцовым, хотя Федя и вовсе не был похож на расстрелянного Чубука. Если правду сказать, то с Федей я себя чувствовал даже свободнее, чем с Чубуком. Чубук был похож на отца, а не на товарища. Станет иногда выговаривать или стыдить, стоишь, злишься, а язык не поворачивается сказать ему что-нибудь резкое. С Федей же можно было и пору-

гаться и помириться, с ним было весело даже в самые тяжелые минуты. Капризный только был Федя. Иной раз заладит свое, так ничем его не сшибешь.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Однажды Шебалов приказал Феде:

— Седлай, Федор, коней и направляйся в деревеньку Выселки. Второй полк по телефону разведать просил, нету ли там белых. У нас своего провода к ним не хватает, приходится разговаривать через Костырево, а они думают прямо через Выселки к нам связь протянуть.

Федя заартачился. Погода дождливая, скверная, а до Выселок надо было через болото верст восемь такой грязью переть, что раньше чем к ночи оттуда вернуться и думать было нечего.

— Кто на Выселках есть? — возмутился Федя.— Зачем там белые окажутся? Выселки вовсе в стороне, кругом болота. Если белым нужно, то они по большаку попрут, а не на Выселки...

— Тебя не спрашивают! Сказано тебе отправляться — и отправляйся,— оборвал его Шебалов.

— Мало ли что сказано! Ты, может, чертову бабушку разыскивать пошлешь меня! Так я и послушался! Нехай пехотинцы идут. Я лошадей хотел перековывать, а кроме того, табаку фельдшер два ведра напарил, от чесотки коням растирку сделать нужно, а ты... на Выселки.

— Федор,— устало сказал Шебалов,—ты мне хоть разбейся, а приказа своего я не отменю.

Шлепая по грязи, ругаясь и отплевываясь, Федя заорал нам, чтобы мы собирались.

Никому из нас не хотелось по дождю, по слякоти тащиться из-за каких-то телефонистов на Выселки. Ругали ребята Шебалова, обзывали телефонистов шкурами, пустозвонами, нехотя седлали мокрых лошадей и нехотя, без песен тронулись к окраине деревушки.

Вязкая, жирная глина тупо чавкала под ногами. Ехать можно было только шагом. Через час, когда мы были только еще на полдороге, хлынул ливень. Шинели разбухли, глаза туманились струйками воды, сбегавшими с шапок. Дорога раздваивалась. В полуверсте направо, на песчаной горке, стоял хутор в пять или шесть

дворов. Федя остановился, подумал и дернул правый повод.

— Отогреемся, тогда поедем дальше,—сказал он.— А то на дожде и закурить нельзя.

В большой просторной избе было тепло, чисто прибрано и пахло чем-то очень вкусным, не то жареным гусем, не то свининой.

— Эге! — тихонько шепнул Федя, шмыгнув носом.— Хутор-то, я вижу, того, еще не объеденный.

Хозяин попался радушный. Мигнул здоровой девке, и та, задорно глянув на Федю, плюхнула на стол деревянные миски, высыпала ложки и, двинув табуретом, сказала, усмехаясь:

— Что ж стали-то? Садитесь.

— А что, хозяин,— спросил Федя,— далеко ли отсюда еще до Выселок?

— В лето, когда сухо,— ответил старик,— тогда мы прямой тропкой через болото ходим. Тут вовсе не далеко, полчаса ходьбы всего. Ну, а сейчас там не пройдешь, завязнуть недолго. А так по дороге, по которой вы ехали, часа два проедешь. Тоже скверная дорога, особенно у мостика через ключ. Верхами ничего, а с телегой плохо. Зять у меня ныче вернулся оттуда, так оглоблю сломал.

— Сегодня оттуда? — спросил Федя.

— Сегодня, с утра еще.

— Что там, не слыхать белых?

— Да нет, не слыхать пока.

— Пес его, Шебалова, задери. Говорил я ему, что нету. Раз с утра не было, значит, и сейчас нету. Весь день такой дождина, кого туда понесет? Давай раздевайся, ребята. Не за каким чертом лезть дальше. Только ноги коням вывертывать.

— Ладно ли, Федька, будет? — спросил я.— А что Шебалов скажет?

— Что Шебалов? — ответил Федя, решительно сбрасывая тяжелую, перепачканную глиной шинельку.— Скажем Шебалову, что были, мол, и никого нету!

За обедом на столе появилась бутылка самогонки. Федя разлил по чашкам, налил и мне.

— Пейте,— сказал он, чокаясь.— Выпьем за всемирный пролетариат и за революцию! Пошли, господи, чтобы на наш век революции хватило и белые не пере-

водились! Дай им доброго здоровья, хоть порубать есть кого, а то скучно было бы без них жить на свете. Ну, дергаем!

Заметив, что я не решаюсь поднять чашку, Федя присвистнул:

— Фью!.. Да ты что, Борис, али не пил еще никогда? Ты, я вижу, не кавалерист, а красная девушка.

— Как не пил! — горячо покраснев, соврал я и лихо опрокинул чашку в рот.

Пахучая едкая жидкость обволокла горло и ударила в нос. Я наклонил голову и ожесточенно впился губами в размяклый соленый огурец. Вскоре мне стало весело. Вытащил Федя из кожаного чехла свой баян и заиграл что-то такое, от чего сразу стало хорошо на душе. Потом пили еще, пили за здоровье красных бойцов, которые бьются с белыми, за наших товарищей коней, которые носят нас в смертный бой, за наши шашки, чтобы не тупились, не осекались и беспощадно белые головы рубили, и за многое другое еще в тот вечер пили.

Больше всех пил и меньше всех пьянел наш Федя. Черные пряди волос прилипли к его взмокшему лбу; он яростно растягивал мехи баяна и мягким задушевным тенором выводил:

Как за Доном за рекой красные гуляют...

А мы нестройно, но с воодушевлением подхватывали:

Э-эй... пей, гуляй, красные гуляют...

И опять Федя заливался, качал головой и жмурил влажные глаза:

Им товарищ — острый нож,
Шашка-лиходейка...

А мы с хвастливым, бесшабашным молодечеством вторили речитативом:

Шаш-шка-ли-хо-дей-ка...

И разом дружно:

И-эх! Пра-ап-падем мы ни за грош...
Жизнь наша ко-пей-ка-а-а-а-а!

Напоследок Федя взял такую высокую ноту, что перекрыл и наши голоса и свой баян, опустил голову, раздумывая над чем-то, потом тряхнул кудрями так яростно, точно его укусила в шею пчела, и, стукнув кулаком по столу, потянулся опять к чашке.

Уезжали мы уже поздно вечером. Долго не мог я попасть ногой в стремя, а когда взобрался на коня, то показалось мне, что сижу не в седле, а на качелях. Голову мутило и кружило. Накрапывал мелкий дождь, кони слушались плохо, ряды путались и задние наезжали на передних. Долго шатало меня по седлу, и наконец я приник к гриве коня, как неживой.

Утром болела голова. Вышел на двор. Было противно на самого себя за вчерашнее. В торбе у моего коня овса не было. Вернувшись вчера, я рассыпал овес спьяна в грязь. Зато у Федькиного жеребца в кормушке было навалено доверху. Я взял ведерко и отсыпал немного своему коню. В сенях встретил двоих разведчиков; оба злые, глаза мутные, посоловелые.

«Неужели же и у меня такое лицо?» — испугался я и пошел умываться. Мылся долго. Потом вышел на улицу. За ночь ударили заморозки, и на затвердевшую глину развороченной дороги западали редкие крупинки первого снега. Нагнал меня сзади Федя Сырцов и заорал:

— Ты что, сукин кот, из моей кормушки своему жеребцу отсыпал? Я тебе за этакие дела по морде бить буду!

— Сдачи получишь,— огрызнулся я.— Что твоему коню — лопнуть, что ли? Ты зачем себе лишний четверик при дележке забрал?

— Не твое дело,— брызгаясь слюной и ругаясь, подскочил ко мне Федя, размахивая плетью.

— Убери плеть, Федька! — взбеленившись, заорал я, зная его самодурские замашки.— Ей-богу, если хоть чуть заденешь, я тебе плашмя клинком по башке заеду!

— А, ты вот как!

Тут Федька разъярился вконец, и уж не знаю, чем бы кончился наш разговор, если бы не появился из-за угла Шебалов.

Шебалова Федя не любил и побаивался, а потому со злостью жиганул плетью по спине вертевшуюся под ногами собачонку и, погрозив мне кулаком, ушел.

— Поди сюда,— сказал мне Шебалов.

Я подошел.

— Что вы с Федькой то в обнимку ходите, то собачитесь? Зайдем-ка ко мне в хату.

Притворив за собой дверь, Шебалов сел и спросил:

— На Выселках и ты с Федькой был?

— Был,— ответил я и смутился.

— Не ври! Никто из вас там не был. Где прошатались это время?

— На Выселках,— упрямо повторил я, не сознаваясь.

Хоть я и был зол на Федьку, но не хотел его подводить.

— Ну ладно,— после некоторого раздумья сказал Шебалов и вздохнул.— Это хорошо, что на Выселках, а я, знаешь, засомневался что-то, Федьку не стал и спрашивать: он соврет — недорого возьмет. Байбаки его тоже как на подбор — скаженные. Мне со второго полка звонили. Ругаются. «Мы, говорят, послали телефонистов в Выселки, поверили вам, а их оттуда как жахнули!» Я отвечаю им: «Значит, уже опосля белые пришли», а сам думаю: «Пес этого Федьку знает, вернулся он что-то поздно, и вроде как водкой от него несет».

Тут Шебалов замолчал, подошел к окну, за которым белой россыпью отсеивался первый неустойчивый снежок, прислонился лбом к запотевшему стеклу и так простоял молча несколько минут.

— Беда мне прямо с этими разведчиками,— сказал он, оборачиваясь.— Слов нету, храбрые ребята, а непутевые! И Федька этот тоже — никакой в нем дисциплины. Выгнал бы — да заменить некем.

Шебалов посмотрел на меня дружелюбно; белесоватые насупившиеся брови его разошлись, и от серых, всегда прищуренных для строгости глаз, точно кругами, как после камня, брошенного в воду, расплылась по морщинкам необычная для него смущенная улыбка, и он сказал искренне:

— Знаешь, ведь беда как трудно отрядом командовать! Это не то что сапоги тачать. Сижу вот целыми ночами... к карте привыкаю. Иной раз в глазах зарябит даже. Образования нет ни простого, ни военного, а белые упорные. Хорошо ихним капитанам, когда они ученые и сроду на военном деле сидят, а я ведь приказ даже по складам читаю. А тут еще ребята у нас такие. У тех дисциплина. Сказано — сделано! А у нас не привыкли еще, за всем самому надо глядеть, все самому

проверять. В других частях хоть комиссары есть, а я просил-просил — нету, отвечают: «Ты пока и так обойдешься, ты и сам коммунист». А какой же я коммунист?..— Тут Шебалов запнулся.— То есть, конечно, коммунист, но ведь образования никакого.

В дверь ввалились грузный Сухарев и чех Галда.

— Я сольдат в расфетку даль, я сольдат... к пулеметшик даль... Я сольдат... на кухонь, а он нишего не даль,— возмущенно говорил крючконосый Галда, показывая пальцем на красного злого Сухарева.

— Он на кухню дал,— кричал Сухарев,— картошку чистить, а я ночную заставу только к полудню снял! Он к пулеметчикам дал, а у меня из второго взвода с утра ребята мост артиллеристам чинить помогали. Нет, как ты хочешь, Шебалов. Пусть он людей для связи дает, а я не дам!

Сжались белесоватые брови, сощурились дымчатые глаза, и не осталось и следа смущенной, добродушной улыбки на сером, обветренном лице Шебалова.

— Сухарев,— строго сказал он, опираясь на свой палаш и оглушительно звякнув своими рыцарскими шпорами,— ты не дури! У тебя одну ночь не поспали, ты и разохался. Ты ж знаешь, что я нарочно Галде передохнуть даю, что ему особая задача будет. Он ночью на Новоселово пойдет.

Тут Сухарев разразился тремя очередями бесприцельной брани; крючконосый Галда, путая русские слова с чешскими, замахал руками, а я вышел.

Мне было стыдно за то, что я соврал Шебалову. «Шебалов,— думал я,— командир. Он не спит ночами, ему трудно. А мы... мы вон как относимся к своему делу. Зачем я соврал ему, что наша разведка была в Выселках? Вот и телефонистов из соседнего полка подвели. Хорошо еще, что никого не убило. А ведь это уж нечестно, нечестно перед революцией и перед товарищами».

Пробовал было я оправдаться перед собой тем, что Федя — начальник и это он приказал переменить маршрут, но тотчас же поймал себя на этом и обозлился: «А водку пить тоже начальник приказал? А старшего командира обманывать тоже начальник заставил?»

Из окна высунулась растрепанная Федина голова, и он крикнул негромко:

— Бориска!

Я сделал вид, что не слышал.

— Борька! — примирительно повторил Федя.— Брось кобениться. Иди оладьи есть. Иди... У меня до тебя дело... Жри! — как ни в чем не бывало сказал Федя, подвигая ко мне сковородку, и с беспокойством заглянул мне в лицо.— Тебя зачем Шебалов звал?

— Про Выселки спрашивал,— прямо отрезал я.— Не были вы, говорит, там вовсе!

— Ну, а ты?

Тут Федя заерзал так, точно его вместе с оладьями посадили на горячую сковороду.

— Что я? Надо было сознаться. Тебя только, дурака, пожалел.

— Но-но... ты не очень-то,— заносчиво завел было Федя, но, вспомнив, что он еще не все выпытал у меня, подвинулся и спросил с тревожным любопытством: — А еще что он говорил?

— Еще говорил, что трусы вы и шкуринки,— нагло уставившись на Федю, соврал я.— «Побоялись, говорит, на Выселки сунуться да отсиделись где-то в логу. Я, говорит, давно замечаю, что у разведчиков слабить стало».

— Врешь! — разозлился Федя.— Он этого не говорил.

— Поди спроси,— злорадно продолжал я.— «Лучше, говорит, вперед пехоту на такие дела посылать, а то разведчики только и горазды, что погреба со сметаной разведывать».

— Вре-ешь! — совсем взбеленился Федя.— Он, должно быть, сказал: «Байбаки, от рук отбились, порядку ни черта не признают», а про то, что разведчикам слабо́ стало, он ничего не говорил.

— Ну и не говорил,— согласился я, довольный тем, что довел Федьку до бешенства.— Хоть и не говорил, а хорошо, что ли, на самом деле? Товарищи надеются на нас, а мы вон что. Соседний полк из-за тебя в обман ввели. Как на нас теперь другие смотреть будут? «Шкуринки, скажут, и нет им никакой веры. Сообщили, что нет на Выселках белых, а телефонисты пошли провод разматывать — их оттуда и стеганули».

— Кто стеганул? — удивился Федя.

— Кто? Известно, белые.

Федя смутился. Он ничего еще не знал про телефонистов, попавших из-за него в беду, и, очевидно, это больно задело его. Он молча ушел в соседнюю комнату. И по тому, что Федя, сняв свой хриплый баян, заиграл печальный вальс «На сопках Маньчжурии», я понял, что у Феди дурное настроение.

Вскоре он резко оборвал игру и, нацепив свою обнтую серебром кавказскую шашку, вышел из хаты.

Минут через пятнадцать он появился под окном.

— Вылетай к коню! — хмуро приказал он через стекло.

— Ты где был?

— У Шебалова. Вылетай живей!

Немного спустя наша разведка легкой рысцой протрусила мимо полевого караула по слегка подмерзшей, корявой дороге.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На том перекрестке, где мы свернули вчера на хутор, Федя остановился и, отозвав в сторону двух самых ловких разведчиков, долго говорил им что-то, указывая пальцем на дорогу, и, наконец, выругав и того и другого, чтобы крепче поняли приказание, вернулся к нам и велел сворачивать на хутор. На хуторе, ни одним словом не напоминая хозяину о вчерашнем, Федя стал расспрашивать его о прямой дороге через болото на Выселки.

— Не проехать вам там, товарищи,— убеждал хозяин.— Коней только потопите. Целую неделю дождь шел, там и пешком-то не всякий проберется, а не то что верхами!

Когда вернулись двое высланных вперед разведчиков и донесли, что Выселки заняты белыми и на дороге застава, Федя, не обращая внимания на увещевания хозяина, приказал ему собираться. Хозяин пуще забожился, что пройти через болото никак не возможно. Хозяйка заплакала. Краснощекая девка, дочь, та, что вчера весело перемигивалась с Федей, рассерженно огрызнулась на него за то, что он наследил сапогами по полу. Но Федю ничто не пробирало, и он стоял на своем. Я хотел было спросить насчет его планов, но он в

ответ не выругался даже, а только взглянул на меня искоса и зло усмехнулся.

Вскоре мы выехали из хутора. Хозяин на плохонькой лошаденке ехал впереди, рядом с Федей. Сразу свернули в березняк. Под ногами лошадей из упругого, разбухшего мха выдавливалась мутная вода. Дорога все ухудшалась. Глубже вязли лошади; мшистые кочки почерневшими островками кое-где высовывались из залитого водой луга.

Спешились и пошли дальше. Так шли до тех пор, пока не очутились возле старой гати, о которой предупреждал нас хозяин. Перед нами была узкая полоска, покрытая густой жижей всплывших прутиков и перегнившей соломы.

— Н-да,— пробурчал Федя, искоса поглядывая на принхмурившихся товарищей,— дорожка!..

— Потопнем, Федька!

— А недолго и потопнуть,— поддакнул старик-провожатый.— Гать худая, настилка сгнила, тут и в хорошую-то погоду кое-как, а не то что в этакую мокрятину.

— Тут конь ни вплавь, ни вброд. Чисто чертова каша.

— Но! — подбодрил Федя, искусственно улыбаясь.— Расхлебаем и чертову!

Он дернул за повод упиравшегося жеребца и первым ухнул по колено в пахнувшую гнилью жижу. За ним медленно по двое потянулись и мы. Вода, кое-где покрытая паутинкой утреннего льда, заливала за голенища сапог. Невидимая тоненькая настилка колебалась под ногами. Было жутко ступать наугад, и казалось мне, что вот-вот под ногой не окажется никакой опоры и я провалюсь в вязкую, засасывающую ямину.

Кони храпели, упрямились и вздрагивали. Откуда-то из тумана, точно с того света, донесся Федин вопрос:

— Эй, там! Все целы?

— Ну, ребята, кажется, зашли, что дальше некуда. Воротиться бы лучше,— стуча от холода зубами, пробормотал рыжий горнист.

Внезапно из тумана вынырнул Федя.

— Ты мне, Пашка, панику не наводи,— тихо и сердито предупредил он.— А будешь ныть, так лучше заворачивай и езжай один назад. Папаша,— обратился он к старику,— лошади у меня под брюхо. Долго еще?

— Тут-то недолго. Сейчас — как на взъем — посуше пойдет, да место-то перед этим самое гиблое. Вот если пройдем сейчас, то, значит, уж кончено,— пройдем и дальше.

Вода дошла до пояса. Остановившись, старик снял шапку и перекрестился.

— Теперечка, как я пойду, так вы по одному за мной вровень, а то тут оступиться можно.

Старик нахлобучил шапку и полез дальше. Шел он тихо, часто останавливался и нащупывал шестом невидимый под водой настил.

Коченея от морозного ветра, подмоченные снизу водой болота, сверху — всосавшимся в одежду туманом, растянувшись по одному, за полчаса прошли мы не больше ста метров. Руки у меня посинели, глаза надуло ветром и колени дрожали.

«Черт Федька! — думал я.— То вчера по грязной дороге ехать не хотел, а сегодня в трясину завел».

Донеслось спереди тихое ржание. Туман разорвался, и на бугре мы увидели Федю, уже сидевшего верхом на коне.

— Тише,— шепотом сказал он, когда мы, мокрые, продрогшие, столпились вокруг него.— Выселки за кустами, в сотне шагов. Дальше сухо.

С гиканьем, с остервенелым свистом ворвалась в деревеньку наша продрогшая кавалерия с той стороны, откуда нас белые никак не могли ожидать. Расшвыривая бомбы, пронеслись мы к маленькой церкви, возле которой находился штаб белого отряда.

В Выселках мы захватили десять пленных и один пулемет. Когда, усталые, но довольные, возвращались мы большой дорогой к своим, то Федя, ехавший рядом со мною, засмеялся зло и задорно:

— Шебалов-то!.. Утерли мы ему нос. То-то удивится!

— Как утерли? — не понял я.— Он и сам рад будет.

— Рад, да не больно. Досада его возьмет, что всетаки хоть не по его вышло, а по-моему, и вдруг такая нам удача.

— Как не по его, Федька? — почуяв что-то недоброе, переспросил я.— Ведь тебя же Шебалов сам послал.

— Послал, да не туда. Он в Новоселово послал Галду там дожидаться. А я взял да и завернул на Выселки. Пусть не собачится за вчерашнее. Ну, да ему теперь крыть нечем. Раз мы и пленных и пулемет захватили, то ему ругаться уж не приходится.

«Удача-то удачей,— думал я, поеживаясь,— а все-таки как-то не того. Послали в Новоселово, а мы — в Выселки. Хорошо еще, что все так кончилось. Вдруг бы не пробрались мы через болото, тогда что? Тогда и оправдаться нечем!»

Еще не доезжая до села, где стоял наш отряд, мы заметили какое-то необычайное в нем оживление. По окраине бежали, рассыпаясь в цепь, красноармейцы. Несколько всадников проскакало мимо огородов.

И вдруг разом из села застрочил пулемет. Рыжий горнист Пашка, тот самый, который советовал повернуть с болота назад, грохнулся на дорогу.

— Сюда! — заорал Федя, повертывая коня в лощину.

Прозвенела вторая очередь, и двое задних разведчиков, не успевших заскочить в овраг, полетели на землю.

Нога у одного из них застряла в стремени, конь испугался и потащил раненого за собой.

— Федька!— крикнул я, догадываясь.— Ведь это наш кольт шпарит. Ведь наши не ожидают тебя с этой стороны. Мы же должны быть в Новоселове.

— А я вот им зашпарю! — злобно огрызнулся Федор, соскакивая с коня и бросаясь к захваченному нами у белых пулемету.

— Федька,— деревенея, пробормотал я,— что ты, сумасшедший?! По своим хочешь? Ведь они же не знают, а ты знаешь!

Тогда, тяжело дыша, остервенело ударив нагайкой по голенищу хромового сапога, Федька поднялся, вскочил на коня и открыто вылетел на бугор. Несколько пуль завизжало над его головой, но как ни в чем не бывало Федька во весь рост встал на стремена и, надев шапку на острие штыка, поднял ее высоко над своей головой.

Еще несколько выстрелов раздалось со стороны села, потом все стихло. Наши обратили внимание на сигнализацию одинокого, стоявшего под пулями всадника.

Тогда, махнув нам рукой, чтобы мы не двигались раньше времени, Федька, пришпорив жеребца, карье-

ром понесся к селу. Обождав немного, вслед за ним выехали и мы. На окраине нас встретил серый, окаменевший Шебалов. Дымчатые глаза его потускнели, лицо осунулось, палаш был покрыт грязью, и запачканные шпоры звенели глухо. Остановив разведку, он приказал всем отправляться по квартирам. Потом, скользнув усталым взглядом по всадникам, велел мне слезть с коня и сдать оружие. Молча, перед всем отрядом, соскользнул я с седла, отстегнул шашку и передал ее вместе с карабином нахмурившемуся кривому Малыгину.

Дорого обошелся отряду смелый, но самовольный набег разведки на Выселки. Не говоря уже о трех кавалеристах, попавших по ошибке под огонь своего же пулемета, была разбита в Новоселове не нашедшая Феди вторая рота Галды, и сам Галда был убит. Обозлились тогда красноармейцы нашего отряда и сурового суда требовали над арестованным Федей.

— Эдак, братцы, нельзя. Будет! Без дисциплины ничего не выйдет. Эдак и сами погибнем и товарищей погубим. Не для чего тогда и командиров назначать, если всяк будет делать по-своему.

Ночью пришел ко мне Шебалов. Я рассказал ему начистоту, как было дело, сознался, что из чувства товарищества к Феде соврал тогда, когда меня спрашивали в первый раз, были мы или нет на Выселках. И тут же поклялся ему, что ничего не знал про Федькин самовольный поступок, когда повел он нас вместо Новоселова на Выселки.

— Вот, Борис,— сказал Шебалов,— ты уже раз соврал мне, и если я поверю тебе еще один раз, если я не отдам тебя под суд вместе с Федором, то только потому, что молод ты еще. Но смотри, парень, чтобы поменьше у тебя было эдаких ошибок! По твоей ошибке погиб Чубук, через вас же нарвались на белых и телефонисты. Хватит с тебя ошибок! Я уж не говорю про этого черта Федьку, от которого беды мне было, почитай, больше, чем пользы. А теперь пойди ты опять в первую роту к Сухареву и встань на свое старое место. Я и сам, по правде сказать, маху дал, что отпустил к Федору. Чубук, тот... да, возле того было тебе чему поучиться... А Федор что?.. Ненадежный человек! А вообще, парень, что ты то к одному привяжешься, то к другому? Тебе надо покрепче со всеми сойтись. Когда

один человек, он и заблудиться и свихнуться легше может! По-настоящему тебе в партию бы надо, чтобы знал свое место и не отбивался.

— Да я бы сам рад, разве бы я не хотел в партию... Да ведь не примут,— огорченно и тихо ответил я.

— Не примут! А ты заслужи, добейся, чтоб приняли. Будешь подходящим человеком, отчего же и не принять?

И в ту же ночь, выбравшись через окно из хаты, в которой он сидел, захватив коня и четырех закадычных товарищей, ускакал Федя по первому пушистому снегу куда-то через фронт на юг. Говорили, что к батьке Махно.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Красные по всему фронту перешли в наступление. Наш отряд подчинен был командиру бригады и занимал небольшой участок на левом фланге третьего полка.

Недели две прошло в тяжелых переходах. Казаки отступали, задерживаясь в каждом селе и хуторе.

Все эти дни были у меня заполнены одним желанием — загладить свою вину перед товарищами и заслужить, чтобы меня приняли в партию.

Но напрасно вызывался я в опасные разведки. Напрасно, стиснув зубы, бледнея, вставал во весь рост в цепи, в то время когда многие даже бывалые бойцы стреляли с колена или лежа. Никто не уступал мне своей очереди на разведку, никто не обращал внимания на мое показное геройство.

Сухарев даже заметил однажды вскользь:

— Ты, Гориков, эти Федькины замашки брось!.. Нечего перед людьми бахвалиться... Тут похрабрей тебя есть, и те без толку башкой в огонь не лезут.

«Опять «Федькины замашки»,— подумал я, искренне огорчившись.— Ну, хоть бы дело какое-нибудь дали. Сказали бы: выполнишь — все с тебя снимется, будешь опять по-прежнему друг и товарищ».

Чубука нет. Федька у Махно. Да и не нужен мне Федька. Дружбы особой нет ни с кем. Мало того, косятся даже ребята. Уж на что Малыгин всегда, было раньше, поговорит, позовет с собой чай пить, расскажет что-нибудь — и тот теперь холодней стал...

Один раз я слышал из-за дверей, как сказал он обо мне Шебалову:

— Что-то скучный ходит. По Федору, что ли, скучает? Небось, когда Чубук из-за него пропал, он не скучал долго!

Краска залила мне лицо.

Это была правда: я как-то скоро освоился с гибелью Чубука, но неправда, что я скучал о Федоре,— я ненавидел его.

Я слышал, как Шебалов зазвенел шпорами, шагая по земляному полу, и ответил не сразу:

— Это ты зря говоришь, Малыгин! Зря... Парень он не спорченный. С него еще всякое смыть можно. Тебе, Малыгин, сорок, тебя не переделаешь, а ему шестнадцатый... Мы с тобой сапоги стоптанные, гвоздями подбитые, а он как заготовка: на какую колодку натянешь, такая и будет! Мне вот Сухарев говорит: у него-де Федькины замашки, любит-де в цепи вскочить, храбростью без толку похвастаться. А я ему говорю: «Ты, Сухарев, бородатый... а слепой. Это не Федькины замашки, а это просто парень хочет оправдаться, а как — не знает».

На этом месте Шебалова вызвал постучавший в окно верховой. Разговор был прерван.

Мне стало легче.

Я ушел воевать за «светлое царство социализма». Царство это было где-то далеко; чтобы достичь его, надо было пройти много трудных дорог и сломать много тяжелых препятствий.

Белые были главной преградой на этом пути, и, уходя в армию, я еще не мог ненавидеть белых так, как ненавидел их шахтер Малыгин или Шебалов и десятки других, не только боровшихся за будущее, но и сводивших счеты за тяжелое прошлое.

А теперь было уже не так. Теперь атмосфера разбушевавшейся ненависти, рассказы о прошлом, которого я не знал, неотплаченные обиды, накопленные веками, разожгли постепенно и меня, как горящие уголья раскаляют случайно попавший в золу железный гвоздь.

И через эту глубокую чужую ненависть далекие огни «светлого царства социализма» засияли еще заманчивее и ярче.

В тот же день вечером я выпросил у нашего каптера лист белой бумаги и написал длинное заявление с просьбой принять меня в партию.

С этим листом я пошел к Шебалову. Шебалов был занят: у него сидели наш завхоз и ротный Пискарев, назначенный взамен убитого Галды.

Я присел на лавку и долго ждал, пока они кончат деловой разговор. В продолжение этого разговора Шебалов несколько раз поднимал голову, пристально глядел на меня, как бы пытаясь угадать, зачем я пришел.

Когда завхоз и ротный ушли, Шебалов достал полевую книжку, сделал какую-то заметку, крикнул посыльному, чтобы тот бежал за Сухаревым, и только после этого обернулся ко мне и спросил:

— Ну... ты что?

— Я, товарищ Шебалов... я к вам, товарищ Шебалов...— ответил я, подходя к столу и чувствуя, как легкий озноб пробежал по моему телу.

— Вижу, что ко мне! — как-то мягче добавил он, вероятно угадав мое возбужденное состояние.— Ну, выкладывай, что у тебя такое.

Все то, что я хотел сказать Шебалову, перед тем как просить его поручиться за меня в партию, все заготовленное мною длинное объяснение, которым я хотел убедить его, что я хотя и виноват за Чубука, виноват за обман с Федькой, но, в сущности, я не такой, не всегда был таким вредным и впредь не буду,— все это вылетело из моей памяти.

Молча я подал ему исписанный лист бумаги.

Мне показалось, что легкая улыбка соскользнула из-под его белесоватых ресниц на потрескавшиеся губы, когда он углубился в чтение моего пространного заявления.

Он дочитал только до половины и отодвинул бумагу.

Я вздрогнул, потому что понял это как отказ. Но на лице Шебалова я не прочел еще отказа. Лицо было спокойное, немного усталое, и в зрачках дымчатых глаз отражались перекладины разрисованного морозными узорами окна.

— Садись,— сказал Шебалов.

Я сел.

— Что же, ты в партию хочешь?

— Хочу,— негромко, но упрямо ответил я.

Мне показалось, что Шебалов спрашивает только для того, чтобы доказать всю невыполнимость моего желания.

— И очень хочешь?

— И очень хочу,— в тон ему ответил я, переводя глаза на угол, завешанный пыльными образами, и окончательно решив, что Шебалов надо мною смеется.

— Это хорошо, что ты очень хочешь,— заговорил опять Шебалов, и только теперь по его тону я понял, что Шебалов не смеется, а дружески улыбается мне.

Он взял карандаш, лежавший среди хлебных крошек, рассыпанных по столу, подвинул к себе мою бумагу, подписал под ней свою фамилию и номер своего билета.

Сделав это, он обернулся ко мне вместе с табуреткой, шпорами и палашом и сказал совсем добродушно:

— Ну, брат, смотри теперь. Я теперь не только командир, а как бы крестный папаша... Ты уж не подведи меня...

— Нет, товарищ Шебалов, не подведу,— искренне ответил я, с ненужной поспешностью сдергивая со стола лист.— Я ни за что ни вас, ни кого из товарищей не подведу!

— Погоди-ка,— остановил он меня.— А вторую-то подпись надо... Кого бы еще в поручители?.. А-а!..— весело воскликнул он, увидев входящего Сухарева.— Вот как раз кстати.

Сухарев снял шапку, отряхнул снег, неуклюже вытер об мешок огромные сапожищи и, поставив винтовку к стене, спросил, прислоняя к горячей печке закоченевшие руки:

— Зачем звал?

— Звал за делом. Насчет караула... На кладбище надо будет ребят в церковь определить... Не замерзать же людям... Сейчас поп придет, тогда сговоримся. А теперь вот что...— Тут Шебалов хитро усмехнулся и мотнул головой на меня: — Как у тебя парень-то?

— Что как? — осторожно переспросил Сухарев, ухмыляясь во все свое красное, обветренное лицо.

— Ну... солдат какой? Ну, аттестуй его мне по форме.

— Солдат ничего,— подумав, ответил Сухарев.— Службу хорошо справляет. Так ни в чем худом не замечен. Только шальной маленько. Да с ребятами после

Федьки не больно сходится. Сердиты у нас дюже ребята на Федьку, чтоб его бомбой разорвало.

Тут Сухарев высморкался, вытер нос полой шинели; лицо еще больше покраснело, и он продолжал сердито:

— Чтоб ему гайдамак башку ссек! Такого командира, как Галда, загубил! А какой ротный был! Разве же ты найдешь еще такого ротного, как Галда? Разве ж Пискарев... это ротный?.. Это чурбан, а не ротный... Я ему сегодня говорю: «Твои дозоры для связи... Я вчера лишних десять человек в караул дал», а он...

— Ну, ну! — прервал Шебалов.— Это ты мне не разводи... Это ты теперь Галду хвалишь, а раньше, бывало, всегда с ним собачился. Какие еще там десять лишних человек? Ты мне очки не втирай. Ну, да ладно, об этом потом... Ты вот что скажи... Парень в партию просится. Поручишься за него? Что глаза-то уставил? Сам же говоришь: и боец хороший и не замечен ни в чем, а что насчет прошлого,— ну, об этом не век помнить!

— Оно-то так! — почесывая голову и растягивая слова, согласился Сухарев.— Да ведь только черт его знает!

— Черт ничего не знает! Ты ротный, да еще партийный. Ты лучше черта должен знать, годится твой красноармеец в коммунисты или нет.

— Парень ничего,— подтвердил Сухарев,— форс только любит. Из цепи без толку вперед лезет. А так ничего.

— Ну, не назад все же лезет. Это еще полбеды! Так как же, смотри сам... Подписываешь ты или нет?

— Я-то бы подписал, этот парень ничего,— повторил осторожно Сухарев.— А еще кто подпишет?

— Еще я!.. Давай садись за стол, вот заявление.

— Ты подписал!..— говорил Сухарев, забирая в медвежью лапу карандаш.— Это хорошо, что ты... Я же говорю, парень — золото, драли его только мало!

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Уже несколько дней шли бои под Новохоперском. Были втянуты все дивизионные резервы, а казаки все еще крепко держали позиции.

На четвертый день с утра наступило затишье.

— Ну, братцы! — говорил Шебалов, подъезжая к

густой цепи отряда, рассыпавшегося по оголенной от снега вершине пологого холма.— Сегодня после обеда общее наступление будет... Всей дивизией ахнем.

Пар валил от его посеребренного инеем коня. Ослепительно сверкал на солнце длинный тяжелый палаш, красная макушка черной шебаловской папахи ярко цвела среди холодного снежного поля.

— Ну, братцы,— опять повторил Шебалов звенящим голосом,— сегодня день такой... серьезный день. Выбьем сегодня — тогда до Богучара белым зацепки не будет. Постарайтесь же напоследок, не оконфузьте перед дивизией меня, старика!

— Что пристариваешься? — хриплым простуженным голосом гаркнул подходивший Малыгин.— Я, чать, постарше тебя и то за молодого схожу.

— Ты да я — сапоги стоптанные,— повторил Шебалов свою обычную поговорку.— Бориска,— окликнул он меня приветливо,— тебе сколько лет?

— Шестнадцатый, товарищ Шебалов,— гордо ответил я,— с двадцать второго числа уже шестнадцатый пошел!

— «Уже»! — с деланным негодованием передразнил Шебалов.— Хорошо «уже»! Мне вот уже сорок седьмой стукнул. А-а! Малыгин, ведь это что такое — шестнадцатый? Что, брат, он увидит, того нам с тобой не видать...

— С того свету посмотрим,— хрипло и с мрачным задором ответил Малыгин, кутая горло в рваный офицерский башлык с галуном.

Шебалов тронул шпорами продрогшего коня и поскакал вдоль линии костров.

— Бориска, иди чай пить... Мой кипяток — твой сахар! — крикнул Васька Шмаков, снимая с огня закопченный котелок.

— У меня, Васька, сахару тоже нет.

— А что у тебя есть?

— Хлеб есть, да два яблока мороженые.

— Ну, кати сюда с хлебом, а то у меня вовсе ничего нет! Голая вода.

— Гориков! — крикнул меня кто-то от другого костра.— Поди-ка сюда.

Я подошел к кучке споривших о чем-то красноармейцев.

— Вот ты скажи,— спросил меня Гришка Черкасов, толстый рыжий парень, прозванный у нас псаломщиком.— Вот послушайте, что вам человек скажет. Ты географию учил?.. Ну, скажи, что отсюда дальше будет...

— Куда дальше? На юг дальше Богучар будет.

— А еще?

— А еще... Еще Ростов будет. Да мало ли! Новороссийск, Владикавказ, Тифлис, а дальше Турция. А что тебе?

— Много еще! — смущенно почесывая ухо, протянул Гришка.— Эдак нам полжизни еще воевать придется... А я слышал, что Ростов у моря стоит. Тут, думаю, все и кончится!

Посмотрев на рассмеявшихся ребят, Гришка хлопнул руками о бедра и воскликнул растерянно:

— Братцы, а ведь много еще воевать придется!

Разговоры умолкли.

По дороге из тыла карьером несся всадник. Навстречу ему выехал рысью Шебалов. Орудие на фланге ударило еще два раза...

— Первая рота, ко мне-е! — протяжно закричал Сухарев, поднимая и разводя руки.

Несколько часов спустя из белых сугробов поднялись залегшие цепи. Навстречу пулеметам и батареям, под картечью, по колено в снегу двинулся наш рассыпанный и окровавленный отряд для последнего, решающего удара. В тот момент, когда передовые части уже врывались в предместье, пуля ударила меня в правый бок.

Я пошатнулся и сел на мягкий истоптанный снег.

«Это ничего,— подумал я,— это ничего. Раз я в сознании — значит, не убит... Раз не убит — значит, выживу».

Пехотинцы черными точками мелькали где-то далеко впереди.

«Это ничего,— подумал я, придерживаясь рукой за куст и прислоняя к ветвям голову.— Скоро придут санитары и заберут меня».

Поле стихло, но где-то на соседнем участке еще шел бой. Там глухо гудели тучи, там взвилась одинокая ракета и повисла в небе огненно-желтой кометой.

Струйки теплой крови просачивались через гимнастерку. «А что, если санитары не придут и я умру?» — подумал я, закрывая глаза.

Большая черная галка села на грязный снег и мелкими шажками зачастила к куче лошадиного навоза, валявшегося неподалеку от меня. Но вдруг галка настороженно повернула голову, искоса посмотрела на меня и, взмахнув крыльями, отлетела прочь.

Галки не боятся мертвых. Когда я умру от потери крови, она прилетит и сядет, не пугаясь, рядом.

Голова слабела и тихо, точно укоризненно, покачивалась. На правом фланге глуше и глуше гудели взрываемые снежные сугробы, ярче и чаще вспыхивали ракеты.

Ночь выслала в дозоры тысячи звезд, чтобы я еще раз посмотрел на них. И светлую луну выслала тоже. Думалось: «Чубук жил, и Цыганенок жил, и Хорек... Теперь их нет и меня не будет». Вспомнил, как один раз сказал мне Цыганенок: «С тех пор я пошел искать светлую жизнь».— «И найти думаешь?» — спросил я. Он ответил: «Один не нашел бы, а все вместе должны найти... Потому — охота большая».

— Да, да! Все вместе,— ухватившись за эту мысль, прошептал я,— обязательно все вместе.— Тут глаза закрылись, и долго думалось о чем-то незапоминаемом, но хорошем-хорошем.

— Бориска! — услышал я прерывающийся шепот.

Открыл глаза. Почти рядом, крепко обняв расщепленный снарядом ствол молоденькой березки, сидел Васька Шмаков.

Шапки на нем не было, а глаза были уставлены туда, где впереди, сквозь влажную мглу густых сумерек, золотистой россыпью мерцали огни далекой станции.

— Бориска,— долетел до меня его шепот,— а мы все-таки заняли...

— Заняли,— ответил я тихо.

Тогда он еще крепче обнял молодую сломанную березку, посмотрел на меня спокойной последней улыбкой и тихо уронил голову на вздрогнувший куст.

Мелькнул огонек... другой... Послышался тихий, печальный звук рожка. Шли санитары.

*1929*

# ЧЕТВЕРТЫЙ БЛИНДАЖ

Кольке было семь лет, Нюрке — восемь. А Ваське и вовсе шесть.

Колька и Васька — соседи. Обе дачи, где они жили, стояли рядом. Их разделял забор, а в заборе была дыра. Через эту дыру мальчуганы лазили друг к другу в гости.

Нюрка жила напротив. Сначала мальчишки не дружили с Нюркой. Во-первых, потому, что она девчонка, во-вторых, потому, что на Нюркином дворе стояла будка со злющей собакой, а в-третьих, потому, что им и вдвоем было весело.

А подружились вот как. Приехал однажды к Ваське из Москвы его задушевный товарищ — Исайка Гольдин.

Исайка был ровесником Васьки и был похож на Ваську. Только что чуть-чуть потолще, да волосы у Исайки почернее, да еще было у Исайки ружье, которое стреляло пробками, а у Васьки не было.

Приехал Исайка с отцом в выходной день. И вздумали ребята в лапту играть. А в лапту, известное дело, втроем не играют — обязательно нужно четвертого.

Пошли за Павликом Фоминым, который жил неподалеку. Но у Павлика болел живот. В лапту играть его не пустили, и сидел он дома совсем печальный, потому что выпил недавно касторки.

Что тут будешь делать? Где взять четвертого? Вот Васька и говорит Кольке:

— А что, если давай позовем Нюрку?!

— Давай,— согласился Колька,— у нее ноги вон какие длинные, она не хуже козы бегает.

Исайка согласился тоже.

— Только,— говорит Исайка,— хоть у меня ноги и короткие, а я тоже хорошо бегаю, потому что Нюрка без припрыга бегает, а я с припрыгом.

Позвали Нюрку.

— Иди, Нюрка, с нами в лапту играть.

Нюрка сначала очень удивилась. Но потом, видя, что ребята всерьез зовут, ответила:

— Я-то бы пошла, да мне сначала огурцы полить надо. А то взойдет солнце, и рассада повянет.

Увидали ребята, что дело это с поливкой долгое будет. Тут Исайка и выдумал:

— Давайте мы тоже поливать будем. Одни воду подтаскивают, другие поливают, тогда раз-раз — и готово. А то одна она и до полдня прокопается.

Так и сделали. Сыграли в лапту десять конов. Сбегали на речку купаться. Потом Исайка с отцом уехали в город. И с того-то самого дня подружились Васька и Колька с Нюркой.

Жили они от Москвы недалеко, в поселке, у самого края. Дальше начиналось поле, поросшее мелким кустарником. А еще дальше, на горе, виднелась мельница, церковь и несколько домиков с красными крышами — то ли станция, то ли деревенька,— издалека не разберешь.

Как-то Васька спросил у отца, как называется эта деревенька.

— Это не настоящая,— ответил отец,— это все нарочно сделано.

— Как же не настоящая? — удивился Васька.— Как же не настоящая, когда и мельница, и церковь, и дома?.. Все видно.

— А так и не настоящая,— рассмеялся отец.— Отсюда кажется, что и мельница и дома... А подойдешь поближе, там ничего нет.

Удивился тогда Васька, но не поверил. И решил, что отец посмеялся или просто сказал так, чтобы от него отстали.

Полез к Кольке через заборную дыру. Глядит, а Колька с Нюркой сидят на заборе и что-то интересное в поле высматривают. Обиделся Васька и закричал им снизу:

— Вы что же это, сами интересное высматриваете, а меня не позвали?

А Колька отвечает:

— Мы только сейчас сами залезли. Я давно уже хотел сбегать за тобой. Залезай скорей на забор. Посмотри, какие красноармейцы с пушками приехали!

Залез Васька, смотрит: совсем рядом в кустах кони стоят, повозки на двух колесах и пушки.

— Ну и ну! — сказал Васька.— Это что же такое дальше будет...

— А вот посмотрим,— ответила Нюрка.— Мы уже давно здесь сидим и всё дожидаемся.

— Ладно,— напомнил им Васька,— другой раз и я тоже раньше вашего сяду и вам ничего не скажу.

Но все-таки на этот раз они не поссорились, потому что в кустах начиналось что-то очень занятное.

Лошадей у каждой пушки было по шесть штук — по три пары на пушку. Лошади отцепились от пушек как-то сразу, будто бы вагоны от паровоза. Красноармейцы возле пушек забегали и что-то такое крутили, ворочали, потом отбежали назад. Остался рядом с пушкой только один. И тот, который остался, держал в руке длинный шнур, привязанный к пушке.

— Ты, Колька, не знаешь, зачем это он за шнурок держится? — спросил Васька, усаживаясь поудобнее.

— Не знаю,— сознался Колька,— только если держится, то уж, значит, так нужно.

— Обязательно так нужно,— подтвердила Нюрка.

— А то если бы он не держался, тогда как же? — продолжал Колька.

— Ну, конечно,— согласился Васька,— если бы не держался, тогда как же?..

Но тут красноармейский командир, который стоял позади с телефонной трубкой, что-то громко закричал. Другой командир, который стоял поближе к пушке, тоже что-то крикнул, махнул рукой, и тогда красноармеец дернул за шнурок.

Сначала сверкнул огромный огонь. Потом так ударило, как будто бы гром грохнул над самой печной трубой.

Ребята слетели с забора на траву.

— Ну и бабахнуло! — сказал Васька, поднимаясь.

— Здорово бабахнуло,— согласилась побледневшая Нюрка.

— Это вот когда дернут, тогда и бабахнет,— объяснил Колька.— А вы говорите, зачем шнурок да зачем! Я теперь сразу угадал — зачем. А вот скажи, Васька, почему ты с забора соскочил и меня с Нюркой спихнул?

— Я не соскочил,— обиделся Васька.— Это Нюрка первая соскочила, тряхнула забор, я свалился.

— Я не первая,— отказалась Нюрка.— Если бы я первая, то как же бы я Кольке на спину упала?! Это он сам первый.

— Вот еще! — рассердился Колька.— Это ты просто побоялась в крапиву падать и нарочно выбрала так, чтобы мне на спину. А я вот не побоялся и всю руку изжег.— И, обернувшись к Ваське, он добавил: — Они все, девчонки, крапивы боятся. Куда уж им!

С тех пор красноармейцы с пушками приезжали часто. Только в среду да в понедельник стрельбы не бывало. А то каждый день.

Как только приедут артиллеристы, так бегут ребята прямо к кустам. Сядут на бугорочке, совсем близко, и смотрят: с бугорка все видно и все слышно. Слышно, как телефонист послушает в трубку и потом говорит командиру:

— Прицел 6-5, трубка 7-2.

Тогда командир кричит:

— Второе орудие!.. Прицел 6-5, трубка 7-2.

И бегут сразу красноармейцы ко второму орудию. Покрутят какое-то колесо, и орудие немного вверх приподнимается. Покрутят другое, и ствол орудия немного в сторону отойдет. Тут, когда нацелятся артиллеристы, командир махнет рукою — дернет красноармеец-наводчик за шнурок. Вот тебе и трах-бабах!

Куда летит снаряд — этого ребятам не видно. Но когда долетит и разорвется, то тогда уже видно, потому что над этим местом поднимется целое облако пыли и черного дыма.

И все снаряды рвались то около церкви, то около мельницы, то около домиков, которые виднелись далеко на горке.

— А страшно в той деревеньке жить! — сказала как-то Нюрка.— Я бы ни за что не осталась там жить. А ты, Васька?

— И я бы не остался,— ответил Васька.— А отчего это отец говорил, что там никакой деревеньки нет, и все это только отсюда кажется?

— Деревенька есть,— решил Колька,— да только из нее перед стрельбой все уходят.

— А лошадей куда?

— А лошадей тоже уводят.

— И коров тоже? — спросил Васька.

— И коров тоже, и разных там свиней, и баранов.

— И курицтоже уводят? — полюбопытствовала Нюрка.— И уток тоже, и всех?

— Должно быть, уж и всех,— ответил Колька и замолчал, потому что самому ему чудным показалось такое дело.

Как раз тут стрельба окончилась, подвезли красноармейцам котел на колесах — кухню. Стал наливать им повар в котелки что-то — суп или борщ, а красноармейцы садились тут же на траву и ели. Тогда Васька сказал:

— Побежим домой. Я что-то тоже поесть захотел.

Но Колька остановил:

— Погоди-ка немного, сюда командир едет.

Подъехал верхом командир. И возле самого бугорка остановился: закурить захотел. Вынул папиросы, вынул спички, стал зажигать. Да тут то ли его коня слепень укусил, то ли просто он забаловался, а только дернулся конь и зафырчал.

Ухватился командир за повод.

— Стой,— говорит,— шальной! Чего крутишься?

А спички-то и выронил.

— Ребята,— попросил командир,— подайте-ка мне спички.

Васька всех ближе стоял. Схватил он коробку, да поскользнулся и упал. А Кольке обидно стало, что Васька подавать хочет. Подскочил он к Ваське и вырвал у него коробку. Васька как заорет да Кольку кулаком по голове. Тут и началась у них драка. А Нюрка тем временем тихонько, боком, боком... подобрала спички да и подала их командиру. Вот тебе и тихоня!

Посмеялся над ребятами командир, сказал им спасибо и ускакал.

Тогда Васька и Колька перестали драться и хотели отлупить Нюрку, зачем она со спичками вперед сунулась.

Но Нюрка испугалась и убежала. А разве ее, длинноногую, догонишь?!

Так вот и поссорились ребята. На другой день ни Васька к Кольке через заборную дыру не лезет, ни Колька к Ваське. А Нюрка тоже у себя на дворе возится.

Походил-походил по двору Васька — скучно! Достал палку, сел на нее верхом и проехал кругом двора три раза — все равно скучно. Заглянул он в дыру, видит — Колька с луком и стрелами ходит. В фуражку перо воткнул и будто бы индеец. Обидно стало Ваське. Просунул он голову в дыру и закричал:

— Отдай, Колька, перо, оно не твое, а наше! Это ты у нашего петуха из хвоста выщипал.

Тут Колька поднял с грядки ком земли. Как запустит его в Ваську, да прямо в живот! Хоть и не больно было Ваське, а все-таки он заревел.

Васькина мать на крыльцо вышла и начала Кольку ругать. Да и Ваське заодно попало. На другой день ребята — враги. На третий день — тоже враги.

А тут как раз подошло грибное время. Другие ребятишки с соседних улиц соберутся с утра и идут или в Борковский лес, или на Тихие овраги. Глядишь, к обеду тащат — кто корзинку, кто лукошко. Да грибы-то всё какие — белые! Сахар, а не грибы.

А Ваське одному идти скучно, он и не идет. Колька тоже не идет. А Нюрка и подавно — скучно одной.

Сидит как-то Васька у себя на дворе и играет в поезд. Паровоз у него хоть и не настоящий, а из ящиков сделан, но все-таки интересно. Приладил он старую самоварную трубу да и дудит. Ду-у-у! А сам раскачивается. Ящики хотя и не едут, но стукаются один о другой. Так-так, так-так!.. Ну прямо как вагоны.

Вдруг слышит Васька — упало что-то рядом. Видит — стрела. И видит он, что высунул из дыры голову

Колька, и жалко этому Кольке нечаянно улетевшей стрелы, и боится он пролезть за нею.

Посмотрел Васька и говорит:

— А хочешь, Колька, я тебе стрелу подам?

Покраснел Колька и молчит.

Слез тогда с паровоза Васька, поднял стрелу и подал Кольке. Взял Колька стрелу, ничего не сказал и ушел.

Походил, походил, а потом высунулся опять из дыры и кричит:

— А у меня, Васька, свисток, как у кондуктора, есть! Хочешь, я тебе дам поиграть? Только не насовсем.

Принес Колька свисток да так и остался на Васькином дворе. Наигрались и сговорились завтра утром за грибами идти.

Подошел Колька к забору и кричит:

— Нюрка! Пойдешь завтра за грибами?

А Нюрка боится.

— Вы,— говорит,— опять драться будете...

— Ну вот, драться... Что мы, хулиганы, что ли? Это только хулиганы каждый день дерутся. А мы разве каждый?..

Так и помирились.

Васька был неграмотным — мал еще. А Колька немного грамоте знал. Вечером, перед тем как лечь спать, подошел он к календарю, оторвал листочек и прочел на нем: «Вторник». Посмотрел на оставшийся листок и прочел: «Среда».

«Завтра уж среда»,— подумал Колька и похвалился перед матерью:

— А я знаю, мама, почему среда средой называется. Это потому, что она посередке недели висит. Верно я говорю?

— Верно,— согласилась мать.— Ты бы лучше спать шел.

«И то правда,— подумал Колька.— Завтра вставать за грибами рано... в шесть часов».

Когда Колька уснул, вернулся с какого-то собрания отец. Посмотрел он на календарь и спросил:

— Разве у нас завтра среда?

— Нет,— ответила мать,— завтра еще только вторник. Это Колька по ошибке лишний листок вырвал. Вот оно и получилось, что завтра среда.

Вероятно, Колька и Васька проспали бы, если бы их не разбудила Нюрка. Солнце еще только взошло, трава была мокрая, и сначала босым ногам было холодно.

Направились в перелесок. Но грибов в перелеске попадалось немного, и ребята решили свернуть к Тихим оврагам, где кусты были погуще, а место посуше.

В корзине у Нюрки и Кольки лежало уже по нескольку штук, а у Васьки все еще ни одного.

— Ты, Нюрка, не иди со мной рядом,— попросил он,— а то ты все раньше меня срываешь. Ты иди лучше вбок, там и срывай.

— А ты не зевай,— ответила Нюрка и, кинувшись в кусты, вытащила оттуда большой крепкий березовик.— Вот смотри, какой ты гриб прозевал.

— Я не прозевал,— уныло ответил Васька,— я только хотел за куст посмотреть, а ты уже и выскочила.

Но вскоре, когда очутились они возле Тихих оврагов, то грибы начали попадаться так часто, что даже Васька нашел четыре осиновика да один белый — здоровый и без одной червинки.

Так бродили они по кустам долго, и уже высоко поднялось солнце и подсохла роса на полянках, когда вышли они на опушку.

— А ну-ка... а ну-ка,— сказал Колька,— посмотрите, ребята, куда мы зашли.

Высокий кустарник кончился. Дальше, насколько хватал глаз, расстилалось перед ними холмистое, покрытое мелкой порослью поле. И через то поле не пролегала ни одна проезжая дорога — всюду только кустики да трава. Торчало на том поле несколько высоких деревянных башенок, с пустыми площадками наверху. А вправо, не дальше чем за километр, увидали ребята ту самую деревеньку с мельницей и церковью, которая видна была с окраины их поселка.

— Пойдемте посмотрим,— предложил Колька.— Мы скоренько... Посмотрим только, а потом спустимся под гору, да все прямо, прямо... Так к дому и выйдем.

— А вдруг стрелять начнут?

— А что, если красноармейцы приедут? — почти в один голос спросили Васька и Нюрка.

— Сегодня не приедут. Сегодня среда,— успокоил их Колька.— Пойдемте посмотрим да и домой.

Идти пришлось по кочковатому, поросшему полю. И чем ближе подходили они, тем чаще попадались им бугры свежей, еще не заросшей травою земли, узкие глубокие канавы и круглые, залитые дождевой водой ямки.

Казалось, что огромный крот еще совсем недавно рылся в этом пустом и тихом поле.

— Это от снарядов,— догадался Колька.— Попадет снаряд в землю, рванет — вот тебе и яма. А вот это окопы. Сюда от пуль солдаты прячутся во время войны.

— Грязно очень, Колька,— с недоумением заглядывая в сырую глиняную канаву, сказала Нюрка.— Сюда если спрячешься, то вся вымажешься, потому что...

Но тут Васька, копавшийся около маленького кустика с почерневшей, точно опаленной листвой, закричал:

— Вот и нашел!.. Вот это так нашел!..

И он побежал к ним, держа что-то в руках.

Сначала ребята думали, что он тащит гриб, но когда он подбежал, то увидели они, что это не гриб, а толстый кусок металла с неровными острыми краями.

— Это осколок от снаряда,— опять догадался Колька.— Ты отдай мне его, Васька... Я тебе за него три гриба дам. Потрогай-ка, Нюрка, какой он тяжелый.

Но Нюрка поспешно отдернула руку и стала за спину Васьки.

— Положи его, Коленька,— робко попросила она.— А то вдруг он да и выстрелит.

— Глупая! — успокоил ее Колька.— Он уже выстреленный. Как же он без пороха выстрелит? Дай мне его, Васька,— попросил он опять,— а я тебе за него три гриба дам, да еще стрелу с гвоздем дам, как только домой придем.

— Что грибы! — ответил Васька, бережно засовывая осколок в корзину.— Грибы съешь, да и все. Я лучше не дам тебе его, Колька. Пускай он у меня будет.— Он помолчал, потом добавил: — А ты будешь

приходить и смотреть. Как ты попросишь, так я тебе и дам посмотреть. Что мне, жалко, что ли? Смотри сколько хочешь.

* * *

Они подходили к деревеньке. Не видно было ни мужиков, ни ребятишек. Не хрюкали свиньи, не мычали коровы, не лаяли собаки, как будто бы все повымерли.

— Я говорил, что все ушли отсюда,— тихо сказал Колька.— Разве же тут можно жить? Смотри, какие снарядные ямины.

Сделали еще несколько шагов и остановились, широко вытаращив глаза. Только теперь разглядели они, что деревеньки-то никакой и нет. И мельница, и церковь, и домики сделаны были из тонких выкрашенных досок, без стен и без крыш.

Как будто бы кто-то огромными ножницами вырезал раскрашенные картинки и приклеил их на подставки среди зеленого поля.

— Вот так деревня! Вот так мельница! — закричал маленький Васька.— А мы-то думали, думали...

Со смехом вбежали ребята в игрушечную деревеньку. Кругом росла высокая трава, было тихо. Жужжали шмели, и порхали яркие бабочки.

Ребята бегали вокруг раскрашенных домиков, рассматривая их со всех сторон. Здесь же, неподалеку, были врыты столбы, к которым были прибиты тяжелые, толстые доски, в некоторых местах разорванные и расщепленные снарядами. Это были мишени, по которым стреляли артиллеристы. Перед обманчивой деревенькой тянулись в два ряда изломанные окопы, окутанные ржавой колючей проволокой.

Вскоре ребята наткнулись на какой-то погреб. Дверь в погреб была приоткрыта. С робостью спустились они по каменным ступенькам и очутились в глубоком каменном подвале, куда едва доходил слабый дневной свет.

В подвале стояла скамья. К стене была приделана полочка, а на полочке торчал небольшой огарок свечи.

— Зажжем свечку,— предложил Колька.— У меня спички есть. Я с собой захватил, чтобы костер разжечь.

Он достал спички, но тут они услыхали доносившийся сверху лошадиный топот.

— Побежим лучше домой,— тихо предложила Нюрка.

— Сейчас побежим. Там, наверху, кто-то есть. Как только проедут, так и побежим. А то заругаться могут. Вы, скажут, зачем сюда лазили?

Топот смолк. Ребята выбрались из погреба и увидели, как скачут, удаляясь, двое кавалеристов.

— Посмотри на вышку,— показал Васька,— вон на ту... Туда кто-то забрался.

Посмотрели — и верно: на одной из вышек сидел человек, и отсюда он казался маленьким-маленьким, как воробей.

Хотели уже бежать домой, но тут Васька захныкал и заявил, что он в погребе позабыл осколок.

Полезли опять. Зажгли свечку. Теперь, при тусклом свете, можно было разглядеть сырые толстые стены из цемента и потолок, настланный из крепких железных балок.

Вдруг — глухой далекий гул заставил вздрогнуть ребятишек. Как будто где-то упало на землю огромное тяжелое бревно.

— Колька,— шепотом спросила Нюрка,— что это такое?

— Не знаю,— также шепотом ответил он.

Гул повторился, но теперь грохнуло уже совсем близко. Ребятишки притихли и робко жались друг к другу. Васька раскрыл рот и, крепко сжимая найденный осколок, смотрел на Кольку. Колька хмурился, а по щеке Нюрки покатилась внезапно слеза, и она сказала жалобно, готовая вот-вот заплакать:

— А мне, Колька, кажется... мне что-то кажется... что сегодня вовсе не среда...

— И мне тоже,— уныло сказал Васька. И вдруг громко заплакал, а за ним и остальные...

Долго плакали притаившиеся в углу, попавшие в беду ребятишки. Гул наверху не смолкал. Он то приближался, то удалялся. Бывали минуты перерыва. В одну из таких минут Колька полез наверх затем, чтобы закрыть верхнюю дверь. Но тут совсем неподалеку так ахнуло, что Колька скатился обратно и, ползком добравшись до угла, где тихо плакали Васька с Нюркой,

сел с ними рядом. Поплакав немного, он опять пополз наверх, к тяжелой, окованной железом двери погреба, захлопнул ее и отполз вниз.

Гул сразу стих, и только по легкому дрожанию, похожему на то, как вздрагивают стены дома, когда мимо едет тяжелый грузовик или трамвай, можно было догадаться, что снаряды рвутся где-то совсем неподалеку.

— До нас не дострелят,— еще всхлипывая, но уже успокаивая своих друзей, сказал Колька.— Мы вон как глубоко сидим. И стены из камня, и потолок из железа. Ты... не плачь, Нюрка, и ты не плачь, Васька. Вот скоро кончат стрелять, тогда мы вылезем да и побежим.

— Мы бы-ы... мы бы-ы-ст-ро побежим...— глотая слезы, откликнулась Нюрка.

— Мы как... мы как припустимся, как при... припустимся, так и сразу домой...— добавил Васька.— Мы прибежим домой и никому ничего не скажем.

Огарок догорал. Пламя растопило последний кусочек стеарина. Фитиль упал и погас. Стало темнотемно.

— Колька,— плаксиво прохныкала Нюрка, отыскивая в темноте его руку,— ты сиди тут, а то мне страшно.

— Мне и самому страшно,— сознался Колька и замолчал.

И в погребе стало тихо-тихо. Только сверху через толстые стены едва доносились заглушенные отзвуки частых разрывов, как будто бы кто-то вколачивал тяжелые гвозди в землю гигантским молотком.

— Колька, Васька! — опять раздался жалобный голос Нюрки.— Вы чего молчите? И так темно, а вы еще молчите.

— Мы не молчим,— ответил Колька.— Мы с Васькой думаем. Ты сиди и тоже думай.

— Я вовсе и не думаю,— откликнулся Васька,— я просто так сижу.

Он заворочался, пошарил, нащупал чью-то ногу и дернул за нее:

— Это твоя нога, Нюрка?

— Моя! — испуганно отдергивая ногу, закричала Нюрка.— А что?!

— А то,— сердитым голосом ответил Васька,— а то... что ты своей ногой прямо мне в корзину пхаешь и какой-то гриб раздавила.

И как только Васька сказал про гриб, так сразу же веселей стало и Кольке, и Нюрке, и самому Ваське.

— Давайте разговаривать,— предложил Колька,— или давайте песню споем. Ты пой, Нюрка, а мы с Васькой подпевать будем. Ты, Нюрка, будешь петь тонким голосом, я — обыкновенным, а Васька — толстым.

— Я не умею толстым,— отказался Васька.— Это Исайка умеет, а я не умею.

— Ну, пой тогда тоже обыкновенным. Начинай, Нюрка.

— Да я еще не знаю какую,— смутилась Нюрка.— Я только мамину знаю, какую она поет.

— Ну, пой мамину...

Слышно было, как Нюрка шмыгнула носом. Она провела рукой по лицу, насухо вытирая остатки слез, потом облизала губы и запела тоненьким, еще немного прерывающимся от недавнего волнения голосом:

Ушел казак на войну,
Бросил дома он жену.
Бросил свою деточку.
Дочку-малолеточку.

— Ну, пойте последние слова: «Бросил свою деточку»,— подсказала Нюрка.

И когда Колька с Васькой пропели, то Нюрка еще звончее и спокойнее продолжала:

С той поры прошли года,
Прошли, прокатилися,
Все казаки по домам
Давно воротилися.
Только нету одного,
Всеми позабытого,
Казачонка моего,
И-э-э-эх! — давно убитого...

Нюрка забирала все звончее и звончее, а Колька с Васькой дружно подпевали обыкновенными голосами. И только когда наверху грохало уж очень сильно, то голоса всех троих чуть вздрагивали, но песня все же, не обрываясь, шла своим чередом.

— Хорошая песня! — похвалил Колька, когда они кончили петь.— Я люблю такие песни, чтобы про вой-

ну и про героев. Хорошая песия, только что-то печальная.

— Это мамиил песня,— объяснила Нюрка.— Когда у иас иа войне папу убили, вот оиа такую песию все и пела.

— А разве у тебя, Нюрка, отец казак был?

— Казак. Только ои ие простой казак был, а красный казак. То всё были белые казаки, а он был красиый казак. Вот его за это белые казакн и зарубнли. Когда я совсем малеиькая была, то мы далеко, на Кубаии, жили. А потом, когда папу убили, мы сюда, к дяде Федору, иа завод приехали.

— Его на войне убили?

— На войие. Мать рассказывала, что он был в каком-то отряде. И вот говорит один раз иачальник отцу и еще одиому казаку: «Вот вам пакет. Скачнте в станицу Усть-Медведицкую, пусть иам помощь подают». Скачет отец да еще один казак. Уже и кони у иих устали, а до Усть-Медведиикской все еще далеко. И вдруг заметили их белые казаки и пустнлись за иими вдогоику. У белых казаков лошади свежие, того и гляди догоият. Тогда отец и говорнт еще одному казаку: «На́ тебе, Федор, пакет н скачи дальше, а я возле мостика останусь». Слез ои с коия возле мостнка, лег и иачал стрелять в белых казаков. Долго стрелял, до тех пор, пока пробрались казаки сбоку, через брод. Тут они и зарубили его. А Федор — этот другой-то казак — в это время далеко уже ускакал с пакетом, так и ие догиали его. Вот какой у меия папа казак был! — докончила рассказывать Нюрка.

Сильиый грохот заставнл вскрикнуть ребятишек. Должно быть, ветром, пробравшимся через щель, распахиуло верхиюю дверь. И раскаты взрывов ворвались в погреб.

— Колька... зак-к-рой! — заикаясь, закричал Васька.

— Закрой сам,—ответил Колька.—Я уже закрывал.

— Закрой, Колька! — громко расплакавшнсь, повторил Васька.

— Эх, ты! — иеожидаиио вставая, крикнула возбуждеииая своим же рассказом Нюрка.— Эх, вы...— Оиа отбросила Васькиину руку, добралась до верхней дверн, захлопнула ее и задвииула на запор.

Гул смолк.

Опять замолчали. И так сидели долго. До тех пор, пока Колька, который чувствовал себя виноватым и перед маленьким Васькой и перед Нюркой, не сказал:

— А ведь наверху-то больше не стреляют.

Прислушались — наверху тихо. Подождали еще минут десять — так же тихо.

— Бежим домой! — вскакивая, крикнул Колька.

— Домой, домой,— обрадовался Васька.— Вставай, Нюрка!

— Я боюсь...— захныкала Нюрка.— А вдруг как опять...

— Бежим! Бежим! — в один голос закричали Колька и Васька.— Не бойся, мы как припустимся...

Выбрались наверх. После черного подвала день показался сияющим, как само солнце.

Осмотрелись.

Тяжелые деревянные щиты, что стояли не очень далеко от погреба, были разбиты. Повсюду валялись разбросанные щепки, и чернели ямы возле еще не обсохшей раскиданной земли.

— Бежим, Нюрка! Дай я возьму твою корзину,— подбадривал ее Колька.— Мы быстренько...

Перепрыгнули через окоп, пробрались через проход среди колючей разорванной проволоки и побежали под гору. Толстый Васька с неожиданной прытью помчался впереди, одной рукой держась за корзинку, другой крепко сжимая драгоценный осколок.

Колька и Нюрка бежали рядом, и Колька свободной левой рукой помогал ей тащить большую неуклюжую корзину.

Они уже спустились со ската и бежали теперь по мелкой поросли, как воздух опять задрожал, загудел, и снаряд, пронесясь где-то поверху, разорвался далеко в стороне и позади них.

Нюрка неожиданно села, как будто бы в ноги ей попал осколок.

— Бежим, Нюрка! — закричал Колька, бросая свою корзину и хватая ее за руку.— Оставь корзину! Бежим!

Артиллерийский наблюдатель с площадки вышки заметил среди мелкого кустарника три движущиеся точки.

«Вероятно, козы»,— подумал он, поднося к глазам сильный бинокль. Но, присмотревшись, он ахнул и, схватив телефонную трубку, крикнул на батарею, чтобы стрелять перестали.

В бинокль он ясно увидел, как, то показываясь, то исчезая за кустами, по полю мчатся двое мальчуганов и одна девочка.

Один мальчуган крепко держал за руку девочку. Другой, путаясь ногами в высокой траве, запинаясь и спотыкаясь, бежал немного позади, крепко прижимая что-то обеими руками к груди. Затем он увидел, как из-за кустов вылетели двое посланных с батареи кавалеристов и, остановившись около ребят, соскочили с коней.

Конвоируемые двумя красноармейцами, ребята дошли до батареи. Командир был рассержен тем, что пришлось остановить учебную стрельбу, но когда он увидел, что виноваты в этом трое перепуганных и плачущих малышей, он перестал сердиться и подозвал их к себе.

— Как они пробрались через оцепление? — спросил он.

Ребята молчали. И за них ответил один из конвоиров:

— А они, товарищ командир, забрались еще спозаранку, до того, как было выставлено оцепление. А потом, когда наши разъезды кусты осматривали, так они говорят, что в погребе сидели. Я думаю, что они в четвертом блиндаже сидели. Они как раз с той стороны бежали.

— В четвертом блиндаже? — переспросил командир. И, подойдя к Нюрке, погладил ее.— В четвертом блиндаже! — повторил он, обращаясь к своему помощнику.— А мы-то как раз этот участок обстреливали. Бедные ребята!

Он провел рукой по разлохматившейся голове Нюрки и спросил ласково:

— Скажи, девочка, а зачем вы туда забрались?

— А мы деревеньку...— тихо ответила Нюрка.

— Мы хотели деревеньку посмотреть,— добавил Колька.

— Мы думали, она настоящая, а там одни доски,— вставил Васька, ободренный добрым видом командира.

Тут командир и красноармейцы заулыбались. Командир посмотрел на Ваську, который прятал что-то за спину.

— А что это у тебя в руках, мальчуган?

Васька засопел, покраснел и молча протянул командиру снарядный осколок.

— Это он не взял, это он под кустом нашел,— заступился за Ваську Колька.

— Это я под кустом,— виновато ответил Васька.

— Да зачем он тебе нужен?

Тут командир опять заулыбался, а обступившие их красноармейцы громко рассмеялись. И Васька, который никак не мог понять, над чем они смеются, ответил им, нахмурившись:

— Так ведь этакого осколка ни у кого нет, а у меня теперь есть.

— Ну, бегите,— сказал им командир.— Эх вы... малыши!

Он повернулся, посмотрел в записную книжку и закричал уже совсем другим голосом — громким и строгим:

— Стрелять третьему орудию! Прицел 6-6, трубка 6-2!

Трах-ба-бах! — грохнуло позади ребят, когда вприпрыжку, довольные тем, что легко отделались, понеслись они домой. Трах-ба-бах... Но это уже было не страшно.

В выходной день приехал с отцом Исайка. Привез он с собой ружье, которое стреляло пробками, и стал хвалиться ружьем перед Васькой. И странное дело: на этот раз Ваське нисколько не завидно было, что у Исайки есть ружье, а у него нет.

Пока Колька и Нюрка рассматривали и хвалили Исайкино ружье, Васька пошел домой, отодвинул ящик, в котором лежали: сломанный ножик, мячики — один

с дыркой, большой, другой без дырки, маленький, молоток, гайки, три гвоздя и еще кое-что из его имущества. Он вынул из этого ящика бережно завернутый, найденный на военном поле осколок и понес его Исайке.

— А у меня вот что есть, Исайка,— сказал он, подавая осколок.

Но Исайка то ли глуп был, то ли он не хотел показать вида, а только он равнодушно посмотрел на осколок и сказал Ваське:

— Ну это-то что! У нас в чулане старых железин сколько хочешь.

Васька даже не обиделся. Он посмотрел на Нюрку, на Кольку; они хитро улыбнулись друг другу и вчетвером побежали на окраину, где начиналось военное поле.

Артиллеристы в тот день не приезжали. Ребята показали Исайке, где становятся пушки, объяснили ему, для чего среди поля стоят деревянные башенки. Рассказали ему, какая странная раскинулась на горе деревенька, около которой и окопы, и каменный, с железным потолком погреб, который называется «блиндаж». Они рассказали ему, как попали в блиндаж и как сидели там до тех пор, пока окончилась стрельба.

Исайка слушал с любопытством, но когда они кончили рассказ, то он сказал довольно равнодушно:

— Жалко, что меня с вами не было. А то я бы тоже полез сидеть. Пойдемте сыграем в чижа.

И опять улыбнулись Васька, Колька и Нюрка.

Глупый, глупый Исайка! Он думает, что в блиндаже сидеть так же просто, как играть в чижа.

Он не слышал еще ни разу орудийного залпа. Он не видел ни дыма, ни огня взрывающегося снаряда. Ему не приходилось закрывать тяжелую дверь блиндажа, как Кольке и Нюрке, и не приходилось бежать с тяжелым осколком в руках по изрытому воронками полю, как Ваське.

И, переглянувшись, Васька, Колька и Нюрка рассмеялись над добрым толстым Исайкой весело и снисходительно, как взрослые люди смеются над ребенком.

А когда Исайка поднял на них свои глаза, удивленные и обиженные этим непонятным смехом, то они схватили его за руки и потащили играть в чижа.

*1931*

# ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ

## 1

Зимою очень скучно. Разъезд маленький. Кругом лес. Заметет зимою, завалит снегом — и высунуться некуда.

Одно только развлечение — с горы кататься. Но опять, не весь же день с горы кататься? Ну прокатился раз, ну прокатился другой, ну двадцать раз прокатился, а потом все-таки надоест, да и устанешь. Кабы они, санки, и на гору сами вкатывались. А то с горы катятся, а на гору — никак.

Ребят на разъезде мало: у сторожа на переезде — Васька, у машиниста — Петька, у телеграфиста — Сережка. Остальные ребята — вовсе мелкота: одному три года, другому четыре. Какие же это товарищи?

Петька да Васька дружили. А Сережка вредный был. Драться любил.

Позовет он Петьку:

— Иди сюда, Петька. Я тебе американский фокус покажу.

А Петька не идет. Опасается:

— Ты в прошлый раз тоже говорил — фокус. А сам по шее два раза стукнул.

— Ну, так то простой фокус, а это американский, без стуканья. Иди скорей, смотри, как оно у меня прыгает.

Видит Петька, действительно что-то в руке у Сережки прыгает. Как не подойти!

А Сережка — мастер. Накрутит на палочку нитку, резинку. Вот у него и скачет на ладони какая-то штуковина — не то свинья, не то рыба.

— Хороший фокус?

— Хороший.

— Сейчас еще лучше покажу. Повернись спиной.

Только повернется Петька, а Сережка его сзади как дернет коленом, так Петька сразу головой в сугроб.

Вот тебе и американский.

Попадало и Ваське тоже. Однако когда Васька и Петька играли вдвоем, то Сережка их не трогал. Ого! Тронь только. Вдвоем-то они и сами храбрые.

Заболело однажды у Васьки горло, и не позволили ему на улицу выходить.

Мать к соседке ушла, отец — на переезд, встречать скорый поезд. Тихо дома.

Сидит Васька и думает: что бы это такое интересное сделать? Или фокус какой-нибудь? Или тоже какую-нибудь штуковину? Походил, походил из угла в угол — нет ничего интересного.

Подставил стул к шкапу. Открыл дверцу. Заглянул на верхнюю полку, где стояла завязанная банка с медом, и потыкал ее пальцем. Конечно, хорошо бы развязать банку да зачерпнуть меду столовой ложкой...

Однако он вздохнул и слез, потому что уже заранее знал, что такой фокус матери не понравится. Сел он к окну и стал поджидать, когда промчится скорый поезд.

Жаль только, что никогда не успеешь рассмотреть, что там, внутри скорого, делается.

Заревет, разбрасывая искры. Прогрохочет так, что вздрогнут стены и задребезжит посуда на полках. Сверкнет яркими огнями. Как тени, промелькнут в окнах чьи-то лица, цветы на белых столиках большого вагона-ресторана. Блеснут золотом тяжелые желтые ручки, разноцветные стекла. Пронесется белый колпак повара. Вот тебе и нет уже ничего. Только чуть виден сигнальный фонарь позади последнего вагона.

И никогда, ни разу не останавливался скорый на их маленьком разъезде.

Всегда торопится, мчится в какую-то очень далекую страну — Сибирь.

И в Сибирь мчится и из Сибири мчится. Очень, очень неспокойная жизнь у этого скорого поезда.

Сидит Васька у окна и вдруг видит, что идет по дороге Петька, как-то по-необыкновенному важно, а под мышкой какой-то сверток тащит. Ну, настоящий техник или дорожный мастер с портфелем.

Очень удивился Васька. Хотел в форточку закричать: «Куда это ты, Петька, идешь? И что там у тебя в бумаге завернуто?»

Но только он открыл форточку, как пришла мать и заругалась, зачем он с больным горлом на морозный воздух лезет.

Тут с ревом и грохотом промчался скорый. Потом сели обедать, и забыл Васька про странное Петькино хождение.

Однако на другой день видит он, что опять, как вчера, идет Петька по дороге и несет что-то завернутое в газету. А лицо такое важное, ну прямо как дежурный на большой станции.

Забарабанил Васька кулаком по раме, да мать прикрикнула.

Так и прошел Петька мимо, своей дорогой.

Любопытно стало Ваське: что это с Петькой сделалось? То, бывало, он целыми днями или собак гоняет, или над маленькими командует, или от Сережки улепетывает, а тут идет важный, и лицо что-то уж очень гордое.

Вот Васька откашлялся потихоньку и говорит спокойным голосом:

— А у меня, мама, горло перестало болеть.

— Ну и хорошо, что перестало.

— Совсем перестало. Ну даже нисколько не болит. Скоро и мне гулять можно будет.

— Скоро можно, а сегодня сиди,— ответила мать,— ты ведь еще утром похрипывал.

— Так то утром, а сейчас уже вечер,— возразил Васька, придумывая, как бы попасть на улицу.

Он походил молча, выпил воды и тихонько запел песню. Он запел ту, которую слыхал летом от приезжих комсомольцев, о том, как под частыми разрывами гремучих гранат очень геройски сражался отряд коммунаров. Собственно, петь ему не хотелось, и пел он с тайной мыслью, что мать, услышав его пение, поверит в то, что горло у него уже не болит, и отпустит на улицу. Но так как занятая на кухне мать не обращала

на него внимания, то он запел погромче о том, как коммунары попали в плен к злобному генералу и какие он готовил им мучения.

Когда и это не помогло, он во весь голос запел о том, как коммунары, не испугавшись обещанных мучений, начали копать глубокую могилу.

Пел он не то чтобы очень хорошо, но зато очень громко, и так как мать молчала, то Васька решил, что ей понравилось пение и, вероятно, она сейчас же отпустит его на улицу.

Но едва только он подошел к самому торжественному моменту, когда окончившие свою работу коммунары дружно принялись обличать проклятого генерала, как мать перестала громыхать посудой и просунула в дверь рассерженное и удивленное лицо.

— И что ты, идол, разорался? — закричала она.— Я слушаю, слушаю... Думаю, или он с ума спятил? Орет, как Марьин козел, когда заблудится.

Обидно стало Ваське, и он замолчал. И не то обидно, что мать сравнила его с Марьиным козлом, а то, что понапрасну он только старался и на улицу его все равно сегодня не пустят.

Насупившись, он забрался на теплую печку. Положил под голову овчинный полушубок и под ровное мурлыканье рыжего кота Ивана Ивановича задумался над своей печальной судьбой.

Скучно! Школы нет. Пионеров нет. Скорый поезд не останавливается. Зима не проходит. Скучно! Хоть бы лето скорей наступило! Летом — рыба, малина, грибы, орехи.

И Васька вспомнил о том, как однажды летом, всем на удивление, он поймал на удочку здоровенного окуня.

Дело было к ночи, и он положил окуня в сени, чтобы утром подарить его матери. А за ночь в сени прокрался негодный Иван Иванович и сожрал окуня, оставив только голову да хвост.

Вспомнив об этом, Васька с досадой ткнул Ивана Ивановича кулаком и сказал сердито:

— В другой раз за такие дела голову сверну!

Рыжий кот испуганно подпрыгнул, сердито мяукнул и лениво спрыгнул с печки. А Васька полежал, полежал, да и уснул.

На другой день горло прошло, и Ваську отпустили на улицу.

За ночь наступила оттепель. С крыш свесились толстые острые сосульки. Подул влажный, мягкий ветер. Весна была недалеко.

Хотел Васька бежать разыскивать Петьку, а Петька и сам навстречу идет.

— И куда ты, Петька, ходишь? — спросил Васька.— И почему ты, Петька, ко мне ни разу не зашел? Когда у тебя заболел живот, то я к тебе зашел, а когда у меня горло, то ты не зашел.

— Я заходил,— ответил Петька.— Я подошел к дому, да вспомнил, что мы с тобой недавно ваше ведро в колодце утопили. Ну, думаю, сейчас Васькина мать меня ругать начнет. Постоял я, постоял, да и раздумал заходить.

— Эх, ты! Да она уже давно отругалась и позабыла, а ведро батька из колодца еще позавчера достал. Ты вперед обязательно заходи... Что это за штуковина у тебя в газету завернута?

— Это не штуковина. Это книги. Одна книга для чтения, другая книга — арифметика. Я уже третий день с ними хожу к Ивану Михайловичу. Читать-то я умею, а писать нет и арифметику нет. Вот он меня и учит. Хочешь, я тебе сейчас задам арифметику? Ну вот, ловили мы с тобой рыбу. Я поймал десять рыб, а ты три рыбы. Сколько мы вместе поймали?

— Что же это я как мало поймал? — обиделся Васька.— Ты десять, а я три. А помнишь, какого окуня я в прошлое лето выудил? Тебе такого и не выудить.

— Так ведь это же арифметика, Васька.

— Ну и что ж, что арифметика? Все равно мало. Я три, а он десять. У меня на удилище поплавок настоящий, а у тебя пробка, да и удилище-то у тебя кривое...

— Кривое? Вот так сказал! Отчего же это оно криво? Просто скривилось немного, так я его уже давно выпрямил. Ну ладно, я поймал десять рыб, а ты семь.

— Почему же это я семь?

— Как почему? Ну, не клюет больше, вот и все.

— У меня не клюет, а у тебя почему-то клюет? Очень какая-то дурацкая арифметика.

— Экий ты, право! — вздохнул Петька.— Ну, пускай я десять рыб поймал и ты десять. Сколько всего будет?

— А много, пожалуй, будет,— ответил, подумав, Васька.

— «Много»! Разве так считают? Двадцать будет, вот сколько. Я теперь каждый день к Ивану Михайловичу ходить буду, он меня и арифметике научит и писать научит. А то что! Школы нет, так неученым дураком сидеть, что ли...

Обиделся Васька:

— Когда ты, Петька, за грушами лазил да упал и руку свихнул, то я тебе домой из лесу свежих орехов принес, да две железные гайки, да живого ежа. А когда у меня горло заболело, то ты без меня живо к Ивану Михайловичу пристроился. Ты, значит, будешь ученый, а я просто так? А еще товарищ...

Почувствовал Петька, что Васька правду говорит и про орехи и про ежа. Покраснел он, отвернулся и замолчал. Так помолчали они, постояли. И хотели уже разойтись, поссорившись. Да только вечер был уж очень хороший, теплый.

И весна была близко, и на улице маленькие ребятки дружно плясали возле рыхлой снежной бабы...

— Давай ребятишкам из санок поезд сделаем,— неожиданно предложил Петька.— Я буду паровозом, ты — машинистом, а они — пассажирами. А завтра пойдем вместе к Ивану Михайловичу и попросим. Он добрый, он и тебя тоже научит. Хорошо, Васька?

— Еще бы плохо!

Так и не поссорились ребята, а еще крепче подружились. Весь вечер играли и катались с маленькими. А утром отправились вместе к доброму человеку, к Ивану Михайловичу.

## 2

Васька с Петькой шли на урок. Вредный Сережка выскочил из-за калитки и заорал:

— Эй, Васька! А ну-ка, сосчитай. Сначала я тебя три раза по шее стукну, а потом еще пять, сколько это всего будет?

— Пойдем, Петька, поколотим его,— предложил обидевшийся Васька.— Ты один раз стукнешь да я один раз. Вдвоем мы справимся. Стукнем по разу да и пойдем.

— А потом он нас поодиночке поймает да вздует,— ответил более осторожный Петька.

— А мы не будем поодиночке, мы будем всегда вместе. Ты вместе, и я вместе. Давай, Петька, стукнем по разу да и пойдем.

— Не надо,— отказался Петька.— А то во время драки книжки изорвать можно. Лето будет, тогда мы ему зададим. И чтоб не дразнился и чтоб из нашей нырётки рыбы не вытаскивал.

— Все равно будет вытаскивать,— вздохнул Васька.

— Не будет. Мы в такое место нырётку закинем, что он никак не найдет.

— Найдет,— уныло возразил Васька.— Он хитрый, да и «кошка» у него хитрая, острая.

— Что ж, что хитрый. Мы и сами теперь хитрые. Тебе уже восемь лет и мне восемь, значит, вдвоем нам сколько?

— Шестнадцать,— сосчитал Васька.

— Ну вот, нам шестнадцать, а ему девять. Значит, мы хитрее.

— Почему же шестнадцать хитрей, чем девять? — удивился Васька.

— Обязательно хитрей. Чем человек старей, тем он хитрей. Возьми-ка ты Павлика Припрыгина. Ему четыре года,— какая же у него хитрость? У него что хочешь выпросить или стянуть можно. А возьми-ка ты хуторского Данилу Егоровича. Ему пятьдесят лет, и хитрей его не найдешь. На него налогу двести пудов наложили, а он поставил мужикам водки, они ему спьяна-то какую-то бумагу и подписали. Пошел он с этой бумагой в район, ему полтораста пудов и скостили.

— А люди не так говорят,— перебил Васька.— Люди говорят, что он хитрый не оттого, что старый, а оттого, что кулак. Как по-твоему, Петька, что это такое — кулак? Почему один человек — как человек, а другой человек — как кулак?

— Богатый, вот и кулак. Ты вот бедный, так ты и не кулак. А Данила Егорович — кулак.

— Почему же это я бедный? — удивился Васька.— У нас батька сто двенадцать рублей получает. У нас

поросенок есть, да коза, да четыре курицы. Какие же мы бедные? У нас отец рабочий человек, а не какой-нибудь вроде пропащего Епифана, который Христа ради побирается.

— Ну, пусть ты не бедный. Так у тебя отец сам работает, и у меня сам, и у всех сам. А у Данилы Егоровича на огороде летом четыре девки работали, да еще какой-то племянник приезжал, да еще какой-то будто бы свояк, да пьяный Ермолай сад сторожить нанимался. Помнишь, как тебя Ермолай крапивой отжучил, когда мы за яблоками лазили? Ух, ты и орал тогда! А я сижу в кустах и думаю: вот здорово Васька орет — не иначе как Ермолай его крапивой жучит.

— Ты-то хорош,— нахмурился Васька.— Сам убежал, а меня оставил.

— Неужели дожидаться? — хладнокровно ответил Петька.— Я, брат, через забор, как тигр, перескочил. Он, Ермолай, успел меня всего только два раза хворостиной по спине протянуть. А ты копался, как индюк, вот тебе и попало.

...Давно когда-то Иван Михайлович был машинистом. До революции он был машинистом на простом паровозе. А когда пришла революция и началась гражданская война, то с простого паровоза перешел Иван Михайлович на бронированный.

Петька и Васька много разных паровозов видели. Знали они и паровоз системы «С» — высокий, легкий, быстрый, тот, что носится со скорым поездом в далекую страну — Сибирь. Видали они и огромные трехцилиндровые паровозы «М» — те, что могли тянуть тяжелые, длинные составы на крутые подъемы, и неуклюжие маневровые «О», у которых и весь путь-то только от входного семафора до выходного. Всякие паровозы видали ребята. Но вот такого паровоза, какой был на фотографии у Ивана Михайловича, они не видали еще никогда. И паровоза такого не видали и вагонов не видали тоже.

Трубы нет. Колес не видно. Тяжелые стальные окна у паровоза закрыты наглухо. Вместо окон узкие продольные щели, из которых торчат пулеметы. Крыши нет. Вместо крыши низкие круглые башни, из тех башен выдвинулись тяжелые жерла артиллерийских орудий.

И ничего у бронепоезда не блестит: нет ни начищенных желтых ручек, ни яркой окраски, ни светлых стекол. Весь бронепоезд, тяжелый, широкий, как будто бы прижавшийся к рельсам, выкрашен в серо-зеленый цвет.

И никого не видно. Ни машиниста, ни кондуктора с фонарями, ни главного со свистком.

Где-то там, внутри, за щитом, за стальной обшивкой, возле массивных рычагов, возле пулеметов, возле орудий, насторожившись, притаились красноармейцы, но все это закрыто, все спрятано, все молчит.

Молчит до поры до времени. Но вот прокрадется без гудков, без свистков бронепоезд ночью туда, где близок враг, или вырвется на поле, туда, где идет тяжелый бой красных с белыми. Ах, как резанут тогда из темных щелей гибельные пулеметы! Ух, как грохнут тогда из поворачивающихся башен залпы могучих проснувшихся орудий!

И вот однажды в бою ударил в упор очень тяжелый снаряд по бронированному поезду. Прорвал снаряд обшивку и осколками оторвал руку военному машинисту Ивану Михайловичу.

С той поры Иван Михайлович уже не машинист. Получает он пенсию и живет в городе у старшего сына — токаря в паровозных мастерских. А на разъезд он приезжает в гости к своей сестре. Есть такие люди, которые поговаривают, что Ивану Михайловичу не только оторвало руку, но и зашибло снарядом голову, и что от этого он немного... ну, как бы сказать, не то что больной, а так, странный какой-то.

Однако ни Петька, ни Васька таким зловредным людям нисколько не верили, потому что Иван Михайлович был очень хороший человек. Одно только: курил Иван Михайлович уж очень много да чуть-чуть вздрагивали у него густые брови, когда рассказывал он что-нибудь интересное про прежние года, про тяжелые войны, про то, как их белые начали да как их красные окончили.

А весна прорвалась как-то сразу. Что ни ночь — то теплый дождик, что ни день — то яркое солнце. Снег таял быстро, как куски масла на сковороде.

Хлынули ручьи, взломало на Тихой речке лед, распушилась верба, прилетели грачи и скворцы. И все как-то разом. Пошел всего десятый день, как нагрянула весна, а снегу уже нисколько, и грязь на дороге подсохла.

Вот однажды после урока, когда хотели ребята бежать на речку, чтобы посмотреть, намного ли спала вода, Иван Михайлович попросил:

— А что, ребята, не сбегаете ли в Алешино? Мне бы Егору Михайлову записку передать надо. Отнесите ему доверенность с запиской. Он за меня в городе пенсию получит и сюда привезет.

— Мы сбегаем,— живо ответил Васька.— Мы очень даже быстро сбегаем, прямо как кавалерия.

— Мы знаем Егора,— подтвердил Петька.— Это тот Егор, который председатель? У него ребята есть: Пашка да Машка. Мы в прошлом году с его ребятами в лесу малину собирали. Мы по целому лукошку набрали, а они чуть на донышке, потому что малы еще и никак вперед нас не поспеют...

— Вот к нему и сбегайте,— сказал Иван Михайлович.— Мы с ним старые друзья. Когда я на броневике машинистом был, он, Егор, еще молодой тогда парнишка, кочегаром у меня работал. Когда прорвало снарядом обшивку и отхватило мне осколком руку, мы вместе были. После взрыва я еще минуту-другую в памяти оставался. Ну, думаю, пропало дело. Парнишка еще несмышленый, машину почти не знает. Один остался на паровозе. Разобьет он и погубит весь броневик. Двинулся я, чтобы задний ход дать и машину из боя вывести. А в это время от командира сигнал: «Полный вперед!» Оттолкнул меня Егор в угол на кучу обтирочной пакли, а сам как рванется к рычагу: «Есть полный ход вперед!» Тут закрыл я глаза и думаю: «Ну, пропал броневик».

Очнулся, слышу — тихо. Бой окончился. Глянул — рука у меня рубахой перевязана. А сам Егорка полуголый... Весь мокрый, губы запеклись, на теле — ожоги. Стоит он и шатается — вот-вот упадет.

Целых два часа один в бою машиной управлял. И за кочегара, и за машиниста, и со мной возился за лекаря...

Брови Ивана Михайловича вздрогнули, он замолчал и покачал головой, то ли над чем задумавшись, то ли

что-то припоминая. А ребятишки молча стояли, ожидая, не расскажет ли Иван Михайлович еще чего-нибудь, и удивлялись очень, что Пашкин и Машкин отец, Егор, оказался таким героем, потому что он вовсе не был похож на тех героев, которых видели ребята на картинках, висевших в красном уголке на разъезде. Те герои — рослые, и лица у них гордые, а в руках у них красные знамена или сверкающие сабли. А Пашкин да Машкин отец был невысокий, лицо у него было в веснушках, глаза узкие, прищуренные. Носил он простую черную рубаху и серую клетчатую кепку. Одно только, что упрямый был и если уж что заладит, то так и не отстанет, пока своего не добьется.

Об этом ребята и в Алешине от мужиков слышали и на разъезде слышали тоже.

Иван Михайлович написал записку, дал ребятам по лепешке, чтобы в дороге не проголодались. И Васька с Петькой, сломав по хлыстику из налившегося соком ракитника, подхлестывая себя по ногам, дружным галопом понеслись под горку.

3

Проезжей дорогой в Алешино — девять километров, а прямой тропкой — всего пять.

Возле Тихой речки начинается густой лес. Этот лес без конца-края тянется куда-то очень далеко. В том лесу — озера, в которых водятся крупные, блестящие, как начищенная медь, караси, но туда ребята не ходят: далеко, да и заблудиться в болоте нетрудно. В том лесу много малины, грибов, орешника. В крутых оврагах, по руслу которых бежит из болота Тихая речка, по прямым скатам из ярко-красной глины водятся в норах ласточки. В кустарниках прячутся ежи, зайцы и другие безобидные зверюшки. Но дальше, за озерами, в верховьях реки Синявки, куда зимой уезжают мужики рубить для сплава строевой лес, встречали лесорубы волков и однажды наткнулись на старого, облезлого медведя.

Вот какой замечательный лес широко раскинулся в тех краях, где жили Петька и Васька!

И по этому, то по веселому, то по угрюмому, лесу с пригорка на пригорок, через ложбинки, через жердоч-

ки поперек ручьев бодро бежали ближней тропкой посланные в Алешино ребята.

Там, где тропка выходила на проезжую дорогу, в одном километре от Алешина, стоял хутор богатого мужика Данилы Егоровича.

Здесь запыхавшиеся ребятишки остановились у колодца напиться.

Данила Егорович, который тут же поил двух сытых коней, спросил у ребят, откуда они да зачем бегут в Алешино. И ребята охотно рассказали ему, кто они такие и какое у них в Алешине дело до председателя Егора Михайлова.

Они поговорили бы с Данилой Егоровичем и подольше, потому что им было любопытно посмотреть на такого человека, про которого люди поговаривают, что он кулак, но тут они увидели, что со двора выходят к Даниле Егоровичу три алешинских крестьянина, а позади них идет хмурый и злой, вероятно с похмелья, Ермолай. Заметив Ермолая, того самого, который отжучил однажды Ваську крапивой, ребята двинулись от колодца рысью и вскоре очутились в Алешине, на площади, где собрался народ для какого-то митинга.

Но ребята, не задерживаясь, побежали дальше, на окраину, решив на обратном пути от Егора Михайлова разузнать, почему народ и что это такое интересное затевается.

Однако дома у Егора они застали только его ребятишек — Пашку да Машку. Это были шестилетние близнецы, очень дружные между собой и очень похожие друг на друга.

Как и всегда, они играли вместе. Пашка строгал какие-то чурочки и планочки, а Машка мастерила из них на песке, как показалось ребятам, не то дом, не то колодец.

Впрочем, Машка объяснила им, что это не дом и не колодец, а сначала был трактор, теперь же будет аэроплан.

— Эх, вы! — сказал Васька, бесцеремонно тыкая в «аэроплан» ракитовым хлыстиком.— Эх вы, глупый народ! Разве аэропланы из щепок делают? Их делают совсем из другого. Где ваш отец?

— Отец на собрание пошел,—добродушно улыбаясь, ответил нисколько не обидевшийся Пашка.

— Он на собрание пошел,— подымая на ребят голубые, чуть-чуть удивленные глаза, подтвердила Машка.

— Он пошел, а дома только бабка лежит на печи и ругается,— добавил Пашка.

— А бабка лежит и ругается,— пояснила Машка.— И когда папанька уходил, она тоже ругалась. Чтобы, говорит, ты сквозь землю провалился со своим колхозом.

И Машка обеспокоенно посмотрела в ту сторону, где стояла изба и где лежала недобрая бабка, которая хотела, чтобы отец провалился сквозь землю.

— Он не провалится,— успокоил ее Васька.— Куда же он провалится? Ну, топни сама ногами о землю, и ты, Пашка, тоже топни. Да сильней топайте! Ну вот, не провалились? А ну, еще покрепче топайте!

И, заставив несмышленых Пашку и Машку усердно топать, пока те не запыхались, довольные своей озорной выдумкой ребятишки отправились на площадь, где уже давно началось неспокойное собрание.

— Вот так дела! — сказал Петька, после того как потолкались они среди собравшегося народа.

— Интересные дела,— согласился Васька, усаживаясь на край толстого, пахнувшего смолою бревна и доставая из-за пазухи кусок лепешки.

— Ты куда было пропал, Васька?

— Напиться бегал. И что это так разошлись мужики? Только и слышно: колхоз да колхоз. Одни ругают колхоз, другие говорят, что без колхоза никак нельзя. Мальчишки и то схватываются. Ты знаешь Федьку Галкина? Ну, рябой такой.

— Знаю.

— Так вот. Я пить бегал и видел, как он сейчас с каким-то рыжим подрался. Тот, рыжий, выскочил да и запел: «Федька-колхоз — поросячий нос». А Федька рассердился на такое пение, и началась у них драка. Я уж тебе крикнуть хотел, чтобы ты посмотрел, как они дерутся. Да тут какая-то горбатая бабка гусей гнала и обоих мальчишек хворостиной огрела — ну, они и разбежались.

Васька посмотрел на солнце и забеспокоился.

— Пойдем, Петька, отдадим записку. Пока добежим домой, уж вечер будет. Как бы не попало дома.

Проталкиваясь через толпу, увертливые ребята добрались до груды бревен, возле которых за столом сидел Егор Михайлов.

Пока приезжий человек, забравшись на бревна, объяснял крестьянам, какая выгода идти в колхоз, Егор негромко, но настойчиво убеждал в чем-то наклонившихся к нему двух членов сельсовета. Те покачивали головами, а Егор, по-видимому сердитый на их нерешительность, еще упорней доказывал им что-то вполголоса, их стыдил.

Когда озабоченные члены сельсовета отошли от Егора, Петька молча сунул ему доверенность и записку.

Егор развернул бумажку, но не успел прочитать, потому что на сваленные бревна влез новый человек, и в этом человеке ребята узнали одного из тех мужиков, с которыми они встретились у колодца на хуторе Данилы Егоровича. Этот мужик говорил, что колхоз — это, конечно, дело новое и что сразу всем в колхоз соваться нечего. Записались сейчас в колхоз десять хозяйств, ну и пусть работают. Ежели у них пойдет дело, то и другим вступить не поздно будет, а если дело не пойдет, тогда, значит, в колхоз идти нет расчета и нужно работать по-старому.

Он говорил долго, и, пока он говорил, Егор Михайлов все еще держал развернутую записку не читая. Он щурил узкие рассерженные глаза и, насторожившись, внимательно вглядывался в лица слушающих крестьян.

— Подкулачник! — с ненавистью сказал он, теребя пальцами сунутую ему записку.

Тогда Васька, опасаясь, как бы Егор нечаянно не скомкал доверенность Ивана Михайловича, тихонько дернул председателя за рукав:

— Дяденька Егор, прочти, пожалуйста. А то нам домой бежать надо.

Егор быстро прочитал записку и сказал ребятам, что все сделает, что в город он поедет как раз через неделю, а до тех пор обязательно сам зайдет к Ивану Михайловичу. Он хотел еще что-то добавить, но тут мужик окончил свою речь, и Егор, сжимая в руке свою

клетчатую кепку, вскочил на бревна и начал говорить быстро и резко.

А ребята, выбравшись из толпы, помчались по дороге на разъезд.

Пробегая мимо хутора, они не заметили ни Ермолая, ни свояка, ни племянника, ни хозяйки — должно быть, все были на собрании. Но сам Данила Егорович был дома. Он сидел на крыльце, курил старую, кривую трубку, на которой была вырезана чья-то смеющаяся рожа, и казалось, что он был единственным человеком в Алешине, которого не смущало, не радовало и не задевало новое слово — колхоз.

Пробегая берегом Тихой речки через кусты, ребята услышали всплеск, как будто кто-то бросил в воду тяжелый камень.

Осторожно подкравшись, они различили Сережку, который стоял на берегу и смотрел туда, откуда по воде расплывались ровные круги.

— Нырётку забросил,— догадались ребята и, хитро переглянувшись, тихонько поползли назад, запоминая на ходу это место.

Они выбрались на тропку и, обрадованные необыкновенной удачей, еще быстрее припустились к дому, тем более что слышно было, как загрохотало по лесу эхо от скорого поезда: значит, было уже пять часов. Значит, Васькин отец, свернув зеленый флаг, входил уже в дом, а Васькина мать уже доставала из печи горячий обеденный горшок.

Дома тоже зашел разговор про колхоз. А разговор начался с того, что мать, уже целый год откладывавшая деньги на покупку коровы, еще с зимы присмотрела у Данилы Егоровича годовалую телку и к лету надеялась выкупить ее и пустить в стадо. Теперь же, прослышав про то, что в колхоз будут принимать только тех, кто перед вступлением не будет резать или продавать на сторону скотину, мать забеспокоилась о том, что, вступая в колхоз, Данила Егорович отведет туда телку, и тогда ищи другую, а где ее такую найдешь?

Но отец был человек толковый, он читал каждый день железнодорожную газету «Гудок» и понимал, что к чему идет.

Он засмеялся над матерью и объяснил ей, что Данилу Егоровича ни с телкой, ни без телки к колхозу и

на сто шагов подпускать не полагается, потому что он кулак. А колхозы, они на то и создаются, чтобы можно было жить без кулаков. И что когда в колхоз войдет все село, тогда и Даниле Егоровичу, и мельнику Петунину, и Семену Загребину придет крышка, то есть рушатся все их кулацкие хозяйства.

Однако мать напомнила о том, как с Данилы Егоровича в прошлом году списали полтораста пудов налога, как его побаиваются мужики и как почему-то все выходит так, как ему нужно. И она сильно усомнилась в том, чтобы хозяйство у Данилы Егоровича рушилось, а даже, наоборот, высказала опасение, как бы не рушился сам колхоз, потому что Алешино — деревня глухая, кругом лес да болота. Научиться по-колхозному работать не у кого и помощи от соседей ждать нечего.

Отец покраснел и сказал, что с налогом — это дело темное и не иначе как Данила Егорович кому-то очки втер да кого-то обжулил, а ему не каждый раз пройдет, и что за такие дела недолго попасть куда следует. Но заодно он обругал и тех дураков из сельсовета, которым Данила Егорович скрутил голову, и сказал, что если бы это случилось теперь, когда председателем Егор Михайлов, то при нем такого безобразия не получилось бы.

Пока отец с матерью спорили, Васька съел два куска мяса, тарелку щей и будто бы нечаянно запихал в рот большой кусок сахару из сахарницы, которую мать поставила на стол, потому что отец сразу же после обеда любил выпить стакан-другой чаю.

Однако мать, не поверив в то, что он это сделал нечаянно, турнула его из-за стола, и он, захныкав больше по обычаю, чем от обиды, полез на теплую печку к рыжему коту Ивану Ивановичу и, по обыкновению, очень скоро задремал. То ли ему это приснилось, то ли он правда слышал сквозь дрёму, а только ему показалось, что отец рассказывал про какой-то новый завод, про какие-то постройки, про каких-то людей, которые ходят и чего-то ищут по оврагам и по лесу, и будто бы мать все удивлялась, все не верила, все ахала да охала.

Потом, когда мать стащила его с печки, раздела и положила спать на лежанку, ему приснился настоящий сон: будто бы в лесу горит очень много огней, будто бы по Тихой речке плывет большой, как в синих морях,

пароход и еще будто бы на том пароходе уплывает он с товарищем Петькой в очень далекие и очень прекрасные страны...

4

Дней через пять после того, как ребята бегали в Алешино, после обеда, они украдкой направились к Тихой речке, чтобы посмотреть, не попалась ли в их нырётку рыба.

Добравшись до укромного места, они долго шарили по дну «кошкой», то есть маленьким якорем из выгнутых гвоздей. Чуть не оборвали бечеву, зацепивши крючьями за тяжелую корягу. Вытащили на берег целую кучу скользких, пахнувших тиной водорослей. Однако нырётки не было.

— Ее Сережка утащил! — захныкал Васька.— Я тебе говорил, что он нас выследит. Вот он и выследил. Я тебе говорил: давай на другое место закинем, а ты не хотел.

— Так ведь это и есть уже другое место,— рассердился Петька.— Ты же сам это место выбрал, а теперь все на меня сваливаешь. Да не хныкай ты, пожалуйста. Мне и самому жалко, а я не хныкаю.

Васька притих, но ненадолго.

А Петька предложил:

— Помнишь, когда мы в Алешино бежали, то Сережку у речки возле обгорелого дуба видели? Пойдем туда да пошарим. Может быть, его нырётку вытащим. Он — нашу, а мы — его. Пойдем, Васька. Да не хныкай ты, пожалуйста,— такой здоровый и толстый, а хныкает. Почему я никогда не хныкаю? Помнишь, когда меня сразу три пчелы за босую ногу ухватили, и то я не хныкал.

— Вот так не хныкал! — насупившись, ответил Васька.— Как заревел тогда, я даже лукошко с земляникой с перепугу выронил.

— Ничего не заревел. Ревут — это когда слезы катятся, а я просто заорал, потому что испугался, да и больно. Поорал три секунды и перестал. А вовсе нисколько не ревел и не хныкал. Бежим, Васька!

Добравшись до берега, что возле обгорелого дуба, они долго обшаривали дно.

Возились-возились, устали, забрызгались, но ни своей, ни Сережкиной нырётки не нашли. Тогда, огорченные, они уселись на бугорок под кустом распускающейся вербы и, посоветовавшись, решили с завтрашнего же дня начать за Сережкой хитрую слежку, чтобы найти то место, куда он ходит перекидывать обе нырётки.

Чьи-то шаги, правда еще далекие, заставили ребятишек насторожиться, и они проворно нырнули в гущу куста.

Однако это был не Сережка. По тропке из Алешина неторопливо шли двое крестьян. Один — незнакомый и, кажется, нездешний. Другой — дядя Серафим, небогатый алешинский мужик, на которого часто валились всякие несчастья: то у него лошадь околела, то у него рожь кони вытоптали, то у него крыша сарая обвалилась и задавила поросенка да гусенка. И так каждый год что-нибудь с дядей Серафимом случалось.

Был он крепко трудящимся, но неудачливым и запуганным неудачами мужиком.

Дядя Серафим нес на разъезд рыжие охотничьи сапоги, на которые он накладывал заплаты за два целковых, обещанных ему Васькиным отцом.

Оба мужика шли и ругали Данилу Егоровича. Ругал его тот, который был незнакомый, не алешинский, а дядя Серафим слушал и уныло поддакивал.

За что незнакомый ругал Данилу Егоровича, этого ребята толком не поняли. Выходило как-то так, что Данила Егорович что-то купил у мужика по дешевой цене и обещал мужику уступить в долг три мешка овса, а когда мужик приехал, то Данила Егорович заломил такую цену, какой и в городе-то на базаре нет, и говорил, что это еще божеская цена, потому что к севу овес поднимется еще вполовину.

Когда оба хмурых крестьянина прошли мимо, ребятишки выбрались из кустов и опять уселись на теплый зеленеющий бугор. Вечерело. От речки потянуло сыростью и запахом прибрежного ракитника. Куковала кукушка, и в красных лучах солнца кружилась кучками мелкая, как пыль, бесшумная весенняя мошкара.

Но вот среди тишины, сначала далекий и тихий, как жужжание пчелиного роя, послышался из-за розовых облаков странный гул.

Потом, оторвавшись от круглого толстого облака, сверкнула в небе светлая, как будто серебряная, точка. Она все увеличивалась. Вот уже у нее обозначились две пары распластанных крыльев... Вот уже вспыхнули на крыльях две пятиконечные звездочки...

И весь аэроплан, могучий и красивый, быстрее, чем самый быстрый паровоз, но легче, чем самый быстролетный степной орел, с веселым рокотом сильных моторов плавно пронесся над темным лесом, над пустынным разъездом и над Тихой речкой, у берега которой сидели ребятишки.

— Далеко полетел! — тихо сказал Петька, не отрывая глаз от удаляющегося аэроплана.

— В дальние страны! — сказал Васька и вспомнил недавний хороший сон.— Они, аэропланы, всегда летают только в дальние. В ближние что? В ближние и на лошади можно доехать. Аэропланы — в дальние. Мы, когда вырастем, Петька, то тоже — в дальние. Там есть и города, и огромнющие заводы, и большущие вокзалы. А у нас нет.

— У нас нет,— согласился Петька.— У нас только один разъезд да Алешино, да больше ничего...

Ребятишки замолчали и, удивленные и обеспокоенные, подняли головы. Гул опять усиливался. Сильная стальная птица возвращалась, опускаясь все ниже. Теперь уже были видны маленькие колеса и светлый блестящий диск сверкающего на солнце пропеллера. Точно играя, машина скользнула, накреняясь на левое крыло, завернула и сделала несколько широких кругов над лесом, над алешинскими лугами, над Тихой речкой, на берегу которой стояли изумленные и обрадованные мальчуганы.

— А ты... а ты говорил: только в дальние,— волнуясь и запинаясь, сказал Петька.— Разве же у нас дальние?

Машина опять взвилась кверху и вскоре исчезла, только изредка мелькая в просветах между толстыми розовыми тучами.

«И зачем он над нами кружился?» — думали ребята, торопливо пробираясь к разъезду, чтобы поскорей рассказать, что они видели.

Они были заняты догадками, зачем прилетал аэроплан и что он высматривал, и почти не обратили вни-

мания на одинокий выстрел, глухо раздавшийся где-то далеко позади них.

Вернувшись домой, Васька еще застал дядю Серафима, которого угощали чаем.

Дядя Серафим рассказывал про алешинские дела. В колхоз пошло полдеревни. Вошло и его хозяйство. Остальная половина выжидала, что будет. Собрали паевые взносы и три тысячи на акции Трактороцентра. Но сеять будет в эту весну каждый на своей полосе, потому что земля колхозу к одному месту еще не выделена.

Успели выделить только покос на левом берегу Тихой речки.

Однако и тут случилось неладное. У мельника Петунина прорвало плотину, и вода вся ушла, не разлившись по протокам левого берега.

От этого трава должна быть плохая, потому что луга заливные и хороший урожай на них бывает только после большой воды.

— У Петунина прорвало? — недоверчиво переспросил отец.— Что это у него раньше не прорывало?

— А кто его знает,— уклончиво ответил дядя Серафим.— Может, вода прорвала, а может, и еще как.

— Жулик этот Петунин,— сказал отец.— Что он, что Данила Егорович, что Семен Загребин — одна компания. Ну, как они, сердятся?

— Да как сказать,— ответил хмурый дядя Серафим.— Данила — тот ходит, как бы его не касается. Ваше, говорит, дело. Хотите — в колхоз, хотите — в совхоз. Я тут ни при чем. Петунин — мельник,— тот действительно озлобился. Скрывает, а видать, что озлобился. В колхозный луг и его участок попал. А какой у него участок? Ха-а-роший участок! Ну, а Загребин? Сам знаешь Загребина. У этого всё шуточки да прибауточки. Недавно по почте плакаты прислали и лозунги разные. Ну вот, сторож Бочаров пошел их по деревне расклеивать. Где к забору, где к стене прилепит. Проходит он мимо избы Загребина и сомневается: вешать или не вешать? Как бы хозяин не заругался. А Загребин вышел из ворот и смеется: «Что же не вешаешь? Эх ты, колхозная голова! Другим праздник, а мне будни, что ли?» Взял два самых больших плаката, да и повесил.

— Ну, а Егор Михайлов как? — спросил отец.

— Егор Михайлов? — ответил дядя Серафим, отодвигая допитый стакан.— Егор — крепкий человек, да что-то про него много неладного болтают.

— Что болтают?

— Вот, к примеру, говорят, что когда он два года в отлучке был, то будто его откуда-то прогнали за плохие дела. Будто бы чуть под суд не отдали. То ли у него с деньгами что-то неладное вышло, то ли еще как.

— Зря болтают,— уверенно возразил Васькин отец.

— Надо бы думать, что зря. А еще болтают,— тут дядя Серафим покосился на Васькину мать и на Ваську,— будто бы в городе у него эта самая есть... ну, невеста, что ли,— добавил он после некоторой заминки.

— Ну и что же, что невеста? Пускай женится. Он вдовый. Пашке да Машке мать будет.

— Городская,— с усмешкой пояснил дядя Серафим.— Барышня там или еще как. Ей богатого нужно, а у него какое жалованье?.. Ну, я пойду,— сказал дядя Серафим, поднимаясь.— Спасибо за угощение.

— Может быть, ночевать останешься? — предложили ему.— А то, гляди, темень какая. По проселку идти придется. Тропкой-то в лесу еще заплутаешься.

— Не заплутаю,— отозвался дядя Серафим.— По этой тропке в двадцатом с партизанами ух сколько было исхожено!

Он нахлобучил потрепанную соломенную шляпу с большими, обвислыми полями и, заглянув в окно, добавил:

— Эк, звезд сколько повысыпало, да и луна скоро взойдет — светло будет!

5

Ночи были еще прохладные, но Васька, забрав старое ватное одеяло да остатки овчинного тулупа, перебрался спать на сеновал.

Еще с вечера он условился с Петькой, что тот разбудит его пораньше и они пойдут ловить на червяка плотву.

Но, когда проснулся, было уже поздно — часов девять, а Петьки не было.

Очевидно, Петька и сам проспал.

Васька позавтракал жареной картошкой с луком, сунул в карман кусок хлеба, посыпанный сахарным песком, и побежал к Петьке, собираясь выругать его соней и лодырем.

Однако дома Петьки не было. Васька зашел в дровяной сарай — удилища были здесь. Но Ваську очень удивило то, что они не стояли в углу, на месте, а, точно наспех брошенные кое-как, валялись посреди сарая. Тогда Васька вышел на улицу, чтобы расспросить у маленьких ребятишек, не видали ли они Петьку. На улице он встретил только одного четырехлетнего Павлика Припрыгина, который упорно пытался сесть верхом на большую рыжую собаку. Но едва только он с пыхтеньем и сопеньем поднимал ноги, чтобы оседлать ее, Кудлаха перевертывалась и, лежа кверху брюхом, лениво помахивая хвостом, отталкивала Павлика своими широкими, неуклюжими лапами.

Павлик Припрыгин сказал, что Петьки он не видал, и попросил у Васьки помочь ему взобраться на Кудлаху.

Но Ваське было не до того. Раздумывая, куда бы это мог пропасть Петька, он пошел дальше и вскоре натолкнулся на Ивана Михайловича, читавшего, сидя на завалинке, газету.

Иван Михайлович Петьку не видал тоже. Васька огорчился и сел рядом.

— Про что это ты, Иван Михайлович, читаешь? — спросил он, заглядывая через плечо.— Ты читаешь, а сам улыбаешься. История какая-нибудь или что?

— Про наши места читаю. Тут, брат Васька, написано, что собрались строить возле нашего разъезда завод. Огромный заводище. Алюминий — металл такой — из глины добывать будут. Богатые, пишут, места у нас насчет этого алюминия. А мы живем — глина, думаем. Вот тебе и глина.

И, как только Васька услыхал про это, он тотчас же соскочил с завалинки, чтобы бежать к Петьке и первым сообщить ему эту удивительную новость. Но, вспомнив, что Петька куда-то пропал, он уселся опять, расспрашивая Ивана Михайловича о том, как будут строить, на каком месте и высокие ли у завода будут трубы.

Где будут строить, этого Иван Михайлович еще и сам не знал, но насчет труб он разъяснил, что их вовсе не будет, потому что завод будет работать на электричестве. Для этого хотят построить плотину поперек Тихой речки. Поставят такие турбины, которые будут крутиться от напора воды и вертеть динамо-машины, а от этих динам пойдет по проволокам электрический ток.

Услыхав о том, что и Тихую речку собираются перегораживать, изумленный Васька снова вскочил, но, вспомнив опять, что Петьки нет, обозлился на него всерьез:

— И что за дурак! Тут такие дела, а он шляется.

В конце улицы он заметил маленькую шуструю девчонку, Вальку Шарапову, которая вот уже несколько минут прыгала на одной ноге вокруг колодезного сруба. Он хотел пойти к ней и спросить, не видала ли она Петьку, но его задержал Иван Михайлович:

— Вы когда в Алешино бегали, ребята? В субботу или в пятницу?

— В субботу,— вспомнил Васька.— В субботу, потому что у нас в тот вечер баню топили.

— В субботу. Значит, уже неделя прошла. Что же это Егор Михайлов ко мне не заходит?

— Егор-то? Да он, Иван Михайлович, кажется, еще вчера в город уехал. У нас вечером алешинский дядя Серафим чай пил и говорил, что Егор уже уехал.

— Что же это он не зашел? — с досадой сказал Иван Михайлович.— Обещался зайти и не зашел. А я-то хотел попросить, чтобы он в городе трубку мне купил.

Иван Михайлович сложил газету и пошел в дом, а Васька направился к Вальке спрашивать про Петьку.

Но он совсем позабыл о том, что еще только вчера надавал ей за что-то шлепков, и поэтому он был очень удивлен, когда, завидев его, бойкая Валька показала ему язык и со всех ног бросилась улепетывать к дому.

Между тем Петька был вовсе неподалеку.

Пока Васька бродил, раздумывая о том, куда исчез его товарищ, Петька сидел в кустах, позади огородов, и с нетерпением ожидал, когда Васька уйдет к себе во двор.

Он не хотел сейчас встречаться с Васькой, потому что за это утро с ним произошел странный и, пожалуй, даже неприятный случай.

Проснувшись рано, как и было условлено, он взял удилища и направился будить Ваську. Но едва только он высунулся из калитки, как увидал Сережку.

Не было никакого сомнения в том, что Сережка направлялся к реке осматривать нырётки. Не подозревая, что Петька за ним подглядывает, он шел мимо огородов к тропке, на ходу складывая бечевку от железной «кошки».

Петька вернулся во двор, бросил на пол сарая удилища и побежал вслед за Сережкой, который скрылся уже в кустах.

Сережка шел, весело насвистывая на самодельной деревянной дудочке.

И это было очень на руку Петьке, потому что он мог следовать на некотором отдалении, не подвергаясь опасности быть замеченным и поколоченным.

Утро было солнечное, гомонливое. Всюду лопались почки. Из земли густо перла свежая трава. Пахло росою, березовым соком, и на желтых гроздьях цветущих ив дружно жужжали вылетевшие за добычей пчелы.

Оттого, что утро было такое хорошее, и оттого, что он так удачно выследил Сережку, Петьке было весело, и он легко и осторожно пробирался по кривой узенькой тропке.

Так прошло с полчаса, и они приближались к тому месту, где Тихая речка, делая крутой поворот, уходила в овраги.

«Далеко забирается... хитрый»,— подумал Петька, уже заранее торжествуя при мысли о том, как, захватив «кошку», побегут они с Васькой к реке, выловят и свою и Сережкину нырётки и перекинут их на такое место, где Сережке их уже и вовек не найти.

Посвистывание деревянной дудки внезапно смолкло.

Петька прибавил шагу. Прошло несколько минут — опять тихо.

Тогда, обеспокоенный, стараясь не топать, он побежал и, очутившись у поворота, высунул из кустов голову: Сережки не было.

Тут Петька вспомнил, что немного раньше в сторону уходила маленькая тропка, которая вела к тому ме-

сту, где Филькин ручей впадал в Тихую речку. Он вернулся к устью ручья, но и там Сережки не было.

Ругая себя за ротозейство и недоумевая, куда это мог скрыться Сережка, он вспомнил и о том, что немного выше по течению Филькина ручья есть маленький пруд. И хотя он никогда не слыхал, чтобы в том пруду ловили рыбу, но все же решил сбегать туда, потому что кто его, Сережку, знает! Он такой хитрый, что разыскал что-нибудь и там.

Вопреки его предположениям, пруд оказался не так близко.

Он был очень мал, весь зацвел тиной, и, кроме лягушек, в нем ничего хорошего водиться не могло.

Сережки и тут не было.

Обескураженный, Петька отошел к Филькину ручью, напился воды, такой холодной, что больше одного глотка без передышки нельзя было сделать, и хотел идти назад.

Васька, конечно, уже проснулся. Если не говорить Ваське, отчего его не разбудил, то Васька рассердится. А если сказать, то Васька будет насмехаться: «Эх, ты, не уследил! Вот я бы... Вот от меня бы...» — и так далее.

И вдруг Петька увидел нечто такое, что заставило его сразу позабыть и о Сережке, и о нырётках, и о Ваське.

Вправо, не дальше как в сотне метров, из-за кустов выглянула острая вышка брезентовой палатки. И над нею поднималась узенькая прозрачная полоска дыма от костра.

## 6

Сначала Петька просто испугался. Он быстро пригнулся и опустился на одно колено, настороженно оглядываясь по сторонам.

Было очень тихо. Так тихо, что ясно слышалось веселое бульканье холодного Филькина ручья и жужжание пчел, облепивших дупло старой, покрытой мхами березы.

И оттого, что было так тихо, и оттого, что лес был приветлив и озарен пятнами теплого солнечного света, Петька успокоился и осторожно, но уже не из боязни,

а просто по хитрой мальчишеской привычке, прячась за кусты, начал подбираться к палатке.

«Охотники? — гадал он.— Нет, не охотники... Зачем они с палаткой приедут? Рыболовы? Нет, не рыболовы — от берега далеко. Но если не охотники и не рыболовы, то кто же?»

«А вдруг разбойники?» — подумал он и вспомнил, что в одной старой книге он видел картинку: тоже в лесу палатка; возле той палатки сидят и пируют свирепые люди, а рядом с ними сидит очень худая и очень печальная красавица и поет им песню, перебирая длинные струны какого-то замысловатого инструмента.

От этой мысли Петьке стало не по себе. Губы его задрожали, он заморгал и хотел было попятиться назад и припуститься на всякий случай к дому. Но тут в просвете между кустами он увидал натянутую веревку, и на той веревке висели, по-видимому, еще мокрые после стирки, самые обыкновенные подштанники и две пары синих заплатанных носков.

И эти сырые подштанники и заплатанные, болтающиеся по ветру носки как-то сразу успокоили его, и мысль о разбойниках показалась ему смешной и глупой. Он пододвинулся ближе. Теперь ему было видно, что ни около палатки, ни в самой палатке никого нет.

Он разглядел два набитых сухими листьями тюфяка и большое серое одеяло. Посреди палатки на разостланном брезенте валялись какие-то синие и белые бумаги, несколько кусков глины и камней, таких, какие часто попадаются на берегах Тихой речки; тут же лежали какие-то тускло поблескивающие и незнакомые Петьке предметы.

Костер слабо дымился. Возле костра стоял большой, перепачканный сажей жестяной чайник. На примятой траве валялась большая белая кость, обглоданная, очевидно, собакой.

Осмелевший Петька подобрался к самой палатке. Прежде всего его заинтересовали незнакомые металлические предметы. Один — треногий, как подставка у заезжавшего в прошлом году фотографа. Другой — круглый, большой, с какими-то цифрами и протянутой поперек круга ниткой. Третий — тоже круглый, но поменьше, похожий на ручные часы, с острой стрелкой.

Он поднял этот предмет. Стрелка колыхнулась, заколебалась и опять стала на место.

«Компас»,— догадался Петька, припоминая, что про такую штуковину он читал в книжке.

Чтобы проверить это, он обернулся кругом.

Тонкая острая стрелка тоже повернулась и, несколько раз качнувшись, черным концом показала в ту сторону, где на опушке высилась старая раскидистая сосна. Петьке это понравилось. Он обошел вокруг палатки, завернул за куст, завернул за другой и перекрутился на месте десять раз, рассчитывая обмануть и запутать стрелку. Но едва только он остановился, как лениво качнувшаяся стрелка с прежним упорством и настойчивостью зачерненным острием показала Петьке, что ее, сколько ни вертись, все равно не обманешь. «Как живая»,— подумал восхищенный Петька, сожалея, что у него нет такой замечательной штуки. Он вздохнул и раздумывал, положить компас на место или нет (возможно, что он и положил бы).

Но в это самое время от противоположной опушки отделилась огромная лохматая собака и с громким лаем устремилась к нему.

Испуганный Петька взвизгнул и бросился бежать напролом через кусты.

Собака с яростным лаем неслась за ним и, конечно, догнала бы его, если бы не Филькин ручей, через который по колено в воде перебрался Петька.

Добежав до ручья, который был в этом месте широк, собака заметалась по берегу, отыскивая, где можно было бы перепрыгнуть.

А Петька, не дожидаясь, пока это случится, понесся вперед, прыгая через пни, через коряги и кочки, как преследуемый гончими заяц.

Он остановился передохнуть только тогда, когда очутился уже на берегу Тихой речки.

Облизывая пересохшие губы, он подошел к реке, напился и, учащенно дыша, тихонько зашагал к дому, чувствуя себя не очень-то хорошо.

Конечно, он не взял бы компас, если бы не собака.

Но все-таки собака или не собака, а выходило так, что компас-то он украл.

А он знал, что за такие дела его взгреет отец, не похвалит Иван Михайлович да не одобрит, пожалуй, и Васька.

Но так как дело было уже сделано, а возвращаться с компасом назад было и страшно и стыдновато, он утешил себя тем, что, во-первых, он не виноват, во-вторых, кроме собаки, его никто не видал, а в-третьих, компас можно спрятать подальше, а когда-нибудь позже, к осени или к зиме, когда никакой уже палатки не будет, сказать, что нашел, и оставить себе.

Вот какими мыслями занят был Петька, и вот почему отсиживался он в кустах за огородами и не выходил к Ваське, который с досадой разыскивал его с самого раннего утра.

7

Но, спрятав компас на чердаке дровяного сарая, Петька не побежал искать Ваську, а направился в сад и там задумался над тем, что бы это такое получше соврать.

Вообще-то соврать при случае он был мастер; но сегодня, как назло, ничего правдоподобного придумать не мог. Конечно, он мог бы рассказать только о том, как он неудачно выслеживал Сережку, и не упоминать ни о палатке, ни о компасе.

Но он чувствовал, что у него не хватит терпения смолчать о палатке. Если смолчать, то Васька и сам может как-нибудь разузнать и тогда будет хвалиться и зазнаваться: «Эх, ты, ничего не знаешь! Всегда я первый все узнаю...»

И Петька подумал, что если бы не компас и не эта проклятая собака, то все было бы интересней и лучше. Тогда ему пришла очень простая и очень хорошая мысль: а что, если пойти к Ваське и рассказать ему про палатку и про компас? Ведь компас-то он и на самом деле не крал. Ведь во всем виновата только собака. Возьмут они с Васькой компас, сбегают к палатке и положат его на место. А собака? Ну и что же собака? Во-первых, можно взять с собой хлеба или мясную кость и кинуть ей, чтобы не гавкала. Во-вторых, можно взять с собой палки. В-третьих, вдвоем вовсе уж не так страшно.

Он так и решил сделать и хотел сейчас же бежать к Ваське, но тут его позвали обедать, и он пошел с большой охотой, потому что за время своих похождений сильно проголодался.

После обеда повидать Ваську тоже не удалось. Мать ушла полоскать белье и заставила его караулить дома маленькую сестренку Еленку.

Обыкновенно, когда мать уходила и оставляла его с Еленкой, он подсовывал ей разные тряпки и чурочки и, пока она возилась с ними, преспокойно убегал на улицу и, только завидев мать, возвращался к Еленке, как будто от нее и не отходил.

Но сегодня Еленка была немного нездорова и капризничала. И когда, всучив ей гусиное перо да круглую, как мячик, картофелину, он направился к двери, Еленка подняла такой рев, что проходившая мимо соседка заглянула в окно и погрозила Петьке пальцем, предполагая, что он устроил сестренке какую-либо каверзу.

Петька вздохнул, уселся рядом с Еленкой на толстое одеяло, разостланное на полу, и унылым голосом начал петь ей веселые песни.

Когда вернулась мать, уже вечерело, и наконец-то освободившийся Петька выскочил из дверей и стал свистать, вызывая Ваську.

— Эх, ты! — укоризненно закричал Васька еще издалека.— Эх, Петька! И где ты, Петька, весь день прошлялся? И почему, Петька, я тебя весь день искал и не нашел?

И, не дожидаясь, пока Петька что-либо ответит, Васька быстро выложил все собранные им за день новости. А новостей у Васьки было много.

Во-первых, возле разъезда будут строить завод. Во-вторых, в лесу стоит палатка, и в той палатке живут очень хорошие люди, с которыми он, Васька, уже познакомился. В-третьих, Сережкин отец выдрал сегодня Сережку, и Сережка выл на всю улицу.

Но ни завод, ни плотина, ни то, что Сережке попало от отца,— ничто так не удивило и не смутило Петьку, как то, что Васька каким-то образом узнал о существовании палатки и первый сообщил о ней ему, Петьке.

— Откуда ты про палатку знаешь? — спросил обиженный Петька.— Я, брат, сам первый все знаю, со мной сегодня история случилась...

— История, история,— перебил его Васька.— Какая у тебя история? У тебя неинтересная история, а у меня интересная. Когда ты пропал, я тебя долго искал. И тут искал, и там искал, и всюду искал. Надоело мне искать. Вот пообедал я и пошел в кусты хлыст срезать. Вдруг навстречу мне идет человек. Высокий, сбоку кожаная сумка, такая, как у красноармейских командиров. Сапоги — как у охотника, но только не военный и не охотник. Увидел он меня и говорит: «Пойди-ка сюда, мальчик». Ты думаешь, что я испугался? Нисколько. Вот подошел я, а он посмотрел на меня и спрашивает: «Ты, мальчик, сегодня рыбу ловил?» — «Нет, говорю, не ловил. За мной этот дурак Петька не зашел. Обещал зайти, а сам куда-то пропал».— «Да,— говорит он,— я и сам вижу, что это не ты. А нет ли у вас другого такого мальчика, немного повыше тебя и волосы рыжеватые?» — «Есть, говорю, у нас такой, только это не я, а Сережка, который нашу нырётку украл».— «Вот, вот,— говорит он,— он недалеко от нашей палатки в пруд сетку закидывал. А где он живет?» — «Идемте,— отвечаю я.— Я вам, дядя, покажу, где он живет».

Идем мы, а я думаю: «И зачем это ему Сережка понадобился? Лучше бы мы с Петькой понадобились».

Пока мы шли, он мне все и рассказал. Их двое в палатке. А палатка повыше Филькина ручья. Они, двое-то эти, такие люди — геологи. Землю осматривают, камни, глину ищут и все записывают, где камни, где песок, где глина. Вот я ему и говорю: «А что, если мы с Петькой к вам придем? Мы тоже будем искать. Мы здесь все знаем. Мы в прошлом году такой красивый камень нашли, что прямо-таки удивительно до чего красивый. А к Сережке,— говорю ему,— вы, дядя, лучше бы и не ходили. Он вредный, этот Сережка. Только бы ему драться да чужие нырётки таскать». Ну, пришли мы. Он в дом зашел, а я на улице остался. Смотрю, выбегает Сережкина мать и кричит: «Сережка! Сережка! Не видал ли ты, Васька, Сережку?» А я отвечаю: «Нет, не видал. Видел, только не сейчас, а сейчас не видел». Потом тот человек — техник — вышел, я его проводил до леса, и он позволил, чтобы мы с тобой

к ним приходили. Вот вернулся Сережка. Его отец и спрашивает: «Ты какую-то вещь в палатке взял?» А Сережка отказывается. Только отец, конечно, не поверил, да и выдрал его. А Сережка как завыл! Так ему и надо. Верно, Петька?

Однако Петьку нисколько не обрадовал такой рассказ. Лицо Петьки было хмурое и печальное. После того как он узнал, что за украденный им компас уже выдрали Сережку, он почувствовал себя очень неловко. Теперь было уже поздно рассказывать Ваське о том, как было дело. И, захваченный врасплох, он стоял печальный, растерянный и не знал, что́ он будет сейчас говорить и как теперь будет объяснять Ваське свое отсутствие. Но его выручил сам Васька. Гордый своим открытием, он хотел быть великодушным.

— Ты что нахмурился? Тебе обидно, что тебя не было? А ты бы не убегал, Петька. Раз условились, значит, условились. Ну, да ничего, мы завтра вместе пойдем, я же им сказал: и я приду, и мой товарищ Петька придет. Ты, наверное, к тетке на кордон бегал? Я смотрю: Петьки нет, удилища в сарае. Ну, думаю, наверное, он к тетке побежал. Ты там был?

Но Петька не ответил.

Он помолчал, вздохнул и спросил, глядя куда-то мимо Васьки:

— И здорово отец Сережку отлупил?

— Должно быть, уж здорово, раз Сережка так завыл, что на улице слышно было.

— Разве можно бить? — угрюмо сказал Петька.— Теперь не старое время, чтобы бить. А ты «отлупил да отлупил». Обрадовался! Если бы тебя отец отлупил, ты бы обрадовался?

— Так ведь не меня, а Сережку,— ответил Васька, немного смущенный Петькиными словами.— И потом, ведь не задаром, а за дело: зачем он в чужую палатку залез? Люди работают, а он у них инструмент ворует. И что ты, Петька, сегодня чудной какой-то! То весь день шатался, то весь вечер сердишься.

— Я не сержусь,— негромко ответил Петька.— Просто у меня сначала зуб заболел, а теперь уже перестает.

— И скоро перестанет? — участливо спросил Васька.

— Скоро. Я, Васька, лучше домой побегу. Полежу, полежу дома — он и перестанет.

## 8

Вскоре ребята подружились с обитателями брезентовой палатки.

Их было двое. С ними был лохматый сильный пес по кличке «Верный». Этот Верный охотно познакомился с Васькой, но на Петьку он сердито зарычал. И Петька, который знал, за что на него сердится собака, быстро спрятался за высокую спину геолога, радуясь тому, что Верный может только рычать, но не может рассказать то, что знает.

Теперь целыми днями ребята пропадали в лесу.

Вместе с геологами они обшаривали берега Тихой речки. Ходили на болото и даже зашли однажды к дальним Синим озерам, куда еще никогда не рисковали забираться вдвоем.

Когда дома их спрашивали, где они пропадают и что они ищут, они с гордостью отвечали:

— Мы глину ищем.

Теперь они уже знали, что глина глине рознь. Есть глины тощие, есть жирные, такие, которые в сыром виде можно резать ножом, как ломти густого масла. По нижнему течению Тихой речки много суглинка, то есть глины рыхлой, смешанной с песком. В верховьях у озер попадается глина с известью, или мергель, а поближе к разъезду залегают мощные пласты красно-бурой глинистой охры.

Все это было очень интересно, особенно потому, что раньше вся глина казалась ребятам одинаковой. В сухую погоду это были просто ссохшиеся комья, а в мокрую — обыкновенная густая и липкая грязь. Теперь же они знали, что глина — это не просто грязь, а сырье, из которого будет добываться алюминий, и охотно помогали геологам разыскивать нужные породы глин, указывали запутанные тропки и притоки Тихой речки.

Вскоре на разъезде отцепили три товарных вагона, и какие-то незнакомые рабочие начали сбрасывать на насыпь ящики, бревна и доски.

В эту ночь взволнованные ребятишки долго не могли уснуть, довольные тем, что разъезд начинает жить новой жизнью, не похожей на прежнюю.

Однако новая жизнь приходить не очень-то торопилась. Выстроили рабочие из досок сарай, свалили туда инструменты, оставили сторожа и, к великому огорчению ребят, все до одного уехали обратно.

Как-то в послеобеденное время Петька сидел возле палатки. Старший геолог Василий Иванович чинил продранный локоть рубахи, а другой — тот, который был похож на красноармейского командира,— измерял что-то по плану циркулем.

Васьки не было. Ваську оставили дома сажать огурцы, и он обещался прийти попозже.

— Вот беда,— сказал высокий, отодвигая план.— Без компаса — как без рук. Ни съемку сделать, ни по карте ориентироваться. Жди теперь, пока другой из города пришлют.

Он закурил папироску и спросил у Петьки:

— И всегда этот Сережка у вас такой жулик?

— Всегда,— ответил Петька.

Он покраснел и, чтобы скрыть это, наклонился над погасшим костром, раздувая засыпанные золой угли.

— Петька!..— крикнул на него Василий Иванович.— Всю золу на меня сдул. Зачем ты раздуваешь!

— Я думал... может быть, чайник,— неуверенно ответил Петька.

— Такая жарища, а он чайник,— удивился высокий и опять начал про то же: — И зачем ему понадобился этот компас? А главное, отказывается, говорит, не брал. Ты бы сказал ему, Петька, по-товарищески: «Отдай, Сережка. Если сам снести боишься, дай я снесу». Мы и сердиться не будем и жаловаться не будем. Ты скажи ему, Петька.

— Скажу,— ответил Петька, отворачивая лицо от высокого. Но, отвернувшись, он встретился с глазами Верного.

Верный лежал, вытянув лапы, высунув язык и, учащенно дыша, уставился на Петьку, как бы говоря: «И врешь же ты, братец! Ничего ты Сережке не скажешь».

— Да верно ли, что это Сережка компас украл? — спросил Василий Иванович, окончив шить и втыкая иголку в подкладку фуражки.— Может быть, мы его

сами куда-нибудь засунули и зря только на мальчишку думаем?

— А вы бы поискали,— быстро предложил Петька.— И вы поищите, и мы с Васькой поищем. И в траве поищем и всюду.

— Чего искать? — удивился высокий.— Я же у вас попросил компас, а вы, Василий Иванович, сами сказали, что захватить его из палатки позабыли. Чего же теперь искать?

— А мне теперь начинает казаться, что я его захватил. Хорошо не помню, а как будто бы захватил,— хитро улыбаясь, сказал Василий Иванович.— Помните, когда мы сидели на сваленном дереве на берегу Синего озера? Огромное такое дерево. Уж не выронил ли я компас там?

— Чудно что-то, Василий Иванович,— сказал высокий.— То вы говорили, что из палатки не брали, а теперь вот что.

— Ничего не чудно,— горячо вступился Петька.— Эдак тоже бывает. Очень даже часто бывает: думаешь — не брал, а оказывается — брал. И у нас с Васькой было. Пошли один раз мы рыбу ловить. Вот я по дороге спрашиваю: «Ты, Васька, маленькие крючки не позабыл?» — «Ой,— говорит он,— позабыл». Побежали мы назад. Ищем, ищем, никак не найдем. Потом глянул я ему на рукав, а они у него к рукаву приколоты. А вы, дядя, говорите — чудно. Ничего не чудно́.

И Петька рассказал другой случай, как косой Геннадий весь день искал топор, а топор стоял за веником. Он говорил убедительно, и высокий переглянулся с Василием Ивановичем.

— Гм... А пожалуй, можно будет сходить и поискать. Да вы бы сами, ребята, сбегали как-нибудь и поискали.

— Мы поищем,— охотно согласился Петька.— Если он там, то мы его найдем. Никуда он от нас не денется. Тогда мы — раз, раз, туда, сюда и обязательно найдем.

После этого разговора, не дожидаясь Васьки, Петька поднялся и, заявив, что он вспомнил про нужное дело, попрощался и отчего-то очень веселый побежал к тропке, ловко перескакивая через зеленые, покрытые мхом кочки, через ручейки и муравьиные кучи.

Выбежав на тропку, он увидал группу возвращавшихся с разъезда алешинских крестьян.

Они были чем-то взволнованы, очень рассержены и громко ругались, размахивая руками и перебивая друг друга. Позади шел дядя Серафим. Лицо его было унылое, еще унылее, чем тогда, когда обвалившаяся крыша сарая задавила у него поросенка и гусака.

И по лицу дяди Серафима Петька понял, что над ним опять стряслась какая-то беда.

## 9

Но беда стряслась не только над дядей Серафимом. Беда стряслась над всем Алешином и, главное, над алешинским колхозом.

Захватив с собой три тысячи крестьянских денег, тех самых, которые были собраны на акции Трактороцентра, скрылся неизвестно куда главный организатор колхоза — председатель сельсовета Егор Михайлов. В городе он должен был пробыть двое, ну, от силы, трое суток. Через неделю ему послали телеграмму, потом забеспокоились — послали другую, потом послали вслед нарочного. И, вернувшись сегодня, нарочный привез известие, что в райколхозсоюз Егор не являлся и в банк денег не сдавал.

Заволновалось, зашумело Алешино. Что ни день, то собрание. Приехал из города следователь. И хотя все Алешино еще задолго до этого случая говорило о том, что у Егора в городе есть невеста, и хотя от одного к другому передавалось много подробностей — и кто она такая, и какая она собой, и какого она характера, но теперь оказалось как-то так, что никто ничего не знал. И никак нельзя было доискаться: кто же видел эту Егорову невесту и откуда вообще узнали о том, что она действительно существует? Так как дела теперь были запутаны, то ни один из членов сельсовета не хотел замещать председателя.

Из района прислали нового человека, но алешинские мужики отнеслись к нему холодно. Пошли разговоры, что вот, дескать, Егор тоже приехал из района, а три тысячи крестьянских денег ухнули.

И среди этих событий оставшийся без вожака, а главное, совсем еще не окрепший, только что организовавшийся колхоз начал разваливаться.

Сначала подал заявление о выходе один, потом другой, потом сразу точно прорвало — начали выходить десятками, без всяких заявлений, тем более что наступил сев и каждый бросился к своей полосе. Только пятнадцать дворов, несмотря на свалившуюся беду, держались и не хотели выходить.

Среди них было и хозяйство дяди Серафима.

Этот вообще-то запуганный несчастьями и придавленный бедами мужик с совершенно непонятным для соседей каким-то ожесточенным упрямством ходил по дворам и, еще более хмурый, чем всегда, говорил всюду одно и то же: что надо держаться, что если сейчас из колхоза выйти, то тогда уже и вовсе некуда идти, останется только бросить землю и уйти куда глаза глядят, потому что прежняя жизнь — это не жизнь.

Его поддерживали братья Шмаковы, многосемейные мужики, давнишние товарищи по партизанскому отряду, в один день с дядей Серафимом поротые когда-то батальоном полковника Марцинновского. Его поддерживал член сельсовета Игошкин, молодой, недавно отделившийся от отца паренек. И наконец неожиданно взял сторону колхоза Павел Матвеевич, который теперь, когда начались выходы, точно назло всем, подал заявление о приеме его в колхоз.

Так сколотилось пятнадцать хозяйств. И они выехали в поле на сев не очень-то веселые, но упорные в своем твердом намерении не сходить с начатого пути.

За всеми этими событиями Петька да Васька позабыли на несколько дней про палатку. Они бегали в Алешино. Они тоже негодовали на Егора, удивлялись упорству тихого дяди Серафима и очень жалели Ивана Михайловича.

— Бывает и так, ребятишки. Меняются люди,— сказал Иван Михайлович, затягиваясь сильно чадившей, свернутой из газетной бумаги цигаркой.— Бывает... меняются. Только кто бы сказал про Егора, что он переменится? Твердый был человек.

Помню я как-то... Вечер... Въехали мы на какой-то полустанок. Стрелки сбиты, крестовины повынуты, сзади путь разобран и мостик сожжен. На полустанке ни души, кругом лес. Впереди где-то фронт, и с боков фронты, а кругом банды. И казалось, что конца-краю этим бандам и фронтам нет и не будет.

Иван Михайлович замолчал и рассеянно посмотрел в окно, туда, где по красноватому закату медленно и упорно продвигались тяжелые грозовые облака.

Цигарка чадила, и клубы дыма, медленно разворачиваясь, тянулись кверху, наплывая по стене, на которой висела полинялая фотография старого боевого бронепоезда.

— Дядя Иван! — окликнул его Петька.

— Что тебе?

— Ну вот: «А кругом банды, и конца-краю этим фронтам и бандам нет и не будет»,— слово в слово повторил Петька.

— Да... А разъезд в лесу. Тихо. Весна. Пичужки эти самые чирикают. Вылезли мы с Егоркой грязные, промасленные, потные. Сели на траву. Что делать?

Вот Егор и говорит: «Дядя Иван, у нас впереди крестовины повынуты и стрелки поломаны, позади мост сожжен. И мотаемся мы третьи сутки взад и вперед по этим бандитским лесам. И спереди фронт, и с боков фронты. А все-таки победим-то мы, а не кто-нибудь».— «Конечно,— говорю ему,— мы. Об этом никто не спорит. Но команда наша с броневиком навряд ли из этой ловушки выберется». А он отвечает: «Ну, не выберемся. Ну и что же? Наш 16-й пропадет — 28-й на линии останется, 39-й. Доработают».

Сломал он веточку красного шиповника, понюхал ее, воткнул в петлицу угольной блузы. Улыбнулся — как будто бы нет и не было счастливей его человека на свете, взял гаечный ключ, масленку и полез под паровоз.

Иван Михайлович опять замолчал, и Петьке с Васькой так и не пришлось услышать, как выбрался броневик из ловушки, потому что Иван Михайлович быстро вышел в соседнюю комнату.

— А как же ребятишки Егора? — немного погодя спросил старик из-за перегородки.— У него их двое.

— Двое, Иван Михайлович, Пашка да Машка. Они с бабкой остались, а бабка у них старая. И на печке сидит — ругается и с печки слезает — ругается. Так целый день — либо молится, либо ругается.

— Надо бы сходить посмотреть. Надо бы что-нибудь придумать. Жалко все-таки ребятишек,— сказал Иван Михайлович. И слышно было, как за перегородкой запыхтела его дымная махорочная цигарка.

С утра Васька с Иваном Михайловичем пошли в Алешино. Звали с собой Петьку, но он отказался — сказал, что некогда.

Васька удивился: почему это Петьке вдруг стало некогда? Но Петька, не дожидаясь расспросов, быстро спрятал в окно свою белобрысую вихрастую голову.

В Алешине они зашли к новому председателю, но его не застали. Он уехал за реку, на луг.

Из-за этого луга теперь шла яростная борьба. Раньше луг был поделен между несколькими дворами, причем больший участок принадлежал мельнику Петунину. Потом, когда организовался колхоз, Егор Михайлов добился, чтобы луг этот целиком отвели колхозу. Теперь, когда колхоз развалился, прежние хозяева требовали прежние участки и ссылались на то, что после кражи казенных денег обещанной из района сенокосилки колхозу все равно не дадут и с сенокосом он не управится.

Но оставшиеся в колхозе пятнадцать дворов ни за что не хотели разбивать луг и, главное, уступать Петунину прежний участок. Председатель держал сторону колхоза, но многие озлобленные последними событиями крестьяне вступились за Петунина.

И Петунин ходил спокойный, доказывал, что правда на его стороне и что он хоть в Москву поедет, а своего добьется.

Дядя Серафим и молодой Игошкин сидели в правлении и сочиняли какую-то бумагу.

— Пишем! — сердито сказал дядя Серафим, здороваясь с Иваном Михайловичем.— Они свою бумагу в район послали, а мы свою пошлем. Прочитай-ка, Игошкин, ладно ли мы написали. Он человек сторонний, и ему виднее.

Пока Игошкин читал да пока они обсуждали, Васька выбежал на улицу и встретился там с Федькой Галкиным, с тем самым рябым мальчуганом, который недавно подрался с Рыжим из-за того, что тот дразнился: «Федька-колхоз — поросячий нос».

Федька рассказал Ваське много интересного. Он рассказал о том, что у Семена Загребина недавно сгорела баня и Семен ходил и божился, что это его подожгли. И что от этой бани огонь чуть-чуть не перекинулся на колхозный сарай, где стоял триер и лежало очищенное зерно.

Еще он рассказал, что по ночам теперь колхоз наряжает своих сторожей по очереди. И что когда, в свою очередь, Федькин отец запоздал вернуться с разъезда, то он, Федька, сам пошел в обход, а потом его сменила мать, которая взяла колотушку и пошла сторожить.

— Все Егор,— закончил Федька.— Он виноват, а нас всех ругают. Все вы, говорят, мастера на чужое.

— А ведь он раньше героем был,— сказал Васька.

— Он и не раньше, а всегда как герой был. У нас мужики и до сих пор никак в толк не возьмут — с чего это он. Он только с виду такой невзрачный, а как возьмется за что-нибудь, глаза прищурятся, заблестят. Скажет — как отрубит. Как он с лугом-то быстро дело обернул! Будем, говорит, вместе косить, а озимые, говорит, будем вместе и сеять.

— Отчего же он такое плохое дело сделал? — спросил Васька.— Или вот люди говорят, что от любви?

— От любви свадьбу справляют, а не деньги воруют,— возмутился Федька.— Если бы все от любви деньги воровали, тогда что бы было? Нет уж, это не от любви, а не знаю, от чего... И я не знаю, и никто не знает. А есть у нас такой Сидор хромой. Старый уже. Так тот и вовсе, если начнешь про Егора говорить, он и слушать не хочет: «Нету, говорит, ничего этого». И не слушает, отвернется и заковыляет скорей в сторону. И все что-то бормочет, бормочет, а у самого слезы катятся, катятся. Такой блажной старик. Он раньше у Данилы Егоровича на пасеке работал. Да тот рассчитал за что-то, а Егор вступился.

— Федька,— спросил Васька,— а что Ермолая не видать? Или он в этот год у Данилы Егоровича сад караулить не будет?

— Будет. Вчера я его видал, он из лесу шел. Пьяный. Он всегда такой. Покуда яблоки не поспеют, он пьет. А как только время подходит, так Данила Егорович денег на водку ему больше не дает, и тогда он караулит трезвый да хитрый. Помнишь, Васька, как он тебя один раз крапивой?..

— Помню, помню,— скороговоркой ответил Васька, стараясь замять эти неприятные воспоминания.— Отчего это, Федька, Ермолай в рабочие не идет, землю не пашет? Ведь он вон какой здоровый.

— Не знаю,— ответил Федька.— Слышал я, что

еще давно когда-то он, Ермолай, в дезертиры от красных уходил. Потом в тюрьме сколько-то сидел. А с тех пор он всегда такой. То уйдет куда-нибудь из Алешина, то на лето опять вернется. Я, Васька, не люблю Ермолая. Он только к собакам добрый, да и то когда пьяный.

Ребятишки разговаривали долго. Васька тоже рассказал Федьке о том, какие дела творятся около разъезда. Рассказал про палатку, про завод, про Сережку, про компас.

— И вы к нам прибегайте,— предложил Васька.— Мы к вам бегаем, и вы к нам бегайте. И ты, и Колька Зипунов, и еще кто-нибудь. Ты читать-то умеешь, Федька?

— Немножко.

— И мы с Петькой тоже немножко.

— Школы нет. Когда Егор был, то он очень старался, чтобы школа была. А теперь уж не знаю как. Озлобились мужики — не до школы.

— Завод строить начнут, и школу построят,— утешал его Васька.— Может быть, доски какие-нибудь останутся, бревна, гвозди... Много ли на школу нужно? Мы попросим рабочих, они и построят. Да мы сами помогать будем. Вы прибегайте к нам, Федька, и ты, и Колька, и Алешка. Соберемся кучей, что-нибудь интересное придумаем.

— Ладно,— согласился Федька.— Как только с картошкой управимся, так и прибежим.

Вернувшись в правление колхоза, Васька Ивана Михайловича уже не застал. Ивана Михайловича он нашел у Егоровой избы, возле Пашки да Машки. Пашка и Машка грызли принесенные им пряники и, перебивая и дополняя друг друга, доверчиво рассказывали старику про свою жизнь и про сердитую бабку.

## 10

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Солнце светит — гоп, хорошо! Цо-цок-цок! Ручьи звенят. Птицы поют. Гайда, кавалерия!

Так скакал по лесу на своих двоих, держа путь к дальним берегам Синего озера, отважный и веселый

кавалерист Петька. В правой руке он сжимал хлыст, который заменял ему то гибкую нагайку, то острую саблю, в левой — фуражку с запрятанным в нее компасом, который нужно было сегодня спрятать, а завтра во что бы то ни стало разыскать с Васькой у того сваленного дерева, где отдыхал когда-то забывчивый Василий Иванович!

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Василий Иванович — хорошо! Палатка — хорошо! Завод — хорошо! Все хорошо!

— Стоп!

И Петька, он же конь, он же и всадник, со всего размаха растянулся на траве, зацепившись ногою за выступивший корень.

— У, черт, спотыкаешься! — выругал Петька-всадник Петьку-коня.— Как взгрею нагайкой, так не будешь спотыкаться.

Он поднялся, вытер попавшую в лужу руку и осмотрелся.

Лес был густой и высокий. Огромные, спокойные старые березы отсвечивали поверху яркой, свежей зеленью. Внизу было прохладно и сумрачно. Дикие пчелы с однотонным жужжанием кружились возле дупла полусгнившей, покрытой наростами осины. Пахло грибами, прелой листвой и сыростью распластавшегося неподалеку болотца.

— Гайда, гай! — сердито прикрикнул Петька-всадник на Петьку-коня.— Не туда заехал!

И, дернув левый повод, он поскакал в сторону, на подъем.

«Хорошо жить,— думал на скаку храбрый всадник Петька.— И сейчас хорошо. А вырасту — будет еще лучше. Вырасту — сяду на настоящего коня, пусть мчится. Вырасту — сяду на аэроплан, пусть летит. Вырасту — стану к машине, пусть грохает. Все дальние страны проскачу и облетаю. На войне буду первым командиром. На воздухе буду первым летчиком. У машины буду первым машинистом. Гайда, гай! Гоп-гоп! Стоп!»

Прямо под ногами сверкала ярко-желтыми кувшинками узкая мокрая поляна. Озадаченный Петька вспомнил, что никакой такой поляны на его пути не должно быть и что, очевидно, проклятый конь опять занес его не туда, куда надо.

Он обогнул болотце, и, обеспокоенный, пошел шагом, внимательно осматривая и угадывая, куда же это он попал.

Однако чем дальше он шел, тем яснее становилось ему, что он заблудился. И от этого с каждым шагом жизнь начинала уже казаться ему все более и более печальной и мрачной.

Покрутившись еще немного, он остановился, вовсе уже не зная, куда дальше идти, но тут он вспомнил о том, что как раз при помощи компаса мореплаватели и путешественники всегда находят правильный путь. Он вынул из кепки компас, нажал сбоку кнопочку, и освобожденная стрелка зачерненным острием показала в ту сторону, в какую Петька меньше всего собирался идти. Он тряхнул компас, но стрелка упорно показывала все то же направление.

Тогда Петька пошел, рассуждая, что компасу виднее, но вскоре уперся в такую гущу разросшегося осинника, что прорваться через нее, не изодрав рубахи, было никак невозможно.

Он пошел в обход и опять взглянул на компас. Но сколько он ни крутился, стрелка с бессмысленным упрямством толкала его или в болото, или в гущу, или еще куда-нибудь в самое неудобное, труднопроходимое место.

Тогда, обозленный и испуганный, Петька всунул компас в кепку и пошел дальше просто на глаз, сильно подозревая, что все мореплаватели и путешественники должны были бы давно погибнуть, если бы они всегда держали путь туда, куда показывает зачерненное острие стрелки.

Он шел долго и собирался уже прибегнуть к последнему средству, то есть громко заплакать, но тут в просвет деревьев он увидел низкое, опускавшееся к закату солнце.

И вдруг весь лес как будто бы повернуло к нему другой, более знакомой стороной. Очевидно, это произошло оттого, что он вспомнил, как на фоне заходившего солнца всегда ярко вырисовывались крест и купол алешинской церкви. Теперь он понял, что Алешино не слева от него, как он думал, а справа и что Синее озеро у него уже не впереди, а позади.

И едва только это случилось, лес показался ему знакомым, так как все перепутанные поляны, болотца и ов-

раги в обычиой последовательиостн прочио и послушио улеглнсь на свои места. Вскоре он угадал, где находнтся. Это было довольио далеко от разъезда, но ие так уж далеко от тропки, которая вела из Алешнна на разъезд. Он прнободрнлся, вскочил на воображаемого коня и вдруг прнтнх и насторожил уши.

Совсем иеподалеку ои услышал песию. Это была какая-то страииая песня, бессмысленная, глухая и тяжелая. И Петьке не поиравилась такая песия. И Петька притаился, оглядываясь н ожндая удобной мниуты, чтобы дать коню шпоры и помчаться скорей от сумерек, от иеприветливого леса, от страииой песии на зиакомую тропку, иа разъезд, домой.

## 11

Еще ие доходя до разъезда, возвращающиеся нз Алешнна Иван Мнхайловнч н Васька услышали шум и грохот.

Поднявшнсь из ложбины, онн увндели, что весь тупик заият товарными вагоиамн и платформамн. Немиого поодаль раскииулся целый поселок серых палаток.

Горели костры, дымнлась походная кухня, бурчалн над кострами котлы. Ржали лошадн. Суетнлись рабочне, сбрасывая бревна, доскн, ящикн и стаскнвая с платформы повозки, сбрую н мешкн.

Потолкавшись среди работающих, рассмотрев лошадей, загляиув в вагоны и палатки и даже в топку походной кухни, Васька побежал разыскнвать Петьку, чтобы расспросить его, когда приехали рабочне, как было дело и почему это Сережка крутнтся возле палаток, подтаскнвая хворост для костров, и ннкто его не ругает н ие гоннт прочь.

Но встретившаяся по пути Петькнна мать серднто ответнла ему, что «этот ндол» провалился куда-то еще с полдия н обедать домой не приходил.

Это совсем уже уднвнло н рассерднло Ваську.

«Что это с Петькой делается? — думал он.— В прошлый раз куда-то пропал, сегодня опять тоже пропал. И какой этот Петька хнтрый! Тихоия тнхоней, а сам что-то втнхомолку вытворяет».

Раздумывая над Петькнным поведеиием н очень ие одобряя его, Васька неожнданно натолкнулся иа такую

мысль: а что, если это не Сережка, а сам Петька, чтобы не делиться уловом, взял да и перебросил ирётку и теперь выбирает тайком рыбу?

Это подозрение еще больше укрепилось у Васьки после того, как он вспомнил, что в прошлый раз Петька соврал ему, будто бы бегал на кордон к тетке. На самом деле его там не было.

И теперь почти что уверившийся в своем подозрении Васька твердо решил учинить Петьке строгий допрос и в случае чего поколотить его, чтобы вперед так делать было неповадно.

Он пошел домой и еще из сеней услышал, как отец с матерью о чем-то громко спорили.

Опасаясь, как бы вгорячах и ему за что-нибудь не попало, он остановился и прислушался.

— Да как же это так? — говорила мать, и по ее голосу Васька понял, что она чем-то взволнована.— Хоть бы одуматься дали. Я картошки две меры посадила, огурцов три грядки. А теперь, значит, все пропало?

— Экая ты, право! — возмущался отец.— Неужели же будут дожидаться? Подождем, дескать, пока у Катерины огурцы поспеют. Тут вагоны негде разгружать, а она — огурцы. И что ты, Катя, чудная какая? То ругалась: и печка в будке плоха, и тесно, и низко, а теперь жалко ей будку стало. Да пусть ее ломают. Пропади она пропадом!

«Почему огурцы пропали? Какие вагоны? Кто будет ломать будку?» — опешил Васька и, подозревая что-то недоброе, вошел в комнату.

И то, что он узнал, ошеломило его еще больше, чем первое известие о постройке завода. Их будку сломают. По участку, на котором она стоит, проложат запасные пути для вагонов с построечными грузами. Переезд перенесут на другое место и там построят для них новый дом.

— Ты пойми, Катерина,— доказывал отец,— разве же нам такую будку построят? Это теперь не прежнее время, чтобы для сторожей какие-то собачьи конуры строить. Нам построят светлую, просторную. Ты радоваться должна, а ты... огурцы, огурцы!

Мать молча отвернулась.

Если бы все это подготавливалось потихоньку да исподволь, если бы все это не навалилось вдруг, сразу,

то она и сама была бы довольна оставить старую, ветхую и тесную конурку. Но сейчас ее пугало то, что все кругом решалось, делалось и двигалось как-то уж очень быстро. Пугало то, что события с невиданной, необычной торопливостью возникали одно за другим. Жил разъезд тихо. Жило Алешино тихо. И вдруг точно какая-то волна, издалека докатившись наконец и сюда, захлестнула и разъезд и Алешино. Колхоз, завод, плотина, новый дом... Все это смущало и даже пугало своей новизной, необычностью и, главное, своей стремительностью.

— А верно ли, Григорий, что лучше будет? — спросила она, расстроенная и растерянная.— Плохо ли, хорошо ли, а жили мы да жили. А вдруг хуже будет?

— Полно тебе,— возражал ей отец.— Полно городить, Катя... Стыдно! Мелешь, сама не знаешь что. Разве затем оно у нас все делается, чтобы хуже было? Ты посмотри лучше на Васькину рожу. Вон он стоит, шельмец, и рот до ушей. На что мал еще, а и то понимает, что лучше будет. Так, что ли, Васька?

Но Васька даже не нашел что ответить и только молча кивнул головой.

Много новых мыслей, новых вопросов занимало его неспокойную голову. Так же как и мать, он удивлялся тому, с какой быстротой следовали события. Но его не пугала эта быстрота — она увлекала, как стремительный ход мчавшегося в дальние страны скорого поезда.

Он ушел на сеновал и забрался под теплый овчинный полушубок. Но ему не спалось.

Издалека слышался непрекращающийся стук сбрасываемых досок. Пыхтел маневровый паровоз. Лязгали сталкивающиеся буфера, и как-то тревожно звучал сигнальный рожок стрелочника.

Через выломанную доску крыши Васька видел кусочек ясного черно-синего неба и три ярких лучистых звезды.

Глядя на эти дружно мерцавшие звезды, Васька вспомнил, как уверенно говорил отец о том, что жизнь будет хорошая. Он еще крепче укутался в полушубок, закрыл глаза и подумал: «А какая она будет, хорошая?» — и почему-то вспомнил плакат, который висел в красном уголке. Большой, смелый красноармеец стоит у столба и, сжимая замечательную винтовку, зорко смот-



«ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ»



«ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ»

рит вперед. Позади него зеленые поля, где желтеет густая высокая рожь, где цветут большие, неогороженные сады и где раскинулись красивые и так не похожие на убогое Алешино просторные и привольные села.

А дальше, за полями, под прямыми широкими лучами светлого солнца гордо высятся трубы могучих заводов. Через сверкающие окна видны колеса, огни, машины.

И всюду люди, бодрые, веселые. Каждый занят своим делом — и на полях, и в селах, и у машин. Одни работают, другие уже отработали и отдыхают.

Какой-то маленький мальчик, похожий немного на Павлика Припрыгина, но только не такой перемазанный, задрав голову, с любопытством разглядывает небо, по которому плавно несется длинный стремительный дирижабль.

Васька всегда немного завидовал тому, что этот смеющийся мальчуган был похож на Павлика Припрыгина, а не на него, Ваську.

Но в другом углу плаката — очень далеко, в той стороне, куда зорко всматривался стороживший эту дальнюю страну красноармеец,— было нарисовано что-то такое, что всегда возбуждало у Васьки чувство смутной и неясной тревоги.

Там вырисовывались черные расплывчатые тени. Там обозначались очертания озлобленных, нехороших лиц. И как будто бы кто-то смотрел оттуда пристальными недобрыми глазами и ждал, когда уйдет или когда отвернется красноармеец.

И Васька был очень рад, что умный и спокойный красноармеец никуда не уходил, не отворачивался, а смотрел как раз туда, куда надо. И все видел и все понимал.

Васька уже совсем засыпал, когда услышал, как хлопнула калитка: кто-то зашел к ним в будку.

Минуту спустя его окликнула мать:

— Вася... Васька! Ты спишь, что ли?

— Нет, мама, не сплю.

— Ты не видал сегодня Петьку?

— Видал, да только утром, а больше не видал. А на что он тебе?

— А на то, что сейчас его мать приходила. Пропал, говорит, еще до обеда, и до сего времени нет и нет.

Когда мать ушла, Васька встревожился. Он знал, что Петька не очень-то храбрый, чтобы разгуливать по ночам, и поэтому никак не мог понять, куда девался его непутевый товарищ.

Петька вернулся поздно. Он вернулся без фуражки. Глаза его были красные, заплаканные, но уже сухие. Видно было, что он очень устал, и поэтому он как-то равнодушно выслушал все упреки матери, отказался от еды и молча залез под одеяло.

Он вскоре уснул, но спал неспокойно: ворочался, стонал и что-то бормотал.

Он сказал матери, что просто заблудился, и мать поверила ему. То же самое он сказал Ваське, но Васька не особенно поверил, потому что «просто» не заблуживаются. Для того чтобы заблудиться, надо куда-то идти или что-то разыскивать. А куда и зачем он ходил, этого Петька не говорил или нес что-то несуразное, нескладное, и Ваське сразу было видно, что он врет.

Но когда Васька попытался изобличить его во лжи, то обыкновенно изворотливый Петька не стал даже оправдываться. Он только, усиленно заморгав, отвернулся.

Убедившись в том, что все равно от Петьки ничего не добьешься, Васька прекратил расспросы, оставшись, однако, в сильном подозрении, что Петька — товарищ какой-то странный, скрытный и хитрый.

К этому времени геологическая палатка снялась со своего места, с тем чтобы продвинуться дальше, к верховьям реки Синявки.

Васька и Петька помогали грузить вещи на навьюченных лошадей. И когда все было готово к тому, чтобы тронуться в путь, Василий Иванович и другой — высокий — тепло попрощались с ребятами, с которыми они так много бродили по лесам. Они должны были вернуться на разъезд только к концу лета.

— А что, ребята,— спросил Василий Иванович напоследок,— вы так и не бегали поискать компас?

— Все из-за Петьки,— ответил Васька.— То он сначала сам предложил: пойдем, пойдем... А когда я согласился, то он уперся и не идет. Один раз звал — не идет. Другой раз — не идет. Так и не пошел.

— Ты что же это? — удивился Василий Иванович, который помнил, как горячо вызывался Петька отправиться на поиски.

Неизвестно, что бы ответил и как бы вывернулся смутившийся и притихший Петька, но тут одна из навьюченных лошадей, отвязавшись от дерева, побежала по тропке. Все кинулись догонять ее, потому что она могла уйти в Алешино.

Точно после удара нагайкой, Петька рванулся за ней прямо через кусты, через мокрый луг. Он весь обрызгался, изорвал подол рубахи и, выскочив наперерез, уже перед самой тропкой крепко вцепился в поводья.

И когда он молча подводил упрямившегося коня к запыхавшемуся и отставшему Василию Ивановичу, то он учащенно дышал, глаза его блестели, и видно было, что он несказанно горд и счастлив, что ему удалось оказать услугу этим отправляющимся в дальний путь хорошим людям.

## 12

И еще не успели достроить новый дом, едва только закончили настилку пола и принялись за оконные рамы, а стальные линии запасных путей уже переползли через грядки, опрокинули ветхий заборчик, столкнули дровяной сарай и уперлись в стены старой будки.

— Ну, Катя,— сказал отец,— будем сегодня переезжать. Двери да окна и при нас могут докончить. А здесь, как видишь, ожидать не приходится.

Тогда стали связывать узлы, вытаскивать ящики, матрацы, чугуны, ухваты. Сложили все это на телегу. Привязали сзади козу Маньку и тронулись на новые места.

Отец взялся за вожжи. Васька держал керосиновую лампу и хрупкий стеклянный колпак. Мать бережно прижимала два глиняных горшка с кустиками распустившихся гераней.

Перед тем как тронуться, все невольно обернулись.

Уже со всех сторон обступали рабочие старенькую грязновато-желтую будку. Уже застучали по крыше топоры, заскрипели выворачиваемые ржавые гвозди, и первые сорванные доски тяжело грохнулись о землю.

— Как на пожаре,— сказала мать, отворачиваясь и низко склоняя голову,— и огня нет, а кругом — как пожар.

Вскоре из Алешина целым гуртом прибежали ребятишки: Федька, Колька, Алешка и еще двое незнакомых — Яшка да Шурка.

Ходили на площадку смотреть экскаватор, бегали к плотине, где забивали в землю бревенчатые шпунты, и, наконец, пошли купаться.

Вода была теплая. Плавали, брызгались и долго хохотали над трусливым Шуркой, который громко и отчаянно заорал, когда нырнувший Федька неожиданно схватил его под водой за ноги.

Потом валялись на берегу, разговаривали о прежних и новых делах.

— Васька,— спросил Федька, лежа на спине и закрывая рукой от солнца круглое веснушчатое лицо,— что это такое пионеры? Почему, например, они идут всегда вместе и в барабан бьют и в трубы трубят? А вот один раз отец читал, что пионеры не воруют, не ругаются, не дерутся и еще чего-то там не делают. Что же они, как святые, что ли?

— Ну нет... не святые,— усомнился Васька.— Я в прошлом году к дяде ездил. У него сын Борька — пионер, так он мне два раза так по шее натрескал, что только держись. А ты говоришь — не дерутся. Просто обыкновенные мальчишки да девчонки. Вырастут, в комсомольцы пойдут, потом в Красную Армию. А я, когда вырасту, тоже пойду в Красную Армию. Возьму винтовку и буду сторожить.

— Кого сторожить? — не понял Федька.

— Как кого? Всех! А если не сторожить, то налетит белая банда и завоюет все наши страны. Я знаю, Федька, что такое белая армия, мне Иван Михайлович все рассказал. Белая — это всякие цари, всякие торговцы, кулаки.

— А кто же Данила Егорович? — спросил молча слушавший Алешка.— Вот он кулак. Значит, он тоже белая армия?

— У него винтовки нет,— после некоторого раздумья ответил Васька.— У него нет винтовки, а есть только старая шомполка.

— А если бы была? — не унимался Алешка.

— А если бы да если бы! А кто ему продаст винтовку? Разве же винтовки или пулеметы продают каждому, кто захочет?

— Нам бы не продали,— согласился Алешка.

— Нам бы не продали, потому что мы малы еще, а Даниле Егоровичу совсем не поэтому. Вот погодите, школа будет, тогда все узнаете.

— Будет ли школа? — усомнился Федька.

— Обязательно будет,— уверял Васька.— Вы приходите на той неделе, мы все вместе, гуртом, пойдем к главному строительному инженеру и попросим, чтобы велел построить.

— Совестно как-то просить,— поежился Алешка.

— Ничего не совестно. Это одному совестно. Вот, скажут, какой выискался! А если всем, то нисколько не совестно. Я хоть сам пойду и попрошу. Чего бояться? Что он стукнет, что ли?

Алешкинские ребята собрались уходить, а Васька решил проводить их.

Когда они вышли на тропку, то увидели Петьку. По-видимому, он давно стоял тут и раздумывал, подойти ему к ребятам или не подойти.

— Пойдем, Петька, с нами,— предложил Васька, которому не хотелось возвращаться одному.— Пойдем, Петька. Что ты такой скучный? Все веселые, а он скучный.

Петька посмотрел на солнце, но солнце стояло еще высоко, и, виновато улыбнувшись, он согласился.

Возвращаясь вдвоем, под высоким дубом, что рос неподалеку от хутора Данилы Егоровича, они увидели Пашку да Машку.

Эти маленькие ребятишки сидели на зеленом бугре и собирали что-то с земли, должно быть прошлогодние желуди.

— Пойдем к ним,— предложил Васька,— посидим, отдохнем и посмеемся немножко. Пойдем, Петька! И что ты стал какой-то тихоня? Успеешь еще домой.

Они осторожно подобрались сзади к ребятишкам, опустились на четвереньки и сердито зарычали:

— Рррр... рррр...

Пашка и Машка подскочили и, даже не смея обернуться, схватились за руки и пустились наутек.

Но ребята обогнали их и загородили им дорогу.

— И что как напугали! — укоризненно сказал Пашка, серьезно хмуря коротенькие тонкие брови.

— Совсем испугали! — подтвердила Машка, вытирая наполнившиеся слезами глаза.

— А вы думали, это кто? — спросил довольный своей шуткой Васька.

— А мы думали — волк,— ответил Пашка.

— Или думали — медведь,— добавила Машка и, улыбнувшись, протянула ребятам горсть крупных желудей.

— На что они нам? — отказался Васька.— Вы сами играйте. Мы уже большие, и это нам не игра.

— Очень хорошая игра,— ответила Машка. И, очевидно, никак не понимая, почему для Васьки желудь — это не игра, радостно рассмеялась.

— Ну что, у вас бабка ругается? — спросил Васька и с неожиданной жестокостью добавил: — Так вам и надо. Потому что отец у вас жулик.

— Васька, не надо! — вступился Петька.— Ведь они маленькие.

— Ну и что же, что маленькие? — с каким-то необъяснимым злорадством продолжал Васька.— Раз жулик, значит, жулик. Верно ведь, Пашка, у вас отец жулик?

— Васька, не надо! — почти умоляюще попросил Петька.

Немного испуганные резким Васькиным тоном, Пашка и Машка молча переглянулись.

— Жулик,— тихо и покорно согласился Пашка.

— Жулик,— повторила Машка и тепло улыбнулась.— Только он хороший был жулик. Бабка нехорошая, недобрая, а он хороший... А потом...— тут голос ее чуть-чуть задрожал, она вздохнула, большие голубые глаза ее стали влажными и печальными, а маленькие ручонки разжались, и два крупных желудя тихо упали на мягкую траву,— а потом взял он, наш папочка, да куда-то далеко-далеко от нас уехал.

Какой-то вскрик, странный, приглушенный, раздался позади Васьки.

Он обернулся и увидел, что, крепко втиснув голову в сочную душистую траву, вздрагивая угловатыми, худыми плечами, Петька безудержно, беззвучно... плачет.

Дальине страиы, те, о которых так часто мечталн ребятншки, туже и туже смыкая кольцо, иадвигались иа безымеииый разъезд № 216.

Дальнне страиы с большнмн вокзаламн, с огромнымн заводамн, с высокнмн здаииямн были теперь где-то уже ие очеиь далеко.

Еще так же, как н прежде, проиоснлся мимо безудержный скорый, но уже остаиавлнвалнсь пассажнрский сорок второй н почтовый двадцать четвертый.

Еще пусто н голо было на нзрытой ямамн заводской площадке, но уже копошились на ией сотии рабочих, уже ползала по ней, вгрызаясь в землю н лязгая железной пастью, похожая на прнрученное чудовнще днковиниая машнна — экскаватор.

Опять прилетел для фотосъемкн аэроплаи. Что ни день, то вырастали новые баракн, склады, подсобные мастерскне. Приехалн кинопередвижка, вагон-баня, вагон-бнблнотека.

Заговорилн рупоры радиоустаиовок, и, иаконец, с виитовкамн за плечамн прншлн часовые Красной Армии н молча сталн на свон посты.

По пути к Иваиу Мнхайловичу Васька остановился там, где еще совсем недавно стояла их старая будка.

Угадывая ее место только по уцелевшнм столбам шлагбаума, он подошел поблнже и, глядя на рельсы, подумал о том, что вот эта блестящая рельсиия пройдет теперь как раз через тот угол, где стояла их печка, на которой оин так часто грелнсь с рыжим котом Иваиом Ивановнчем, и что, если бы его кровать поставить на прежнее место, она встала бы как раз на самую крестовииу, прямо поперек железнодорожного полотна.

Он огляделся. По их огороду, подталкнвая товариые вагоны, с пыхтеннем ползал старый маневровый паровоз.

От грядок с хрупкнми огурцамн ие осталось и следа, ио непрнхотлнвая картошка через песок насыпей н даже через колкий щебеиь кое-где упрямо пробивалась кверху кустиками пыльной сочиой зелеии.

Он пошел дальше, прнпомииая прошлое лето, когда в этн утреннне часы было пусто н тихо. Изредка только загогочут гуси, звякнет жестяным колокольцем прнвя-

занная к колу коза да загремит ведрами у скрипучего колодца вышедшая за водой баба. А сейчас...

Глухо бабахали тяжелые кувалды, вколачивая огромные бревна в берега Тихой речки.

Гремели разгружаемые рельсы, звенели молотки в слесарной мастерской, и пулеметной дробью трещали неумолчные камнедробилки.

Васька пролез под вагонами и лицом к лицу столкнулся с Сережкой.

В запачканных клеем руках Сережка держал коловорот и, наклонившись, разыскивал что-то в траве, пересыпанной коричневым промасленным песком.

Он искал, по-видимому, уже давно, потому что лицо у него было озабоченное и расстроенное.

Васька посмотрел на траву и нечаянно увидал то, что потерял Сережка. Это была металлическая перка, которую вставляют в коловорот, чтобы провертывать дырки.

Сережка не мог ее видеть, так как она лежала за шпалой с Васькиной стороны.

Сережка взглянул на Ваську и опять наклонился, продолжая поиски.

Если бы во взгляде Сережки Васька уловил что-либо вызывающее, враждебное или чуточку насмешливое, он прошел бы своей дорогой, предоставив Сережке заниматься поисками хоть до ночи. Но ничего такого на лице Сережки он не увидал. Это было обыкновенное лицо человека, озабоченного потерей нужного для работы инструмента и огорченного безуспешностью своих поисков.

— Ты не там ищешь,— невольно сорвалось у Васьки.— Ты в песке ищешь, а она лежит за шпалой.

Он поднял перку и подал ее Сережке.

— И как она залетела туда? — удивился Сережка.— Я бежал, а она выскочила и вот куда залетела.

Они уже готовы были заулыбаться и вступить в переговоры, но, вспомнив о том, что между ними старая, непрекращающаяся вражда, оба мальчугана нахмурились и внимательно оглядели один другого.

Сережка был немного постарше, повыше и потоньше. У него были рыжие волосы, серые озорные глаза, и весь он был какой-то гибкий, изворотливый и опасный.

Васька был шире, крепче и, возможно, даже сильнее. Он стоял, чуть склонив голову, одинаково готовый

к тому, чтобы разойтись миром, и к тому, чтобы подраться, хотя он и знал, что в случае драки попадет всетаки больше ему, а не его противнику.

— Эй, ребята! — окликнул их с платформы человек, в котором они узнали главного мастера из механической мастерской.— Пойдите-ка сюда. Помогите немного.

Теперь, когда выбора уже не оставалось и затеять драку означало отказать в той помощи, о которой просил мастер, ребята разжали кулаки и быстро полезли на открытую грузовую платформу.

Там валялись два ящика, разбитые неудачно упавшей железной балкой.

Из ящиков по платформе, как горох из мешка, рассыпались и раскатились маленькие и большие, короткие и длинные, узкие и толстые железные гайки.

Ребятам дали шесть мешков — по три на каждого — и попросили их разобрать гайки по сортам. В один мешок гайки механические, в другой — газовые, в третий — метровые.

И они принялись за работу с той поспешностью, которая доказывала, что, несмотря на несостоявшуюся драку, дух соревнования и желания каждого быть во всем первым нисколько не угас, а только принял иное выражение.

Пока они были заняты работой, платформу толкали, перегоняли с пути на путь, отцепляли и куда-то опять прицепляли.

Все это было очень весело, особенно тогда, когда сцепщик Семен, предполагая, что ребята забрались на маневрирующий состав из баловства, хотел огреть их хворостиной, но, разглядев, что они заняты работой, ругаясь и чертыхаясь, соскочил с подножки платформы.

Когда они окончили разборку и доложили об этом мастеру, мастер решил, что, вероятно, ребята свалили все гайки без разбора в одну кучу, потому что окончили они очень уж скоро.

Но он не знал, что они старались и потому, что гордились порученной им работой, и потому, что не хотели отставать один от другого.

Мастер был очень удивлен, когда, раскрыв принесенные грузчиком мешки, увидел, что гайки тщательно рассортированы так, как ему было надо.

Он похвалил их, позволил им приходить в мастер-

ские и помогать в чем-нибудь, что сумеют или чему научатся.

Довольные, они шли домой уже как хорошие, давнишние, но знающие каждый себе цену друзья. И только на одну минуту вспыхнувшая искорка вражды готова была разгореться вновь. Это тогда, когда Васька спросил у Сережки, брал он компас или не брал.

Глаза Сережки стали злыми, пальцы рук сжались, но рот улыбался.

— Компас? — спросил он с плохо скрываемой озлобленностью, оставшейся от памятной порки.— Вам лучше знать, где компас. Вы бы его у себя поискали...

Он хотел еще что-то добавить, но, пересиливая себя, замолчал и насупился.

Так прошли несколько шагов.

— Ты, может быть, скажешь, что и нырётку нашу не брал? — недоверчиво спросил Васька, искоса поглядывая на Сережку.

— Не брал,— отказался Сережка, но теперь лицо его приняло обычное хитровато-насмешливое выражение.

— Как же не брал? — возмутился Васька.— Мы шарили, шарили по дну, а ее нет и нет. Куда же она девалась?

— Значит, плохо шарили. А вы пошарьте получше.— Сережка рассмеялся и, глядя на Ваську, с каким-то странным и сбившим с толку добродушием добавил: — У них там рыбы, поди-ка, набралось прорва, а они сидят себе да охают!

На другой же день, еще спозаранку, захватив «кошку», Васька направился к реке без особой, впрочем, веры в Сережкины слова.

Три раза закидывал он «кошку», и все впустую. Но на четвертом разе бечевка туго натянулась.

«Неужели правда он не брал? — подумал Васька, быстро подтягивая добычу.— Ну конечно, не брал... Вот, вот она... А мы-то... Эх, дураки!»

Тяжелая плетеная нырётка показалась над водой. Внутри ее что-то ворочалось и плескалось, вызывая в Васькином воображении самые радужные надежды. Но вот, вся в песке и в наплывах холодной тины, она шлепнулась на берег, и Васька кинулся разглядывать богатую добычу.

Но изумление и разочарование овладели им, когда, раскрыв плетеную дверцу, он вытряхнул на землю около двух десятков лягушек.

«И откуда они, проклятые, понабились? — удивился Васька, глядя, как лягушки, перепуганные ярким светом, быстро поскакали во все стороны.— Ну, бывало, случайно одна заберется, редко-редко две. А тут, гляди-ка, ни одного ершика, ни одной малюсенькой плотички, а, точно на смех, целый табун лягушек».

Он закинул нырётку обратно и пошел домой, сильно подозревая, что компас-то, может быть, Сережка и не брал, но что нырётка, набитая лягушками, оказалась на прежнем месте не раньше, как только вчера вечером.

Васька бежал со склада и тащил в мастерскую моток проволоки. Из окошка высунулась мать и позвала его, но Васька торопился; он замотал головой и прибавил шагу.

Мать закричала на него еще громче, перечисляя все те беды, которые должны будут свалиться на Васькину голову в том случае, если он сию же минуту не пойдет домой. И хотя, если верить ее словам, последствия его неповиновения должны были быть очень неприятными, так как до Васькиного слуха долетели такие слова, как «выдеру», «высеку», «нарву уши» и так далее, но дело все в том, что Васька не очень-то верил в злопамятность матери и, кроме того, ему на самом деле было некогда. И он хотел продолжить свой путь, но тут мать начала звать его уже ласковыми словами, одновременно размахивая какой-то белой бумажкой.

У Васьки были хорошие глаза, и он тотчас же разглядел, что бумажка эта не что иное, как только что полученное письмо. Письмо же могло быть только от брата Павла, который работал слесарем где-то очень далеко.

А Васька очень любил Павла и с нетерпением ожидал его приезда в отпуск. Это меняло дело. Заинтересованный Васька повесил моток проволоки на забор и направился к дому, придав лицу то скорбное выражение, которое заставило бы мать почувствовать, что он через силу оказывает ей очень большую услугу.

— Прочитай, Васька,— просила обозленная мать очень кротким и миролюбивым голосом, так как она

знала, что если Васька действительно заупрямится, то от него никакими угрозами ничего не добьешься.

— Тут человек делом занят, а она... прочитай да прочитай! — недовольным тоном ответил Васька, забирая письмо и неторопливо распечатывая конверт.— Прочитала бы сама. А то когда я к Ивану Михайловичу учиться бегал, то она: куда шляешься да куда шатаешься? А теперь... почитай да почитай.

— Разве же я, Васенька, за уроки ругалась? — виновато оправдывалась мать.— Я за то ругалась, что уйдешь ты на урок чистый, а вернешься, как черт, весь измазанный, избрызганный... Да читай же ты, идол! — нетерпеливо крикнула она наконец, видя, что, развернув письмо, Васька положил его на стол, потом взял ковш и пошел напиться и только после этого крепко и удобно уселся за стол, как будто бы собирался засесть до самого вечера.

— Сейчас прочитаю, отойди-ка немного от света, а то застишь.

Брат Павел узнал о том, что на их разъезде строится завод и что там нужны слесаря.

Постройка, на которой он работал, закончилась, и он писал, что решил приехать на родину. Он просил, чтобы мать сходила к соседке Дарье Егоровне и спросила, не сдаст ли та ему с женою хотя бы на лето одну комнату, потому что к зиме у завода, надо думать, будут уже свои квартиры. Это письмо обрадовало и Ваську и мать.

Она всегда мечтала, как хорошо было бы жить всей семьею вместе. Но раньше, когда на разъезде не было никакой работы, об этом нечего было и думать. Кроме того, брат Павел совсем еще недавно женился, и всем очень хотелось посмотреть, какая у него жена.

Ни о какой Дарье Егоровне мать не захотела и слышать.

— Еще что! — говорила она, заграбастывая у Васьки письмо и с волнением вглядываясь в непонятные, но дорогие для нее черточки и точки букв.— Или мы сами хуже Дарьи Егоровны?.. У нас теперь не прежняя конура, а две комнаты, да передняя, да кухня. В одной сами будем жить, другую Павлушке отдадим. На что нам другая?

Гордая за сына и счастливая, что скоро увидит его, она совсем позабыла, что еще недавно она жалела старую будку, ругала новый дом, а заодно и всех тех, кто это выдумал — ломать, перестраивать и заново строить.

### 14

С Петькой за последнее время дружба порвалась. Петька стал какой-то не такой, дикий.

То все ничего — играет, разговаривает, то вдруг нахмурится, замолчит и целый день не показывается, а все возится дома во дворе с Еленкой.

Как-то, возвращаясь из столярной мастерской, где они с Сережкой насаживали молотки на рукоятки, перед обедом, Васька решил искупаться.

Он свернул к тропке и увидел Петьку. Петька шел впереди, часто останавливаясь и оборачиваясь, как будто бы боялся, что его увидят.

И Васька решил выследить, куда пробирается украдкой этот шальной и странный человек.

Дул крепкий жаркий ветер. Лес шумел. Но, опасаясь хруста своих шагов, Васька свернул с тропки и пошел кустами чуть-чуть позади.

Петька пробирался неровно: то, как будто бы набравшись решимости, пускался бежать и бежал быстро и долго, так что Васька, которому приходилось огибать кусты и деревья, еле-еле поспевал за ним, то останавливался, начинал тревожно оглядываться, а потом шел тихо, почти через силу, точно сзади его кто-то подгонял, а он не мог и не хотел идти.

«И куда это он пробирается?» — думал Васька, которому начинало передаваться Петькино возбужденное состояние.

Внезапно Петька остановился. Он стоял долго; на глазах его заблистали слезы. Потом он понуро опустил голову и тихо пошел назад. Но, пройдя всего несколько шагов, он опять остановился, тряхнул головой и, круто свернув в лес, помчался прямо на Ваську.

Испуганный и не ожидавший этого Васька отскочил за кусты, но было уже поздно. Не разглядев Ваську, Петька все же услыхал треск раздвигаемых кустов. Он вскрикнул и шарахнулся в сторону тропки.

Когда Васька выбрался на тропку, иа ней иикого уже не было.

Несмотря иа то что недалек был уже вечер, иесмотря иа порывнстый ветер, было душно. По небу плыли тяжелые облака, но, не сбнваясь в грозовую тучу, оии проиосились поодииочке, ие закрывая и не задевая солица.

Тревога, смутиая, неясиая, все крепче н крепче охватывала Ваську, н шумливый, неспокоиный лес, тог самый, которого почему-то так боялся Петька, показался вдруг и Ваське чужим и враждебным.

Ои прнбавил шагу и вскоре очутнлся на берегу Тнхой речки.

Среди распустнвшнхся ракнтовых кустов распластался рыжий кусок гладкого песчаного берега. Раиьше Васька всегда здесь купался. Вода здесь была спокойная, дно твердое н ровиое.

Но сейчас, подойдя поблнже, ои увидел, что вода подиялась и помутнела.

Кусочки свежей щепы, осколкн досок, обломки палок плылн неспокойно, сталкивались, расходясь и бесшумио поворачнваясь вокруг острых, опасных вороиок, которые то возникали, то исчезали иа пеиистой поверхиости.

Очевндио, внизу, иа постройке плотниы начали ставить перемычки.

Ои разделся, ио ие бултыхнулся, как бывало раньше, и не забарахтался, веселыми брызгами распугнвая серебрнстые стайки стремительных пескарей.

Осторожио опустившись у самого берега, ощупывая иогой теперь уже иезиакомое дно и прндержнваясь рукою за ветви куста, ои окунулся несколько раз, вылез нз воды и тихонько пошел домой.

Дома ои был скучен. Плохо ел, пролнл иечаяино ковш с водой и из-за стола встал молчалнвый н сердитый.

Ои пошел к Сережке, ио Сережка был н сам злой, потому что порезал стамеской палец н ему только что смазалн его йодом.

Васька пошел к Иваиу Мнхайловичу, но не застал его дома; тогда ои и сам вериулся домой и решил спозараику лечь спать.

Он лег, но опять не спал. Он вспомнил прошлогоднее лето. И, вероятно, оттого, что день сегодня был такой неспокойный, неудачливый, прошлое лето показалось ему теплым и хорошим.

Неожиданно ему стало жалко и ту поляну, которую разрыл и разворотил экскаватор; и Тихую речку, вода в которой была такая светлая и чистая; и Петьку, с которым так хорошо и дружно проводили они свои веселые, озорные дни; и даже прожорливого рыжего кота Ивана Ивановича, который, с тех пор как сломали их старую будку, что-то запечалился, заскучал и ушел с разъезда неизвестно куда. Так же неизвестно куда улетела вспугнутая ударами тяжелых кувалд та постоянная кукушка, под звонкое и грустное кукование которой засыпал Васька на сеновале и видел любимые, знакомые сны.

Тогда он вздохнул, закрыл глаза и стал потихоньку засыпать.

Сон приходил новый, незнакомый. Сначала между мутных облаков проплыл тяжелый и сам похожий на облако острозубый золотистый карась. Он плыл прямо к Васькиной нырётке, но нырётка была такая маленькая, а карась такой большой, и Васька в испуге закричал: «Мальчишки!.. Мальчишки!.. Тащите скорее большую сеть, а то он порвет нырётку и уйдет».— «Хорошо,— сказали мальчишки,— мы сейчас притащим, но только раньше мы позвоним в большие колокола».

И они стали звонить: Дон!.. дон!.. дон!.. дон!..

И пока они громко звонили, за лесом над Алешином поднялся столб огня и дыма. А все люди заговорили и закричали: «Пожар! Это пожар... Это очень сильный пожар!»

Тогда мать сказала Ваське:

— Вставай, Васька.

И так как голос матери прозвучал что-то очень громко и даже сердито, Васька догадался, что это, пожалуй, уже не сон, а на самом деле.

Он открыл глаза. Было темно. Откуда-то издалека доносился звон набатного колокола.

— Вставай, Васька,— повторила мать.— Залезь на чердак и посмотри. Кажется, Алешино горит.

Васька быстро натянул штаны и по крутой лесенке взобрался на чердак.

Неловко цепляясь впотьмах за выступы балок, он добрался до слухового окошка и высунулся до пояса.

Стояла черная, звездная ночь. Возле заводской площадки, возле складов тускло мерцали огни ночных фонарей, вправо и влево ярко горели красные сигналы входного и выходного семафоров. Впереди слабо отсвечивал кусочек воды Тихой речки.

Но там, в темноте, за речкой, за невидимо шумевшим лесом, там, где находилось Алешино, не было ни разгорающегося пламени, ни летающих по ветру искр, ни потухающего дымного зарева. Там лежала тяжелая полоса густой, непроницаемой темноты, из которой доносились глухие набатные удары церковного колокола.

## 15

Стог свежего, душистого сена. С теневой стороны, укрывшись так, чтобы его не было видно с тропки, лежал уставший Петька.

Он лежал тихо, так что одинокая ворона, большая и осторожная, не заметив его, тяжело села на шест, торчавший над стогом.

Она сидела на виду, спокойно поправляя клювом крепкие блестящие перья. И Петька невольно подумал, как легко было бы всадить в нее отсюда полный заряд дроби. Но эта случайная мысль вызвала другую, ту, которой он не хотел и боялся. И он опустил лицо на ладони рук.

Черная ворона настороженно повернула голову и заглянула вниз. Неторопливо расправив крылья, она перелетела с шеста на высокую березу и с любопытством уставилась оттуда на одинокого плачущего мальчугана.

Петька поднял голову. По дороге из Алешина шел дядя Серафим и вел на поводу лошадь: должно быть, перековывать. Потом он увидел Ваську, который возвращался по тропке домой.

И тогда Петька притих, подавленный неожиданной догадкой: это на Ваську натолкнулся он в кустах, когда хотел свернуть с тропки в лес. Значит, Васька уже что-то знает или о чем-то догадывается, иначе зачем же он стал бы его выслеживать? Значит, скрывай, не скрывай, а все равно все откроется.

Но, вместо того чтобы позвать Ваську и все рассказать ему, Петька насухо вытер глаза и твердо решил никому не говорить ни слова. Пусть открывают сами, пусть узнают и пусть делают с ним все, что хотят.

С этой мыслью он встал, и ему стало спокойнее и легче. С тихой ненавистью посмотрел он туда, где шумел алешинский лес, ожесточенно плюнул и выругался.

— Петька! — услышал он позади себя окрик.

Он съежился, обернулся и увидал Ивана Михайловича.

— Тебя поколотил кто-нибудь? — спросил старик.— Нет... Ну, кто-нибудь обидел? Тоже нет... Так отчего же у тебя глаза злые и мокрые?

— Скучно,— резко ответил Петька и отвернулся.

— Как это так — скучно? То все было весело, а то вдруг стало скучно. Посмотри на Ваську, на Сережку, на других ребят. Всегда они чем-нибудь заняты, всегда они вместе. А ты все один да один. Поневоле будет скучно. Ты хоть бы ко мне прибегал. Вот в среду мы с одним человеком перепелов ловить поедем. Хочешь, мы и тебя с собой возьмем?

Иван Михайлович похлопал Петьку по плечу и спросил, незаметно оглядывая сверху Петькино похудевшее и осунувшееся лицо:

— Ты, может быть, нездоров? У тебя, может быть, болит что-нибудь? А ребята не понимают этого да все жалуются мне: «Вот Петька такой хмурый да скучный!..»

— У меня зуб болит,— охотно согласился Петька.— А разве же они понимают? Они, Иван Михайлович, ничего не понимают. Тут и так болит, а они — почему да почему.

— Вырвать надо! — сказал Иван Михайлович.— На обратном пути зайдем к фельдшеру, я его попрошу, он разом тебе зуб выдернет.

— У меня... Иван Михайлович, он уже не очень болит, это вчера очень, а сегодня уже проходит,— немного помолчав, объяснил Петька.— У меня сегодня не зуб, а голова болит.

— Ну, вот видишь! Поневоле заскучаешь. Зайдем к фельдшеру, он какую-нибудь микстуру даст или порошки.

— У меня сегодня здорово голова болела,— осторожно подыскивая слова, продолжал Петька, которому вовсе уж не хотелось, чтобы, в довершение ко всем несчастьям, у него вырывали здоровые зубы и пичкали его кислыми микстурами и горькими порошками.— Ну так болела!.. Так болела!.. Хорошо только, что теперь уже прошла.

— Вот видишь, и зубы не болят, и голова прошла. Совсем хорошо,— ответил Иван Михайлович, тихонько посмеиваясь сквозь седые пожелтевшие усы.

«Хорошо! — вздохнул про себя Петька.— Хорошо, да не очень».

Они прошлись вдоль тропки и сели отдохнуть на толстое почерневшее бревно. Иван Михайлович достал кисет с табаком, а Петька молча сидел рядом.

Вдруг Иван Михайлович почувствовал, что Петька быстро подвинулся к нему и крепко ухватил его за пустой рукав.

— Ты что? — спросил старик, увидав, как побелело лицо и задрожали губы у мальчугана.

Петька молчал. Кто-то, приближаясь неровными, грузными шагами, пел песню.

Это была странная, тяжелая и бессмысленная песня. Низкий пьяный голос мрачно выводил:

Ив-эха! И ехал, эх-ха-ха...
Вот да так ехал, аха-ха...
И приехал... Эх-ха-ха...
Эха-ха! Д-ы аха-ха...

Это была та самая нехорошая песня, которую слышал Петька в тот вечер, когда заблудился на пути к Синему озеру. И, крепко вцепившись в обшлаг рукава, он со страхом уставился в кусты, ожидая увидеть еще не разгаданного певца. Задевая за ветви, сильно пошатываясь, из-за поворота вышел Ермолай. Он остановился, покачал всклокоченной головой, для чего-то погрозил пальцем и молча двинулся дальше.

— Эк нализался! — сказал Иван Михайлович, сердитый за то, что Ермолай так напугал Петьку.— А ты, Петька, чего? Ну пьяный и пьяный. Мало ли у нас таких шатается.

Петька молчал. Брови его сдвинулись, глаза заблестели, а вздрагивающие губы крепко сжались. И неожи-

данно резкая, злая улыбка легла на его лицо. Как будто бы только сейчас поняв что-то нужное и важное, он принял решение, твердое и бесповоротное.

— Иван Михайлович,— звонко сказал он, заглядывая старику прямо в глаза,— а ведь это Ермолай убил Егора Михайлова...

К ночи по большой дороге верхом на неоседланном коне с тревожной вестью скакал дядя Серафим с разъезда в Алешино. Заскочив на уличку, он стукнул кнутовищем в окно крайней избы и, крикнув молодому Игошкину, чтобы тот скорей бежал до председателя, поскакал дальше, часто сдерживая коня у чужих темных окон и вызывая своих товарищей.

Он громко застучал в ворота председательского дома. Не дождаясь, пока отопрут, он перемахнул через плетень, отодвинул запор, ввел коня и сам ввалился в избу, где уже заворочались, зажигая огонь, встревоженные стуком люди.

— Что ты? — спросил его председатель, удивленный таким стремительным напором обыкновенно спокойного дяди Серафима.

— А то,— сказал дядя Серафим, бросая на стол смятую клетчатую фуражку, продырявленную дробью и запачканную темными пятнами засохшей крови,— а то, чтобы вы все подохли! Ведь Егор-то никуда и не убегал, а его в нашем лесу убили.

Изба наполнилась народом. От одного к другому передавалась весть о том, что Егора убили тогда, когда, отправляясь из Алешина в город, он шел по лесной тропе на разъезд, чтобы повидать своего друга Ивана Михайловича.

— Его убил Ермолай и в кустах обронил с убитого кепку, а потом все ходил по лесу, искал ее, да не мог найти. А натолкнулся на кепку машинистов мальчишка Петька, который заплутался и забрел в ту сторону.

И тогда точно яркая вспышка света блеснула перед собравшимися мужиками. И тогда многое вдруг стало ясным и понятным. И непонятным было только одно: как и откуда могло возникнуть предположение, что Егор Михайлов — этот лучший и надежнейший товарищ — позорно скрылся, захватив казенные деньги?

Но тотчас же, объясняя это, из толпы, от дверей послышался надорванный, болезненный выкрик хромого Сидора, того самого, который всегда отворачивался и уходил, когда с ним начинали говорить о побеге Егора.

— Что Ермолай! — кричал он.— Чье ружье? Все подстроено. Им мало смерти было... Им позор подавай... Деньги везет... Бабах его! А потом — убежал... Вор! Мужики взъярятся: где деньги? Был колхоз — не будет... Заберем луг назад... Что Ермолай! Все... все... подстроено!

И тогда заговорили еще резче и громче. В избе становилось тесно. Через распахнутые окна и двери злоба и ярость вырывались на улицу.

— Это Данилино дело! — крикнул кто-то.

— Это ихнее дело! —раздались кругом разгневанные голоса.

И вдруг церковный колокол ударил набатом, и его густые дребезжащие звуки загремели ненавистью и болью. Это обезумевший от злобы, к которой примешивалась радость за своего не убежавшего, а убитого Егора, хромой Сидор, самовольно забравшись на колокольню, в яростном упоении бил в набат.

— Пусть бьет. Не трогайте! — крикнул дядя Серафим.— Пусть всех подинмает. Давно пора!

Вспыхивали огни, распахивались окна, хлопали калитки, и все бежали к площади — узнать, что случилось, какая беда, почему шум, крики, набат.

А в это время Петька впервые за многие дни спал крепким и спокойным сном. Все прошло. Все тяжелое, так неожиданно и крепко сдавившее его, было свалено, сброшено. Он много перемучился. Такой же мальчуган, как и многие другие, немножко храбрый, немножко робкий, иногда искренний, иногда скрытный и хитроватый, он из-за страха за свою небольшую беду долго скрывал большое дело.

Он увидал валяющуюся кепку в тот самый момент, когда, испугавшись пьяной песни, хотел бежать домой. Он положил свою фуражку с компасом на траву, поднял кепку и узнал ее: это была клетчатая кепка Егора, вся продырявленная и запачканная засохшей кровью. Он задрожал, выронил кепку и пустился наутек, позабыв о своей фуражке и о компасе.

Много раз пытался он пробраться в лес, забрать фуражку и утопить проклятый компас в реке или в болоте, а потом рассказать о находке, но каждый раз необъяснимый страх овладевал мальчуганом, и он возвращался домой с пустыми руками.

А сказать так, пока его фуражка с украденным компасом лежала рядом с простреленной кепкой, у него не хватало мужества. Из-за этого злосчастного компаса уже был поколочен Сережка, был обманут Васька, и он сам, Петька, сколько раз ругал при ребятах непойманного вора. И вдруг оказалось бы, что вор — он сам. Стыдно! Подумать даже страшно! Не говоря уже о том, что и от Сережки была бы взбучка и от отца тоже крепко попало бы. И он осунулся, замолчал и притих, все скрывая и утаивая. И только вчера вечером, когда он по песне узнал Ермолая и угадал, что́ ищет Ермолай в лесу, он рассказал Ивану Михайловичу всю правду, ничего не скрывая, с самого начала.

## 16

Через два дня на постройке завода был праздник. Еще с раннего утра приехали музыканты, немного позже должны были прибыть делегация от заводов из города, пионерский отряд и докладчики.

В этот день производилась торжественная закладка главного корпуса.

Все это обещало быть очень интересным, но в этот же день в Алешине хоронили убитого председателя Егора Михайлова, чье закиданное ветвями тело разыскали на дне глубокого, темного оврага в лесу.

И ребята колебались и не знали, куда им идти.

— Лучше в Алешино,— предложил Васька.— Завод еще только начинается. Он всегда тут будет, а Егора уже не будет никогда.

— Вы с Петькой бегите в Алешино,— предложил Сережка,— а я останусь здесь. Потом вы мне расскажете, а я вам расскажу.

— Ладно,— согласился Васька.— Мы, может быть, еще и сами к концу поспеем... Петька, нагайки в руки! Гайда на коней и поскачем.

После жарких, сухих ветров ночью прошел дождик. Утро разгоралось ясное и прохладное.

То ли оттого, что было много солнца и в его лучах бодро трепыхались упругие новые флаги, то ли оттого, что нестройно гудели на лугу сыгрывающиеся музыканты и к заводской площадке тянулись отовсюду люди, было как-то по-необыкновенному весело. Не так весело, когда хочется баловать, прыгать, смеяться, а так, как бывает перед отправлением в далекий, долгий путь, когда немножко жалко того, что остается позади, и глубоко волнует и радует то новое и необычайное, что должно встретиться в конце намеченного пути.

В этот день хоронили Егора. В этот день закладывали главный корпус алюминиевого завода. И в этот же день разъезд № 216 переименовывался в станцию «Крылья самолета».

Ребятишки дружной рысцой бежали по тропке. Возле мостика они остановились. Тропка здесь была узкая, по сторонам лежало болотце. Навстречу шли люди. Четыре милиционера с наганами в руках — два сзади, два спереди — вели троих арестованных. Это были Ермолай, Данила Егорович и Петунин. Не было только веселого кулака Загребина, который еще в ту ночь, когда загудел набат, раньше других разузнал, в чем дело, и, бросив хозяйство, скрылся неизвестно куда.

Завидя эту процессию, ребятишки попятились к самому краю тропки и молча остановились, пропуская арестованных.

— Ты не бойся, Петька! — шепнул Васька, заметив, как побледнело лицо его товарища.

— Я не боюсь,— ответил Петька.— Ты думаешь, я молчал оттого, что их боялся? — добавил Петька, когда арестованные прошли мимо.— Это я вас, дураков, боялся.

И хотя Петька выругался и за такие обидные слова следовало бы дать ему тычка, но он так прямо и так добродушно посмотрел на Ваську, что Васька улыбнулся сам и скомандовал:

— В галоп!

Хоронили Егора Михайлова не на кладбище, хоронили его за деревней, на высоком, крутом берегу Тихой речки. Отсюда видны были и привольные, наливающиеся рожью поля, и широкий Забелин луг с речкой, тот

самый, вокруг которого разгорелась такая ожесточенная борьба. Хоронили его всей деревией. Пришла с постройки рабочая делегация. Приехал нз города докладчик.

Из поповского сада вырыли бабы еще с вечера самый большой, самый раскидистый куст махрового шиповника, такого, что горит весной ярко-алыми бесчисленными лепестками, н посадили его у нзголовья, возле глубокой сырой ямы.

— Пусть цветет!

Набрали ребята полевых цветов и тяжелые простые веики положили на крышку сырого соснового гроба.

Тогда подиялн гроб и поиесли. И в первой паре нес прежний машинист бронироваиного поезда, старик Иван Михайлович, который пришел иа похороны еще с вечера. Ои нес в последний путь своего молодого кочегара, погибшего иа посту возле горячих топок революции.

Шаг у старика был тяжелый, а глаза влажные и строгие.

Забравшнсь на бугор повыше, Петька н Васька стояли у могилы и слушали.

Говорил незнакомый нз города, н хотя ои был незнакомый, но ои говорил так, как будто бы давио н хорошо знал убитого Егора и алешииских мужнков и их дома, их заботы, сомнения и думы.

Он говорил о пятилетнем плаие, о машииах, о тысячах и десятках тысяч тракторов, которые выходят и должны будут выйти на бескрайиие колхозные поля.

И все его слушали.

И Васька с Петькой слушали тоже.

Но ои говорил и о том, что так просто, без тяжелых, настойчивых усилий, без упорной, непримнримой борьбы, в которой могут быть и отдельные поражения и жертвы, новую жизнь не создашь н не построишь.

И над еще не засыпаиной могилой погибшего Егора все верили ему, что без борьбы, без жертв не построишь.

И Васька с Петькой верили тоже.

И хотя здесь, в Алешиие, были похороны, но голос докладчика звучал бодро и твердо, когда ои говорил о том, что сегодня праздник, потому что рядом закладывается корпус нового гигаитского завода.

Но хотя иа постройке был праздник, тот, другой оратор, которого слушал с крыши барака оставшийся на

разъезде Сережка, говорил о том, что праздник праздником, но что борьба повсюду проходит, не прерываясь, и сквозь будни и сквозь праздники.

И при упоминании об убитом председателе соседнего колхоза все встали, сняли шапки, а музыка на празднике заиграла траурный марш.

...Так говорили и там, так говорили и здесь потому, что и заводы и колхозы — все это части одного целого.

И потому, что незнакомый докладчик из города говорил так, как будто бы он давно и хорошо знал, о чем здесь все думали, в чем еще сомневались и что должны были делать, Васька, который стоял на бугре и смотрел, как бурлит внизу схватываемая плотиной вода, вдруг как-то особенно остро почувствовал, что ведь и на самом деле все — одно целое.

И разъезд № 216, который с сегодняшнего дня уже больше не разъезд, а станция «Крылья самолета», и Алешино, и новый завод, и эти люди, которые стоят у гроба, а вместе с ними и он, и Петька — все это частицы одного огромного и сильного целого, того, что зовется Советской страной.

И эта мысль, простая и ясная, крепко легла в его возбужденную голову.

— Петька,— сказал он, впервые охваченный странным и непонятным волнением,— правда, Петька, если бы и нас с тобой тоже убили, или как Егора, или на войне, то пускай?.. Нам не жалко!

— Не жалко! — как эхо, повторил Петька, угадывая Васькины мысли и настроение.— Только, знаешь, лучше мы будем жить долго-долго.

Когда они возвращались домой, то еще издалека услышали музыку и дружные хоровые песни. Праздник был в самом разгаре.

С обычным ревом и грохотом из-за поворота вылетел скорый.

Он промчался мимо, в далекую советскую Сибирь. И ребятишки приветливо замахали ему руками и крикнули «счастливого пути» его незнакомым пассажирам.

*1931*

# ПУСТЬ СВЕТИТ

Отец запаздывал, и за стол к ужиину сели трое: босой пареиь Ефимка, его малеиькая сестреика Валька и семилетний братишка по прозванию Николашка-баловашка.

Только что мать пошла доставать кашу, как виезапио погас свет.

Мать из-за перегородки вакричала:

— Кто балуется? Это ты, Николашка? Смотри, идоленок, добалуешься!

Николашка обиделся и сердито ответил:

— Сама не видит, а сама говорит. Это ие я потушил, а, иавериое, пробки перегорели.

Тогда мать приказала:

— Пойди, Ефимка, притащи из сеней лестницу. Да поставь сначала сахариицу на полку, а то эти граждаие в темиоте разом сахар захапают.

Вышел Ефим в сеии, смотрит: что ва беда? И на улице темио, и иа станции темно, и кругом темно. А тут еще иебо в чериых тучах и луиа пропала.

Забежал Ефим в комиату и сказал:

— Зажигайте, мама, коптилку. Это не пробки перегорели, а, наверное, что-нибудь на заводе случилось.

Мать пошла в чулаи за керосином, а Ефимка, разыскивая сапоги, торопливо полез под кровать. Левый сапог иашел, а правый никак.

— Навериое, это вы опять куда-нибудь задевалн? — спросил он у притихших ребятишек.

— Это Валька задевала,— созиался Николашка.— Оиа стащила сапог за печку, воткиула в него веиик и говорит, что это будет сад.

— Ефимка, а Ефимка,— тревожным шепотом спросил Николашка,— что это такое на улице жужукает?

— Я вот вам пожужукаю,— ответил Ефимка. И, выкнув из сапога березовый веник, он с опаской сунул руку внутрь голенища, потому что уже однажды эта негодница Валька, поливая свой сад, вкатила ему в сапог целую кружку колодезной воды.—Я вот ей хворостиной пожужукаю!

Но тут и он замолчал, потому что услышал сквозь распахнутое окно какое-то странное то ли жужжание, то ли гудение. Он натянул сапоги и выскочил из комнаты. В сенях столкнулся с матерью.

— Ты куда? — вскрикнула мать и крепко вцепилась в его руку мокрыми от керосина пальцами.

— Пусти, мама! —рванулся Ефимка и выбежал на крыльцо.

Оглянувшись, он торопливо затянул ремень, надел кепку и быстро побежал темной улицей через овражек, через мостик в гору — в ту сторону, где стоял их небольшой стекольный завод.

В сенях что-то стукнуло. Кто-то впотьмах шарил рукой по двери.

— Кто там? — спросила мать, а Валька и Николашка подвинулись к ней поближе.

— Не спишь, Маша? — послышался дребезжащий старческий голос.

И тогда мать узнала, что это соседка Марфа Алексеевна.

— Какой тут сон,— быстро заговорила обрадованная мать.—И свету нет, и аэроплан гудит, и самого нет. А тут еще Ефимка так и рванулся из рук, как будто бы его кипятком ошпарили.

— Комсомольцы,— с грустью проговорила бабка.

Слышно было, как отодвинула она табуретку и положила руку на клеенчатый стол.

— Вот так и у меня Верка, как потух свет да услыхала она, что гудит, кинулась сразу к двери. Я ей говорю: «Куда ты, дура?.. Ну мужики, ну парнишки... А ты ведь еще девчонка... Шестнадцать годов». А она постояла, подумала. «Бабуня, говорит, не сердись. Это белый аэроплан. Это тревога. У нас сбор... У меня там това-

рицы». Схватила в сенях с гвоздя сумку да как кошка прыгнула. Вот, Маша! Только я ее и видела.

— Сумку-то какую взяла? — спросила мать.

— А бог ее знает! Недавно притащила, сначала в комнате повесила. Да я сказала: «Убери, Верка, в сени, а то вся квартира карболкой пропахнет».

— Это военно-санитарная сумка,— вставил Николашка.— Это когда пробьет человека пулей или рванет его бомбой, вот тогда из этой сумки достают и завязывают. Я уже все узнал.

— Ты да не узнаешь! — вздохнула мать и, услышав, как загромыхал он табуреткой, спросила: — Ну и куда ты, Николашка, лезешь? Ну и что тебе не сидится? Только Валька задремала, а он — грох... грох...

— Мама,— отодвигаясь от подоконника, уже тише спросил Николашка,— а что это такое далеко бубухает: бубух да бубух?

— Где, паршивец, бубухает? — тихо переспросила вздрогнувшая мать.

И от этих глупых Николашкиных слов руки ее ослабли, а маленькая спящая Валька показалась ей тяжелой, как большой камень. Она подвинулась к окошку.

И точно, как порывы шального ветра, как отголоски уже недалекой грозы, что-то вздрагивало, затихало, но это был не ветер и не гроза, это глухо и часто бабахали боевые орудия.

...Чем ближе подбегал Ефим к заводу, тем чаще и чаще попадались ему торопящиеся люди, хлопали калитки, громыхали ворота и тарахтели телеги. Поднимаясь в гору, он нагнал комсомолку Верку.

— Бежим скорее, Верка. Ты не знаешь, где это бабахают?

— Погоди, Ефим! Подержи-ка сумку. Я чулок поправлю. Я уже спать собралась, вдруг — гудит. Насилу от бабки вырвалась.

— Что чулок,— ответил Ефим, забирая пахнувшую лекарствами сумку.— Что чулок! У меня и вовсе один сапог на босу ногу. Скорей бежим, Верка.

У поворота они столкнулись с двумя. Один был незнакомый, длинный, с винтовкой, другой — без винтовки, с наганом.

И тот, который с наганом, был член ревкома Семен Собакин.

— Стойте,— приказал Собакин.— Вы куда? На сбор? Там пока и без вас обойдутся. Бегите скорее на перекресток Малаховской дороги. Сейчас пойдут подводы для беженцев. Сидите, дежурьте и считайте. Пятнадцать подвод сразу на Верхние бугры, и пусть ждут у школы. Десять — по Спасской в самый конец. А все остальные к ревкому.

— Дай винтовку, Собакин,— попросил Ефим.— Раз я дежурный, то давай винтовку.

— Дай ему, Степа,— обернулся Собакин к своему длинному сутулому товарищу.

— Не дам,— удивленно и спокойно ответил товарищ.— Вот еще мода!

— Дай, а я на сборе сейчас же скажу, чтобы тебе другую выдали.

— Не дам! — уже сердито ответил товарищ.— Другая то ли еще будет, то ли нет. А эта на месте.— И, хлопнув ладонью по прикладу, он ловко закинул винтовку через плечо.

— Ну, хоть штык дай,— рассердился торопящийся Собакин.

— Это дам,— согласился товарищ.

И, сняв с пояса, он протянул Ефиму тяжелый немецкий штык в блестящих ободранных ножнах.

— Как бритва,— добродушно сказал он нахмурившемуся Ефиму.— Сам своими руками целый час точил.

...Они добежали до перекрестка темной и пустой дороги.

— Сядем под кустом,— тихо сказал Ефим.— Заодно я в сапог травы натолкаю, а то как бы и вовсе не сбить ногу без портянки.

Свернули и сели. Ефим сдернул сапог и, ощупав рукою траву, спросил:

— А что, Верка, нет ли у тебя в сумке широкого бинта или марли? Тут не трава, а кругом сухая полынь.

— Вот еще, Ефимка! И бинт есть и марля есть, только я не дам: это для раненых, а не на твои портянки.

— Пожалела, дуреха,— рассердился Ефим и, осторожно ступая, пошел в кусты.

Он ожег руку о крапиву. Наколол пятку колючкой. Наконец, нащупав большой лопух, он сел на землю и

стал завертывать босую иогу в широкие пыльные листья.

Он обул сапог и задумался. Еще только позавчера ои спокойно шел по этой дороге. Вот так же булькал ручей. Вот так же тихо иасвистывала пичужка. Но ие грохали тогда орудия. Не полыхало иа чериом иебе зарево и ие гудел издалека тяжелый церковиый колокол: дooи!.. дooи!..

— Казаки,— пробормотал ои, вспомиив клубиые плакаты,— белые казаки.

И вдруг, как будто бы только сейчас, впервые за весь вечер, он по-иастоящему поиял, что это уже ие те безвредиые намалеваииые казаки, что были приляпаны вместе с плакатами иа стеиах ревкома и в клубе, а что это мчатся живые казаки иа быстрых коиях, с тяжелыми шашками и с плетеиыми иагайками.

Ои вскочил и пошел к Верке.

— Верка,— сказал он, крепко сжимая ее руку,— ты что? Ты ие бойся. Скоро пойдем иа сбор, там все иаши.

— Дай ножик, Ефимка. Почему ты так долго?

— На, возьми,— и Ефим протяиул ей холодиый масляиистый клииок иемецкого штыка.

В темноте что-то хрустиуло и разорвалось.

— Бери,— сказала Верка.— Завернешь иогу, лучше будет. Слышишь, стучит? Это, кажется, иаши подводы едут.

— Вот глупая! — выругался Ефим, почувствовав, как вместе с клииком оиа сунула ему в руку что-то теплое и мягкое.— Вот дура. И зачем ты, Верка, свой шерстяиой платок разрезала?

— Бери, бери. На что ои мие такой длиииый? А то собьешь иогу... Нам же хуже будет.

Пятиадцать подвод пошли иа Верхиие бугры. Десять — до коица Спасской. Но последиие подводы сильио запаздывали. И только к полуиочи позабытые всеми Ефим и Верка вериулись к ревкому.

Орудия гремели уже где-то совсем иеподалеку. Вблизи загорелась старая деревия Шуповка. Свет опять погас.

Захлопывались ставни, запирались ворота, и улицы быстро пустели.

— Вы что тут шатаетесь? — закричал появившийся откуда-то Собакин.

— Собакин! Чтоб ты сдох! — со злобой крикнул побелевший Ефимка.— Кто шатается? Где отряд? Где комсомольцы?

— Погоди,— переводя дух, ответил узнавший их Собакин.— Отряд уже ушел. Вы с подводами? Берите две подводы и катайте скорее на Песочный проулок. Там остались женщины и ребята. Сейчас Соломон Самойлов прибегал. Все уехали, а они остались. Оттуда поезжайте прямо к новому мосту. За мостом сбор. Дальше — на Кожуховку. А там наши.

Собакин быстро кинулся прочь и уже откуда-то из темноты крикнул Ефиму:

— Смотри... ты... боевой! Вы отвечать будете, если беженцы с проулка не попадут на место.

— Верка,— пробормотал Ефим,— а ведь это наши остались. Это Самойловы, Васильевы, мать с ребятами, твоя бабка.

— Бабке что? Она старая, ей ничего,— шепотом ответила Верка.— А Самойловым плохо, они евреи.

Крепко схватившись за руки, они побежали туда, где только что оставили две подводы. Но, сколько они ни бегали, сколько ни кричали, подводчик как провалился.

— Едем сами,— решил Ефим.— Прыгай, Верка. А ждать больше некогда.

...На повороте они чуть не сшибли женщину. В одной руке женщина тащила узел, другою держала ребенка, а позади нее, всхлипывая, бежали еще двое.

— Ты, куда, Евдокия? Это за вами подвода! — крикнул Ефим.— Стой здесь и никуда не беги. А мы сейчас воротимся.

Еще не доезжая до дома, он услышал крики, плач и ругань.

— Соломон, где ты провалился? — закричала старая бабка Самойлиха. И с необычайной для ее хромой ноги прытью она вцепилась в Ефимкину телегу.

— Это я, а не Соломон,— ответил Ефим.— Тащите скорее ребят и садитесь.

— Ой, Ефимка! — закричала обрадованная мать.

И тотчас же бросилась накладывать на телегу мешки, посуду, корзинки, ребят, подушки, все в одну кучу.

— Мама, не наваливайте много,— предупредил Ефим.— На дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

— Соломон где? — уже в десятый раз спрашивала Самойлиха.— Он побежал лошадей доставать. Куда же без Соломона?

— Не видел я Соломона. Это мои подводы,— ответил Ефим, и, забежав во двор, он отвязал с цепи собачонку Шурашку.

Вернувшись к первой подводе, он увидел, что мать взваливает ножную швейную машину.

— Мама, оставьте машину,— попросил Ефим.— Где же место? Ведь у меня на дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

— Что, Евдокия?.. Я вот тебе оставлю! — угрожающе и тяжело дыша, ответила мать.— Я тебе, дьяволу, покажу, как бегать...— И, кроме машины, она бухнула на телегу помятый медный самовар.

— Бросьте машину! — с внезапной злобой вскрикнул Ефимка. И, вскочив на телегу, одним пинком он сшиб самовар, потом рванул за край машину и сбросил ее на дорогу.

— Верка! — крикнул он, отталкивая оцепеневшую мать.— Бери вожжи. Сейчас трогаем.

Трах-та-бабах!..— грохнуло где-то уже совсем неподалеку.

— Соломон! — застонала старуха Самойлиха.— Как же мы без Соломона?

— Некогда Соломона... Найдется... Не маленький... Верка, поехали.

Трах-та-бабах!..— грохнуло где-то еще ближе.

Быстро захватив на перекрестке Евдокию Васильеву с ребятишками, Ефим с силою ударил вожжами.

И тогда обе телеги, гремящие чайниками, корзинами, кастрюлями, жестянками, рванулись вперед по пыльной опустевшей дороге.

Трах-та-бабах!..— ударило еще три раза подряд.

Ошалелые кони шарахнулись в сторону. Собачонка Шурашка метнулась в проулок. А Ефимка рванул вправо, потому что возле нового моста уже загорелась разбитая снарядами ветхая извозчичья халупа.

У противоположной окраины поселка кое-как они перебрались через старый, прогнивший мостик... Когда они очутились на другом берегу, то мать замолчала, бабка заплакала, Евдокия перекрестилась, а Ефимка сразу же круто свернул в лес.

Дорога попалась узкая и кривая. Близилось утро, но в лесу было еще так темно, что только по стуку колес Ефимка угадывал, что вторая подвода идет следом.

Ефим подстегнул коня, и телеги выкатили на просторную светлеющую опушку.

И тут Ефим понял, где они. Кожуховка-то, в которую собирались отряды и беженцы, была где-то далеко, влево за лесами, а впереди совсем близко дымило трубами уже проснувшееся село Кабакино. Но, угадав, куда они выехали, Ефим вовсе не обрадовался. Он попридержал коня и задумался.

— Кабакино,— тихо сказал он Верке, показывая рукою на окутанное туманами серое и угрюмое село.

— Что ты? — испуганно переспросила Верка.

— Оно самое. Видишь, колокольня с золоченым крестом. Это ихняя, другой нет.

— Куда, господи, занесло! — в страхе сказала мать.— Что же мы теперь делать будем, Ефимка?

— А я почем знаю,— сердито ответил Ефимка, очищая кнутом замазанные дегтем сапоги.— То ругаться, а теперь — что, что? Подержи-ка вожжи, Верка.

Он спрыгнул и пошел к опушке. У опушки остановился и стал присматриваться: нет ли другой дороги, чтобы миновать стороною это опасное село.

Это было село богатых садоводов, то самое знаменитое Кабакино, в котором полгода тому назад погиб весь первый взвод Тамбовского продотряда и возле которого только две недели тому назад разбили бомбами легковую машину губпродкома. И теперь, когда кругом шныряли прорвавшиеся через фронт казаки, чего хорошего могли ожидать беженцы на этом незнакомом пути?

Но влево никакой дороги не было.

И вдруг Ефимка увидел, как со стороны Кабакина выезжают навстречу три подводы, а сбоку подвод гарцует на конях кучка черных всадников. Тогда, отскочив назад и низко пригибаясь, как будто бы кто-то уда-



«ВОЕННАЯ ТАЙНА»



«ВОЕННАЯ ТАЙНА»

рил его палкой по животу, Ефимка помчался к подводам.

Он схватил за узду и круто заворотил телегу.

— Гони, Верка! Да замолчите, чтобы вы сдохли! — крикнул он, услыхав, как дружно заорали разбуженные рывками и толчками ребята.

И, подскакивая на выбоинах и ухабах, обе подводы покатили назад. Так катили они долго, Ефимка молча нахлестывал измотавшегося коня и оборачивался по сторонам, отыскивая, куда бы свернуть с дороги.

Наконец он заметил маленькую тропку.

...Задевая за пни и корни, подводы тихо подвигались по узенькой кривой тропинке. Иногда деревья склонялись так низко, что дуги лошадей с шорохом цеплялись за спутанные ветви.

Давно уже и далеко позади простучали и стихли колеса кабакинских подводчиков, но беженцы шаг за шагом всё глубже и глубже забирались в чащу леса.

Наконец ветви раздвинулись. Сверкнуло солнце. И подводы тихо въехали на маленькую круглую поляну.

Здесь тропка оканчивалась. Здесь нужно было остановиться, отдохнуть и подумать, что же делать дальше.

Остановились и стали разбираться.

— Доехали, Верка,— невесело сказал Ефим, бросая вожжи и устало подсаживаясь на сухое трухлявое бревно.

Они молча посмотрели друг на друга.

Лицо Ефимки горело и было в красных пятнах, как будто бы он только недавно упал головой в крапиву. Рубаха — в пыли, сапоги — в грязи. И только ободранные ножны штыка у пояса сверкали на солнце, как настоящие серебряные.

В черных косматых волосах Верки запутались сухие травинки и серо-красная голова репейника. От шеи к плечу тянулась яркая, как после удара хлыстом, полоска. А смятое ситцевое платье было разодрано от бедра до колена.

Верка взяла ведро и пошла за водой. Ходила она долго, но хорошей воды не нашла и принесла из болота. Вода была прозрачная, но теплая и пахла гнилушками.

Пришлось разводить костер и кипятить. Ефим распряг коней и повел поить.

— Где вода? — спросил Ефим у Верки, которая, укрывшись мешком, сидела и гадала, как бы зачинить разлохмаченное платье.

— Пойдем, я сама покажу... Все равно скоро не зачинишь,— сказала она, показывая на схваченные булавками лохмотья.— Посмотри-ка, Ефимка, что это у меня на шее?

— Ссадина, — ответил Ефим.— Здоровенная. Ты крепко зашиблась, Верка?

— Плечо ноет, да колено содрано. А тебе меня жалко, что ли?

— Ладно еще, что вовсе голову не свернуло,— огрызнулся Ефим.— Я ей говорю: «Бежим скорее!» А она: «Погоди... чулок поправлю». Вот тебе и нарвалась на Собакина. Ребята в отряде. Все вместе... кучей. А ты теперь возись, как старая баба, с ребятами.

— Ефимка! — помолчав, сказала Верка.— А ведь белые казаки бьют всех евреев начисто.

— Не всех. Какой-нибудь банкир... Зачем им его бить, когда они сами с ним заодно. Ты бы лучше книжки читала, чем по вечеринкам шататься, а то иду я, сидит она, как принцесса, да семечки пощелкивает. А возле нее Ванька Баландин на балалайке... Трынди-брынди...

— У Самойловых отец не банкир, а кочегар,— покраснела Верка.— У Евдокии Степан в пулеметчиках, взводный, что ли! Да и Вальку с Николашкой тоже было бы жалко. А ты заладил... Собакин... Собакин...

— Почему «тоже бы»? — обозлился догадавшийся Ефим. И, чтобы обидеть ее, он с издевкой напомнил: — Как на собрании, так она дура дурой, а тут: «тоже бы». Ее спрашивают, кто такой Фридрих Энгельс. А она думала, думала, да и ляпнула: «Это, говорит, какой-то народный комиссар...»

— Забыла,— незлобиво сознадась Верка.— Я его тогда с Луначарским спутала.

— Как же можно с Луначарским? — опешил Ефимка.— То Фридрих Энгельс, а то Луначарский. То в Германии, а то в России. То жив, а то умер.

— Забыла,— упрямо повторила Верка.— Я мало училась.— И, помолчав, она хмуро сказала: — А что нам с тобой ссориться, Ефимка? Ведь ото всех наших мы с тобой только одни остались.

Вскоре заполыхал костер, зашумел чайник, забурлила картошка, зафыркала каша, и все пошло дружно и споро.

А когда разостлали брезент на траве и, голодные и усталые, сели обедать всем табором, то показалось, что среди этой звонкой лесной тишины забыли всё — и о своей неожиданной беде и о своих тяжелых думах.

Но как ни забывай, а беда висела не пустяковая: куда идти, как выбираться?

И когда после обеда маленькие ребятишки завалились спать, то собрались вокруг Ефимки и ворчливая бабка, и тихая Евдокия, и глубоко оскорбленная Ефимкой мать.

И так прикидывали и так думали... Наконец решили, что пока все останутся на месте, а Ефимка пойдет через лес разведывать дорогу. Идти никуда Ефимке не хотелось, а крепко хотелось ему спать. Но он поднялся и подозвал Николашку, который тихонько подслушивал, о чем говорят старшие.

— Возьми, Николай,— отстегивая штык, сказал Ефимка,— повесь его на пояс. И будешь ты вместо меня комендантом.

— Зачем? — спросила мать.— На что такое баловство? Еще зарежется. Дай, Николашка, я спрячу.

Но, крепко сжав штык, Николашка отлетел чуть ли не на другой конец поляны, и мать только махнула рукой.

— Спрячь, Верка,— позевывая, сказал Ефим,— подавая ей клеенчатый бумажник, из которого высовывался рыжий комсомольский билет.

— Зачем это? — не поняла мать. И вдруг, догадавшись, она нахмурилась и сказала, не глядя Ефимке в глаза: — Ты, Ефимка, того... Поосторожней...

— Как бы ночевать не пришлось,— дотрагиваясь до почерневших жердей, сказал Ефим.— Наруби-ка ты, Верка, с комендантом веток да зачините у шалаша крышу. А то ударит гроза, куда ребятишек денем!

Переобув сапоги, он подошел к телегам, похлопал каурого конька по шее, взял с воза ременный кнут и, посмотрев на солнышко, пошел, не оборачиваясь, в лесную гущу.

— Кабы грозы не было,— сказала Евдокия, поглядывая на небо,— ишь, как тучи воротит.

Верка одернула наспех зашитое платье и, вспомнив Ефимкино приказание, крикнула Николашке, чтобы он бежал к ней со штыком рубить ветки и чинить худой шалаш.

На кусты налетели целой ватагой: Николашка, Абрамка, Степка. Вскоре навалили целую гору. Закидали дыры, натащили внутрь большие охапки пахучей травы, занавесили ход. И, еще не дожидаясь наступления грозы, ребятишки один за другим дружно полезли в шалаш.

Небо почернело. Кони насторожено зашевелили ушами. На притихшую зеленую полянку опускались тревожные сумерки.

Лежа у костра и изредка поправляя горячие картофелины, Верка вдруг подумала: «А что же будет, если казаки ударят так сильно, что не справится с ними и погибнет вся Красная Армия? Какая тогда будет жизнь?»

Костер совсем погас, угли подернулись пеплом, и только одна головешка, черная и корявая, тихонько потрескивая, чадила едким и синеватым дымком.

И тут же, кто его знает почему, Верка вспомнила, как давно однажды пришел ее отец веселый, потому что был праздник,— или родился, или женился какой-то царь. И отец сказал, что на радостях дяде Алексею назначили досиживать в тюрьме не полтора года, как оставалось, а всего только восемь месяцев.

Все обрадовались, а Верка всех больше. Потому что раньше, когда дядя Алексей еще не сидел в тюрьме, он часто приходил в гости и дарил Верке или копейку, или пряник. А однажды на именины он подарил ей голубую блестящую ленту, такую невиданно красивую, что перепуганная от радости Верка, схватив подарок, как кошка умчалась на чердак и не слезала до тех пор, пока мать не прогнала ее оттуда веником.

«Нет, не может быть, чтобы разбили...» — подумала она. И опять вспомнила, как однажды, уже после смерти отца, мать взяла ее с собой в один дом на кухню.

Когда мать стирала белье, дверь тихонько отворилась и, лениво позевывая, на кухню вошла огромная и гордая собака. Она подошла к углу, где стояла широкая тяжелая миска, сняла зубами крышку и достала большой кусок сочного вареного мяса. Широко вылупив глаза и боясь пошевельнуться, Верка смотрела на то, как

спокойно, почти равнодушно съела собака этот кусок, потом сама накрыла миску крышкой и, не глядя ни на кого, так же лениво и гордо ушла в глубину тяжелых прохладных комнат.

«Нет, не погибнет! — опять успокоила себя Верка.— Разве же можно, чтобы погибла?»

Дым от головешки попал ей в лицо. Верка сощурилась, протирая глаза кулаком, и перед нею всплыло беззлобное лицо тихой побирушки Маремьяны, муж которой, стекловар, умер от ожога на заводе. Эта побирушка ходила под окнами и робко просила милостыню, но когда добиралась она до крыльца Григория Бабыкина, который был хозяином стекольного завода, то, крестясь и страшно ругаясь, грозно стучала палкой в тяжелые ворота.

И тогда Григорий Бабыкин высылал дворника Ермилу. А дворник Ермила, тихонько подталкивая побирушку, бормотал хмуро и виновато: «Уходи, Маремьяна. Мне что... Я человек нанятой. Уходи от греха. Видно, уж бог вас рассудит».

— Разве же можно, чтобы погибла?— убежденно повторила Верка и сердито хлопнула по голому плечу, в которое больно кололи черные невидимые комары.

— Что одна? Посидим вместе,— раздался за ее спиной знакомый голос.

— Ефимка... Дурак! — вскрикнула испуганная Верка.

И, не зная, что сказать от радости, она схватила его за плечи, потом выхватила из-под пепла костра две горячие картофелины и, перекатывая их на ладонях, протянула ему:

— Садись. Ешь. Это я для тебя испекла. Я-то жду, жду, а тебя нет и нет.

— И то дело,— устало опускаясь на траву, согласился Ефимка.— Есть хочу как собака.

Заслышав голоса, вылезла мать, за нею Евдокия, и даже бабка Самойлиха, которая никак не могла уложить Розку, высунула из шалаша седую голову.

Но в том, что рассказал Ефимка, хорошего было мало. От встретившегося старика пастуха он узнал, что — один с утра, другой к полудню — проскакали по дороге два казачьих разъезда, что впереди, в Кабакине, бушует белая банда.

Значит, оставалось только одно: бросить телеги, навьючить коней и двигаться к Кожухову через леса, через овраги пешком.

Все замолчали.

— Ефим,— предложила мать,— а что, если попробовать выбраться по-другому?

— Как еще по-другому? — удивился Ефимка.

— А так. У нас на лбу не написано, что мы беженцы. Мало ли кто. Ну, из голодающей губернии... ну, погорельцы. Женщины да ребята. Кто нас тронет?

— Нельзя, — насторожилась Верка. — Самойловы евреи. А белые казаки бьют их начисто.

— Ну, так давайте тогда разделимся,— рассердилась мать,— и пусть каждый идет сам по себе. Если мы целым табором, так нас каждый заметит, а по отдельности куда как легче будет.

— Так нельзя,— опять перебила Верка и с удивлением посмотрела на молчавшего Ефимку.

— Тебя не спрашивают,— оборвала ее мать.— А двадцать верст с ребятишками по оврагам, болотам да лесом — это разве можно? Ты думаешь, мне добра жалко? Мне не жалко, бог с ним. Можно одну телегу Евдокии отдать, другую —Самойлихе. А мы и так потихоньку доберемся. Где я Вальку поднесу, где ты, Ефимка, поможешь.

Ефимка молчал, но он видел, как сбоку все больше и больше высовывается седая трясущаяся голова Самойлихи и как яростно укачивает Самойлиха плачущую Розку, стараясь не пропустить ни слова.

— Дура ты! — вполголоса сказал Ефимка и поднялся от костра.

— Это кто дура? — переспросила притихшая мать.

— Ты дура. Вот кто! — злобно выкрикнул Ефимка и, ударив кулаком любопытного каурого конька, плюнул и пошел к телегам.

— Что ты, Ефимка? — спросила Верка, подходя к нему в то время, когда он стаскивал с телеги брезентовое полотнище.

— Ничего. Спать надо,— коротко ответил Ефимка.— Укрываться чем будем?

Когда Верка притащила широкую жесткую дерюгу, Ефимка, сидя на разостланном брезенте, перематывал портянки.

— Чтоб он пропал, этот Собакин! — опять выругался Ефимка и озабоченно спросил: — Розка-то чего орет? Только еще не хватало, чтоб заболела.

Легли рядом, укрылись дерюгой и замолчали.

Черные тучи, которые так беспросветно обложили вечером горизонт, тяжело и упрямо двигались на запад, обнажая холодное, блистающее звездами небо.

И вдруг среди великого множества Верка узнала одну знакомую звезду. Верка повернулась на спину, чтобы получше рассмотреть, не ошиблась ли. Нет, ошибки не было. Так же, крючком, стояли три звезды справа, четыре слева. Сверху не то змейка, не то блестящий птичий клюв, а посредине сияла спокойная, светлая, голубая — та самая, которую видела однажды Верка из окна, когда лежала она на жесткой койке тифозного барака.

— Ефимка,— с любопытством сказала, повернувшись на бок, Верка,— а какой, по-твоему, будет социализм? Ну вот, например, то так люди жили, а то будут как?

— Еще что! — сонным голосом отозвался Ефимка.— Как будут? Да очень просто.

— Ну, а все-таки. Как просто? То, например, работаешь, работаешь, пришла получка — получил, потом истратил, потом опять работаешь, потом воскресенье. Пошел гулять, или пить, или в гости, потом опять работаешь, потом опять воскресенье. Или, скажем, мужик... Смолотил он пшеницу, свез в город, купил корову, потом корова сдохла. Вот он опять посеял... У одного уродилась, он еще корову купил. А у другого или не уродилась, или градом побило...

— Почему же это сдохла? — удивился и не понял Ефимка.— Ты бы лучше книжки читала. А то: не уродилась... сдохла... Мелешь, а сама что, не знаешь.

— Ну, пускай не сдохла,— упрямо продолжала Верка.— Все равно. Я, Ефимка, книжки читала. И программу коммунистов. Самое-то главное я поняла. А вот как по-настоящему все будет — этого я еще не поняла. Ну, скажем, один рабочий хорошо работает, другой плохо. Так неужели же им всего будет поровну?

— Спи, Верка,— почти жалобно попросил Ефимка.— Что я тебе, докладчик, что ли? Нам вставать чуть свет. Тут еще казаки... война. А она вон про что.

— Интересно же все-таки, Ефимка,— разочарованно ответила Верка и, дернув за край дерюги, обидчиво спросила: — Что же это ты, Ефимка, на себя всю дерюгу стащил? У тебя ноги в сапогах, а у меня совсем голые.

— Вот еще! Чтоб ты пропала! — заворчал Ефимка. И, сунув ей конец дерюги, он отвернулся и сердито закрыл лицо фуражкой.

Проснулся Ефимка оттого, что кто-то тихонько поправил ему изголовье.

Открыл глаза и узнал мать.

— Ты что? — добродушно спросил он.

— Ничего,— позевывая, ответила мать и села рядом.— Так что-то не спится. Лежу, думаю. И так думаю и этак думаю. А что придумаешь? Тошно мне, Ефимка!

— Хорошего мало! — согласился Ефимка.— Всем плохо. А мне, думаешь, весело?

— Тебе что! — с горечью продолжала мать.— Что ты, что она — ваше дело десятое. Ей пятнадцать, тебе шестнадцать. А мне сорок седьмой пошел. Вот сплю, проснулась — смотрю... что такое? Кругом лес... шалаш. Ни дома, ни Семена. Ребятишки в траве, как котята, приткнулись. Вышла — гляжу, ты валяешься под дерюгою. Господи, думаю, зачем же это я тридцать лет крутилась, вертелась... Все старалась, чтобы как у людей, как лучше. И вдруг что же... Погас свет. Зажужжало, загрохало. И не успела я опомниться, как на, возьми... шалаш, лес. И как будто бы все эти тридцать лет так разом впустую и ухнули.

Мать замолчала.

— Сапоги-то отцовские утром переодень,— равнодушно предложила она.— Сапоги новые, малы ему. Всё на муку променять хотела. Теперь все равно бросать, а тебе как раз впору.

— Это хорошо, что сапоги,— обрадовался Ефимка.— Да ты, мама, не охай. Вот погоди, отгрохает война — и заживем мы тогда по-новому. Тогда такие дома построят огромные... в сорок этажей. Тут тебе и столовая, и прачечная, и магазин, и все, что хочешь,— живи да работай. Почему не веришь? Возьмем да и построим. А над сорок первым этажом поставим каменную башню, красную звезду и большущий прожектор... Пусть светит!

— А куда он светить будет? — с любопытством, высовывая из-под дерюги голову, спросила Верка.

— Ну, куда? — смутился застигнутый врасплох Ефимка.— Ну, никуда. А что ему не светить? Тебе жалко, что ли?

— Не жалко,— созналась Верка.— Я и сама люблю когда светло. Пусть светит!

Верка хотела было уже поподробней выспросить Ефимку, как будет и что, но тут ей показалось, что Ефимкина мать тихонько плачет. Тогда она сунула голову под дерюгу и замолчала.

Догадавшись, о чем мать собирается говорить, притворился сонным, замолчал и Ефимка.

Мать посидела, вздохнула, встала и ушла в палатку.

— Это она на меня за Самойлиху обиделась,— вполголоса объяснил Ефим и, закрывая голову, угрожающе предупредил: — А если ты, Верка, опять со мной начнешь разговаривать, то я спихну тебя с брезента и спи тогда, где хочешь.

Утром, разбирая и скидывая ненужный скарб, старуха Самойлиха нашла в телеге под соломой ободранную трехлинейную винтовку.

Как она сюда попала, этого никто не знал.

И обрадованный Ефим решил, что винтовку забыл потерявшийся подводчик.

Все домашнее барахло — мешки, узлы, зимнюю одежду — стащили в гущу орешника, закрыли брезентом, закидали хворостом на тот случай, если приведет судьба вернуться.

На каурого конька сложили одеяла, сумки с остатками провизии, котелок, ведро и чайник. А сбоку тощей коняки ухитрились приспособить старенькую плетеную корзину. Сунули в нее подушку и посадили двоих несмышленых малышей.

— Сейчас трогаем,— сказал Ефим, закидывая винтовку за плечо.— А где Верка?

— Здесь, здесь! Никуда не делась,— откликнулась Верка, выбегая из-за куста.

Взамен вчерашнего рваного платья на ней была короткая юбка клешем и синяя блузка-матроска.

— Ишь ты, как вырядилась. Откуда это? — удивился Ефим.

— Бабка в узелок сунула. Выбрасывать, что ли? — задорно ответила Верка, на ходу пристегивая подвязки к новым чулкам.

И тут Ефимка увидел, что не только одна Верка, но и его мать и тихая Евдокия тоже были наряжены в новые башмаки и платья.

— Как к празднику,— усмехнулся Ефим и, хлопнув кнутовищем по высоким голенищам новеньких отцовских сапог, обернулся к ребятишкам и скомандовал: — А ну, кавалерия... Давай вперед!

Сначала было неплохо. Мальчишки шныряли по кустам, подбирая грибы, выламывая хлыстики и общипывая грозди ярко-красных волчьих ягод.

Но вскоре дорога ухудшилась. Попадались болотца, потом овраги, не крутые, но частые, после которых приходилось останавливаться на роздых и перевязывать кое-как приторочениые вьюки.

Уже спускались сумерки, когда усталые, измотанные беженцы очутились опять без дороги в таком густом лесу, что ни клочка неба, ни единой звездочки нельзя было разглядеть сквозь шатер шумливой листвы.

Наспех выбрали бугорок посуше. Кое-как раскидали оставшееся барахло, вздули костер, и весь табор сразу же завалился спать.

Первой проснулась Верка. Вздрагивая от холода, она пробралась к костру. Несколько крупных капель упали на ее плечи. Рванул ветер. И с тяжелыми перегудами и перекатами загремели невиданные тучи.

Сгрудили ребятишек кучею. Накрыли их брезентовым полотнищем и, укрывшись кто чем попало, спрятались под дерево сами.

Гроза стихла только к рассвету. Все перемокли, продрогли, но вокруг не оставалось ни клочка сухой травы. Чтобы хоть немного согреться на ходу, решили сейчас же двигаться дальше. Но тут явилась новая беда. Испуганная ночною грозою, сорвалась с привязи и пропала куда-то их старая кляча. Мокрый каурый конек ходил рядом, а клячи не было.

Долго рыскал Ефимка по лесу. Кидался то в одну, то в другую сторону. Свистел, покрикивая, прислушивался — и все без толку.

Спускаясь по глинистому скату, он поскользнулся и шлепнулся в холодную липкую грязь. Молча выбрался, сел на пенек и опустил голову.

— Что, брат, попался! — тихо пробормотал Ефимка, зажмуривая красные, опухшие глаза.

— Ефимка,— сказала Верка, выбегая ему навстречу,— а тут совсем рядом дорога.

— Какая дорога, откуда?

— Не знаю. Я тоже бегала искать коня. Вдруг гляжу — дорога. На дороге чья-то убитая лошадь. В кустах телега. А под телегой двое — старик и мальчишка.

— Подожди здесь, Верка,— сказал Ефимка, когда выбрались они к дороге.

Он выглянул. Свесив морду в придорожную канаву, валялась мокрая серая лошаденка. Тут же рядом, у телеги, на соломе сидели старик и небольшой парнишка. Заметив человека с винтовкой, парнишка забеспокоился. Но старик, повернув голову, продолжал сидеть не двигаясь.

— Здравствуй, дедушка,— сказал Ефим, оглядываясь по сторонам и пытаясь угадать, что же это тут произошло.

— Здравствуй, коли здороваешься,— хриплым басом ответил старик.— Откуда в такую рань бог несет?

— Не здешний,— ответил Ефимка.—Ты скажи, куда эта дорога идет?

— Разно куда идет. Один конец в одну сторону, другой — в другую. Тебе куда надо?

— Мне? — И Ефим запнулся.— Мне никуда не надо. Я так спрашиваю.

— Ну, а никуда, так и гуляй по лесу. На что тебе дорога? — грубо ответил старик и, нахмурив косматые брови, прямо и безбоязненно спросил: — Это из вашей, что ли, банды мне коня ночью угробили? Я с парнишкой еду, вдруг: «Стой! Кто едет?» Потом бах, бах... Погодите, разбойники, добабахаетесь.

Старик тяжело повернулся и продолжал:

— Банда-то ваша откуда, кабакинские? Кто у вас там верховодит, Гришка Кумаков, что ли? Так и скажи ты этому Гришке, что повесить его, подлеца, мало. Что же ты молчишь? Рот разявил? Или ты думаешь, я винтовки твоей испугался?

— Мне Гришка Кумаков не нужен,— ответил Ефимка, с уважением разглядывая этого крепкого старика.— Ты скажи лучше, как бы это мне поскорее да похитрее на Кожуховку выбраться.

— Так бы и говорил, что на Кожуховку,— помолчав, ответил старик и охотно рассказал Ефимке, куда ему надо держать путь.

Вернулся тогда Ефимка в табор, напоил каурого коня, из подушки и веревок смастерил плохонькое седлышко, приладил за плечи винтовку и сунул в карман кусок хлеба.

Молча обступили его всем табором. Теперь оставалась только одна надежда, что сумеет Ефимка пробраться в лес, переплыть через реку и доберется до Кожуховки с просьбой о подмоге.

Провожала его Верка до самой дороги. Здесь они остановились.

— Ступай,— сказал Ефимка.— Коли не вернусь к ночи, то попробуй пробраться сама. Ну, иди... Чего же ты стала, как столб!

— Ефимка,— дотрагиваясь рукою до веревочного стремени, тихо сказала Верка,—ты смотри. Если с тобою что-нибудь случится, то и мне и всем нам будет тебя очень-очень жалко.

— А мне вас, дура, разве не жалко! — сердитым и дрогнувшим голосом выкрикнул Ефимка и ударил по коню каблуками.

Высунувшись из-за кустов, Верка видела, как быстро помчался он по сырой дороге. Остановился у ветхого мостика через ручей, оглянулся назад и, махнув ей рукой, круто свернул в лес.

Стало теперь как-то пусто, тихо и уныло в таборе. Никто уже не покрикивал, не поругивался, не распоряжался. Пригреваемые солнышком, уснули, продрогнув за ночь, ребятишки. Еле-еле разгорался сырой костер.

К вечеру опять где-то загремело, загрохотало. Потом по дороге с шумом и звоном промчалось несколько всадников.

Тогда потушили костер и собрались все в кучу.

Ждали, очень крепко ждали и надеялись они на своего хорошего и смелого парня — на Ефимку.

...Свернув с дороги в лес, Ефимка вскоре очутился на той тропке, о которой рассказал ему старик. Здесь было тихо и пусто. Бойко и задорно поддавал ходу каурый конек.

Рысью промчались они мимо густых зарослей осинника. Разбрызгивая грязь, пролетели они хлюпкое болотце. Потом на горку — по сухому песку. Потом поворот... Еще поворот. Мимо ушей посвистывал теплый влажный ветер. Ефимка покрепче надвинул фуражку, поправил на скаку винтовку и улыбнулся, радуясь тому, как быстро и просто остаются позади версты.

Опять поворот, еще поворот. Вдруг что-то грохнуло, и, едва не перелетев через голову коня, Ефимка остановился.

Не дальше как в сотне шагов от него, там, где тропка перекрещивалась с дорогою, стояли три всадника. И двое из них старательно целились вверх, сбивая выстрелами изоляционные чашечки телеграфных проводов.

И не успел Ефимка опомниться, как одна пуля с визгом пронеслась мимо его головы, а другая чуть не вышибла его из седла, крепко рванув приклад перекинутой за плечи винтовки.

Тогда Ефимка пригнулся так, что едва не обхватил руками шею каурого, и опомнился только после того, как почувствовал, что каурый тихо шагает среди низкорослого болотистого леса.

Ефимка остановился. Шапки на нем не было. Кусок приклада был вырван пулей. Потрогал мокрый лоб — пальцы покраснели. Вероятно, на скаку содрал он кожу о сухую ветку. Посмотрел на солнце. Солнце висело теперь уже не слева от него, а впереди и чуть справа.

«Как же выбираться? Плутать буду»,— с тревогой подумал Ефимка.

В сырой прохладе однотонно, как нечаянно тронутая струна, звенела болотная мошкара. Далеко и грустно куковала кукушка.

...Что же ты нам клялся до зари,
Что ж ты обещался, говорил...—

опять вспомнил Ефимка ту самую немудреную песенку, которую еще так недавно пели заводские девчата, возвращаясь с комсомольской вечёрки.

А теперь, поникнув бледной головой,
Ты стоишь, проклятый, сам не свой

Все тогда пели, и Верка пела, и он подпевал тоже. И тут Ефимка почувствовал, как крепче и крепче колотится его сердце, как горячей, ярче краснеет его лицо и как тяжелая и гордая злоба начинает давить ему пересохшее горло. Был завод, школа, дом, комсомол, песня. А теперь ничего, кроме этих усталых женщин да побледневших, измученных ребятишек, которые его ждут, на него надеются, в то время как он тут без толку месит грязь в болоте.

— Ах, собаки!.. Ах, императоры!..— незаметно для себя так же протяжно и с той же злобою повторил он, как и тот избитый бандитами мужик, который встретился недавно в лесу.

Ефим спрыгнул с коня. Плеснул болотной водою на окровавленный лоб. Подтянул седло и поправил винтовку.

Солнце опять стало слева. Славный каурый двинул рысью. И слегка сгорбившемуся Ефимке вдруг показалось, что теперь уже никто и ничто не сможет помешать ему пронестись, пробиться, прорваться к своим — в Кожуховку.

Конь вынес его на ту же тропку. Вскоре засверкало широкое поле. Вправо на бугорке виднелся хутор. Кто-то махал Ефиму шапкой и кричал, по-видимому приказывая остановиться. Вскоре трое верховых, отделившись от ограды, кинулись за ним вдогонку. Первая пуля слабо взвизгнула где-то высоко и в стороне. Потом вторая.

«Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь!» — злорадно подумал Ефимка, заскакивая на опушку негустой рощицы. И вдруг он увидел, что рощица быстро расступается. Внизу под горкой голубеет спокойная широкая река, а за рекой, за просторными лугами раскинулось на горе село Кожухово.

Вот они — мельница, колокольня, старый барский дом над обрывом, а на высоком шпиле дома бодро колышется еле-еле заметный отсюда красный флаг.

Ти-у! — опять взвизгнула пуля, но теперь уже неподалеку.

— Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь,— гордо повторил Ефимка и вместе с конем бултыхнулся в воду.

Холодная вода залила сапоги. Еще несколько шагов, и вода подошла к седлу. Слева и справа от коня полетели брызги. Тогда, не раздумывая, Ефимка свалился в воду, ухватился за гриву, и облегченный каурый, высоко подняв морду, рванулся вплавь.

Только что успели они выскочить к кустам на берег, как вдруг каурый вздрогнул, поднялся на дыбы, упал на колени. Он попробовал встать, но не встал, а грузно повалился на бок, задергал ногами и захрипел. И тотчас же Ефимка услышал плеск воды.

— Ах, вот как! — стиснув зубы, гневно пробормотал Ефимка. И, низко пригибаясь, он пополз обратно к берегу.

Отсюда, из-за куста, ему было видно, как три всадника один за другим уверенно спускались в воду.

Тогда, сдерживая дыхание, Ефимка медленно оттянул предохранитель и нацелился в грудь первого. Но рука дрожала и не слушалась. Он положил качающееся дуло на сук, нацелился с упора и, невольно зажмурившись, выстрелил.

Когда он открыл глаза, то увидел, что двое поспешно поворачивают назад, а одинокий конь, фырча и отряхиваясь, уже выбирается на этот берег.

Конь был буланый, белогривый, седло добротное, казачье, и Ефимка крепко вцепился в мокрый ременный повод.

Солнце светило ему прямо в лицо, и, сощурившись, никого не видя, Ефимка домчался до кладбищенской ограды, где его сразу же окликнули и остановили.

Он не знал пароля и от волнения ничего не мог объяснить. Тогда его спе́шили, отобрали винтовку и вместе с винтовкой и конем повели в штаб.

Но шаг за шагом он начал приходить в себя. Телеги, подводы, походная кухня, распахнутые ворота, оседланные кони, пулеметные двуколки, и вдруг откуда-то шарахнула песня — знакомая, такая близкая и родная.

Ефимка поднял глаза на своего конвоира и улыбнулся.

— Чего смеешься? — удивился долговязый головастый парень и настороженно приподнял винтовку.

— Хорошо! — сказал Ефимка и больше ничего не сказал.

— Этто правда,— снисходительио согласился парень.— Казаков-то из-под Козлова вчера ох как шарахнули!

Вдруг пареиь отпряиул н вскииул виитовку, потому что Ефимка вскинулся н круто свернул вправо, где стояла кучка комаиднров.

— Собакии! Чтоб ты пропал! — громко и радостно выругался Ефимка.

— Ты! Отку-у-уда? — развел руками Собакин.

— Отту-уда! — передразиил его Ефимка.— Наши здесь? Отец здесь? Самойлов здесь?

— Здесь... Все здесь...— ответнл Собакии н, обериувшись к долговязому конвоиру, он иасмешлнво крнкнул: — Да ты что, ворона, винтовку на иас наставил? Смотрн, убьешь, кто хороиить будет?

Уже совсем ночью сорок всадников тихо подвигалнсь по дороге, сопровождая телеги с разыскаиными бежеицами.

Несмотря на то что ои встал с рассветом и с тех пор почтн ие сходил с коня, спать Ефнмке ие хотелось.

Где-то за чериымн полями разгоралось зарево, и оттуда доиосились отголоски орудийных взрывов.

— В Кабакине,— негромко сказал начальиик отряда.— Это четвертый Доиецкий полк дерется.

— Так я остаиусь? — уже во второй раз спроснл у иачальннка Ефимка.

— Где остаиешься?

— У вас в отряде, вот где. Коиь у меия есть, седло есть, виитовка есть. Отчего мие ие остаться!

— Эх, как бабахает! — приподннмаясь иа стременах и прислушнваясь к каионаде, сказал иачальиик.— Вндио, там крепкое у иих затевается дело... Оставайся,— обериулся ои к Ефнмке и тотчас же приказал: — Давайка скажн, чтобы задние подводы ие тарахтели, что у них там, ведра, что ли?

Возвращаясь, Ефимка задержался возле первой телеги:

— Ты не спишь, Верка?

— Нет, ие сплю, Ефнмка.

— Я остаюсь! Завтра прощай, Верка.

Оба замолчали.

— Ты будешь помнить? — задумчиво спросила Верка.

— Что помнить?

— Все. И как мы лесом, и тропками с ребятами, и как тогда ночью разговаривали. Я так до самой смерти не позабуду.

— Разве позабудешь!

Ефимка сунул руку в карман и вытащил яблоко.

— Возьми, съешь, Верка, это сладкое. Слышишь, как грохают. И это везде, повсюду и грохает и горит.

— И грохает и горит,— повторила Верка.

Выбравшись на бугорок, Ефимка остановился и посмотрел в ту сторону, где полыхало разбитое снарядами Кабакино.

Огромное зарево расстилалось все шире и шире. Оно освещало вершины соседнего леса и тревожно отсвечивало в черной воде спокойной реки.

— Пусть светит! — вспомнив ночной разговор, задорно сказал Ефимка, показывая рукою на багровый горизонт.

— Пусть! — горячо согласилась Верка. И, помолчав, она попросила: — Ты, смотри, не уезжай, не попрощавшись. Может, больше и не встретимся.

— Нет, не уеду,— махнул ей рукой Ефимка.

Он дернул повод и мимо телег, мимо молчаливых всадников быстрою рысью помчался доложить начальнику, что его приказание исполнено.

*1933*

# ВОЕННАЯ ТАЙНА

Из-за какой-то беды поезд два часа простоял на полустанке и пришел в Москву только в три с половиной. Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять, и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.

Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника — Шегалова.

— Дядя,— крикнула опечаленная Натка,— я в Москве!.. Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.

В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.

Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

— И что за горячка? — выбранил он Натку.— Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

— Дядя,— виновато и весело заговорила Натка,— хорошо тебе — «завтра». А я и так на трое суток опоздала. То в горкоме сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут еще поезд на два часа... Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Буденный, да еще

какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»...

— Ой, Натка! — почти испуганно ответил Шегалов, сбитый ее бестолковым, шумным натиском.— Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!

— А ты постарел, дядя,— продолжала Натка.— Я тебя еще знаешь каким помню? В черной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лег спать, а я и еще одна девчонка — Верка — потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас да хворостиной. Мы — реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девчонки ревут?» — «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы ее такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?

— Нет, не помню, Натка,— улыбнулся Шегалов.— Давно это было. Еще в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.

Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но все это нравилось Натке — и людской поток, и пыльные желтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путаными дорогами к каким-то далеким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и еще и еще куда-то.

И, когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному валу, шофер увеличил скорость так, что машина с легким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдернула синий платок, чтобы ветер сильней бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы.

В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфаль-

товые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда.

Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое.

— Дядя,— задумчиво сказала Натка,— три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу,— учись, говорят, в совпартшколе,— а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.

Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.

Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жесткие усы и ждал, что скажет она дальше.

— И послали на пионерработу,— упрямо повторила Натка.— Летчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю,— через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.

— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов.— Не любишь или не справляешься?

— Не люблю,— созналась Натка.— Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная... Все это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своем месте. Не понимаешь? Ну вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебе и сказали: не трогайте, Шегалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?

— Из меня грамматик плохой бы тогда вышел,— насторожившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: — А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целые три месяца, в самую горячку, считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили. И вперед наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарахнули. А я все хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?

Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:

— Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка. Два эшелона полудохлой скотины — и те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приемщики. Глядят — скотина ровная, гладкая. «Господи,— говорят,— да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощалые». Помню, один неспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мною поцеловаться.

Тут Шегалов остановился и серьезно посмотрел на Натку.

— Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да... Ну вот. О чем это я? Так ты не робей, Натка, тогда все, как надо, будет.— И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.

Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?

— Как не справляюсь? — с негодованием спросила она.— Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!

И, покрасившая, уязвленная, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот эту самую путевку на отдых в лучший пионерский лагерь, в Крым.

— Эх, Натка! — пристыдил ее Шегалов.— Тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя... ну, до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!.. Тоже была летчик! — с грустной улыбкой докончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.

Через тоннель они вышли на платформу.

— Поедешь назад — телеграфируй,— говорил ей на прощание Шегалов.— Будет время — приеду встречать, нет — так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты ее теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!

Он любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.

Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету; двое военных играли в шахматы.

Натка попросила себе вареных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.

«Ну да... все старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров».— Она перевернула страничку и прищурилась.— И вот это... Это тоже уже прошлое». Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой: это была румынская, вернее, молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишиневской тюрьмы.

Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрепанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы.

...Марица Маргулис.

Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.

Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжелые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи.

Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые запылившиеся окна.

Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестнадцат-

ний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми.

— Сюда,— сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.

— Папа...— попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом,— ответил отец.

— Ладно, потом,— согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька,— попросил он,— я забыл спички. Пойди принеси.

— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.

— То в кармане в пальто,— повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор. Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем.

— Ты зачем приходил? Я бы и сам принес,— спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.

— Я это знаю,— ответил отец.— Но я вспомнил, что позабыл другую газету.

Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Натка заметила, что мальчуган, спрашивая о чем-то отца, указывает рукой в ее сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой.

Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся.

— Это моя книжка,— сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.

— Почему твоя? — спросила Натка.

— Потому что это я забыл. Ну, утром забыл,— объяснил он, подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку.

— Что же, возьми, если твоя,— ответила Натка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови.— Тебя как зовут?

— Алька,— отчетливо произнес он и, схватив журнал, убежал к своему месту.

Еще раз Натка увидала их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалеких гор.

Поезд умчался дальше на Севастополь, а Натка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря.

В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шегалова к пляжу. Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, веселые, запыленные и усталые. Они держали наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.

— Здоро́во, ребята! Откуда? — спросила Натка, поравнявшись с этой шумной ватагой.

— Ленинградцы!.. Мурманцы!..— охотно закричали ей в ответ.

— Машиной,— спросила Натка,— или с парохода?

— С парохода, с парохода! — точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.

— Ну, идите, да идите не по аллее, а сверните влево, вверх по тропке,— тут ближе.

Когда Натка уже спустилась на горячие камни, к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алеша Николаев.

— Натка,— соскакивая с велосипеда, закричал он сверху,— уральцы приехали?

— Не видала, Алеша. Ленинградцев сейчас встретила да утром человек десять каких-то. Кажется, опять украинцы.

— Ну, значит, еще не приехали... Натка,— закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда,— выкупаешься, зайди ко мне или к Федору Михайловичу. Есть важное дело.

— Какое еще дело? — удивилась Натка, но Алеша махнул рукой и умчался под гору.

Море было тихое: вода светлая и теплая.

После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться еще с детства, плыть по соленым спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко. И теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зеленые виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи — весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным.

На обратном пути она вспомнила, что ее просил зайти Алеша. «Какие у него ко мне дела, да еще важные?» — подумала Натка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря.

Вскоре она очутилась на полянке, возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была теплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разыскивать новые источники и наконец нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы подвигались что-то очень медленно.

Алешу Николаева Натка не застала. Ей сказали, что он только что ушел в гараж. Оказывается, у уральцев в двенадцати километрах от лагеря сломалась машина, и они прислали гонцов просить о помощи.

Гонцы — это Толька Шестаков и Владик Дашевский — сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые.

Однако гордость эта не помешала Тольке набить на дороге карманы яблоками, а Владику — запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану.

Мальчуган этот долго и сердито ворочался и все никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик, оба, сидели невозмутимые и спокойные.

— Ты откуда? Вас сколько приехало? — спросила Натка у неповоротливого и недогадливого паренька.

— Из-под Тамбова. Один я приехал,— басистым и застенчивым голосом ответил мальчуган.— Из колхоза я. Меня в премию послали.

— Как — в премию? — не совсем поняла Натка.

— Баранкин мое фамилие. Семен Михайлов Баранкин,— охотно объяснил мальчуган.— А послали меня в премию за то, что я завод придумал.

— Какой завод?

— Походный, фильтровальный,— серьезно ответил Баранкин, и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смирные и лукавые гонцы, он добавил сердито: — И кто это в спину кидается? Тут и так вспотел, а еще кидаются.

Натка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца ее окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря, Федор Михайлович.

— Заходи,— сказал он, пропуская Натку в комнату.— Садись. Вот что, Ната,— начал он таким ласковым голосом, что Натка сразу встревожилась,— в верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчаганов, а помощница его Нина Карашвили порезала ногу о камень. Ну конечно, нарыв. А у нас, сама видишь, сейчас приемка, горячка; хорошо, ты так кстати подвернулась.

— Но я ничего не понимаю ни в приемке, ни в горячке,— испугалась Натка.— Я и сама тут, Федор Михайлович, третий день.

— Да тебе и понимать ничего не надо,— взмахнул длинными, костлявыми руками напористый старик.— Там есть и фельдшерица и сестры. Они сами примут. А твое дело что? Ты будешь вожатым. Ну, разобьешь по звеньям, наметишь звеньевых, выберете совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты вожатым!

— Два года,— сердито ответила Натка.— А долго ли, Федор Михайлович, этот Корчагаиов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит?

— Что ты, что ты! — отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник.— Ну, пять, шесть дней. А там снова гуляй сколько хочешь. Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди, иди. А то Нина одна совсем запуталась.

— Да сколько хоть человек в этом отряде? — уныльм голосом спросила Натка.

— Там узнаешь, иди, иди,— повторил старик, поднимаясь со скрипучего камышового стула. И, широко шагая к выходу, он добавил: — Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились.

...Всех отрядов в лагере было пять. Три дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала вожатой Натка, бушевала неуемная суета.

Только что прибыла последняя партия — средневолжцы и нижегородцы.

Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики, грязные и запыленные, нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты.

В ванную они заходили партиями по шесть человек. Дорвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами в широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки.

— Будет, будет вам баловаться! — хриплым басом кричал в окно босой длиннобородый Гейка.— Вот погодите, сорву крапиву да через окно крапивой. И что за баловная нация!..

Несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду, веснушчатый пионер Иоська Розенцвейг, и, отчаянно картавя, кричал:

— Что за безобразие? Прекратите это безобразие!

И новенькие ребята, которые еще не знали, что сам-то Иоська всего только третий день в лагере, а озорник он еще больший, чем многие из них, затихали. Под грозные Иоськины окрики они смущенно выскакивали из воды и, кое-как вытершись, натягивали трусы.

Выбегали они из ванной стайками. Чистые, в синих трусах, в серых рубахах с резинкой, и, еще не успев

подвязать красные галстуки, наперегонки неслись занять очередь к парикмахеру.

— Иоська! — окликнула Натка.— Вот что, дежурный. Всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру — оспу прививать... А то как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка, быстренько!

— Оспу! — выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Иоська.— Кто не прививал, вылетай живо!

— Нина! — окликнула Натка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку.— Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина?

— Октябрят у нас десять человек, как раз звено. К ним звеньевым надо Розу Ковалеву. А как с черкесом Ингуловым? Он, Натка, ни слова по-русски.

— Ингулова, Нина, надо в то же звено, в котором казачонок-кубанец.

— Лыбатько?

— Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине оставь пока у октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она как носится!

Из-за угла стремительно вылетел дежурный Иоська.

— Время к ужину! — запыхавшись, крикнул он, отдуваясь и подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу.

— Подавай сигнал,— ответила Натка,— сейчас я приду.

«Надо Иоську в звеньевые выделить,— подумала Натка.— Маленький, смешной, а проворный парень».

В половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачкой градусников приходила заступившая на ночь дежурная сестра, и Натка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря. После этого она была свободна.

Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки.

Но Натка не пошла к площадке, а, поднявшись в гору, свернула по тропинке, к подножию одинокого утеса.

Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого дуба.

Под обрывом чернело спокойное море. Где-то тарахтела моторная лодка. Тут только Натка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва, под скалой, без света в окнах, стоит маленький, точно игрушечный, домик.

Чьи-то шаги послышались из-за поворота, и Натка подвинулась глубже в черную тень листвы, чтобы ее не заметили. Вышли двое. Луна осветила их лица. Но даже в самую черную ночь Натка узнала бы их по голосам. Это был тот высокий, белокурый, во френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька.

Перед тем как подойти к дереву, в тени которого пряталась Натка, они, по-видимому, о чем-то поспорили и несколько шагов прошли молча.

— А как по-твоему,— останавливаясь, спросил высокий,— стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться?

— Не стоит,— согласился мальчуган и добавил сердито: — Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял. А то мы все идем да идем, а дома все нет и нет.

— Как нет? Вот мы и пришли! Ну, смотри — вот дом, а вот я уже и ключ вынул.

Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет.

«Они через Севастополь приехали,— догадалась Натка.— Что же они здесь делают?»

В комнате у дежурной сестры Натке сказали, что Толька Шестаков, подкравшись на четвереньках в палату к девчонкам, тихонько схватил башкирку Эмине за пятку, отчего эта башкирка ужасно заорала, да рыжеволосая толстушка Вострецова долго хохотала и мешала девчатам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Натку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же, рядом с палатами.

Ночь была душная. Ночью в море что-то гремело, но спала Натка крепко и к рассвету увидела хороший сон.

Проснулась Натка около семи. Завериувшись в простыию, она пошла под душ. Потом босиком вышла иа широкую террасу.

Далеко в море дымили уходящие к горизоиту военные корабли. Отовсюду нз-под густой иепросохшей зелеии доиосилось звоикое щебетание. Неподалеку от террасы чериорабочнй Гейка колол дрова.

— Хорошо! — иегромко крнкнула Натка и рассмеялась, услыхав откуда-то из-под скалы такой же, как ее, вскрик — веселое чнстое эхо.

— Натка... ты что? — услышала оиа позади себя удивлениый голос.

— Корабли, Нина...— не переставая улыбаться, ответила Натка, указывая рукой на далекий сверкающнй горнзонт.

— А ты слышала, Натка, как сегодня иочью оин в море бахали? Я просиулась н слышу: у-ух! у-ух! Встала и пошла к палатам. Ничего, все спят. Однн Владнк Дашевский проснулся. Я ему говорю: «Спн». Он лег. Я — нз палаты. А ои шарах иа террасу. Забрался иа перила, ухватился руками за столб, н не оторвешь его. А в море огии, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересио. Я ему говорю: «Идн, Владнк, спать». И просила, и ругала, и обещала иа линейке вызвать. А ои стонт, молчит, ухватился за столб н как камеииый. Неужели ты иичего ие слыхала?

— Ннна,— помолчав, спроснла Натка,— ты ие встречала здесь такнх двонх?.. Один высокий, в сапогах и в сером френче, а с ним маленький, белокурый, темиоглазый мальчуган.

— В сером френче...— повторнла Ниа.— Нет, Натка, в сером фреиче с мальчугаиом ие встречала. А кто это?

— Я н сама ие знаю. Такой забавный мальчугаи.

— Вндела я человека во френче,— ие сразу вспомнила Ниа.— Только тот был без мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокнй, худой, а сапоги грязные.

— И большой шрам на лнце,— подсказала Натка.

— Да, большой шрам на лнце. Это кто, Натка? — спросила Нина н с любопытством посмотрела на подругу.

— Не зиаю, Ниа.

— Я встал, можно звонить подъем? — басистым голосом сообщил, выдвигаясь из-за двери, дежурный.

— Можно,— сказала Натка.— Звони. «Экий увалень!» — подумала она, глядя, как, размахивая короткими руками, Баранкин уверенно направился к колоколу.

Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза Баранкин, которого послали «в премию» за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильтровальный завод.

Все оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханей, одного решета, трех старых мешков, двух сгребков и кучи тряпок. И, выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи.

Баранкин подошел к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечевки и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Натка закричали ему, чтобы он звонил потише.

Среди соснового парка, на песчаном бугре, ребята, разбившись кучками, расположились на отдых.

Занимался каждый чем хотел. Одни, собравшись возле Натки, слушали, что читала она им о жизни негров, другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвертые что-то строгали, пятые просто ничего не делали, а, лежа на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались.

Владик Дашевский и Толька Шестаков разместились очень удобно. Если они повертывались на правый бок, было слышно то, что читала Натка про негров. Если на левый, им было слышно то, что читал Иоська про полярные путешествия ледокола «Малыгин». Если отползти немного назад, то можно было из-за куста, и очень незаметно, запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперед, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешки трех русских девочек и затесавшегося к ним октябренка Карасикова.

Так они и сделали. Послушали про негров и про ледокол. Бросили две шишки в спину Баранкину, но не ре-

шились провести Эмине прутом по пяткам, потому что заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто ее за ногу хватила собака.

— Толька,— спросил Владик,— а ты слышал, как ночью сегодня бабахнуло? Я сплю, вдруг бабах... бабах... Как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них маневры, что ли. А я, Толька, на фронте родился.

— Врать-то! — равнодушно ответил Толька.— Ты всегда что-нибудь да придумаешь.

— Ничего не врать, мне мама все рассказала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск? Нет? Ну, так я тебе потом на карте покажу. Когда пришли в двадцатом красные, этого мать не запомнила. Тихо пришли. А вот когда красные отступали, то очень хорошо запомнила. Грохот был или день, или два. И день и ночь грохот. Сестренку Юльку да бабку Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка все бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезает. Как загрохочет, она опять нырк в погреб.

— А мать где? — спросил Толька.— Ты все рассказывай по порядку.

— Я и так по порядку. А мать все наверху бегает: то хлеб принесет, то крынку молока достанет, то узлы завязывает. Вдруг к ночи стихло. Юлька сидит. Нет никого, тихо. Хотела она вылазить. Толкнулась, а крышка погреба заперта. Это мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылазила. Потом хлопнула дверь — это мать. Открыла она погреб. Запыхалась, сама растрепанная. «Вылезайте»,— говорит. Юлька вылезла, а бабка не хочет. Не вылазит. Насилу уговорили ее. Входит отец с винтовкой. «Готовы? — спрашивает.— Ну, скорее». А бабка не идет и злобно на отца ругается.

— Чего же это она ругалась? — удивился Толька.

— Как отчего? Да оттого ругалась, зачем отец поляк, а с русскими красными уходит.

— Так и не пошла?

— И не пошла. Сама не идет и других не пускает. Отец как посадил ее в угол, так она и села. Вышли наши во двор да на телегу. А кругом все горит: деревня горит, костел горит... Это от снарядов. А дальше у матери все смешалось: как отступали, как их окружали,

потому что тут на дороге я родился. Из-за меня наши от красных отбились и попали в плен к немцам, в Восточную Пруссию. Там мы четыре или пять лет и прожили.

— Отец-то почему с винтовкой приходил?

— А он, Толька, в народной милиции был. Когда в Польшу пришли красные, так у нас народная милиция появилась. Помещиков ловили и еще там разных... Как поймают, так и в ревком.

— Нельзя было отцу оставаться,— согласился Толька.— Могли бы, пожалуй, потом и повесить.

— Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ревкоме рассыльным, и то год в тюрьме держали. А сестра у меня — ей сейчас двадцать восемь лет,— так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили ее — три года сидела. Потом выпустили — три года на воле была. Теперь опять посадили. И уже четыре года сидит.

— Скоро опять выпустят?

— Нет, еще не скоро. Еще четыре года пройдет, тогда выпустят. Она в Мокотовской тюрьме сидит. Оттуда скоро не выпускают.

— Она коммунистка?

Владик молча кивнул головой, и оба притихли, обдумывая свой разговор и прислушиваясь к тому, что читала Натка о неграх.

— Толька! — тихо и оживленно заговорил вдруг Владик.— А что, если бы мы с тобой были ученые? Ну, химики, что ли. И придумали бы мы с тобой такую мазь или порошок, которым если натрешься, то никто тебя не видит. Я где-то такую книжку читал. Вот бы нам с тобой такой порошок!

— И я читал... Так ведь все это враки, Владик,— усмехнулся Толька.

— Ну и пусть враки! Ну, а если бы?

— А если бы? — заинтересовался Толька.— Ну, тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы.

— Что там придумывать! Купили бы мы с тобой билеты до заграницы.

— Зачем же билеты? — удивился Толька.— Ведь нас бы и так никто не увидел.

— Чудак ты! — усмехнулся Владик.— Так мы бы сначала не натершись поехали. Что нам на советской сто-

роне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натерлись. Потом перешли бы границу. Стоит жандарм — мы мимо, а он ничего не видит.

— Можно было бы подойти сзади да кулаком по башке стукнуть,— предложил Толька.

— Можно,— согласился Владик.— Он, поди-ка, тоже, как Баранкин, все оглядывался бы, оглядывался: откуда это ему попало?

— Вот уж нет,— возразил Толька.— В Баранкина это мы потихоньку, в шутку. А тут так дернули бы, что, пожалуй, и не завертишься. Ну ладно! А потом?

— А потом... потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя...

— Что-то уж очень много убили бы, Владик! — поежившись, сказал Толька.

— А что их, собак, жалеть? — холодно ответил Владик.— Они наших жалеют? Недавно к отцу товарищ приехал. Так когда стал он рассказывать отцу про то, что в тюрьмах делается, то меня мать на улицу из комнаты отослала. Тоже умная! А я взял потихоньку сел в саду под окошком и все до слова слышал. Ну вот, забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры.

— И что бы мы сказали? — нетерпеливо спросил Толька.

— Ничего бы не сказали. Крикнули бы: «Бегите, кто куда хочет!»

— А они бы что подумали? Ведь мы же натертые, и нас не видно.

— А было бы им время раздумывать? Видят — камеры отперты, часовые побиты. Небось, сразу бы догадались.

— То-то бы они обрадовались, Владик!

— Чудак! Просидишь четыре года да еще четыре года сидеть, конечно, обрадуешься... Ну, а потом... потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных. Я один раз в Москве четыре штуки съел. Это когда другая сестра, Юлька, замуж выходила.

— Нельзя наедаться,— серьезно поправил Толька.— Я в этой книжке читал, что есть ничего нельзя, по-

тому что пирожные — они ведь не натертые, их наешься, а они в животе просвечивать будут.

— А ведь и правда будут! — согласился Владик.

И оба они расхохотались.

— Сказки все это,— помолчав, сознался и сам Владик.— Все это сказки. Чепуха!

Он отвернулся, лег на спину и долго смотрел в небо, так что Тольке показалось, что он прислушивается к тому, что читает Натка.

Но Владик не слушал, а думал о чем-то другом.

— Сказки,— повторил он поворачиваясь к Тольке.— А вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был. Потом стал коммунистом. Так этот и без всяких натираний невидимый.

— Как — невидимый? — насторожился Толька.

— А так. С тех пор как убежал он из тюрьмы, три года его полиция ищет и все никак найти не может. А он то здесь появится, то там, у нас. В Львове он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил.

— Ну, и что же полиция? Ну, и куда же он девался?

— А вот поди спроси — куда,— с гордостью ответил Владик.— Как только полиция в двери, вдруг хлоп... свет погас. А окон много, и все окна почему-то распахнуты. Кинулась полиция к механику, а механик кричит, ругается. «Идите, говорит, к черту! У меня и без того беда: кажется, обмотка якоря перегорела».

— Так это он нарочно! — с восхищением воскликнул Толька.

— А вот поди-ка ты докажи, нарочно или не нарочно,— усмехнулся Владик и добавил уже снисходительно: — Рабочие прячут, оттого и невидимый. А ты что думал? Порошок, что ли?

Издалека донесся гул колокола — к обеду, и ребятишки, хватая подушки, простыни и полотенца, с визгом повскакали со своих мест.

После обеда полагалось ложиться отдыхать. Но в третьей палате плотники еще с утра пробивали новую дверь на террасу. Койки были вынесены, на полу

валялись стружки и штукатурка, а плотники запаздывали.

Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке.

Владик и Толька забрались в орешник. Толька вскоре задремал, но Владику не спалось. Он ждал сегодня важного письма, но почтальон к обеду почему-то не приехал. Владик вертелся с боку на бок и с завистью глядел на спокойно похрапывающего Тольку. Вскоре вертеться ему надоело, он приподнялся и подергал Тольку за ногу:

— Вставай, Толька! Чего спишь? Ночью выспишься.

Но Толька дрыгнул ногой и повернулся к Владику спиной. Владик рассердился и дернул Тольку за руку:

— Вставай... вставай, Толька! Кругом измена! Все в плену. Командир убит.... Помощник контужен. Я ранен четырежды, ты трижды. Держи знамя! Бросай бомбы! Трах-та-бабах! Отобьемся!..

И, всучив ошалелому Тольке полотенце вместо знамени и старый сандалий вместо бомбы, Владик потащил товарища через кусты под горку.

— За такие дела можно и по шее...— начал было рассерженный Толька.

— Отбились! — торжественно заявил Владик.— За такие геройские дела представляю тебя к ордену.— И, сорвав колючий репейник, Владик прицепил его к Толькиной безрукавке.— Брось, Толька, дуться! Вон под горою какой-то дом. Вон за горою какая-то вышка. Вон там, в овраге, что-то стучит. Вон под ногами у нас кривая тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гайда, Толька! Все спят, никого нет, и мы все разведаем.

Толька зевнул, улыбнулся и согласился.

Быстро, но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебегали дорожки, ныряли в чащу кустарника, пролезали через колючие ограды, ползли вверх, спускались вниз, ничего не оставляя на своем пути незамеченным.

Так они наткнулись на ветхую беседку, возле которой стояла позеленевшая каменная статуя. Потом нашли глубокий заброшенный колодец. Затем попали в фруктовый сад, откуда мгновенно умчались, заслышав ворчание злой собаки.

Продравшись через колючие заросли дикой ожины, они очутились на заднем дворе небольшой лагерной больницы.

Они осторожно заглянули в окно и в одной из палат увидели незнакомого мальчишку, который, скучая, лениво вертел красное яблоко.

Они легонько постучали в стекло и приветливо помахали мальчишке руками. Но мальчишка рассердился и показал им кулак. Они обиделись и показали целых четыре.

Тогда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал, призывая няньку. Испуганные ребята разом перемахнули через ограду и помчались наугад по тропинке.

Вскоре они очутились высоко над берегом моря. Слева громоздились изрезанные ущельями горы. Справа, посреди густого дубняка и липы, торчали остатки невысокой крепости.

Ребята остановились. Было очень жарко.

Торжественно гремел из-за пыльного кустарника мощный хор невидимых цикад.

Внизу плескалось море. А кругом — ни души.

— Это древняя крепость,— объяснил Владик.— Давай, Толька, поищем, может быть, и наткнемся на что-нибудь старинное.

Искали они долго. Они нашли выцветшую папиросную коробку, жестяную консервную банку, стоптанный башмак и рыжий собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжелых цепей, ни человечьих костей им не попалось.

Тогда, раздосадованные, они спустились вниз. Здесь, под стеной, меж колючей травы, они наткнулись на темное, пахнувшее сыростью отверстие.

Они остановились, раздумывая, как быть. Но в это время издалека, от лагеря, похожий отсюда на комариный писк, раздался сигнал к подъему.

Надо было уходить, но они решили вернуться сюда еще раз, захватив бечевку, палку, свечку и спички.

Полдороги они пробежали молча. Потом устали и пошли рядом.

— Владик,— с любопытством спросил Толька,— вот ты всегда что-нибудь выдумываешь. А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцыре?

— Нет,— ответил Владик.— Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а теперешним, со звездою и маузером. Как, например, один человек.

— Как кто?

— Как Дзержинский. Ты знаешь, Толька, он тоже был поляк. У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь. Смелый друг всего пролетариата». А когда он умер, то сестра в тюрьме плакала и вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жандармскому капитану.

Пароход с почтой запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пыхтя и опираясь на старую суковатую палку, поднялся в гору только к ужину.

Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, а тех, кого знал, то и просто по именам.

— Коля,— говорил он басом и тащил за рукав тихо стоявшего мальчугана,— ну-ка, брат, распишись. Да не лезьте под руки, озорной народ! Дайте человеку расписаться. Тебе, Мишаков, нет письма. Тебе, Баранкин, письмо. И кто это тебе такие толстые письма пишет?

— Это мне брат из колхоза пишет,— громко отвечал Баранкин, крепко напирая плечом и протискиваясь сквозь толпу ребят.— Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий — тот в Красной Армии, в броневом отряде. А это брат Василий — он у нас в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата да три сестры. Две грамотные, а одна еще неграмотная, мала девка.

— А теток у тебя сколько?

— А корова у вас есть?

— А курицы есть? А коза есть? — закричали Баранкину сразу несколько человек.

— Теток у меня нет,— охотно отвечал Баранкин, протягивая руку за шершавым пакетом.— Корова у нас есть, свинью закололи, только поросенок остался. А коз у нас в деревне не держат. От козы нам пользы мало, только огороду потрава. А что смеетесь? — добродушно и удивленно обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех.— Сами спрашивают, а сами смеются.

Когда уже большинство ребят разошлись, то подошел Владик Дашевский и спросил, нет ли письма ему. Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальону, потом равнодушно засвистел и пошел прочь, сбивая хлыстиком верхушки придорожной травы.

Натка Шегалова получила заказное с Урала от подруги — от Веры.

Сразу после ужина весь санаторный отряд ушел с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры.

В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по-необычному тихо и пусто.

Натка прошла к себе в комнату, распечатала письмо, из которого выпал потертый и почему-то пахнувший керосином фотоснимок.

Возле толстого, охваченного чугунными брусьями столба, опустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной «кошки», стояла Вера. Ее черная глухая спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристегнуты молоток, плоскогубцы, кусачки и еще какие-то инструменты.

Было понятно и то, что Верка собирается забраться на столб и что она торопится, потому что неподалеку от нее смотрел на провода не то инженер, не то электротехник, а рядом с ним стоял кто-то маленький, черноволосый — вероятно, бригадир или десятник. И лицо у этого черноволосого было озабоченное и сердитое, как будто его только что крепко выругали. День был солнечный. Вдалеке виднелись неясные серые громады незаконченных построек и клочья густого, черного дыма.

Письмо было короткое. Верка писала, что жива, здорова. Что практика скоро кончается. Что за работу по досрочному монтажу понижающей подстанции она получила премию. Что за короткое замыкание она получила выговор. А в общем все хорошо — устала, поздоровела и перед началом занятий обязательно заедет с Урала в Москву, и там хорошо бы с Наткой встретиться.

Натка задумалась. Она с любопытством посмотрела еще раз на черную, пыльную спецовку, на тяжелые, толстые ботинки, на ту торопливую хватку, с которой пристегивала Верка железные десятифунтовые «кошки», и с досадой отодвинула фотоснимок, потому что она завидовала Верке.

Неожиданно обе половины оконной занавески раздвинулись и оттуда высунулась круглая голова Баранкина.

— Баранкин,— удивилась и рассердилась Натка,— ты почему не на площадке? Ребята играют, а ты что?

— Это не игра,— убежденно произнес Баранкин, наваливаясь грудью на подоконник.— Ну, завязали мне ноги в мешок — беги, говорят. Я шагнул и — бац на землю. Шагнул и — опять бац. А они смеются. Потом положили в ложку сырое яйцо, дали в руки и опять — беги! Конечно, яйцо хлоп и разбилось. Разве же это игра? У нас в колхозе за такую игру и хворостиной недолго.— Он укоризненно посмотрел на Натку и добродушно добавил: — Я тут буду. Никуда не денусь. А лучше пойду помогу Гейке дрова пилить.

Круглая голова Баранкина скрылась.

Но через минуту раскрасневшееся лицо его опять просунулось в комнату.

— Забыл,— спокойно сказал он, увидав недовольное лицо Натки.— Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют. Остановили и наказывают: беги шибче, и если Шегалова свободна, пусть скорее идет. Совсем забыл,— повторил он и, неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил: — У нас в колхозе как-то ночью амбар подожгли. Брата не было. Кинулся я в сарай лошадь запрягать — темно. А чересседельник с гвоздя как соскочит да мне прямо по башке. Так всю память и отшибло. Насилу я во двор вылез. А амбар горит, горит...

— Баранкин,— спросила Натка, положив руку на его крепкое плечо,— у тебя мать есть?

— Есть. Александрой зовут,— охотно и обрадованно ответил Баранкин.— Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе скотницей. Всю эту весну пролежала. Теперь ничего... поздоровела. Бык ее в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый. В Моршанске прошлую зиму колхоз за шестьсот рублей купил... Иду, иду! — крикнул Баранкин, оборачиваясь на чей-то далекий хриплый окрик.— Это Гейка зовет,— объяснил он.— Мы с ним дружки.

...Когда Натка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрижи. Задымили сторожевые костры на вино-

грядниках. Зажглись зеленые огни створного маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре.

«Хорошие свечки дает Картузик»,— подумала Натка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис на мгновение над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой плавно рванулся к земле. Натка подпрыгнула, пробуя, крепко ли затянуты сандалии, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место, слева от Картузика.

— Пасовать,— вполголоса строго сказал ей Картузик.

— Есть пасовать,— также вполголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку.

— Пасовать,— повторил Картузик.— Спокойней, Натка.

Но вот он, крученый, хитрый мяч, метнулся сразу на третью линию. Отбитый косым ударом, мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего Картузика.

— Дай! — вскрикнула Натка Картузику.

— Возьми! — ответил Картузик.

— Режь! — вскрикнула Натка, подавая ему невысокую свечку.

— Есть! — ответил он и с яростью ударил по мячу вниз.

— Один — ноль,— объявил судья и, засвистев, предупредил: — Шегалова и Картузик, не переговариваться, а то запишу штрафное очко.

Натка рассмеялась. Невозмутимый Картузик улыбнулся, и они хитро и понимающе переглянулись.

— Шегалова,— крикнул ей кто-то из ребят,— тебя Алеша Николаев зачем-то ищет!

— Еще что! — отмахнулась Натка.— Что ему ночью надо? Там Нина осталась.

Темнота сгущалась. На счете «один — ноль» догорела заря. На «восемь — пять» зажглись звезды. А когда судья объявил сэт-бол, то из-за гор вылезла такая ослепительно яркая луна, что хоть опять начинай всю игру сначала.

— Сэт-бол! — крикнул судья, и почти тотчас же черный мяч взвился высоко над серединой сетки.

«Дай!» — глазами попросила Натка у Картузика.

«Возьми!» — ответил он молчаливым кивком головы.

«Режь!» — зажмуривая глаза, вздрогнула Натка и еще втемную услышала глухой удар и звонкий свисток судьи.

— Шегалова и Картузик, не переговариваться! — добродушно сказал судья. Но уже не в виде замечания, а как бы предупреждая.

Возвращаясь домой, Натка встретила Гейку; он волок за собой под гору целую кипу гремящих и подпрыгивающих жердей. Узнав Натку, он остановился.

— Федор Михайлович спрашивал,— угрюмо сообщил он Натке.— Меня посылал искать, да я не нашел. Не знаю, зачем-то шибко ему понадобились.

«Что-нибудь случилось?» — с тревогой подумала Натка и круто свернула с дороги влево. Маленькие камешки с шорохом посыпались из-под ее ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту, по ступенчатой тропинке она спустилась на лужайку.

Все было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и, решив, что все равно уже поздно и все спят, она тихонько прошла в коридор.

Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чем дело, она зашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстегивалась, и Натка потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла: ей показалось, что в комнате она не одна.

Не решаясь пошевельнуться, Натка прислушалась и теперь, уже ясно расслышав чье-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель.

Вспыхнул свет.

Она увидала, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит все тот же и знакомый и незнакомый ей мальчуган. Все тот же белокурый и темноглазый Алька.

Все это было очень неожиданно, а главное — совсем непонятно.

Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочался. Натка сдернула синий платок и накинула его поверх абажура.

Зашуршала дверь, и в комнату просунулось сонное лицо дежурной сестры.

— Ольга Тимофеевна,— полушепотом спросила Натка,— кто это? Почему это?

— Это Алька,— равнодушно ответила дежурная.— Тебя весь вечер искали, искали. Тебе на столе записка.

Записка была от Алеши Николаева.

«Натка! — писал Алеша.— Это Алька, сын инженера Ганина, который работает сейчас по водопроводке у Верхнего озера. Сегодня случилась беда: перерезали подземный ключ, и вода затопляет выемки. Сам инженер уехал к озеру. Ты не сердись — мы поставили пока кровать к тебе, а завтра что-нибудь придумаем».

Возле кроватки стояла белая табуретка. На ней лежали: синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек, картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой.

Натка открыла коробочку, и оттуда выпрыгнули к ней на колени два серых кузнечика.

Натка тихонько рассмеялась и потушила свет. На Алешу Николаева она не сердилась.

...Не доезжая до верхних бараков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. Еще издалека он увидел в беспорядке выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох.

Инженер соскочил с коня. Мутная жижа уже больше чем на полтора метра залила выемку. В воде торчал невыдернутый разметочный кол и спокойно плавали две деревянные лопаты.

Инженер понял, что, поднявшись еще на полметра, вода пойдет назад, заливая соседнюю впадину, а когда вода поднимется еще на метр, перельется через гребень и, круто свернув направо, затопит и сорвет первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — закричал старший десятник Дягилев, спускаясь с горы впереди двух подвод, которые, с треском ломая кустарник, волокли доски и бревна.

— Когда прорвало? — спросил инженер.— Шалимов где?

— Разве же с таким народом работать можно, Сергей Алексеевич? С таким народом только из пустого в порожнее переливать. Прорвало часов в девять. Шалимовская бригада работала... Как рвануло это снизу, им бы сейчас же брезент тащить да камнями заваливать, а они — туды, сюды, меня искать... Пока то да се, пока меня разыскали, а ее — дыру-то — чуть ли не в сажень разворотило.

— Шалимов где?

— Сейчас придет. В своей деревне рабочих собирает.

Всю ночь стучали топоры, полыхали костры и трещали смоляные факелы. К рассвету сколотили плот и целых три часа сбрасывали рогожные кули со щебнем в то место, откуда била прорвавшаяся вода. И, когда наконец, сбросив последнюю руду балласта, забили подводную дыру, мокрый, забрызганный грязью инженер вытер раскрасневшееся лицо и сошел на берег.

Но едва только он опустился на колени, доставая из костра горящий уголек, как на берегу раздались шум, крики и ругань. Он вскочил и отшвырнул нераскуренную папиросу.

Вырываясь со дна, гораздо правее, чем в первый раз, вода клокотала и пенилась, как в кипящем котле. Закупоренную родниковую жилу прорвало в другом месте и, по-видимому, прорвало еще сильнее, чем прежде.

Мимо обозленных землекопов инженер подошел к Дягилеву и Шалимову. Он повел их по краю лощины к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменистой грядой.

— Вот! — сказал он.— Поставим сюда тридцать человек. Ройте поперек, и мы спустим воду по скату.

— Грунт-то какой, Сергей Алексеевич! — возразил Дягилев, переглядываясь с Шалимовым.— Хорошо, если сначала от силы метров сорок за сутки возьмем, а дальше, сами видите, голый камень.

— Ройте,— повторил инженер.— Ройте посменно, без перерыва. А дальше взорвем динамитом.

— Нет у нас динамита, Сергей Алексеевич, напрасно только людей замотаем.

— Ройте,— отвязывая повод застоявшегося коня, повторил инженер.— Надо достать, а то пропала вся наша работа.

Спустившись в лагерь и не заходя к Альке, инженер пошел к телефону и долго, настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из Взрывсельпрома ему ответили, что без наряда от Москвы динамита ему не могут отпустить ни килограмма.

Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо и по-над берегом моря рысью поскакал к мысу, где среди скалистого парка высились красивые белые здания. Это было прежде богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и Совнаркома — Ай-Су.

Соскочив у высокой узорной решетки, он зашел в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич. Ему ответили, что Самарин еще с утра уехал в Ялту и вернется только к вечеру, а Гитаевич здесь.

Инженер взял пропуск и, похлопывая плетью о голенище грязного сапога, пошел к виднеющемуся в глубине аллеи просвету.

Гитаевича он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый с проседью человек в больших круглых очках, с широкой черной бородой.

— Здравствуйте! — громко сказал инженер, прикладывая руку к козырьку.

Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и в запачканном глиною френче.

— Ба!.. Ба!.. Сергей! — улыбаясь, заговорил он резким, каркающим голосом.— Откуда? И в каком виде — сапоги, френч... нагайка! Что ты, прямо из разведки в штаб полка?

— Дело, товарищ Гитаевич,— сказал Сергей, сжимая протянутую руку.— Спешное дело.

— Уволь, уволь,— заговорил Гитаевич, усаживаясь на скамейку.— Газет не читаю, телеграмм не распечатываю. О чем хочешь? Старину вспомним... дивизию, Бессарабию. Так поговорим — это с большим удовольствием, а от дела избавь. У меня здесь ни чина, ни должности, ни обязанностей. Лежу на солнышке да вот, видишь, стихи читаю.

— Дело, товарищ Гитаевич,— упрямо повторил Сергей.— Если бы не важное, то и не просил бы.

— Палицын где?.. Матусевич? И этот... как его? Ну, со шрамом на щеке... Ах ты! Да как же его, этого, что со шрамом? — как бы не расслышав Сергея, продолжал Гитаевич.

— Много со шрамами было, товарищ Гитаевич. Я и сам со шрамом,— продолжал Сергей.— Мне динамит нужен. Взрывсельпром не дает. Говорит, Москву запрашивать надо. А если вы напишете, то даст. Ваш дом отдыха — наш шеф. Вы отдыхаете, значит, вы тоже шеф.

— Какой динамит? Какие шефы? — с раздражением и беспокойством переспросил Гитаевич.— И откуда ты на мою голову свалился? Я выкупался, иду, читаю стихи, а он вдруг: дело... динамит... шефы... Ну, что у тебя такое? Наверное, какая-нибудь ерунда?

— Дело ерундовое,— согласился Сергей и рассказал все, что ему было нужно.

Окончилось тем, что Гитаевич поморщился, взял протянутую ему бумагу, карандаш, что-то написал и передал Сергею.

— Возьми,— грубовато сказал он.— От тебя не отстанешь.

— Ваша школа, товарищ Гитаевич,— ответил Сергей и, спрятав бумагу, добавил: — Знавал я на Украине одного комиссара дивизии, которого однажды командующий на гауптвахту посадил. Иначе, говорит, этот не отстанет.

Прищурив под дымчатыми стеклами узкие строгие глаза, Гитаевич взглянул искоса и насмешливо, как бы подбадривая Сергея: ну, дескать, продолжай, продолжай. Но Сергей теперь и сам неспроста посматривал на Гитаевича и молча доставал из портсигара папиросу.

— Так посадил, говоришь? — неожиданно веселым, но все тем же каркающим голосом спросил Гитаевич, и, взяв Сергея за руку, он дружески хлопнул его по плечу.— Давно это было, Сергей,— уже тише добавил он.

— Давно, товарищ Гитаевич.

— Так ты теперь не в армии?

— Инженер. Командир запаса.

— Почему же, Сережа, ты инженер? Я что-то не

припомииаю, чтобы у тебя какие-нибудь инжеиерские задатки были... Постой, куда же ты? — спросил Гитаевич, увидав, что Сергей поднимается н застегивает полевую сумку.— Да, у тебя дииамнт. Ну, когда выберешь свободиое время, заходн. Только заходи без всякого дела. Пойдем к морю, выкупаемся, поговорим. Ты однн? — глядя в лнцо Сергея н почему-то тише и ласковей, спросил Гитаевич.

— Однн. То есть нас двое — я и Алька,— ответил Сергей.— Двое, я н сын,— повторил ои и замолчал.

— Ну, до свидаиья,— сказал Гитаевич, который, по-вндимому, что-то хотел сказать или о чем-то спроснть, но раздумал — ие сказал и ие спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянутую ему руку.

Чтобы сократить путь к озеру, Сергей взял иаперерез через тропку, но, еще не доезжая до перевала, ои вспомнил, что позабыл заехать в лагерь и заказать машнну на Севастополь.

Досадуя на свою оплошность и опасаясь, как бы машнну ие угиали в другое место, ои остаиовил усталого коня.

Тропинка была глухая, заросшая травою и засыпанная мелкими камнями. Неподалеку торчали остатки маленькой старнннной крепости с развалнвшейся башеикой, иа обломках которой густо разросся иизкорослый кудрявый кустаринк. Конь иасторожнл уши — иа тропку из-за кустов выскочили два мальчугаиа. Одии нз инх держал палку, к концу которой была прнвязаиа обыкновенная стеариновая свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бечевки.

Столкнувшись с незнакомым человеком, оба онн смутилнсь.

— Из лагеря? — спроснл Сергей.— А иу-ка, подите сюда!

— Из лагеря,— хмуро и иеохотно ответил тот, который был повыше, стараясь спрятать за спниу палку со свечой.— Мы гуляли.

— Вот что,— сказал Сергей.— Вы потом погуляете, а сейчас я вам дам записку. Тащите ее во весь дух и начальинку лагеря и скажите: пусть через час приготовнт мие машиину на Севастополь.

Пока он писал, оба мальчугана переглянулнсь, и старший успокоеиио кивиул младшему.

Догадавшись, что встретившийся человек ни в чем плохом их не подозревает, они охотно приняли записку и поспешно скрылись в кустарнике.

В горах на месте катастрофы вода разлилась широко. Над низовым кустарником, пронзительно чиркая, носились встревоженные пичужки. Сухие травы, стебли, рыжая пухлая пена — все это плавало и кружилось на поверхности мутной воды.

— Много вынули? — спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощавым землекопом.

— А не мерил еще,— медленно выговаривая русские слова, ответил Шалимов.— Кубометров десять, должно быть, вынули.

— Мало,— сказал Сергей.— Плохо работаешь, Шалимов.

— Грунт тяжелый,— равнодушно ответил Шалимов,— не земля, а камень.

— Ну, камень! До камня еще далеко. Смотри, Шалимов, беда будет. Зальет второй участок, и оставим мы ребят без воды.

— Как можно без воды? — согласился Шалимов.— Пить нету, обед варить нету, ванну делать нету, цветы поливать нету. Как можно без воды? — разведя руками, закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный и благодушный разговор.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — крикнул запыхавшийся десятник Дягилев.— Вы посмотрите на выемку — так и рвет со дна, так и рвет! И откуда такая сила? Это не ключ, а сама подземная речка.

— Видел,— ответил Сергей.— До утра продержимся.

— Ой ли продержимся, Сергей Алексеевич?

— Надо продержаться.

Сергей приказал: как только обнажится каменная гряда, поставить бурить скважины, а землекопов перебросить рыть канаву к другой небольшой впадине, которая могла оттянуть воду и задержать перелив еще на три-четыре часа.

— Дягилев,— сказал он напоследок,— я вернусь ночью, к рассвету. Ты отвечаешь. Да не ругайтесь вы

с Шалимовым, а работайте. Как ни приду, или Шалимов на тебя жалуется, или ты на Шалимова. С рабочими за прошлую десятидневку рассчитались?

— Давно уже, Сергей Алексеевич. Это еще по старой ведомости, до вашего приезда, прежним техником подписана была.

— Вы потом покажите мне все эти ведомости,— сказал Сергей.— Я поехал.

Возле Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на два часа: шофер был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополь они прибыли только в восемь вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города для того, чтобы получить пропуск и открыть уже запечатанные склады Взрывсельпрома.

И, когда небольшой, но тяжелый ящик был осторожно погружен на машину, стрелка часов уже подходила к половине одиннадцатого.

Луна сквозь сплошные черные тучи не обозначалась даже слабым просветом. Скрылись очертания горных вершин. Растворились в темноте рощи, сады, поля, виноградники, и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленного ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой белизной.

— Ну, давай! — подбадривающе сказал Сергей, усаживаясь рядом с шофером.— Ночь темная, а дорога длинная.

Только теперь, сидя на кожаных подушках вздрагивающего автомобиля, Сергей почувствовал, что он сильно устал. Запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так в полусне, только по собачьему лаю да по кудахтанью распуганных кур угадывая проносящиеся мимо поселки и деревушки, сидел он долго и молча.

Ра-а! Ра-а-а!..— звонко и тревожно гудел сигнал, и машину плавно покачивало на бесчисленных крутых поворотах.

Дорога забирала в горы.

И эта непроницаемая, беззвездная тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушенный собачий лай, запах сена и спелого винограда напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень далекое.

И вот почему-то пылал костер. Тихо звеня уздечками, тут же рядом ворочались разномастные кони.

Ра-а-а!..— звонко гудела машина, взлетая в гору все круче и круче.

Темные кони, вороные и каурые, были невидимы, но один, белогривый, маленький и смешной Пегашка, вскинув короткую морду, поднял длинные уши, насторожённо прислушиваясь к неразгаданному шуму.

— Это мой конь! — сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами.

— Да,— согласился начальник заставы,— эта худая, недобитая скотина — твой конь. Но что это шумит впереди на дороге?

— Хорошо! Посмотрим! — гневно крикнул Сергей и вскочил на Пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конем в этой разбитой, но смелой армии.

— Плохо! — крикнул ему вдогонку умный, осторожный начальник заставы.— Это тревога, это белые.

И тотчас же погас костер, лязгнули расхваченные винтовки, а изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет.

— Это беженцы! — крикнул возвратившийся Сергей.— Это не белые, а просто беженцы. Их много, целый табор.

И тогда всем стало так радостно и смешно, что, наскоро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами.

— Это мой конь! — гордо сказал Сергей, показывая ребятишкам на маленького белогривого Пегашку.— Это очень хороший конь.

Но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли черный хлеб.

— Это хороший конь! — гневно и нетерпеливо повторил Сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами.

— Хороший конь,— слегка картавя, звонко повторила по-русски худенькая, стройная девчонка, вздрагивавшая под рваной и яркой шалью.— И конь хороший, и сам ты хороший.

Ра-а-а!..— заревела машина, и Сергей решил: «Стоп! Довольно. Теперь пора просыпаться».

Но глаза не открывались.

«Довольно!» — с тревогой подумал он, потому что хороший сон уже круто и упрямо сворачивал туда, где было темно, тревожно и опасно.

Но тут его крепко качнуло, машина остановилась, и шофер громко сказал:

— Есть! Закурим. Это Байдары.

— Байдары...— машинально повторил Сергей и открыл глаза.

Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами в кипарисовой черноте спало все южное побережье.

Кругом было тихо и спокойно. Сон прошел. Они закурили и быстро помчались вперед, потому что было уже далеко за полночь.

Проснувшись, Натка увидела Альку.

Алька стоял, открыв коробку, и удивлялся тому, что она пуста.

— Это ты открыла или они сами повылазили? — спросил Алька, показывая на коробку.

— Это я нечаянно,— созналась Натка.— Я открыла и даже испугалась.

— Они не кусаются,— успокоил ее Алька.— Они только прыгают. И ты очень испугалась?

— Очень испугалась,— к великому удовольствию Альки, подтвердила Натка и потащила его в умывальную комнату.

— Алька,— спросила Натка, когда, умывшись, вышли они на террасу,— скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?

— Человек? — удивленно переспросил Алька.— Ну, просто человек. Я да папа.— И, серьезно поглядев на нее, он спросил: — А ты что за человек? Я тебя узнаю. Это ты с нами в вагоне ехала.

— Алька,— спросила Натка,— почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?

— Мамы нет,— ответил Алька.

И Натка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос.

— Мамы нет,— повторил Алька, и Натке показалось, что, подозревая ее в чем-то, он посмотрел на нее недоверчиво и почти враждебно.

— Алька,— быстро сказала Натка, поднимая его на руки и показывая на море,— посмотри, какой быстрый, большой корабль.

— Это сторожевое судно,— ответил Алька.— Я его видел еще вчера.

— Почему сторожевое? Может быть, обыкновенное?

— Это сторожевое. Ты не спорь. Так мне папа сказал, а он лучше тебя знает.

В этот день готовились к первому лагерному костру, и Натка повела Альку к октябрятам.

На лужайке босой пионер Василюк, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил легонькую и ловкую башкирку Эмине вспрыгивать на плечи с развернутым красным флагом.

— Ты не так прыгаешь, Эмка,— терпеливо повторял Василюк.— Ты когда прыгнешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь — я колыхнусь, и полетим мы с тобой прямо Баранкину на голову. Эх, ты! Ну, и как мне с тобой сговориться? — огорчился он, увидав, что Эмине не понимает ни слова.— Ну ладно, беги. Потом Юлай придет, он уж тебе по-вашему объяснит.

Эмине спрыгнула и, заметив Альку, остановилась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека.

— Пионер? — смело спросила она, указывая на его красный галстук.

— Пионер,— ответил Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником.— Это белый,— хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть ее Алька.— Это белый. Это царь.

— Это красный,— еще хитрее улыбнувшись, ответила Эмине.— Это Буденный.

— Это белый,— настойчиво повторил Алька, указывая на саблю. Вот сабля.

— Это красный,— твердо повторила Эмине, указывая на серую папаху.— Вот звезда!

И, рассмеявшись, оба очень довольные, что хорошо поняли друг друга, они вприпрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось нестройное пение октябрят.

Проводив Альку к октябрятам, Натка повернула в сосновой роще и натолкнулась на звеньевого третьего звена Иоську. В одной руке Иоська тащил что-то длинное, свернутое в трубочку, а в другой — маленький, крепко завязанный узелок.

— Ты откуда? Куда?

— В клуб бегал,— быстро и неохотно ответил Иоська, подпрыгивая и увертливо пряча узелок за спину.— В клуб за плакатами. Мы сейчас рассказ будем читать о танках.

— Иоська,— удивилась Натка,— почему же это о танках, когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру-автодоровцу?

— Памятку потом. Мы сегодня с купанья шли — глядим, четыре танка ползут. Интересно! Я скорей в библиотеку. Давай, думаю, сегодня, пока интересно, будем читать о танках.

— Ну ладно, Иоська. Это хорошо. А что это ты в узелке за спиной прячешь?

— Это? Это орехи,— с отчаянием заговорил Иоська, еще нетерпеливей подпрыгивая и отскакивая от Натки.— Это я такую игру придумал. Мне инструктор написал семь вопросов о танках. Ну вот, кто угадает, а кто не угадает...

— Да ты хоть скажи, откуда орехи-то взял?

Но тут увертливый Иоська подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и, замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты.

... Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья. Певцы ушли в хоровой кружок, гимнасты — на спортивную площадку, танцоры — в клуб. И, пользуясь этой веселой суматохой, никем не замеченные, двое ребят скрылись потихоньку из лагеря.

Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бечевы и

огарок стеариновой свечки. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой черной дыре у подножия дряхлой башенки.

Ярко жгло полуденное солнце, и от этого пахнувшее сыростью отверстие казалось еще более черным и загадочным.

— А что, если у нас бечевы не хватит, тогда как? — спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки.— А что, если вдруг под ногами обрыв? Я, знаешь, Толька, где-то читал такое, что вот идешь... идешь подземным ходом, вдруг — бац, и летишь ты в пропасть. А внизу, в этой пропасти, разные гадюки... змеи...

— Какие еще змеи? — переспросил Толька, поглядывая на сырую черную дыру.— И что ты, Владик, всегда какую-нибудь ерунду придумаешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше бы свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, вот тебе и будут змеи.

— А что, Толька,— обматывая свечку, задумчиво продолжал Владик,— а что, если мы спустимся, вдруг обвалится башня и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах? Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки, потом ремни, а потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга.

— И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь? — совсем уже унылым голосом спросил Толька и опять покосился на черную дыру.

— Лезем! — оборвал его Владик.— Мало ли что я говорю! Это я тебя, дурака, дразню.

Он зажег свечу и осторожно спустил огонь на покатый каменистый вход.

Толька, держа в руках клубок с разматывающейся бечевой, полез вслед за ним.

Потихоньку ощупывая каждый камешек, они прошли метров пять. Здесь ход круто сворачивал направо. Оглянувшись еще раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но, к своему разочарованию, они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было.

— Тоже крепость! — рассердился Толька.— А все, Владик, ты. Полезем да полезем. Ну, вот тебе и полезли. Идем лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил.

Они выбрались из погреба и, цепляясь за уступы,

залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море — огромное и пустынное.

Опустившись на траву, ребята притихли и, щурясь от солнца, лежали долго и молча.

— Толька! — спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумывал что-нибудь интересное, глаза его заблестели.— А что, Толька, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света, и разбили бы они Красную Армию, и поставили бы они все по-старому? Мы бы с тобой тогда как?

— Еще что! — равнодушно ответил Толька, который уже привык к странным фантазиям своего товарища.

— И разбили бы они Красную Армию,— упрямо и дерзко продолжал Владик,— перевешали бы коммунистов, перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров, тогда бы мы с тобой как?

— Еще что! — уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными.— Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? У нас советская... На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам ты все знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает...

Толька покраснел и, презрительно фыркнув, отвернулся от Владика.

— Ну и пусть глупый! Пусть знаю,— спокойнее продолжал Владик.— Ну, а если бы? Тогда бы мы с тобой как?

— Тогда бы и придумали,— вздохнул Толька.

— Что там придумывать? — быстро заговорил Владик.— Ушли бы мы с тобой в горы, в леса. Собрали бы отряд, и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда. Никогда! — повторил он, прищуривая блестящие серые глаза.

Это становилось интересным. Толька приподнялся на локтях и повернулся к Владику.

— Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах? — спросил он, подвигаясь поближе.

— Зачем одни? Иногда бы мы с тобой переодевались и пробирались потихоньку в город за приказами.

Потом к рабочим. Ведь всех рабочих они все равно не перевешают. Кто же тогда работать будет — сами буржуи, что ли? Потом во время восстания бросились бы все мы к городу, грохнули бы бомбами в полночь, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, к губернаторам. Смелее, товарищи! Пусть грохает.

— Что-то уж очень много грохает! — засомневался Толька.— Так, пожалуй, и все дома закачаются.

— Пусть качаются,— ответил Владик.— Так им и надо.

— Тише, Владик! — зашипел вдруг Толька и стиснул локоть товарища.— Смотри, Владик, кто это?

Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек.

В руках он держал что-то продолговатое, завернутое в бумагу. По-видимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарник и исчез в черной дыре, из которой еще только совсем недавно выбрались ребятишки.

Не позже чем через пять-шесть минут он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах.

Озадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на тропку.

Здесь-то и встретили они возвращавшегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря.

— Ты знаешь, где мой папа? — спросил Алька, перед тем как лечь спать.— У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы.

Алька подумал, повертелся под одеялом и неожиданно спросил:

— А у тебя, Натка, случалась когда-нибудь беда?

— Нет, не случалась,— не совсем уверенно ответила Натка.— А у тебя, Алька?

— У меня? — Алька запнулся.— А у меня, Натка, очень, очень большая случилась. Только я тебе про нее не сейчас расскажу.

«У него умерла мать»,— почему-то подумала Натка, и, чтобы он не вспомнил об этом, она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которую обманул хитрый заяц.

— Спи, Алька,— сказала Натка, закончив рассказ.— Уже поздно.

Но Альке что-то не спалось.

— Ну, расскажи мне сам что-нибудь,— попросила Натка.— Расскажи какую-нибудь историю.

— Я не знаю истории,— подумав, ответил Алька.— Я знаю одну сказку. Очень хорошая сказка. Только это не такая... не про кошек и не про зайцев. Это военная, смелая сказка.

— Расскажи мне, Алька, смелую военную сказку,— попросила Натка, и, потушив свет, она подсела к нему поближе.

Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого Мальчиша-Кибальчиша, про измену, про твердое слово и про неразгаданную Военную Тайну.

Потом он уснул, но Натка долго еще ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку.

Было уже очень поздно, когда далекий, но сильный гул ворвался в открытое настежь окно, как будто бы ударили в море залпом могучие, тяжелые батареи.

Натка вздрогнула, но тут же вспомнила, что еще с вечера всех вожатых предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются — это так надо.

Она быстро прошла в палату.

Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Натка пошла к себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но еще сонными глазами.

— Что это? — спросил он тревожным полушепотом.

— Спи, Алька, спи! — быстро ответила Натка, укладывая его в постель.— Это ничего... Это твой папа поправляет беду.

— А, папа...— уже закрывая глаза, с улыбкой повторил Алька и почти тотчас же заснул.

Ребята-октябрята были самым дружным народом в отряде. Держались они всегда стайкой: петь так петь, играть так играть. Даже реву задавали они и то не поодиночке, а сразу целым хором, как это было на днях, когда их не взяли на экскурсию в горы.

К полудню Натка увела их на поляну, к сосновой роще, потому что звеньевой октябрят Роза Ковалева была в этот день помощником дежурного по лагерю.

Едва только Натка опустилась на траву, как октябрята с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись вокруг нее веселой босоногой звездочкой.

— Расскажи, Натка!

— Почитай, Натка!

— Покажи картинки!

— Спой, Натка! — на все голоса закричали октябрята, протягивая ей книжки, картинки и даже неизвестно для чего подсовывая прорванный барабан и сломанное чучело полинялой бесхвостой птицы.

— Расскажи, Натка, интересное,— попросил обиженно октябренок Карасиков.— А то вчера Роза обещала рассказать интересное, а сама рассказала, как мыть руки да чистить зубы. Разве же это интересное?

— Расскажи, Натка, сказку,— попросила синеглазая девчурка и виновато улыбнулась.

— Сказку? — задумалась Натка.— Я что-то не знаю сказок. Или нет... я расскажу вам Алькину сказку. Можно? — спросила она у насторожившегося Альки.

— Можно,— позволил Алька, горделиво посматривая на притихших октябрят.

— Я расскажу Алькину сказку своими словами. А если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот, слушайте!

В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-Кибальчиш.

В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов

стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было.

Отец работает — сено косит. Брат работает — сено возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется.

Гоп!.. Гоп!.. Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да работай — хорошая жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру — вышел Мальчиш-Кибальчиш на крыльцо. Смотрит он — небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за Черные Горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришел.

— Что ты? — говорит он Мальчишу.— Это дальние грозы гремят за Черными Горами. Это пастухи дымят кострами за Синей Рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушел Мальчиш. Лег спать. Но не спится ему — ну, никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, у окон — стук. Глянул Мальчиш-Кибальчиш, и видит он, стоит у окна всадник. Конь — вороной, сабля — светлая, папаха — серая, а звезда — красная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник.— Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Черных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ.

— Что же,— говорит старшему сыну,— я рожь густо сеял — видно, убирать тебе много придется. Что же,—

говорит он Мальчишу,— я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, Мальчиш, придется.

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров...

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, оглядывая притихших ребят.

— Так... так, Натка,— тихо ответил Алька и положил свою руку на ее загорелое плечо.

— Ну вот... День проходит, два проходит. Выйдет Мальчиш на крыльцо: нет... не видать еще Красной Армии. Залезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка — стук. Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник.— Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!

Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу:

— Прощай, Мальчиш... Остаешься ты один... Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах... Живи как сумеешь, а меня не дожидайся.

День проходит, два проходит. Сидит Мальчиш у трубы на крыше и видит Мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник.

Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня и говорит:

— Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные трубы. Забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули знаменосцы боевые знамена. Мчится и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, до завтрашней ночи продержаться.

Слез Мальчиш с крыши, принес напиться. Напился гонец и поскакал дальше.

Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу — ну, какой тут сон?

Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка — шорох. Глянул Мальчиш и видит, стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет — пропал конь, и сабли нет — сломалась сабля, и папахи нет — слетела папаха, да и сам-то стоит — шатается.

— Эй, вставайте! — закричал он в последний раз.— И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота — некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит.

Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал.

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, чтобы перевести дух, и оглянулась.

Уже не одни октябрята слушали эту Алькину сказку. Кто его знает, когда подползло бесшумно все пионерское Иоськино звено. И даже башкирка Эмине, которая только едва понимала по-русски, сидела задумавшаяся и серьезная. Даже озорной Владик, который лежал поодаль, делая вид, что он не слушает, на самом деле слушал, потому что лежал тихо, ни с кем не разговаривая и никого не задевая.

— Так, Натка, так... Еще лучше, чем так,— ответил Алька, подвигаясь к ней еще поближе.

— Ну вот... Сел на завалинку старый дед, опустил голову и заплакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

— Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?

Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.

Все хотят идти на подмогу. Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот Плохиш, что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу.

Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. Лишь один Плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. И видит Плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. «Эге,— подумал Плохиш,— вот это мне и нужно».

А в это время спрашивает Главный Буржуин у своих буржуинов:

— Ну что, буржуины, добились вы победы?

— Нет, Главный Буржуин,— отвечают буржуины,— мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся.

Очень удивился и рассердился тогда Главный Буржуин, и закричал он грозным голосом:

— Может ли быть, чтобы не справились с Мальчишем? Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорей и не возвращайтесь назад без победы.

Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им сделать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

— Радуйтесь! — кричит он им.— Это все я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.

Вдруг как взорвались зажженные ящики! И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули.

— Измена! — крикнул Мальчиш-Кибальчиш.

— Измена! — крикнули все его верные мальчиши.

Ну тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и скрутила и схватила она Мальчиша-Кибальчиша.

Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же с пленным Мальчишем прикажет теперь Главный Буржуин делать?

Долго думал Главный Буржуин, а потом придумал и сказал:

— Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он сначала расскажет нам всю их Военную Тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него:

— Отчего, Мальчиш, бились с Красной Армией Сорок Царей да Сорок Королей, бились, бились, да только сами разбились?

— Отчего, Мальчиш, и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь?

— Отчего, Мальчиш, проклятый Кибальчиш, и в моем Горном Буржуинстве, и в другом — Равнинном Королевстве, и в третьем — Снежном Царстве, и в четвертом — Знойном Государстве в тот же день в раннюю весну и в тот же день в позднюю осень на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут, те же речи говорят, то же думают и то же делают?

Вы спросите, буржуины:

— Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного секрета?

И пусть он расскажет секрет.

— Нет ли у наших рабочих чужой помощи?

И пусть он расскажет, откуда помощь.

— Нет ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому, как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются?

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись:

— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам в лицо.

— Есть,— говорит он,— и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда б вы ни напали, не будет вам победы.

— Есть,— говорит,— и неисчислимая помощь, и, сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь.

— Есть,— говорит,— и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не догадаться.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и говорит:

— Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную Муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.

Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро. Идут и головами покачивают.

— Нет,— говорят они,— начальник наш Главный Буржуин. Бедный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?..

— Это не по тайным... это Красная Армия скачет!— восторженно крикнул не вытерпевший октябренок Карасиков.

И он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей, что та самая девчонка, которая еще недавно, подскакивая на одной ноге, безбоязненно дразнила его «Карасик-ругасик», недовольно взглянула на него и на всякий случай отодвинулась подальше.

Тут Натка оборвала рассказ, потому что издалека раздался сигнал к обеду.

— Досказывай,—повелительно произнес Алька, сердито заглядывая ей в лицо.

— Досказывай,— убедительно произнес раскрасневшийся Иоська.— Мы за это быстро построимся.

Натка оглянулась. Никто из ребятишек не поднимался. Она увидела много-много ребячьих голов — белокурых, темных, каштановых, золотоволосых. Отовсюду на нее смотрели глаза — большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазой, что попросила сказку, узкие, черные, как у Эмине, и много-много других глаз — обыкновенно веселых и озорных, а сейчас задумчивых и серьезных.

— Хорошо, ребята, я доскажу.

...— И стало нам страшно, Главный Буржуин, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?

— Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин.— Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого Мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва.

— И погиб Мальчиш-Кибальчиш...— произнесла Натка.

При этих неожиданных словах лицо у октябренка Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой. Синеглазая девчурка нахмурилась, а веснушчатое лицо Иоськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочались, зашептались, и только Алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно.

— Но... видели ли вы, ребята, бурю? — громко спросила Натка, оглядывая приумолкших ребят.— Вот так же, как громы, загремели боевые орудия. Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия.

А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые, пенистые потоки, так же при первом грохоте войны забурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов

и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.

Плывут пароходы — привет Мальчишу!
Пролетают летчики — привет Мальчишу!
Пробегут паровозы — привет Мальчишу!
А пройдут пионеры — салют Мальчишу!

Вот вам, ребята, и вся сказка.

...Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика татарина, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали:

— Нет, вы подумайте! Ну и народ! Головы им рвать надо... Где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого черта Шалимова сейчас же сюда позвали.

— Зачем черта? Зачем ругаешься? — раздался из-за кустов равнодушный голос Шалимова.— Ты дело говори, а то кричит-пищит, как петух под лисицей. Ну, на что тебе нужен Шалимов?

— Ночью замок сорвали,— плачущим голосом объяснил Дягилев.— Начисто. Вместе с пробоем. Ружье украли, двустволку. Шкатулка запертая стояла. В ней шестьдесят рублей казенных денег, документы, ведомости, расписки. Что же это такое, Сергей Алексеевич? — недоуменно разводя руками, спросил Дягилев.

И, обернувшись к кучке насторожившихся татар, он погрозил кулаком.

— Зачем кулаком махаешь? — все так же невозмутимо переспросил Шалимов.— Воры есть русские, воры есть татары. Всякие есть воры. Зачем, пустой человек, зря кулаком махать?

Шалимов сердито вздернул брови и укоризненно добавил:

— Вон татары землю копают, а вон твой русский идет, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?

И точно, подошел вдрызг пьяный дядёк и, неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся.

— Спать, спать иди! — ловко выпирая пьяного, прикрикнул смутившийся Дягилев.— И что за народ! Что за народ! — скороговоркой докончил он и беспомощно махнул рукой.

Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепежные стойки. Он обернулся, отыскивая того старика, который жаловался, что его обсчитали, но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошел вниз, к дощатому бараку, где помещалась десятиковская конторка.

Рассерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех, кого попало.

— Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я, право, не согласен. Пусть Шалимов остается. Мотаешься, мотаешься... Всюду ругань, всем не так. А тут еще вон что!

Ни дягилевской двустволки, ни шестидесяти рублей Сергею не было жалко, но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы.

Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака.

По пути на первый участок Сергей опять увидел все того же пьяного. Пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и спросить, что за беда и почему человек напился спозаранку. Но пьяный тут же свалился под кусты и заснул.

На первом участке работа шла своим чередом. Здесь молодой вихрастый бригадир огорченно рассказывал, что сто восемьдесят метров желоба уже проложено и что было бы больше, да, опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору.

Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих.

Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо

было еще повидать Альку. Из-за Алькн ои взял этот отпуск. Из-за Алькн он согласнлся проследнть за работамн по прокладке водопровода. И все-таки с Алькой прнходнлось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая. Но все что-то ие ладнлось. Например, совсем иедавно, перед его приездом, пропало сорок лопат. И вовсе уж бестолково выиулн двестн кубометров земли ие оттуда, откуда было иадо.

Сергей иаскоро выкупался, вымыл грязиые сапогн, одериул помятый френч и пошел к лагерю.

За обедом звеиьевой Иоська спроснл у Владнка, почему тот вчера не был нн на спортнвиом кружке, ни на отрядной площадке.

Насторожившнйся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто бы он работал в мастерской. Но тут, как назло, раздавая мороженое, подошел дежурный по столу пнонер Башкатов, а при нем ннкак иельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего.

Чтобы замять разговор, Владнк быстро повернулся и как бы нечаяино опрокинул Иоськину вазочку с мороженым. Но это вышло иеловко, н всем было вндно, что опрокннул Владик нарочно.

— Хулигаи! — рассерднлся Иоська и быстро выхватнл нз рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владнку.

Все рассмеялнсь, а Владнк рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник.

Поднялся шум, чуть не драка, а кончнлось тем, что подошел дежуриый по лагерю н Владнка с позором выставнлн нз-за стола.

Обозленный Владнк показал Иоське кулак н тотчас же ушел прочь.

Сразу же после обеда Натка отправнлась к берегу, в штаб. Там иа сегодня был иазначен совет вожатых — готовнлнсь к общелагерному костру третьей смены, который был иазначен на послезавтра.

Во время перерыва Алеша Ннколаев спроснл:

— Что это, Шегалова, ребята сегодня все время гудят, спорят... Сказка, сказка... Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала?

— Сказку, Алеша, рассказывала. Хорошая сказка.

— Отчего вздумалось тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читала ты, опять пионер предотвратил железнодорожное крушение? Взяла бы и рассказала.

— Рассказала уже,— рассмеявшись, ответила Натка — Ну, говорят, шел, ну, увидел, что у рельсы гайка развинтилась, ну, побежал и сказал сторожу. Это что! Так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай... «Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же теперь Главный Буржуин прикажет с пленным Мальчишем делать?»

— Черт тебя знает, что ты городишь, Натка! — перебил ее Алеша.— Какой Главный Буржуин? Кого заковали?

— Мальчиша заковали! — настойчиво повторила Натка. И тотчас же успокоила: — А про крушение я еще раз обязательно расскажу. Сама знаю... транспорт, грузопотоки... Первый год, что ли? — И, неожиданно улыбнувшись, она повторила: — «Плывут пароходы — привет Мальчишу! Бегут паровозы — привет Мальчишу!» Это тебе что! Не транспорт, что ли? А пройдут, Алеша, пионеры — салют Мальчишу! Эх ты... гайка! — рассмеявшись, закончила Натка, и, схватив Алешу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат.

После совещания Натка вспомнила, что еще не готовы к празднику костюмы для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и сверток глянцевой бумаги.

Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик. Но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоре сомкнулся так плотно, что Натке приходилось поминутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо.

Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Натка охнула и увидела, что это колючая проволока.

— Я вас, бездельники! Я вот вас хворостиной! — раздался грозный голос.

Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Наткой оказался распоясанный, босоногий Гейка.

Увидав нагруженную поклажей Натку, Гейка сконфузился и, насупившись, объяснил:

— Сторож в баню пошел, а ребятишки в сад лазят. Груши еще вовсе зеленые, твердые — кабан не раскусит. Все равно лезут. Вечор двоих ваших поймал. «Стыдно! — говорю.— Вас, голоштанных, и пирожными кормят и морожеными. Всякие вам повара, доктора, а вы вон что!» По-настоящему надо бы их крапивой, да вижу — скраснели. Такие негодники! Отобрал я у них зеленые груши, дал по спелому яблоку. Все одно стоят и молчат. «Ладно,— говорю им,— бегите. Эх вы... босоногая диктатура!»

Гейка улыбнулся. Он показал Натке дорогу, постоял, глядя ей вслед, и, все еще продолжая чему-то улыбаться, с шумом исчез за кустами.

Натка взобралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше чем в десяти шагах, лежали Сергей и Алька.

Конечно, надо было незаметно отойти, но как назло концы цветных лоскутьев запутались в колючках, и теперь Натка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно.

— Папка,—предложил Алька,—знаешь, давай споем нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поем да не поем.

— Спой лучше один, Алька. Я ночью на работе сто раз кричал, ругался, и у меня горло охрипло.

— А ты бы без крику,— посоветовал Алька.— Ну давай начинай, и я тоже.

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.

И странно: теперь, когда на пустой полянке смешной октябренок Алька, подергивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось Натке, что все хорошо и что работать ей весело.

Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвется с постелей весь ее неугомонный отряд. А Владик с Толькой, вероятно, уже и так проснулись и в ожидании сигнала ерзают, сорванцы, по койкам и, конечно, мешают другим спать.

«А много нашего советского народа вырастает»,— прислушиваясь к песне, подумала Натка. Выдергивая зацепившийся лоскут, она обломала ветку и испуганно притихла.

— Папка,— заглядывая Сергею в лицо, спросил Алька,— отчего это, когда мы поем «Заводы, вставайте» и «шеренги смыкайте», то все хорошо и хорошо. А вот как допоем до «товарищей в тюрьмах, в застенках холодных», то ты всегда лежишь и глаза жмуришь.

— Отчего же всегда? — ответил Сергей.— Солнце в глаза светит, оттого и жмурю.

— А когда луна? — помолчав немного, переспросил Алька.

— А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька!

— А когда ни солнце, ни звезды, ни луна? — громко и уже настойчиво повторил Алька.— Я и сам знаю почему.

Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв, вниз, на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего удивленная Натка так и не смогла увидеть.

Натка подвинулась. Из-под ее ног с шумом покатились камешки. Алька обернулся, и теперь Натке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу.

— Это и есть она самая! — закричал Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и лоскутьях девушку.

— Наташа? — догадался Сергей.

— Я и есть самая,— подтвердила Натка.

— Ну, что Алька?

— Бегает, балуется. Такой...— Натка запнулась,— такой малыш. Не дергай, Алька, за ленты. Мы из них к празднику Эмине костюм сделаем. Вы еще с нею не поссорились?

— Нет, не поссорились,— ответил Алька.— Это мы с Васькой Бубякиным уже подрались. Он берет, а я не даю. Он говорит: дай! А я — не дам. Он меня — раз.

А я его — раз, раз тоже. Только мы уже опять два раза помирились.

И, обернувшись к отцу, Алька объяснил:

— Эмине — это маленькая девчонка такая веселая... башкирка. Сегодня плаксун Карасиков стал реветь: муу! муу! Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге да по-башкирскому дразнится: тыр-быр-тыр, бур-тыр-тыр... Да быстро так, а сама все скачет, скачет. Очень хорошая башкирка. Только боится, когда ее за пятки схватишь: орет на всю палату.

Издалека загудел сигнальный колокол. Натка заторопилась:

— Алька ко мне? Или вы его с собой возьмете?

— Нет, не с собою,— ответил, поднимаясь, Сергей.— Пойду отдохну, потом к озеру, а с утра в Ялту. Ну, бегите. Значит, послезавтра увидимся.

— Обязательно послезавтра,— приказал Алька.— Вечером будет костер, музыка, а потом... Нет, лучше не скажу. Придешь, тогда сам увидишь.

Они убежали.

Сергей постоял, подошел к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там, меж глыбами серого, влажного камня.

Потом он свистнул, одернул ремень и зашагал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика татарина, который жаловался, что его обсчитали.

Бригадиру Шалимову Сергей верил не очень.

На другой день, сразу же после завтрака, Тольку Шестакова отослали за краской на нижний склад. Толька подмигнул Владику, чтобы Владик подождал.

Но на складе, как нарочно, пришлось долго стоять в очереди. Все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы. То и дело подбегали гонцы и требовали проволоки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей. Все торопились, и всем было некогда.

Когда Толька наконец вернулся в отряд, оказалось, что куда-то исчез Владик.

Толька носился туда и сюда, рыскал по всем углам и до того намозолил всем глаза, что Натка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каемку по краям пятиконечной звезды.

Едва Толька уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дождаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну.

С досады и чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая Натка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало, и, всучив Владику целую кипу маленьких флажков, приказала тащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерной площадке.

В другое время Владик обязательно заспорил бы, но сейчас это было невыгодно: ему нужно было казаться послушным.

Сердито глянув на Тольку, он спокойно вышел, а очутившись за дверью, напролом через кустарник, через ручейки и овражки он помчался вниз, чтобы поскорей вернуться и, пользуясь предпраздничной суматохой, убежать с Толькой к развалинам старых башен.

Однако, когда взмокший Владик вернулся, Тольку он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Натка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь. А обрадованный Толька тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по тропке.

«Вот еще напасть!» — подумал огорченный Владик и сгоряча дал подзатыльник подвернувшемуся черкесёнку Ингулову. Но тут на помощь Ингулову выглянул здоровенный пионер, кубанец Лыбатько, и Владику пришлось уносить ноги подальше.

На поляне, под кипарисами, злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октябренка Карасикова, которые копошились возле толстого чурбана, пытаясь спихнуть его под откос, в болотце.

Здесь Владик вспомнил, что и октябренку Карасикову надо дать щелчка: Карасиков утром наябедничал, что Владик запихал Баранкину под простыню жестяную мыльницу и платяную щетку.

Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжелый чурбан.

Такая смелая просьба Владику понравилась.

Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек.

— Ты хороший человек, Алька! — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик.

Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владику в глаза.

— Ты хороший человек,— внезапно придумал Владик.— Жалко, что ты мал еще, а то я взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну.

— И я бы тоже залез,— обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе.

— Или нет,— охваченный новой фантазией и показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик.— Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а Толька сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что — нажал ключ, и сразу искры, искры... тревога!.. тревога!.. Вставайте, товарищи!.. Тогда разом повсюду загудят гудки — паровозы, пароходы, сверкнут прожектора. Летчики — к самолетам. Кавалеристы — к коням. Пехотинцы — в поход. И рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойней, товарищи! Нам не страшно!

— Я бы тоже побежал! — уныло завопил оскорбленный Карасиков.— Раз все бегут, значит, я тоже.

Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо:

— А потом после боя вдруг вспомнил бы: а где это, братцы, наш герой Карасиков? Ни среди живых его нет, ни среди мертвых, ни среди раненых. А кто это ворочается в спальне под кроватью? Ах, это вы, гражданин Карасиков! Ах, вы умеете только языком болтать да ябедничать, как я Баранкину под простыню мыльницу да щетку запихал! Да раз ему за такие дела щелчка! Два щелчка! То-то, карасятина!

Не успел отщелканный Карасиков пикнуть, как озорной Владик уже исчез.

Карасиков хныкнул и вопросительно посмотрел на Альку.

— Ничего! — успокоил Алька.— Он тебе только два раза. А про все другое — это он нарочно. Там Красная Армия и без нас сторожит. Там не один часовой, а тысячи часовых, и все стоят и не шелохнутся.

— И я бы тоже не шелохнулся,— не уступал Карасиков.

— Нет, ты бы шелохнулся! — рассердился Алька.— Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочался, ворочался... даже Натка заругалась?

— И вовсе не ворочался. Это оттого, что у меня шнурок оборвался и штаны вниз сползали,— обидчиво возразил Карасиков.

— А разве же у часовых сползают? — снисходительно усмехнулся Алька.— Эх ты, хвастунишка!

Из-за кустов выскочил Иоська.

— Где вы запропастились? — размахивая руками, затараторил он.— Бегите скорее! В море катер! Сейчас встречать... Гости едут. Матросы!.. Ворошиловцы!..

Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулко в море заревела сирена причаливающего катера.

Это приплыли пионеры севастопольского военизированного лагеря — ворошиловцы.

В длинных черных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые, они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной.

Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему:

— Мишка, здоро́во!

Но тот только повел глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но все это потом, а сейчас он пионер, матрос, ворошиловец, в строю.

После ужина ребята получили новые трусы, безрукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело.

Барабанщики подтягивали барабаны, горнисты отчаянно гудели на блестящих, как золото, трубах. На террасе взволнованная башкирка Эмине уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и, раскинув в стороны шелковые флажки, неумело, но задорно кричала:

— Привет старой гвардии от юной смены!

На крыльце, рассевшись, как воробьи, громко и нестройно пели октябрята. Тут же рядом вспотевший Баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка, а прыткий Иоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и поторапливал, потому что танк надо было еще успеть выкрасить.

— Так, значит, завтра? — уговаривался Толька с Владиком.

— Сказано, завтра.

— И чтобы не получилось, как сегодня. Я туда — он сюда. Он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандуют «разойдись», я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке, возле беседки, встретимся.

— А если там кто-нибудь уже есть?

— Тогда шарах в кусты. Сиди да посвистывай.

— Я-то свистну! — усмехнулся Владик, и, щелкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Натка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем.

Наступил вечер праздника.

При первом ударе колокола затихли песни, оборвались споры, прекратились игры, и все поспешней, чем обыкновенно, бросились к своим местам в строю.

— Ты не видала папу? — уже в третий раз спрашивал огорченный Алька у Натки.

— Нет, Алька, еще не видала. А ну, ребята, одернуть безрукавки, поправить галстуки. Как у тебя шнурок, Карасиков? Опять трусы сползать будут?

Пока ребята одергивали и оправляли друг друга, она успокоила Альку:

— Ты не печалься. Раз он сказал, что придет,— значит, придет. Наверно, на работе немного задержался.

На другом конце линейки разгневанный звеньевой Иоська ахал и прыгал возле насупившегося Баранкина.

— Сам таик заставлял красить, а теперь сам ругается,— хмуро оправдывался Баранкин.

— Так разве же я тебя галстуком заставлял красить? — возмущался Иоська.— И тут пятно, и там пятно. Эх, Баранкин, Баранкин! Ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая заперта и кастелянша ушла. Ну, что мне теперь делать, Баранкин?

— Раньше я пошел галстук горячей водой с мылом мыть, а сейчас, когда высохло, гляжу — опять на сухом видно. Я макнул кисть, вдруг кто-то меня толк под руку. Ну, вот и брызнуло. Разве же, когда человек работает, тогда толкаются? Я, когда человек работает, лучше его за сто шагов обойду, а толкать никак не буду.

— Значит, у беседки,— еще раз шепотом напомнил Толька.— Спички взял?

— Взял... Помалкивай,— тихо ответил Владик и неосторожно похлопал по заправленной в трусы безрукавке.

Неполный спичечный коробок брякнул, и звеньевой Иоська разом обернулся:

— Ты зачем спички взял? Нехорошо! Брось, Владик.

— А тебе что? — испуганно прошипел Владик.— Какие спички?

— Звено, Владик, ударное, а у одного галстук в краске, у другого спички спрятаны... Брось лучше. Стыдно! Да чего ты грозишься? А то не посмотрю, что товарищ, и скажу вожатой.

— Ну, говори... Провокатор!

Иоська отшатнулся. Доброе веснушчатое лицо перекосилось, губы дернулись, кулаки сжались. Но в это же самое мгновение снизу, от главного штаба, взвилась сигнальная ракета — «всем сбор». И от фланга к флангу раздалась громкая команда: «Внимание!»

Если бы это был не Иоська, а кто-либо другой, то, вероятно, несмотря на сигнал, несмотря на команду, позорная драка в строю была бы неминуема.

Но Иоська сразу опомнился, тяжело задышал и, медленно разжимая кулаки, стал в строй.

Все это случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил.

Сразу же рассчитались, повернули направо и с дружной песней о юном барабанщике, слава о котором не умрет никогда, двинулись вниз.

Внизу, невдалеке от моря, с трех сторон окаймленная крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка.

На скамьях, на табуретках, на скалистых уступах, на возвышенных зеленых лужайках расположились ребята, нетерпеливо ожидая, когда в конце праздника вспыхнет невиданно огромный костер, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды.

Условившись о месте сбора, ребята Наткиного отряда разбежались, каждый куда хотел.

Уже загремела музыка. Подплыла на моторке ялтинская делегация. Подошли летчики из военного санатория, и, неторопливо покачиваясь на седлах, подъехали старики татары из соседнего колхоза.

В толпе Натку окликнул знакомый ей комсомолец Картузиков.

— Ну что?.. Здóрово? — не останавливаясь, спросил он.— Приходи завтра на волейбол.— И уже издалека он крикнул: — Забыл... Там тебе письмо... спешное. На столе в дежурке лежит.

«Что за спешное? — с неудовольствием подумала Натка.— И от кого бы? От Верки только что было. Мать спешного посылать не станет. А больше будто бы и неоткуда. Успею!» — подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущенных летчиков.

Раскрасневшиеся летчики неумело маневрировали и так и этак, пытаясь вырваться из заколдованного круга. Стоило им сделать шаг, и веселый хоровод двигался вместе с ними. И так до тех пор, пока они не оказались припертыми к стенке беседки. Тут их расхватали, растащили и рассадили всех порознь, чтобы никому из ребят не было обидно.

Натка постояла, постояла и снова вспомнила о письме.

«А что, ведь успею еще и сейчас,— подумала она.— Добежать долго ли?»

Она одернула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке.

И все-таки письмо оказалось от матери. Письмо было серьезное и бестолковое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго и отец обещает ехать всей семьей. Там будет квартира в три комнаты, огород и сарай. Езды туда целая неделя. И что отец ходит веселый, а пятилетний братишка Ванька еще веселей и уже разбил Наткину даренную чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и веселиться ей не с чего. Здесь жили, жили, а там еще кто знает? Сторона там чужая, и народ, говорят, не русский.

Два раза Натка прочла это письмо, но так и не поняла: кто переводит? Куда переводят? Какая сторона и какой народ?

Поняла она только одно: что мать просит ее приехать пораньше и в Москве, у дяди, никак не задерживаться.

Натка задумалась. Вдруг волны быстрой, веселой музыки, потом многоголосая знакомая песня ворвались через окно в пустую дежурку.

Натка сунула письмо за майку, выбежала и увидела с горки, что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней.

Это проходили парадом физкультурники.

— Ты что пропала? Я тебя искал,— сердито спросил откуда-то выползший Алька.— Идем скорее, а то, пока я тебя искал, какой-то мальчишка сел на мою табуретку, и мне теперь нигде и ничего не видно.

Натка взяла его за руку и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев.

— Туда нельзя,— остановил ее озабоченный Алеша Николаев.— Это места для шефов. И чего только опаздывают!

— Ну, что шефы! Придут — мы тогда уступим. Он же маленький, и ему ничего не видно, Алеша.

— Пусти одного, потом другой, потом третий...— ворчливо начал было Алеша, но не кончил, потому что на площадку с приветственным словом вышел летчик.

Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело,

треснуло. Через две-три секунды высоко над площадкой вспыхнул огонек, и, поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель аэроплана.

Тогда с земли, с лужаек, из-за кустов, из-за скалистых камней вырвался такой победно-торжествующий крик, что летчик недоуменно покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать.

Но потом он выпрямился и слово за словом нашел такие простые, горячие слова, что все примолкли, притихли, а заслушавшийся Иоська, который и сам давно уже мечтал быть летчиком, нечаянно оступился и едва не полетел, но только не к далекому синему небу, а в глубокую канаву с колючками.

Потом выскочили девчонки — танцорки и физкультурницы, и тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал легкий говорок, потом громче, громче, и наконец, зашумело, загудело:

— Идут... Идут... Идут...

Из глубины аллеи показалось человек десять уже пожилых людей. Это и была делегация шефов лагеря из дома отдыха ЦИК в Ай-Су.

Натка поспешно встала и взяла Альку на руки.

Когда стихли приветствия и шефы сели на места, а праздник пошел своим чередом, Натка увидела, что крайний стул, как раз тот самый, с которого она встала, остался свободным. Она потихоньку подвинула стул, села и посадила Альку на колени.

В то время как девчата-физкультурницы строили замысловатую пирамиду, Натка искоса разглядывала прибывших шефов. И вдруг на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо.

«Кто это? — растерялась Натка.— Лицо смуглое, чернобородый. Седина, очки... Да кто же это?»

Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись.

Засмеялся и чернобородый: карр! карр! И тогда обрадованная Натка сразу поняла, что это, уж конечно, Гитаевич, тот самый, который так часто бывал у Шегалова и с которым так подружилась Натка, когда два года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве.

Натка придвинула стул, взяла Гитаевича за руку и заглянула ему в лицо.

Он узнал ее сразу и засмеялся-закаркал так громко, что удивленный Алька соскользнул с Наткиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана человека.

— Кто это у тебя? — шутливо спросил Гитаевич.— Для сына велик, для братишки мал. Племянник, что ли?

— Это Алька Ганин, сын одного инженера. Он к моему отряду прикомандирован,— пошутила Натка.

Гитаевич угловато двинулся.

Он протер очки и, как показалось Натке, что-то уж очень пристально посмотрел на стоявшего перед ним маленького человечка.

— Я побегу... мне пора. Я сюда вернусь,— заторопился Алька и с обидою добавил: — Эх, папка, папка, так и не пришел.

— Сережи Ганина? — глядя вслед убегающему Альке, переспросил Гитаевич.

— Да, Ганина. А вы его разве знаете?

— Я-то его знаю,— ответил Гитаевич,— очень давно. Еще по армии знаю.

— Значит, вы их всех хорошо знаете? — помолчав немного, спросила Натка.— А где, Гитаевич, у Альки мать? Она умерла?

Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними — девочки-санитарки. Потом как-то хитроумно проползли фанерные танки. Затем по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачи. Что-то по земле размотали, растянули и скрылись.

Музыканты ударили «Марш Буденного». Двойной ряд пионеров расступился, и в строю, по четыре, на колесных и игрушечных конях выехал «Первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции».

Там был и Алька.

Поддерживая равнение, эскадрон проходил быстрым шагом и под взрывы дружного хохота, под музыку и песню буденновского марша, подхваченную и пионера-

ми, и гостями, и шефами, скрылся на противоположном конце площадки.

— Жулики! — обиженно объяснил кому-то сидевший неподалеку Карасиков. — Разве же они сами едут? Их с другого конца на бечевках тянут. Я уже все узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал.

Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами. Затевались массовые игры, и выступали отрядные кружки.

Ночь была душная. Гитаевич вытер лоб и обернулся к Натке, отвечая на ее вопросы:

— У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой, и была убита...

— Марица Маргулис! — почти вскрикнула пораженная Натка.

Гитаевич кивнул головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник «Первого октябрятского эскадрона имени мировой революции» — счастливый и смеющийся Алька.

В это время Натке сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и ревет во весь голос, а у Федьки Кукушкина схватило живот и, вероятно, этот обжора Федька объелся под шумок незрелым виноградом.

Натка оставила Альку с Гитаевичем и пошла в дежурку.

Катюша уже не ревела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы, а перепуганный Федька громко сознался, что съел три яблока, две груши, а сколько винограду, не знает, потому что было темно.

— Танком ее по носу задело, — сердито объяснял Натке звеньевой Василюк. — Я ей говорю: не суйся. Так нет, растяпа, не послушалась. Носькина башня повернулась — и бац ей орудием прямо по носу!

Растяпу Катюшу и обжору Федьку Натка приказала отправить домой, а сама по-над берегом пошла к Альке.

Вскоре она остановилась. Перед ней расстилалось невидимое отсюда море, и только слышно было, как равномерно плещутся волны.

На небе ни луны, ни звезд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо мерцал быстрый летящий огонек — должно быть, пограничного костра. И вдруг

Натка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря, лежит эта тяжелая страна Румыния, где погибла Марица...

Кто-то тронул ее за руку. Она нехотя обернулась и увидела Сергея.

— Алька где? Я спрашивал, и мне сказали, что он с вами, Наташа.

— Он со мною,— обрадовалась Натка.— Сейчас он сидит с Гитаевичем. Пойдемте... Он вас ждал, ждал...

— Опоздал я, Наташа,— виновато ответил Сергей.— Там у меня всякая чертовщина творится.

Они не дошли до Гитаевича всего несколько шагов, как опять разом погас свет и все смолкло.

— Стойте! — шепнула Натка.— Сейчас зажгут костер.

В темной тишине резко зазвучал горн, и сейчас же по краям площадки вспыхнули пять дымных факельных огней. Горн зазвучал еще раз, и огни стремительно, точно по воздуху, рванулись к центру площадки.

Долго огонь бежал и метался внутри подожженного костра. То он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шарахался по земле. И вдруг, как бы устав шутить и баловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром.

Тяжелые ветви скорчились, затрещали. Тысячи горящих искр помчались в небо. Стало так светло и жарко, что даже те, кто сидел далеко, щурили глаза и вытирали лица, а сидевшие поближе повскакали и с визгом кинулись прочь.

Когда Натка обернулась, то увидела, что Сергей уже держит Альку на руках, а раскрасневшийся, взволнованный Алька быстро рассказывает отцу о делах минувшего дня.

Было уже поздно, когда кое-как, вразброд, вернулся Наткин отряд к дому.

Не успела еще Натка взойти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и тихо рассказала, что всего десять минут назад Владик Дашевский привел исцарапанного, разбитого Тольку Шестакова и у Тольки, кажется, вывихнута рука.

Натка кинулась в дежурку. Там, сгорбившись на клесчатом диване, с лицом, заляпанным йодом, с примочкой под глазом и с рукою на перевязи, сидел Толь-

ка. Видно было, что ему очень больно, но что нз какого-то упрямства он сознаваться в этом ие хочет.

— Как же это? Где это вы? — подсаживаясь рядом, участливо спросила Натка.

Толька молчал. Вмешалась дежуриая:

— Говорит, что когда закаичивался костер и стали рсбята разбегаться, то, чтобы обогиать всех, бросились они с Владиком прямой тропиикой... А там ручьи, кусты, камии, овраги. Сорвался где-то на берегу н брякнулся.

Разыскали сониого Гейку. Гейка засуетился н быстро запряг лошадь.

Тольку повезлн в свой же лагерный лазарет, а Натка, иесмотря на полночь, собралась с докладом к иачальнику: строго-иастрого было приказаио обо всех иесчастных случаях доиосить ему во всякое время дия и ночи.

Перед тем как идти, Натка завериула в палату. Она вошла бесшумио, иеожиданно и, иесмотря иа полутьму, успела заметить, как Владик быстро повериулся и притнх. Значнт, он еще ие спал.

— Владик,— спросила Натка,— расскажи, пожалуйста, где... как это все случнлось?

Владик ие отвечал.

— Дашевский,— строго повторила Натка,— ты ие ври. Я же вндела, что ты ие спишь. Говори, илн я сегодия же расскажу про тебя иачальннку лагеря.

С начальииком Владнк разговарнвать ие хотел, и, сердито приподиявшись, сухо н коротко ои слово в слово повторил то, что уже говорил дежуриой сестре Толька.

— Черт вас иочью по оврагам носнт,— ие сдержавшись, выругалась Натка и в потемках устало побрела к иачальиику.

А Сергей опоздал на праздиик вот нз-за чего.

Вериувшись из Ялты, после обеда Сергей пошел по участкам. На первом дела подвигалнсь быстро н толково, поэтому, ие задерживаясь, Сергей прошел иа второй.

Там еще ие закончили рыть запасиой водослив, а крепить совсем еще ие начииали. Он спросил: «Где Дя-

гилев?» Ему ответили, что Дягилев на третьем. Тогда и Сергей пошел к плотине, на третий.

Поднимаясь к озеру, еще издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика татарина, который и был ему нужен.

В это время верхом на тощей коняге Сергея догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошел рядом.

— Плохо дело, начальник! — вздохнул Шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо.— Люди работают плохо.

— Сам вижу, что плохо. Водослив еще не кончили, крепить не начинали. Хорошего мало!

— Грунт тяжелый,— еще глубже вздохнул Шалимов,— камень, щебенка. Человек работает, работает, ничего не заработает. Крепко жалуются. Вчера на работу трое не вышло. Сегодня опять некоторые говорят: если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну, что мне, начальник, делать? — И Шалимов огорченно развел руками.

— Почему это только тебе, а ни мне, ни Дягилеву никто не жалуется? Чудно́ что-то, Шалимов.

— Ты человек новый, к тебе еще не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку? Чурбан человек. А с меня все спрашивают: ты старший, ты и говори.

— Ладно,— решил Сергей.— К вечеру, сразу после работ, собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше,— быстро и наугад соврал Сергей,— а то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили.

— Где, начальник? — забеспокоился Шалимов.— На водосливе или у насыпи?

— Не спросил. Некогда было. Ты там старший — тебе на месте видней. До свиданья, Шалимов. Значит, сразу после работы.

«Что-то неладно»,— подумал Сергей и увидел, что старика татарина на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошел до поворота, но и за поворотом старика не было тоже.

Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера.

Слева, у плотины, стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжелое, еще сырое бревно.

— Дягилев где? — спросил Сергей у встретившегося парня.

— А вон он! — И парень показал топорищем куда-то на горку.

Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнцем, и он никого не видел.

— Да вон он! — повторил парень.— Видишь, у куста стоит и с братом разговаривает.

— С каким братом?

— Ну, с каким? Со своим... с родным...

«Вон оно что! — подумал Сергей, увидав возле Дягилева того самого дядю, который на днях так не ко времени напился.— То-то Дягилев тогда растерялся».

Увидав Сергея, дягилевский брат неловко поздоровался и пошел прочь.

— Так смотрите же! — строго крикнул ему вдогонку Дягилев.— Чтобы к вечеру все шестьдесят плах были готовы! Плотник это наш,— объяснил он Сергею.— Он у них за старшего. Работник хороший.— И, отворачиваясь от Сергея, он нехотя добавил: — Конечно... бывает, что и выпивает.

Они пошли по стройке.

— Говорили что-нибудь из шалимовской бригады насчет расценок? —спросил Сергей.

— Да так, болтали. Разве их всех переслушаешь?

— На что жаловались?

— Известно, на что: грунт плохой, нормы велики, расценки малы. Что же им еще говорить?

— А на третьем участке, на первом, там, где русские, почему там не жалуются?

Дягилев промолчал.

— Чудно дело,— удивился Сергей.— Грунт одинаковый, нормы везде те же, расценки те же. Русские не жалуются, а татары жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев?

— Значит, такой уж у них характер вредный,— не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил: — На втором пролете, Сергей Алексеевич, опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вон, поглядите, плотники рубят.

...Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещал Альке, прийти на праздник. И вот на пустынной тропке, опять на том же самом месте, Сергей увидел все того же старика татарина.

«Что такое?» — удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему. Старик поздоровался и тихо пошел рядом.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Сергей.— И куда ты все прячешься? Рассказывай, что у тебя... Обсчитали?.. Обманули?.. Обидели?..

— Обманули,— равнодушно согласился старик,— и обсчитали — верно. И обидели... верно!

— Ты и сейчас работаешь?

— Нет,— так же равнодушно, точно и не о нем шла речь, продолжал старик.— В тот раз Шалимов заметил, что я тебе жаловался. На другой день уволил. Старый, говорит, плохо работаешь. А раньше, когда молчал, то хорошо работал. И все, кто молчит, тот хорош. Вчера троих опять отослал — плохо работают. А тебе, может быть, сказал: сами ушли. Расценки низкие. Конечно, низкие,— дергая Сергея за рукав, продолжал старик.— Я двадцать кубометров взял, а получил деньги за шестнадцать. А разве я один? Таких много. Где четыре кубометра? Конечно, выходит низкая. Я ему говорю, а он сердится: «Ты мне голову не путай, я тебя грамотней». Я пошел к старшему, к Дягилеву, а он говорит: «Я вашего дела не знаю. Я даю Шалимову бумагу — ведомость — и деньги. Деньги он берет, а бумагу с вашими расписками несет мне обратно. Если все верно, то и я говорю — верно. Вы с ним считайтесь, а я и языка вашего не понимаю, кто свою мне фамилию распишет, кто чужую... Аллах вас разберет». Конечно, аллах,— с насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил: — До свидания, начальник, спасибо!

— Погоди! — окликнул Сергей.— Постой, куда же ты? Пойдем со мной.

Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты.

Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец посланный вернулся и сказал, что Шалимов вашиб себе ногу и уехал домой.

Он пошел к сараям и увидел, что там собралось всего человек восемь. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник, и тогда после некоторого молчания ему объяснили, что у шалимовского сына третьего дня родился ребенок. Сколько ни вызывал Сергей на разговор собравшихся, казалось, что они так и не поняли, чего он хочет.

Сергей отпустил людей и пошел к лагерю.

И тогда он решил, пока дело разберется, Шалимова сейчас же выгнать, попросить в райкоме татарского докладчика. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой пропали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился.

Уже совсем стемнело. Влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин. Очень издалека, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка.

«Опаздываю,— понял Сергей.— Алька рассердится».

За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух, и где-то над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд.

— Кто? — падая на камни и выхватывая браунинг, крикнул Сергей.

Ему не отвечали, и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убегал прочь.

Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух.

Он прислушался, и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул.

Тогда Сергей встал. Не выпуская из рук браунинга, он пошел дальше и шел так до тех пор, пока с перевала не открылась перед ним широкая, ровная дорога.

Музыка внизу играла громче, громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями.

Сергей защелкнул предохранитель, спрятал браунинг и еще быстрее зашагал к Альке.

Наутро после костра ребят разбудили часом позже. Еще задолго до линейки ребята уже разведали про то, что с Толькой Шестаковым случилось несчастье. Но что

именно случилось и как, этого никто толком не знал, и поэтому к Натке подбегали с расспросами один за другим без перерыва.

Спрашивали: верно ли, что Толька сломал себе ногу? Верно ли, что Тольке во время вчерашнего фейерверка стукнуло осколком по башке? Верно ли, что доктор сказал, что Толька теперь будет и слепой, и глухой, и вроде как бы совсем дурак? Или только слепой? Или только глухой? Или не глухой и не слепой, а просто полоумный?

Сначала Натка отвечала, но потом, когда увидела, что все равно кругом галдят, спорят и несут какую-то чушь, она стала сердиться, и, опасаясь, как бы вздорные слухи во время общелагерного завтрака не перекинулись в другие отряды, она вызвала угрюмого Владика и попросила его, чтобы он сейчас же, на утренней линейке, вышел и рассказал отряду, как было дело.

Но Владик отказался наотрез. Она просила, уговаривала, приказывала, но все было бесполезно.

Раздраженная Натка посулила ему это припомнить и велела подать сигнал на пять минут раньше, чем обычно.

Собирались долго, строились шумно, бестолково, равнялись плохо. Против обыкновения, Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы.

Молча и внимательней, чем обыкновенно, наблюдал за Владиком Иоська. Очевидно, вчерашнее не забыл, что-то угадывал и к чему-то готовился.

Со слов Владика, Натка коротко рассказала ребятам, как было дело с Толькой. Пристыдила за нелепые выдумки и предупредила, что в следующие разы за самовольное бегство из отряда будет строго взыскано и что на случае с Толькой Шестаковым ребята теперь и сами могут убедиться, к чему такое самовольничанье приводит.

— Неправда! — прозвучал по всей линейке негодующий голос.— Все это враки и неправда!

Натка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и, к большому изумлению своему, увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Иоська.

Ребята зашевелились и зашептались.

— Тишина! — громко окрикнула Натка.— Почему говоришь, что все неправда?

— Все неправда,— убежденно повторил Иоська.— Когда вчера строились, Владик Дашевский зачем-то спрятал спички. Я пристыдил его, а он назвал меня провокатором. На костре ни его, ни Тольки не было, а бегали они еще куда-то. А куда, не знаю. И там, а не по дороге с костра, с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, а Дашевский врун и обманывает весь отряд.

Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Иоську или со злобой начнет оправдываться. Но побледневший Владик, презрительно скривив губы, стоял молча.

— Дашевский,— в упор спросила Натка,— это правда, что вас вчера на костре не было?

Не пошевельнувшись, не поворачивая даже к ней головы, Владик молчал.

— Дашевский,— сердито сказала тогда Натка,— сегодня же на вечернем докладе обо всем этом будет сказано начальнику лагеря, а сейчас выйди из строя и завтракать пойдешь отдельно.

Ни слова не говоря, Владик вышел и завернул в палату.

Через минуту отряд с песней шел вниз к завтраку. Завтракать Владик не пошел совсем.

Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята занимались каждый чем хотел, на пустом холмике, под тенью спаленной солнцем акации, сидел невеселый Владик. Все вышло как-то не так... нелепо и бестолково.

В сущности, Владику очень хотелось, чтобы ничего не было: ни вчерашней ссоры с Иоськой, ни вчерашнего случая с Толькой, ни утренней ссоры с Наткой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет, как будет, а он ни в чем не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывай его сто начальников, он будет стоять молча, и пусть думают, как хотят.

По ту сторону забора весело играли в мяч. Вдруг мяч взметнулся и, ударившись о столб, отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика.

Владнк посмотрел на мяч н не пошевельнулся.

Он не пошевельнулся н не крнкнул даже тогда, когда за забором поднялась суматоха: все бегали, разыскивая потерянный мячик, н громче других раздавался недоумевающий голос Иоськн: «Да он же вот в эту сторону полетел... Я же видел, что в эту!»

«Мне-то что?» — даже без злорадства подумал Владик н нехотя повернулся, заслышав чьн-то шагн.

Подошел и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лнцо его было какое-то серое, точно вымазанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы н в такую жару у него был насморк.

Он наскреб табаку, поднял с землн кусок бумагн н, хнтро подмигнув Владнку, свернул н закурнл.

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшнсь на Владика, он было остановился, но, заметнв мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал:

— Что же! Еслн ты на меня злишься, то тебе н все внноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть? Какой же ты товарнщ?

Иоська убежал.

— Вндал? — поворачнваясь к парню, презрительно сказал оскорбленный Владик.— Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашлн дурака-подавальщика.

— Известно,— сплевывая на траву, охотно согласился пареиь.— Им только этого и надо. Ишь ты какой рябой вынскался!

В сущиостн, озлобленный Владик н сам знал, что говорит он сейчас ерунду и ему гораздо легче было бы, если бы этот пареиь заспорнл с ним и не согласился. Но пареиь согласился, н поэтому раздражение Владика еще более уснлилось, н он продолжал совсем уж глупо н фальшнво:

— Он думает, что раз он звеньевой, то я ему и штаны поддерживай. Нет, брат, врешь, нынче лакеев иету.

— Конечно,— все так же охотно поддакнул пареиь.— Это такой народ... Ты нм сунь палец, а они и всю руку норовят слопать. Такая уж ихняя порода.

— Какая порода? — удивнлся н не понял Владик.

— Как какая? Мальчишка-то прнбегал — жнд? Значит, н порода такая!

Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой.

«Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове.— Иоська все-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!»

Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но ои был крупиее и сильиее. Он с ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперед, что пареиь вдруг струсил и, кое-как подхватив фуражку, оставив иа бугре табак и спички, с воем кииулся прочь.

Когда Владик опомнился, то рядом уж иикого не было. За стеною все так же задорно и весело играли в мяч. Очевидно, там ничего не слыхали.

Владик осмотрелся. По серой безрукавке расплывались ярко-красиые пятна: из носа капала кровь. Ои хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел Альку.

Запыхавшийся Алька стоял всего в пяти-шести шагах и внимательно, с сожалением смотрел иа Владика.

— Это тебя толстый избил? — тихо спросил Алька.— А отчего он сам ревел? Ты ему дал тоже?

— Алька,— пробормотал испуганиый Владик,— иди... ты не уходи... мы сейчас вместе.

Они ушли в глубь кустов. Там Владик сел и закинул голову. Кровь утихла, но ярко-красные пятна иа безрукавке и ссадина пониже виска остались.

Если бы только пятна крови, можно было бы сослаться на то, что напекло солнцем голову. Если бы только ссадиина, можно было бы сказать, что оцарапался о колючки. Но, когда всё вместе, кто поверит? Кто же поверит после вчерашнего и после сегодняшнего? И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случилась драка? Нет, объяснить нельзя никак...

— Алька,— быстро заговорил Владик,— ты ие уходи. Давай с тобой скоренько сбегаем к морю. Я за утесом место знаю. Там никогда никого нет... Я выполощу рубашку. Пока назад добежим, она высохнет — никто и не заметит.

Боковой дорожкой они спустились к морю. Алька уселся за глыбами и начал сооружать из камешков башню, а Владик сиял безрукавку и пошел к воде. Но так как ночью был шторм и к берегу натащило всякой

дряни, то Владик зашел в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно прополаскивать безрукавку.

«Ничего,— думал он,— выстираю, высохнет, и никто не заметит. Ну, вызовут к начальнику или на совет лагеря. Ну, конечно, выговор. Ладно. Стерплю, обойдется. А потом выздоровеет Толька, и тогда можно начать по-другому, по-хорошему...»

«Ах, собака! — злорадно вспомнил он серомордого парня.— Что, получил? Тоже нашел себе товарища!»

Он окунулся до шеи, обмыл лицо и ссадину.

И вдруг ему почудилось, что кто-то гневно окликнул его по имени. Он вздрогнул, выпрямился и увидел, что на площадке сверху скалы стоит Натка и грозит ему пальцем.

Так она постояла немного, махнула рукой и исчезла.

И в ту же минуту Владик понял, что теперь надежды на спасение нет, что погиб он окончательно, бесповоротно и ничто в мире не может спасти от того, чтобы его завтра же не выставили из отряда и не отправили домой.

Было немало своих законов у этого огромного лагеря. Как и всюду, нередко законы эти обходили и нарушали. Как и всюду, виновных ловили, уличали, стыдили и наказывали. Но чаще всего прощали.

Слишком здесь много было сверкающего солнца для ребенка, приехавшего впервые на юг из-под сумрачного Мурманска. Слишком здесь пышно цвела удивительная зелень, росли яблоки, груши, сливы, виноград для парнишки, присланного из-под холодного Архангельска. Слишком здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшей из пустынь Средней Азии, из тундр Лапландии или из безрадостных, бескрайних степей Закаспия.

И прощали за солнце, за яблони, за виноград, за сорванные цветы, за примятую зелень.

Но за море не прощали никогда.

С тех пор как много лет тому назад, купаясь без надзора, утонул в море двенадцатилетний пионер, незыблемый и неумолимый вырос в лагере закон: каждый, кто без спроса, без надзора уйдет купаться, будет тотчас же выписан из лагеря и отправлен домой.

И от этого беспощадного закона лагерь не отступал еще никогда.

Владик вышел из воды, крепко выжал безрукавку, оделся и взял Альку за руку.

Они прошлись вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб, рухнувших с горной вершины. Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны с шумом и ворчаньем бродят по пустынным площадям и уличкам.

— Знаешь, Алька,— грустно заговорил Владик,— когда я был еще маленьким, как ты, или, может быть, немножко поменьше, мы жили тогда не здесь, не в Советской стране. Вот один раз пошли мы с сестрой в рощу. А сестра, Влада, уже большая была — семнадцать лет. Пришли мы в рощу. Она легла на полянке. Иди, говорит, побегай, а я тут подожду. А я, как сейчас помню, услышал вдруг: «фю-фю». Смотрю — птичка с куста на куст прыг, прыг. Я тихонько за ней. Она все прыгает, а я за ней и за ней. Далеко зашел. Потом вспорхнула — и на дерево. Гляжу — на дереве гнездо. Постоял я и пошел назад. Иду, иду — нет никого. Я кричу: «Влада!» Не отвечает. Я думаю: «Наверно, пошутила». Постоял, подождал, кричу: «Влада!» Нет, не отвечает. Что же такое? Вдруг, гляжу, под кустом что-то красное. Поднял, вижу — это лента от ее платья. Ах, вот как! Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна, а она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться. Хорошо еще, что роща близко от дома и дорога знакомая. И до того я тогда обозлился, что всю дорогу ругал ее про себя дурой, дрянью и еще как-то. Прибежал домой и кричу: «Где Владка? Ну, пусть лучше она теперь домой не ворочается!» А мать как ахнет, а бабка Юзефа подпрыгнула сзади да раз меня по затылку, два по затылку! Я стою — ничего не понимаю.

А потом уж мне рассказали, что, пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, взяли ее и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышло, что зря я только на нее кричал и ругался. Горько мне потом было, Алька.

— Она и сейчас в тюрьме сидит? — спросил не пропустивший ни слова Алька.

— И сейчас, только она уже не в тот, а в третий

раз сидит. Я, Алька, все эти дни из дома письма ждал. Говорили, что будет амнистия, все думали: уж и так четыре года сидит — может быть, выпустят. А позавчера пришло письмо: нет, не выпустили. Каких-то там из других партий повыпускали, а коммунистов — нет... не выпускают...

А потом на другой день пошел я уже один в рощу, и назло гнездо разорил, и в птицу камнем так свистнул, что насилу она увернулась.

— Разве ж она виновата, Владик?

— А знал я тогда, кто виноват? — сердито возразил Владик. И вдруг, вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих.— Завтра меня из отряда выгонят,— объяснил он Альке.— Пока ты за скалой играл, Натка меня сверху увидела.

— Так ты же не купался, ты только безрукавку полоскал! — удивился Алька.

— А кто поверит?

— А ты правду скажи, что только полоскал,— заглядывая Владику в лицо, взволновался Алька.

— А кто теперь моей правде поверит?

— Ну, я скажу. Я же, Владик, все видел. Я играл, а сам все видел.

— Так ты еще малыш! — рассмеялся Владик.

Владик крепко схватил Альку за руку. Он вздохнул и уже серьезно попросил:

— Нет, ты уж лучше помалкивай. А то и тебе попадет: зачем со мной связался? Да мне еще хуже будет: зачем я тебя к морю утащил? Идем, Алька! Эх, ты! И кто тебя, такого малыша, на свет уродил?

Алька помолчал.

— А моя мама тоже в тюрьме была убита,— неожиданно ответил Алька и прямо взглянул на растерявшегося Владика своими спокойными нерусскими глазами.

Ужинать отряд ходил без Натки. Натка долго провозилась в больнице, где ей пришлось ожидать доктора, занятого в перевязочной.

С Толькой оказалось уж не так плохо: три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже.

На обратном пути ее окликнули из библиотеки. Там ей ехидно показали две книжки с вырванными страни-

цами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Натка ничего не знала, а про третью сказала комсомольскому библиотекарю, что он врет и что картинка эта была вырезана еще до того, как книжка побывала в ее отряде.

Библиотекарь заспорил, Натка вспылила и уже от двери назло напомнила ему, как он всучил недавно октябренку Бубякину вместо книги о домашних животных популярную астрономию Фламмариона.

Голодная и усталая, она понеслась в столовую. Там уже давно все убрали, и ей досталось только два помидора да холодное вареное яйцо.

Она вернулась в отряд, но там, как нарочно, уже поджидала ее кастелянша со своими бумагами и подсчетами. Увернуться Натка не успела.

— Сколько у вас потеряно носовых платков? — спросила кастелянша, решительно усаживая рядом с собой Натку и неторопливо раскладывая свои записки.

— Сколько? — вздохнула горько Натка и начала про себя подсчитывать по пальцам.— Вася! — крикнула она пробегавшему октябренку Бубякину.— Сбегай, позови звеньевых. Только Розу не ищи — она внизу. А потом узнай, нашел Карасиков свой платок или нет. Наверно, растрепа, не нашел.

— Он на меня вчера плюнул,— мрачно заявил Вася,— и я с ним больше не вожусь.

— Ну, не водись, а сбегай. Вот погодите, я с вами поговорю на линейке,— пригрозила Натка. И, обернувшись к кастелянше, она продолжала: — Полотенец у нас уже четырех не хватает. Галстуки еще вчера у всех были. А вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы, маленькую подушку и один кожаный сандалий. Погодите записывать, Марта Адольфовна, сейчас звеньевые придут — может быть, и галстуков уже не хватает. Я ничего не знаю. Я сегодня весь день как угорелая.

Натка обернулась и увидела, что ее тихонько трогает за рукав Алька.

— Ну, что тебе? — спросила она не сердито, но и не совсем так приветливо, как обыкновенно.

— Знаешь что? — негромко, так, чтобы не услышала кастелянша, заговорил Алька.— А я тебя искал, искал... Знаешь... Он совсем не виноват. Я сам был и все видел.

— Кто не виноват? — рассеянно спросила Натка и, не дослушав, сказала: — А две вчерашние безрукавки, Марта Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде два-три таких наберется. А у меня... откуда же?

— Он совсем не виноват,— еще тише и взволнованней продолжал Алька.— Ты, Натка, послушай... Он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполоскать. Он хороший, Натка. Он всё письма про сестру ждал, ждал. Других выпустили, а ее не выпустили.

— Я вот им подерусь! Я вот им подерусь! — машинально пригрозила Натка.— Беги, Алька, что тебе тут надо? Ну что, Вася, идут звеньевые? А как у Карасикова?

— Он на меня фигу показал,— хмуро пожаловался Вася,— и я с ним больше никогда не вожусь. А платка у него все равно нет. И я сам видел, как он сейчас пальцем высморкался.

— Ладно, ладно. Я с вами потом разберусь. Значит, шести платков не хватает, Марта Адольфовна.

— Он нисколько не виноват, а ты на него думаешь,— уже со злобой и едва сдерживая слезы, забормотал Алька.— Он и сам тоже один раз на сестру подумал: и дура, и дрянь, а она совсем не была виновата. Горько потом было. Ты только послушай, Натка... Он, Владик, лежал...

— Что Владик? Кто дрянь? Кто тебе позволил с ним бегать? — резко обернулась так ничего и не разобравшая Натка и тотчас же накинулась на Иоську, который, как ей показалось, подходил не очень быстро.

Если бы Натка была не так раздражена, если бы она обернулась в эту минуту, то она все-таки выслушала бы Альку. Но она вспомнила и обернулась уже тогда, когда Альки позади не было.

На вечерней линейке Альки вдруг не оказалось. Пошли посмотреть в палату: не уснул ли. Нет, не было. Покричали с террасы — нет, не откликается.

Тогда забеспокоились и забегали, стали друг у друга расспрашивать: где? как и куда?

Вскоре выяснилось, что Карасиков, который подкрался к двери подслушать, как Васька будет жаловаться на него за фигу, вдруг увидел, что мимо него весь в

слезах пробежал Алька. Но когда обрадованный Карасиков припустился было вдогонку и закричал: «Плакса-вакса!» — то Алька остановился и швырнул в Карасикова камнем так здорово, что Карасиков дальше не побежал, а пошел было пожаловаться Натке, да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался.

Все это, конечно, узнала не Натка, а сами ребята, которые тотчас же наперебой рассказали об этом Натке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышленей и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки, а сама села на лавку, усталая и подавленная.

Смутно припоминались ей какие-то непонятные Алькины слова: «...А я тебя искал, искал... Он всё письма ждал, ждал... Ты только послушай, Натка...»

«Зачем искал? Какого письма?» — с трудом соображала она. И тут подумала, что проще всего пойти и спросить у самого Владика. Но и Владик тоже уже куда-то исчез.

«Хорошо,— подумала Натка.— Хорошо, завтра тебе и это все припомнится».

Один за другим возвращались посланные. И когда наконец вернулся последний, десятый, Натка выбежала на крыльцо и, путаясь в темноте, помчалась к третьему корпусу, чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю.

Когда уже замелькали среди кустов огоньки, когда уже она поравнялась с первым фонарем, сбоку затрещало, захрустело, и откуда-то прямо наперерез ей вылетел Владик.

— Не надо,— задыхаясь, сказал он,— не надо...

— Ты нашел? — крикнула Натка.— Где он? Уже дома? В отряде?

— А то как же! — негромко ответил Владик.

И тут Натка увидела, что глаза его смотрят на нее с прямой и открытой ненавистью.

Больше он ничего не сказал и повернулся. Она громко и тревожно окликнула его, он не послушался и исчез. Бояться ему все равно теперь было некого и нечего.

Когда Натка вернулась, то ей рассказали, что Владик Дашевский нашел Альку в двух километрах от ла-

геря, в маленьком домике под скалой, у отца. Там Алька сейчас и остался.

Натка прошла к себе в комнату и села.

Рассеянно прислушиваясь к тому, как шуршит крупная бабочка возле лампы, она припомнила свои печальные последние сутки: и Катюшу Вострецову с ее разбитым носом, и Тольку с его рукой, и Владика, и кастеляншу с ее галстуками, и дурака-библиотекаря с его враньем... И от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать.

В дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Натке, что ее хочет видеть Алькин отец.

Натка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был теплый. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через террасу вышла к парку. Ночь была темная, но она сейчас же разглядела фигуру человека, который сидел на ступеньках каменной лестницы.

Они поздоровались и разговаривали в эту ночь очень долго.

На другой день Владика ни к начальнику, ни на совет лагеря не вызвали.

На следующий день не вызвали тоже.

И когда он понял, что его так и не вызовут, он притих, осунулся и все ходил сначала одиноким, осторожным волчонком, вот-вот готов был прыгнуть и огрызнуться.

Но так как огрызаться было не на кого и жизнь в Наткином отряде, всем на радость, пошла ладно, дружно и весело, то вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет Толька, подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире.

С Наткой он был сдержан и вежлив.

Но, едва-едва стоило ей заговорить с ним о том, как же все-таки на самом деле Толька свихнул себе руку, Владик замолкал и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать которые он был непревзойденный мастер.

И еще что заметила Натка — это то, с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всем веселую Алькину ребячью жизнь.

Так, недавно, возвращаясь с прогулкн, Натка строго спроснла у Алькн, куда он задевал иовую коробку для жуков н бабочек.

Алька покрасиел и очеиь иеувереиио ответил, что он, *кажется*, забыл ее дома. А Натка очеиь увереиио ответила, что, *кажется*, он опять позабыл баику под кустом или у ручья. И все же, когда онн вериулись домой, то металлнческая банка с сеткой стояла на тумбочке возле Алькиной кроватн.

Озадачеииая Натка готова была уже поверить в то, что она ошиблась, еслн бы совсем нечаянно не перехватила торжествующий взгляд запыхавшегося Владнка.

А лагерь готовился к новому празднику. Давио уже обмелели пруды, зацвели бассейны, замолкли фонтаиы н пересохли веселые ручейкн. Даже ваина н души были заперты на ключ н открывалнсь только к ночи иа полчаса, иа час.

Шли спешные последиие работы, н через три дия целый поток холодиой, свежей воды должеи был хлынуть с гор к лагерю.

Однажды Сергей вериулся с работы рано. Старуха-сторожиха сказала ему, что у него иа столе лежит телеграмма.

Важиых телеграмм он не ждал ниоткуда, поэтому сначала он сбросил гимиастерку, умылся, закурил н только тогда распечатал.

Ои прочел. Сел. Перечел еще раз н задумался. Телеграмма была не длинная и как будто бы не очеиь понятиая. Смысл ее был таков, что ему приказывалн быть готовым во всякую минуту прервать отпуск н вериуться в Москву.

Но Сергей эту телеграмму поиял, н вдруг ему очень захотелось повидать Альку. Он оделся н пошел к лагерю.

В это время ребята ужинали, и Сергей сел иа камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться нз столовой.

Сначала прошли двое, сытые, молчаливые. Они так и ие заметилн Сергея. Потом проиеслась целая стайка. Потом еще издалека послышался спор, крик, и на лужайку выкатнлись трое: давно уже помирившиеся ок-

тябрята Бубякин и Карасиков, а с ними задорная башкирка Эмине. Все они держали по большому красному яблоку.

Натолкнувшись на незнакомого человека, растерявшийся Карасиков выронил яблоко, которое тотчас же подхватила ловкая Эмине.

— Коза! Коза! Отдай, Эмка! Васька, держи ее! — завопил Карасиков, с негодованием глядя на хладнокровно остановившегося товарища.

— Догоняй! — гортанно крикнула Эмине, ловко подбрасывая и подхватывая тяжелое яблоко.— У, глупый... На! — сердито крикнула она, бросая яблоко на траву. И вдруг, обернувшись к Сергею, она лукаво улыбнулась и кинула ему свое яблоко: — На! — А сама уже издалека звонко крикнула: — Ты Алькин?.. Да? Кушай! — и, не найдя больше слов, затрясла головой, рассмеялась и убежала.

— А ваш Алька вчера ее, Эмку, водой облил,— торжественно съябедничал Карасиков.— А Ваську Бубякина за ухо дернул.

— Что же вы его не поколотите? — полюбопытствовал Сергей.

Карасиков задумался.

— Его не надо колотить,— помолчав немного, объяснил он.— У него мать была хорошая.

— Откуда вы знаете, что хорошая?

— Знаем,— коротко ответил Карасиков.— Нам Натка рассказывала.— И, помолчав немного, он добавил: — А когда Васька хотел его поколотить, то он приткнулся к стенке, вырвал крапиву да отбивается. Попробуй-ка подойти, ноги-то, ведь они голые.

Сергей рассмеялся.

Где-то неподалеку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребятишки кинулись туда.

Потом подошли Натка, а за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бечевке маленький грузовичок, до краев наполненный яблоками, грушами и сливами.

— Это наши ребята за ужином нагрузили. Вот мы и увозим,— объяснил Алька.— Ты проводи нас, папка, до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдем.

Грузовик двинулся, а Сергей и Натка пошли сзади.

— Он, вероятно, на днях уедет со мной в Моск-

ву,— неохотно сообщил Сергей.— Так надо,— ответил он на удивленный взгляд Натки.— Надо так, Наташа.

— Ганни! — набравшись решимости, спросила Натка.— А что, Алька когда-нибудь мать свою видел? То есть... видел, конечно... но он ее хорошо помнит?

Грузовик вздрогнул, два яблока выпали и покатились по дорожке. Алька, быстро обернувшись, взглянул на отца.

Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и с укоризною сказал:

— Что же это, шофер? Ты тормози плавно, а то шестеренки сорвешь да и машину опрокинешь.

Они подошли к дому. Сергей сказал, что задержит Альку ненадолго. Однако Алька вернулся только ко сну.

Натка раздела его, уложила и, закрыв абажур платком, стала перечитывать второе, только что сегодня полученное письмо.

Мать с тревогой писала, что отца переводят на стройку в Таджикистан и что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Натку приехать пораньше и сообщала, что отец уже сговорился с горкомом, и если Натка захочет, то и ее отпустят вместе с семьей.

Противоречивые чувства охватили Натку. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что вожатый Корчаганов уже выздоравливал. Хорошо было поехать и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло все детство. И было как-то неспокойно и радостно. Чувствовалось, что вот она, жизнь, разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами. Давно ли: дядя... папаха, дядина сабля за печкой... мать с хворостиной... Давно ли пионеротряд... сама пионерка... Потом совпартшкола. И вдруг год-два — и сразу уже ей девятнадцатый.

Ей показалось, что в комнате душно, и, натянув сетку, она распахнула настежь окно.

Обернувшись, она увидела, что Алька все еще не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами.

— Ты что? Спи, малыш! — накинулась на него Натка.

Алька улыбнулся и привстал.

— А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лез и меня тащил. Высоко затащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю: «Папа, а в какой стороне та сторона, где была наша мамка?» Он подумал и показал: «Вон, в той». Я смотрел, смотрел, все равно только одно море. Я спросил: «А где та сторона, в которой сидит в тюрьме Владикина Влада?» Он подумал и показал: «Вон, в той». Чудно, правда, Натка?

— Что же чудно́, Алька?

— И в той стороне... и в другой стороне...— протяжно сказал Алька.— Повсюду, помнишь, как в нашей сказке, Натка? — живо продолжал он.— Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну, угадай.

— А ты? Ты советский. Спи, Алька, спи,— быстро заговорила Натка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели.

Но Альке не спалось. Она присела к нему на кровать, закутала в одеяло и взяла его на руки:

— Спи, Алька. Хочешь, я тебе песенку спою?

Он прикорнул к ней, притих, задремал, а она вполголоса пела ему простую, баюкающую песенку, ту самую, которую пела ей мать еще в очень глубоком, почти позабытом детстве:

Плыл кораблик голубой,
А на нем и я с тобой.
В синем море тишина,
В небе звездочка видна.
А за тучами вдали
Виден край чужой земли...

Тут во сне Алька заворочался. Неожиданно он открыл глаза, и счастливая улыбка разошлась по его раскрасневшемуся лицу.

— А знаешь, Натка? — прижимаясь к ней, радостно сказал Алька.— А я все-таки свою маму один раз видел. Долго видел... целую неделю.

— Где? — не сдержавшись, быстро спросила Натка.

Алька подумал, помолчал, потом решительно качнул головой:

— Нет, не скажу... Это наша с папкой тоже — военная тайна.

Он рассмеялся, уткнулся к ней в плечо и потом, уже совсем засыпая, тихонько предупредил:

— Смотри... и ты не говори никому тоже.

После обеда в лагерь приехал Дягилев получать из склада болты и гвозди. Сергей приказал, чтобы после приемки Дягилев кликнул его, и тогда они поедут к озеру вместе.

Лагерный тир был расположен у берега, как раз по пути, пониже шоссейной дороги. Сергей завернул к тиру.

Только что окончился послеобеденный отдых, и поэтому ребят в тире было немного — человек восемь. Среди них были Владик и Иоська.

Сергей стоял поодаль, наблюдая за Владиком. Когда Владик подходил к барьеру, лицо его чуть бледнело, серые глаза щурились, а когда он посылал пулю, губы вздрагивали и сжимались, как будто он бил не по мишени, а по скрытому за ней врагу.

Стреляли из мелкокалиберки на пятьдесят метров.

— Тридцать пять,— откладывая винтовку и оборачиваясь к Иоське, спокойно сказал Владик.— Бьюсь обо что хочешь, что тебе не взять и тридцати.

— Тридцать выбью,— поколебавшись, решил Иоська.

— Ого! Ну, попробуй!

Иоська виновато взглянул на товарищей и взял винтовку. Приготавливался он к выстрелу дольше, целился медленней, и, перезаряжая после выстрела, он глотал слюну, точно у него пересыхало горло.

И все-таки тридцать очков он выбил.

В это время к Сергею подошел Дягилев.

— Дурная голова! — с досадой сказал он, постукивая себя пальцем по лбу.— Сам-то я поехал, а наряд в конторке позабыл. Подпишите новый, Сергей Алексеевич. А вернемся — я тогда прежний порву.

— Сорок выбью,— уверенно заявил Владик и легко взял из рук покрасневшего Иоськи винтовку.— Меньше сорока не будет,— твердо заявил он, чувствуя, как ладно и послушно легла винтовка к плечу.

— Сорок мне не выбить,— сознался Иоська.— У меня после третьего выстрела рука устает.

— А ты не целься по часу,— посоветовал Владик. И, вскинув приклад, он с первой же пули положил десять.

Ребята насторожились и заулыбались.

— А ты не целься по часу,— повторил Владик и снова выбил десять.

На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея.

Тут как будто бы кто-то его дернул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не вовремя нажал, и четвертая пуля со свистом ударила совсем за мишень.

— Сорвал! Что ты? Что ты? — зашептались и задвигались ребята.

Владик торопливо перезарядил. Целился он теперь долго. Пальцы дрожали, и мушка прыгала.

— Ну, двойка! — разочарованно крикнул кто-то, когда он выстрелил.

Владик оттолкнул винтовку и, ничего не говоря, пошел прочь.

Сергею стало жалко растерявшегося Владика.

— Не сердись,— успокоил он, задерживая его руку.— Ты хорошо стреляешь. Только не надо было оборачиваться.

— Нет,— сердито ответил Владик.— Это совсем не то.

Несколько шагов вдоль берега они прошли молча. Владик тяжело дышал.

— Я знаю,— сказал он останавливаясь,— это вы за меня заступились перед Наткой. Вы не спорьте, я хорошо знаю.

— Я не спорю, но я не заступался. Я только рассказал ей то, что передал мне Алька. А ему я, Владик, очень крепко верю.

— И я тоже.— Владик облизал пересохшие губы. И, не зная, как начать, он отшвырнул ногою попавшийся камешек.— Это кто к вам сейчас подходил?

— Сейчас? Это старший десятник. А что, Владик?

Владик запнулся.

— А если он десятник, то зачем он ружья прячет? Зачем? Из-за него мы с Толькой нечаянно чуть вас не убили. Из-за него Толька свихнул себе руку. Из-за него я сейчас промахнулся. У меня три патрона — тридцать очков. Вдруг вижу... Что? Кто это? Откуда? Конечно, раз сорвал... сорвал два, а если бы сразу обернулся, то и все пять сорвал бы. Разве я его тут ожидал?

— Постой, постой, да ты не кричи! — остановил Владика Сергей.— Кто меня убил? Какое ружье? Кто прячет? Поди сюда, сядь.

Они сели на камень.

— Помните, вы верхом ехали и двум мальчишкам записку к начальнику лагеря дали?

— Ну?

— Это мы с Толькой были. На башню, дураки лазили... Помните, вы однажды шли, вдруг около вас бабахнуло. Вы окликнули да по кустам из нагана...

— Я не по кустам, я в воздух.

— Все равно. Это мы с Толькой бабахнули. Это он нечаянно. А потом мы бросились бежать; тут он — под откос и расшибся.

— А ружье? Ружье где вы взяли?

— А ружье вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Мы там лазили и нечаянно натолкнулись.

— Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот? — настойчиво переспрашивал Сергей.

— Этот самый. Мы с Толькой наверху рядом сидели. Тоже сунулся под руку,— с досадой добавил Владик.— Я обернулся, гляжу — он. Откуда, думаю? Может быть, за ружьем? Раз, раз — и сорвал.

— А ружье где?

— Там оно... где-нибудь в чаще, под обрывом, уже нехотя докончил Владик.— Если надо, так сходим, можно и найти.

— Владик,— торопливо попросил Сергей, увидав подъезжающего Дягилева.— Ты беги в тир. Я сейчас тоже приду. А потом мы возьмем с собой Альку и пойдемте вместе гулять. Там заодно все посмотрим и поищем.

В этот же день к вечеру Сергей вызвал Шалимова и послал на третий участок за Дягилевым. Ободранная о камни, грязная двустволка стояла в углу. Ее нашли в колючках под обрывом.

На все расспросы Сергея Шалимов отмалчивался и твердил только одно: что аллах велик и, конечно, видит, что он, Шалимов, ни в чем не виноват.

Вошел Дягнлев. Еще с порога он начал жаловаться, что шалимовская брнгада совсем отбнлась от рук и что куда-то затерялся ящнк с метровымн гайками.

Но, иаткнувшись иа Шалимова, он сразу насторожился, сдвннул с табуреткн молодого парнишку-рассыльиого и сел напротив Сергея.

— Врешь, что тебя обворовали,— прямо сказал Сергей.— Ты сам вор. Документы бросил, а двустволку спрятал.

И, указывая на притихшего Шалнмова, он спросил:

— А рабочих обкрадывалн вместе? Скажнте, сколько украли?

— Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть,— быстро ответил нерастерявшнйся Дягилев.— Что ты, Сергей Алексеевич? Илн динамнтом в голову коитузнло?

Но тут ои разглядел стоявшую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шалнмова:

— Ах, вот что! Святой Магомет, это ты что-нибудь иапророчил?

— Я инчего не говорнл,— нспуганно забормотал Шалнмов.— Я инчего не вндал, ннчего не слыхал и не зиаю. Это бог все знает.

— Святая истнна,— мрачно согласнлся Дягнлев.— Ну, и что дальше?

— Документы у тебя свои или чужие? — спросил Сергей.

— Документ советскнй, за свои ныиче строго. Да что ты ко мие пристал, Сергей Алексеевич? Вор украл, вор н броснл, а я-то тут прн чем?

В эту мннуту дверь стукнула, и Дягилев увндел иа пороге иезнакомого мальчнка.

— Владик,— спросил мальчика Сергей, указывая иа Дягнлева,— этот человек ружье прятал?

Владнк молча кнвнул головой. Сергей обериулся к телефоиу.

Почуяв недоброе, Дягнлев тоже встал н, отталкивая пытавшегося его задержать рассыльиого, пошел к дверн.

— Ты постой, вор! — вскрикнул побледневшнй Владнк.— Здесь еще я стою.

— А ты что за орел-птнца? — крнкиул озадаченный Дягилев н нехотя сел, потому что Сергей бросил трубку телефона.

— Отпустите лучше, Сергей Алексеевич,— сказал Дягилев.— Стройка закончена. Плотина готова. Вы себе с миром в одну сторону, а я — в другую. Всем жрать надо.

— Всем надо, да не все воруют.

— Вам воровать не к чему. У вас и так все свое.

— А у вас?

— А у нас? Про нас разговор особый. Отпустите добром, вам же лучше будет.

— Мне лучше не надо. Мне и так хорошо... А ты, я смотрю, кулак. Но-но! Не балуй! — окрикнул Сергей, увидев, что Дягилев встал и подвинул к себе тяжелую табуретку.

— Был с кулаком, остался с кукишом,— огрызнулся Дягилев и безнадежно махнул рукой, увидев подъезжавших к окну двух верховых милиционеров.

— Лучше бы отпустили, себе только хуже сделаете,— как бы с сожалением повторил Дягилев и злобно дернул за рукав все еще что-то бормотавшего Шалимова.— Вставай, святой Магомет! Социализм строили... строили и надорвались. В рай домой поехали! А вон за окном и архангелы.

Через два дня, в полдень, торжественно открыли шлюзы, и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю.

Вечером по нижнему парковому пруду, куда направили всю первую, еще мутную воду, уже катались на лодках.

Наутро били фонтаны, сверкали светлые бассейны, из-под душей несся отчаянный визг. И суровый гейка, которого уже несколько раз обрызгивали из окошек, щедро поливая запылившиеся газоны, совсем несердито бормотал:

— Ну, будет, будет вам! Вот сорву крапиву да через окно крапивой по голому. И скажи, что за баловная нация!

Где бы ни появлялся этот маленький темноглазый мальчуган — на лужайке ли среди беспечных октябрят, на поляне ли, где дико гонялись казаки и разбойники — отчаянные храбрецы, на волейбольной ли площад-

ке, где азартно играли в мяч взрослые комсомольцы,— всюду ему были рады.

И если, бывало, кто-нибудь чужой, незнакомый толкнет его, или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда все видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили:

— Что ты, одурел? Да ведь это наш Алька.

И потом вполголоса прибавляли еще что-то такое, от чего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого веселого малыша.

С часу на час Сергей ожидал телеграммы. Но прошел день, прошел другой, а телеграммы все не было, и Сергей стал надеяться, что остаток отпуска они с Алькой проведут спокойно и весело.

Уже вечерело, когда Сергей и Алька лежали на полянке и поджидали Натку. Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд вожатый Корчаганов.

Однако Натка где-то задерживалась.

Они лежали на теплой, душистой поляне и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад, оба молчали.

— Папка,— трогая за плечо отца, спросил Алька,— Владик говорит, что у одного летчика пробили пулями аэроплан. Тогда он спрыгнул, летел, летел и все-таки спустился прямо в руки белым. Зачем же он тогда прыгал?

— Должно быть, он не знал, что попадет к белым, Алька.

— А если бы знал?

— Ну, тогда он подумал бы, что, может быть, сумеет убежать или отобьется.

— Не отбился,— с сожалением вздохнул Алька.— Владик говорит, что на том месте, где летчика допытывали и убили, стоит теперь вышка и оттуда ребята с парашютами прыгают. Ты, когда был на войне, много раз прыгал?

— Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война не такая была — без парашютов.

— А у нас какая будет?

— А у вас, может быть, уж никакой войны не будет.

— А если?

— Ну, тогда вырастешь — сам увидишь. Ты почему про летчика вспомнил, Алька?

— По сказке. Помнишь, когда Мальчиша заковали в цепи, то бледный он стоял, и тоже от него ничего не выпытали.

Алька вскочил с травы и попросил:

— Пойдем, папка. Мы Натку по дороге встретим. А у меня под подушкой две конфеты спрятаны, и я вам тоже дам по половинке, только ты не говори ей, что это из-под подушки, а то у нас за это ругаются.

Они спустились на тропку и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, пошли к дому.

Они отошли уже довольно далеко, как Сергей спохватился, что забыл на поляне папиросы.

— Принеси, Алька,— попросил он,— я тебя здесь подожду. Беги напрямик, через кусты. Ты малыш и живо пролезешь.

Алька нырнул в чащу.

— Ау! Где вы? — донесся издалека голос Натки.

— Эге-гей! Здесь! — громко откликнулся Сергей.— Сюда, Наташа!

При звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова, и Сергей узнал дягилевского брата. Он опять был сильно пьян, но на ногах держался крепко. Он сделал было попытку подойти, но наткнулся на колючую проволоку и остановился.

— Зачем брата посадил? — глухо проговорил он, уставившись на Сергея мутными, недобрыми глазами.— Хитрый! — протяжно добавил он и погрозил пальцем.

— Иди проспись,— посоветовал Сергей.— Смотри, ты себе руку о проволоку раскровенил.

— И все-то вы хи-итрые! — так же протяжно повторил пьяный и вдруг, подавшись корпусом, двинулся так сильно, что проволока затрещала и зазвенела.

Он хрипло крикнул:

— Зачем брата посадил! Лучше отпусти, а то хуже будет!

— Брат твой кулак и вор — туда ему и дорога. Ты будешь вором, и ты сядешь. Пойди спи,— резко ответил Сергей, не спуская глаз с этого остервеневшего человека.

— Брат — вор, а я и вовсе бандит! — дико выкрикнул пьяный, и, схватив с земли тяжелый камень, он что было силы запустил им в Сергея.

— Брось, оставь! — крикнул отклонившийся Сергей.

Но ослепленный злобою, отуманенный водкой человек рванулся к земле, и целый град булыжников полетел в Сергея. Крупный камень ударил ему в плечо, и тут же он услышал, как сзади хрустнули кусты и кто-то негромко вскрикнул.

— Стой!.. Назад... Назад, Алька! — в страхе закричал Сергей, и, вырвав из кармана браунинг, он грохнул по пьяному.

Пьяный выронил камень, погрозил пальцем, крепко выругался и тяжело упал на проволоку.

Сергей обернулся.

Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжелые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мертвой Марицы. А еще рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник «Первого октябрятского отряда мировой революции», такой малыш — Алька.

Сергей рванулся и приподнял Альку. Но Алька не вставал.

— Алька,— почти шепотом попросил Сергей,— ты, пожалуйста, вставай...

Алька молчал.

Тогда Сергей вздрогнул, осторожно положил Альку на руки, не поднимая оброненную фуражку, шатаясь, пошел в гору.

Из-за поворота навстречу выбежала Натка. Была она сегодня такая веселая, черноволосая, без платка, без галстука; подбегая, она раскинула руки и радостно спросила:

— Ну что, заждались? Вот и я. А он уже спит?

— А он, кажется, уже не спит,— как-то по-чужому ответил Сергей и остановился.

И, очевидно, опять что-то случилось, потому что пораженная Натка отступила назад, подошла снова и, заглянув Альке в лицо, вдруг ясно услышала далекую песенку о том, как уплыл голубой кораблик...

На скале, на каменной площадке, высоко над синим морем, вырвали остатками динамита крепкую могилу.

И светлым солнечным утром, когда еще вовсю распевали птицы, когда еще не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришел провожать Альку.

Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись, но все это плохо слушала Натка.

Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова — шахтер.

Она видела босого, но сегодня подпоясанного и причесанного Гейку и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах.

Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет.

Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Натка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, и на чистой гимнастерке привинчен боевой орден.

Тут Натку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет.

Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих.

Они навалили груду тяжелых камней, пробили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами.

И поставили над могилой большой красный флаг.

В тот же день Сергей получил телеграмму. Он зашел к себе и стал собираться. Он уложил весь свой несложный багаж, но когда подошел к письменному столу, чтобы собрать бумагу, то он не нашел там Алькиной фотографии.

Он потер виски, припоминая, не брал ли он ее с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии и там не было.

Голова работала нечетко, мысли как-то сбивались,

разбегалнсь, путались, н он не зиал, на кого — на себя, на другнх лн — сердиться.

Он пошел к Натке. Натка укладывалась тоже.

Алькнна кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом стояла все еще нетроиутой, как будто он бегал где-лнбо неподалеку, ио его любимой картннкн с красиозвездиым всадником уже ие было.

— Завтра я уезжаю, Наташа,— сказал Сергей.— Меия вызвали.

— И я тоже. Мы вместе поедем. Ты пить хочешь? Пей из графина. Теперь вода холодная.

— Да, теперь вода холодиая,— машннально повторил Сергей.— Ты у меия ие была сегодня, Наташа?

— Нет, не была. А что... Сережа?

— Не знаю я, куда-то Алькнна карточка со стола пропала. Может быть, сам сгоряча засуиул — ие помню. Искал, искал — нету. В Москве у меня еще есть,— словно оправдываясь, добавил он.— А здесь больше нету.

В дверь загляиул вожатый Корчаганов, который весь деиь ловил Натку, чтобы за что-то ее выругать. Но, увидав Сергея, ои понял, что сейчас, пожалуй, не время и не место. Он нсчез, ие сказав ни слова.

Они решнли ехать завтра рано утром — машииой до Севастополя н оттуда иа поезде в Москву.

В последний раз обходила Натка шумиый и отчаянный свой четвертый отряд. Еще не везде смолкли печальиые разговоры, еще ие у всех остылн заплакаиные глаза, а уже исподволь, разбивая тишииу, где-то рокотали барабаны. Уже, рассевшись иа бревнах, дружно и иестройио, как всегда, запевали свою песию октябрята.

Уже успели Вася Бубякни н Караснков снова поссориться н сиова помириться. И уже перекликались голоса иад берегом, аукалн в парке н внзжали под нскрнстыми холодными душамн.

Натка зашла в прохладиую палату. Там у окиа стоял только одни Владик. Она подошла к иему сзадн, но он задумался и ие слышал. Оиа загляиула ему через плечо и увидела, что он пристальио разглядывает Алькину карточку.

Владнк отпрыгиул и крепко спрятал карточку за спнну.

— Зачем это? — с укором спросила Натка.— Разве ты вор? Это нехорошо. Отдай назад, Владик.

— Вот скажи, что убьешь, и все равно не отдам,— стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик.

И Натка поняла: правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст.

— Владик,— ласково заговорила Натка, положив ему руку на плечо,— а ведь Алькиному отцу очень, очень больно. Ты отдай, отнеси. Он на тебя не рассердится...

Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая, нагловатая усмешка, совсем по-ребячьи раскрылись и замигали его всегда прищуренные глаза, и он уже не крепко и не уверенно держал перед собой Алькину карточку. Голос его дрогнул, и непривычные крупные слезы покатились по его щекам.

— Да, Натка,— беспомощным, горячим полушепотом заговорил он,— у отца, наверное, еще есть. Он, наверно, еще достанет, А мне... а я ведь его уже больше никогда...

Минутой позже, все еще собираясь выругать за что-то Натку, забежал вожатый Корчаганов и, разинув рот, остановился. Сидя на койке, прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Натка Шегалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети.

Он постоял, тихонько, на цыпочках, вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной воды.

Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Натка сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним Иоська и Эмка.

— Возьми... Это ему и тебе,— отрывисто сказал Владик.— Да бери. Ты не думай. Это я не украл. Мы пошли к Гейке. Мы попросили садовника. Мы сказали — кому, и он дал. Возьми, возьми. Прощай, Натка!

Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им все равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали:

— До свиданья, до свиданья!

Машина рявкнула, и Натка, приподнявшись, крикнула Васе Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному, зеленому лагерю:

— До свиданья, до свиданья!

Машина плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору. Здесь, как будто бы нарочно, шофер сбавил ход. Натка обернулась.

Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой...

В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек.

Поезд мчался через Сиваш, гнилое море, и, глядя на его серые гиблые волны, Натка вспомнила, что где-то вот здесь, в двадцатом, был убит и похоронен их сосед, один веселый сапожник, который перед тем как уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал, с тем чтобы никогда домой не вернуться.

И Натка подумала, что домика того давно уже нет, а на всем этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню. А Маньку — Всемиру — никто никогда таким чудным именем не звал и не зовет, а зовут ее просто Мира или Мирка. И она уже теперь металлург-лаборантка, и у нее недавно родился сын, такой же белобрысый, Пашка.

— А все-таки где же Алька видел Марицу? — неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Натка.

— Он видел ее полтора года назад, Наташа. Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Ее ранили, но она все-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице, в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра. Нас пропустили к ней ночью. Алька у нее спросил: «Тебя пулей пробило?» Она ответила: «Да, пулей».— «Почему же ты смеешься? Разве тебе не больно?» — «Нет, Алька, от пули всегда больно. Это я тебя люблю». Он на-

супился, присел поближе и потрогал ее косы. «Ладно, ладно, и мы их пробьем тоже».

— А почему Алька говорил, что это тайна?

— Марицу тогда Румыния в Болгарии искала. А мы думали — пусть ищет. И никому не говорили.

— А потом?

— А потом она уехала в Чехословакию и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и все, Наташа.

Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, груженные свежим, пахучим зерном.

На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет не хватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчеты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжелых военных тучах, о раскатах орудийных взрывов, которые слышались все яснее и яснее у одной из далеких-далеких границ.

Натка отложила газету.

Поезд мчался теперь через могучий Донбасс. Там бушевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъемники и экскаваторы. И росли, росли озаренные прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса — целые города, еще сырые, серые, пахнущие дымом, известью и цементом.

— Сережа,— сказала тогда Натка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку,— ведь это же правда, что наша Красная Армия не самая слабая в мире?

Он улыбнулся и ласково погладил ее по голове.

На вокзале их встретил сам Шегалов.

Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивленный Сергей и сам стоял, глядя Шегалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь.

— Постой! Как это? — трогая Сергея за рукав, пробормотал Шегалов.— Сережка Ганин! — воскликнул он вдруг и, хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся.— А я смотрю... Кто? Кто это?.. Ты откуда?.. Куда?..

— Мы вместе приехали. А ты его знаешь? — обрадовалась Натка.— Мы вместе приехали. Я тебе,

дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедем.

— Поедем, поедем,— согласился Шегалов.— Только мне сейчас прямо в штаб. Я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что же ты молчишь?

— Слов нету,— ответил Сергей.— А к вечеру, Шегалов, я все припомню.

— А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь?

— Дядя,— перебила сразу насторожившаяся Натка,— идем, дядя. Где машина?

Натка сидела посередине. А Шегалов весело расспрашивал Сергея:

— Ну, как ты? Конечно, жена есть, дети?

— Дядя! — дергая его за рукав, перебила Натка.— Ты мне шпорой прямо по ноге двинул.

— Как это? — удивился Шегалов.— Твои ноги вон где, а мои шпоры — вот они.

— Не сейчас,— смутилась Натка,— это еще когда мы в машину садились.

— Так неужели не женат? — продолжал Шегалов и рассмеялся.— А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись, и была там одна такая девчонка темноглазая, чернокосая...

— Дядя! — почти испуганно вскрикнула Натка.— Это была...— Она запнулась.— Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали?

— И что ты, шальная, не даешь с человеком слова сказать? — возмутился Шегалов.— То ей шпорами, то ей машина. Та же самая машина,— с досадой ответил он.— Ну, вот мы и приехали, слезай. Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером,— обернулся он к Сергею.— А то я на днях и сам в командировку уеду. Дела, брат! — уже тише добавил он.— Серьезные дела! Так и норовят нас слопать, да, гляди, подавятся.

К вечеру позвонил Шегалов и сказал, что он сегодня вернется только поздно ночью. Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра.

Наутро Натка проснулась только в десять, и ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше.

Это очень опечалило Натку. До четырех часов Натка ждала звонка, но потом у нее заболела голова, и она

вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный. В парке было тихо. Под ногами шуршали сухие листья, и пахло сырою рябиной.

У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожные.

«Скорей надо за дело,— опуская газету, подумала Натка.— Домой ли, в Таджикистан ли... все равно. Всюду работа, нужная и важная».

И Натка опять вспомнила Алькину Военную Тайну: «Отчего бились с Красной Армией сорок царей да сорок королей? Бились, бились, да только сами разбились?»

«Это давно бились,— подумала Натка.— А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут еще, пока подрастут Владик, Толька, Иоська, Баранкин и еще тысячи и миллионы таких же ребят... Надо работать,— думала Натка.— Надо их беречь. Чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая Военная Тайна, которую пусть разгадывает, кто хочет».

Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей.

Она бросилась к столу и нашла записку.

«Наташа,— писал Сергей.— Сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячее спасибо тебе за Альку, за себя, за все».

Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Марица Маргулис.

И тогда ей вдруг очень захотелось еще раз повидать Сергея.

Она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в семь тридцать. У нее оставалось еще полтора часа.

Она представила себе огромный, шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются.

И только Сергей совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно, угрюмый, и ждет, когда наконец загудит паровоз, дрогнут вагоны и поезд двинется в этот очень далекий путь.

Она быстро вышла из дому и вскочила в трамвай.

На вокзале, перебегая из зала в зал, она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде.

Отчаявшись, она наконец в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать.

Вдруг, совсем нечаянно, за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидала Сергея.

Он был в форме командира инженерных войск, его товарищи — тоже.

Но что поразило Натку — это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий.

Слегка наклонившись, он внимательно и серьезно слушал то, что вполголоса ему говорили. Вот он, с чем-то не соглашаясь, покачал головой. А вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки.

— Сережа! — негромко позвала его Натка.

Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то своим товарищам и, крепко обрадованный, пошел ей навстречу.

— Ну вот,— сказал он, сжимая ее руку и почему-то виновато улыбаясь.— Ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно все вышло.

На перроне разговаривали они мало: сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, провожавшая какую-то делегацию.

Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо.

Но, когда они крепко расцеловались и Сергей уже изнутри вагона подошел к окну, Натке вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и теплое.

Но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвертывались, и, глядя на него, она только успела совсем по-Алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего, кроме них двоих, никто не видел.

И он ее понял и наклонил голову.

Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг нее звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремя-

щие трамваи, пыльные автобусы, но они ие задевали и как будто бы берегли Натку, потому что оиа шла и думала о самом важиом.

А оиа думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Летчики летят высокнми путями.

Капитаны плывут снними морями.

Плотинкн заколачивают крепкие гвоздн, а у Сергея на ремие сбоку повнс нагаи.

Но оиа теперь не завидовала иикому. Оиа теперь по-нному поннмала холодноватый взгляд Владнка, горячне поступки Иоськн и смелые нерусскне глаза погнбшего Алькн.

И она зиала, что все иа своих местах н оиа на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостио.

Незаметно для себя оиа свериула в какой-то совсем иезнакомый переулок только потому, что туда прошел с песнею возвращающнйся из караула дружиый красноармейский взвод.

Мельком заглянула Натка в иезавешениое окошко низенького домика н увидала, как старая бабка, иацепнв радионаушники, виимательио слушает и отчаянно грознт рукой догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарннце.

Тут Натка услышала тяжелый удар н, завернув за угол, увндала покрытую облакамн мутной пылн целую гору обломков только что разрушеииой дряхлой часовенки.

Когда тяжелое нзвестковое облако разошлось, позадн глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительный светлый дворец.

У подъезда этого дворца стояли три товарнща с винтовкамн и поджндали веселую девчонку, которая уже бежала к иим, иа скаку подбрасывая большой кожаный мяч.

Натка спросила у нних дорогу.

Крупиая капля дождя упала ей иа лицо, ио она ие заметила этого и тихонько, улыбаясь, пошла дальше.

Пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей в лнцо. Рассмеялся и убежал.

*1934*

# ПРИМЕЧАНИЯ

Собрания сочинений Аркадия Гайдара выходили в свет неоднократно, постепенно расширяясь за счет включения ранних произведений писателя, его публицистики, дневников и писем. В настоящем Собрании сочинений даны только те произведения Гайдара, которые он сам считал лучшими, и те, которые наиболее характерны для раннего периода его творчества. Первые два тома составляют произведения, много раз переиздававшиеся при жизни писателя (за исключением очерков с фронтов Великой Отечественной войны). Третий том — это ранние повести, рассказы, а также незаконченные произведения; сюда вошли газетные очерки и фельетоны. Том помогает проследить процесс творческого становления писателя, рост его литературного мастерства и вместе с тем ощутить неизменность его гражданской позиции.

Произведения в томах расположены в хронологическом порядке по датам их первой публикации.

## ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

### Р. В. С.

«Р. В. С.» — первое произведение Аркадия Гайдара, адресованное детям. В творчестве писателя эта небольшая повесть занимает важное место. Именно в ней начинает ярко проявляться особая, столь характерная для Аркадия Гайдара манера разговора с детским читателем: серьезность, общественная значимость, а порой и трагичность затрагиваемых им вопросов, включение юных героев своих произведений в главные события, заботы, которыми живет страна, доверительность интонации, сдержанный лиризм, мягкий юмор, все то, что и поныне завоевывает сердца читателей, обеспечивая книгам Аркадия Гайдара их долголетие.

Значение «Р. В. С.» как вехи в своем творчестве понимал и сам писатель. Не случайно в 1937 году в «Автобиографии», перечисляя свои книги, он начал именно с «Р. В. С.», опустив ряд повестей и рассказов, вышедших до и после «Р.В.С».

Точные хронологические рамки написания повести не установлены. Но задумана она, по-видимому, еще в 1923 году, когда девятнадцатилетний начальник 2-го боевого района частей особого назначения Аркадий Гайдар приехал из Хакасии в Красноярск в штаб ЧОН Сибири. В его бумагах того периода можно встретить маленький отрывок, вошедший почти без изменений в «Р. В. С.».

Впервые повесть увидела свет в апреле 1925 года в ленинградском журнале «Звезда» в сокращенном варианте. Полный текст появился год спустя на страницах газеты «Звезда» в Перми. В том же 1926 году «Р. В. С.» вышла в Москве отдельной книжкой.

Это издание не принесло радости автору. 16 июля 1926 года газета «Правда» опубликовала письмо Аркадия Гайдара:

«Вчера увидел свою книгу «Р. В. С.» — повесть для юношества, «Госиздат». Эту книгу теперь я своей назвать не могу и не хо-

чу. Она «дополнена» чьими-то отсебятинами, вставными нравоучениями, и теперь в ней больше всего той самой «социальной сопливости», полное отсутствие которой так восхваляли при приеме повести госиздатовские рецензенты. Слащавость, подделывание «под пионера» и фальшь проглядывают из каждой ее страницы. «Обработанная» таким образом книга — насмешка над детской литературой и издевательство над автором».

В исправленном Аркадием Гайдаром виде повесть «Р. В. С.» вышла в 1934 году в Детгизе и с тех пор переделкам не подвергалась.

Обращаясь к биографии Аркадия Гайдара, к его дневникам, можно считать, что в основу повести положены его наблюдения в бытность командиром взвода и роты на Украине в 1919 году.

## ШКОЛА

Впервые повесть была опубликована в журнале «Октябрь» за 1929 год (№№ 4—7) под рубрикой «Пережитое». Эта рубрика, как и само название, под которым повесть печаталась — «Обыкновенная биография»,— подчеркивали автобиографический характер произведения. С таким же названием повесть вышла в свет в 1930 году в двух выпусках «Роман-газеты для ребят».

Тихий городок Арзамас, реальное училище, детские игры, взбудоражившая город весть о революции... Все это и многое другое действительно перешло в повесть прямо из мальчишеских лет писателя. Как и герой повести, он быстро повзрослел, дневал и ночевал в арзамасском клубе большевиков, мать его работала фельдшерией, отец находился на фронте. В образе большевика «Галки» в повести выведен преподаватель реального училища Николай Николаевич Соколов. Когда Аркадий Голиков (Гайдар) в 1919 году ушел на гражданскую войну, ему, как и герою повести Борису Горикову, едва исполнилось пятнадцать лет.

Но полного совпадения судеб писателя и героя его повести, конечно, искать не следует. Так, например, в повести отец Бориса Горикова по приговору военного суда царской армии расстрелян, а отец писателя Петр Исидорович Голиков стал в Красной Армии комиссаром полка. Путь самого писателя на фронт был иным, чем у Бориса Горикова.

Желая указать на то, что образ Бориса Горикова собирательный, что в нем соединены черты многих юношей, которых позвала на служение народу Великая Октябрьская социалистическая революция, писатель и дал сначала своей повести название «Обыкновенная биография». На «обыкновенность», т. е. типичность своего жизненного пути, как и пути героя повести, Аркадий Гайдар указывал и позже. «Это не биография у меня необыкновенная, а время было необыкновенное,— писал он в 1934 году.— Это просто обыкновенная биография в необыкновенное время».

Интересно, что до названия «Обыкновенная биография» существовал еще один его вариант — «Маузер». Так именуется повесть в договоре, заключенном писателем с Госиздатом в июне 1928 года.

Однако уже после того как повесть вышла в свет, писатель продолжал искать для нее максимально точное, емкое название.

В 1930 году повесть была издана в Госиздате отдельной книгой под названием «Школа». С этим «именем» она и осталась в советской литературе, рассказывая все новым и новым поколениям юных читателей о той большой школе жизни, школе борьбы, школе революции, через которую довелось пройти их сверстникам в годы становления Советской власти.

«Школа» задумывалась в 1923—1924 годах в Сибири, когда Гайдар, молодой командир РККА, впервые брался за перо. Начал же он работать над повестью в 1928 году, живя в Кунцеве, под Москвой, а заканчивал в Архангельске в 1928—1930 годы, сотрудничая одновременно в газете «Волна» («Правда Севера»). В литературном приложении к газете «Правда Севера» и появился впервые небольшой отрывок из повести, тогда еще называвшейся «Маузер».

Работал Аркадий Гайдар над этой повестью очень напряженно, продолжая оттачивать свой стиль, ту особую гайдаровскую интонацию, о которой впоследствии, именно по поводу «Школы», сказал на Первом съезде писателей в 1934 году С. Я. Маршак: «Есть у Гайдара и та теплота и верность тона, которые волнуют читателя...»

## ЧЕТВЕРТЫЙ БЛИНДАЖ

В 1930 году Аркадий Гайдар переехал с семьей из Архангельска в Москву, снова поселился в дачном поселке Кунцево. Ободренный успехом «Школы», он сел за продолжение этой повести: Борис Гориков после ранения возвращается в Арзамас, встречается со старыми друзьями, потом снова уезжает на фронт...

Так оно в жизни писателя и было, и казалось, что работа пойдет легко. Действительно, первые главки писались быстро. Но постепенно дело замедлялось. Аркадий Гайдар переживал, мучился, не сразу осознав, что дело не в компоновке глав, не в сюжетных ходах и не в литературном стиле, а просто-напросто повесть «Школа» по внутренним законам, присущим произведению, уже закончена и продолжения у нее быть не может. Нужно просто браться за новую книгу.

За какую? О чем? Уверенный, что ему предстоит серьезная работа над продолжением «Школы», Аркадий Гайдар ответить на эти вопросы не мог. Он был мрачен, неразговорчив. Но так продолжалось недолго.

Жена писателя Л. Л. Соломянская, работавшая тогда редактором «Пионерской правды по радио», попросила Аркадия Гайдара написать для радиогазеты какой-нибудь небольшой рассказ. Так и родился «Четвертый блиндаж». В этом рассказе появляется потом почти постоянно присутствующая в произведениях Аркадия Гайдара тема Красной Армии, которая, завоевав победу в гражданской войне, бдительно оберегает мирный труд советского народа.

И все же даже в этом коротеньком рассказе можно найти отголоски Арзамаса. Одному из героев «Четвертого блиндажа» писатель дал имя Исайка Гольдин, вспомнив своего товарища по реальному училищу А. М. Гольдина, который впоследствии, уже после Великой Отечественной войны, собрал в архивах документы об участии Аркадия Гайдара в гражданской войне и, основываясь на этих документах, написал о нем интересную книгу «Невыдуманная жизнь» (Москва. «Детская литература», 1972). Живет в рас-

сказе и тема гражданской войны, а девочке Нюрке писатель отдал одну из своих любимых песен.

Впервые рассказ «Четвертый блиндаж» передавался по радио в 1930 году. В 1931 году вышел отдельной книжечкой в издательстве «Молодая гвардия».

## ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ

После рассказа «Четвертый блиндаж» Аркадий Гайдар задумал написать еще несколько рассказов для ребят, объединив их в сборник под общим названием «Дальние страны». В июне 1931 года он писал своему товарищу В. Н. Донникову, что в издательстве «Молодая гвардия» «вскоре выйдет... большой сборник рассказов «Дальние страны».

Над первым рассказом для сборника писатель начал работать, по-видимому, в январе 1931 года в Москве, на улице Большая Ордынка, куда в небольшую комнатку коммунальной квартиры он переехал из Кунцева с женой и сыном. Однако рассказ неожиданно для самого писателя никак завершаться не хотел, перерастая в повесть. Заканчивал Аркадий Гайдар эту повесть летом того же года в Крыму, в пионерском лагере Артек.

Отрывки из не оконченной еще повести он читал в Артеке ребятам. «Говорят, что «Дальние страны» очень милая и грациозная повесть»,— пометил писатель в своем дневнике 22 июля 1931 года. В записи за 30 июля: «Доканчиваю «Дальние страны». После этой записи идет план:

«— Петька
— стог сена
— усталость
(сказать или не сказать)
— Иван Михайлович
— Песня Ермолая
— А ведь это Ермолай убил Егора
— Похороны»

Далее читаем:

«Хотел ехать в Севастополь на моторке — да нельзя из-за рукописи (запись от 1 августа — *Т. Г.*). 2 августа: «Очень много работал над «Д. С.», с утра и до ночи». 3 августа: «*Ночью я закончил наконец «Дальние страны»*. Итого получилось немного более пяти печатных листов».

«Дальние страны» вышли отдельной книжкой в 1932 году в издательстве «Молодая гвардия».

И в этой повести мы снова слышим отзвуки гражданской войны (рассказ Ивана Михайловича, бывшего машиниста бронепоезда, о бое с белыми, о своем молодом помощнике кочегаре Егоре), но в целом это еще один шаг писателя к новым темам, которые рождала жизнь,— коллективизация деревин, начинающаяся индустриализация страны.

Когда читаешь «Дальние страны», невольно приходят на память строчки из повести «Школа». Герой этой книги Борис Гориков говорит: «Еще в Арзамасе я видел, как мимо города вместе с дышавшими искрами и сверкавшими огнями поездами летит настоящая, крепкая жизнь. Мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя

бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда назад меня уже не столкнешь».

Вот так же и в повести «Дальние страны» мимо тихого разъезда пролетают, не останавливаясь, скорые поезда, мчащиеся в неведомые, интересные «дальние страны». Но вдруг оказывается, что «настоящая, крепкая жизнь» сама приходит на этот разъезд, что теперь заманчивые «дальние страны» вот они, рядом. Правда, путь в них все равно нелегок, а порой и опасен.

Новая повесть была тепло встречена читателями и критикой. «Литературная газета» поместила статью Александра Фадеева, высоко оценивавшего эту повесть и творчество Аркадия Гайдара в целом.

## ПУСТЬ СВЕТИТ

Рассказ впервые напечатан в сентябре — октябре 1933 года в двух номерах журнала «Пионер». Публикация положила начало многолетнему сотрудничеству Аркадия Гайдара с журналом.

Писатель передал рассказ в редакцию «Пионера», вернувшись в Москву с Дальнего Востока. Как видно из его дневников, в то время он заканчивал повесть «Военная тайна» и одновременно работал над повестью «Синие звезды». По-видимому, рассказ «Пусть светит» писался раньше, еще в 1931 году, когда Аркадий Гайдар пытался продолжить «Школу». Ряд стилистических особенностей и тональность рассказа сближают его с главами этой незавершенной работы. Возможно, он представлял собой фрагмент из продолжения «Школы».

Аркадий Гайдар не включал рассказ в сборники своих произведений. Отдельной книжкой он вышел в 1943 году в Детгизе.

## ВОЕННАЯ ТАЙНА

«Сейчас я работаю над повестью, которая называется «Военная тайна». Это повесть о теперешних ребятах, об интернациональной смычке, о пионерских отрядах и еще много о чем другом»,— сообщал Аркадий Гайдар в 1934 году («Пионер», № 5—6).

Он начал писать эту повесть весной 1932 года в Хабаровске, где работал разъездным корреспондентом газеты «Тихоокеанская звезда». Поначалу писатель предполагал назвать повесть «Такой человек».

«Какой это человек? И кто этот человек? Это будет видно потом»,— говорится в письме Аркадия Гайдара, посланном в июне 1932 года детской писательнице А. Я. Трофимовой.

Нетрудно увидеть, что «таким человеком» Аркадий Гайдар считал героя этой повести — «малыша Альку». Он наделил его чертами, которые впоследствии появились и у одного из героев повести «Судьба барабанщика», Славки Грачковского, и у Тимура Гараева из повести «Тимур и его команда».

В «Судьбе барабанщика» сын военного инженера Славка Грачковский сломал ногу, прыгая с парашютом из горящего самолета.

«— Нога — это плохо,— говорит он Сереже Щербачеву.— Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди!

— Кто мы?

— Ну, мы... все...

— Кто все? Ты, папа, мама?

— Мы, люди,— упрямо повторил Славка и недоуменно посмотрел мне в глаза.— Ну, люди!.. Советские люди! А ты кто? Банкир, что ли?»

В повести «Военная тайна» «такими людьми» стали «теперешние ребята» — пионеры, съехавшиеся в Артек со всех концов страны. В 1931 году в Артеке Аркадий Гайдар с жадным интересом всматривался в этих ребят, представителей нового поколения, выраставшего и формировавшегося уже при Советской власти.

1 августа 1932 года Аркадий Гайдар пометил в своем дневнике: «Она (книга.— *Т. Г.*) вся у меня в голове, и через месяц я ее окончу, тем более, что отступать теперь уже поздно... А назову я ее «Мальчиш-Кибальчиш»...»

Тема верности Родине, стойкости, отваги все ярче звучала в рукописи. 23 августа 1932 года Аркадий Гайдар записал в дневнике: «Сегодня я неожиданно, но совершенно ясно понял, что повесть моя должна называться не «Мальчиш-Кибальчиш», а «Военная тайна». Мальчиш остается мальчишем, но упор надо делать не на него, а на «военную тайну», которая вовсе не тайна».

Что же это за «военная тайна», которая вовсе не тайна?

А это и есть те черты характера советских людей, их коллективизм, интернационализм, готовность к подвигу, которые Аркадий Гайдар разглядел у советских ребят и которые эти ребята, повзрослев, с такой яркостью проявили десять лет спустя, на полях сражений Великой Отечественной войны.

В конце 1934 года Аркадий Гайдар был в Ростове-на-Дону, встречался с ростовскими пионерами и оставил им один экземпляр рукописи «Военной тайны», уже подготовленной к печати. Потом, отвечая на вопросы ребят, прислал в Ростов-на-Дону письмо.

«Дорогие ребята!

Мне из Москвы переслали ваши письма и отзывы на мою повесть «Военная тайна».

Конечно, был я очень обрадован. Повесть выйдет отдельной книгой недели через две. Я уже распорядился, чтобы тотчас же по нескольку экземпляров были высланы в Ростов — библиотеке им. Сталина, имени Величкиной и на «Сельмаш».

Прочтете, обсудите и тогда напишите еще. Одно дело, когда такую совсем не маленькую повесть вам читали вслух по частям, и совсем другое, когда каждый ее прочтет сам.

Я отвечаю вам на два главных вопроса: зачем в конце повести погиб Алька. И не лучше ли, чтобы он остался жив. И второе: почему повесть называется «Военная тайна».

Конечно, лучше, чтобы Алька остался жив. Конечно, лучше, чтобы Чапаев остался жив. Конечно, неизмеримо лучше, если бы остались живы и здоровы тысячи и десятки тысяч больших, маленьких, известных и безызвестных героев.

Но этого в жизни не бывает...

Вам жалко Альку. Некоторые ребята в своем отзыве пишут мне, что им даже «очень жалко». Ну, так и вам откровенно скажу, что мне, когда я писал, было и самому так жалко, что порою рука отказывалась дописывать последние главы.

И все-таки это хорошо, что жалко. Это значит, что вы вместе со мною, а я вместе с вами будем еще крепче любить и Совет-

скую страну, в которой жил Алька, и зарубежных товарищей, тех, которые брошены на каторгу и в тюрьмы.

И будем еще больше ненавидеть всех врагов: и своих, домашних, и чужих, заграничных,— всех тех, что стоят поперек нашего пути, и в борьбе с которыми гибнут наши лучшие большие и часто маленькие товарищи.

Вот вам ответ на первый вопрос.

Почему «Военная тайна»? Конечно, по сказке. В сказке Буржуин задает три вопроса: первый из них — нет ли у побеждающей Красной Армии какого-нибудь особого военного секрета или тайны ее побед? Тайна, конечно, есть, но ее никогда не понять главному Буржуину. Дело не только в вооружении, в орудиях, танках и бомбовозах. Всего этого немало и у капиталистов. Дело в том, что наша армия знает, за что она борется. Дело в том, что она глубоко убеждена в правоте своей борьбы. В том, что она окружена огромной любовью не только трудящихся Советской страны, но и любовью миллионов лучших пролетариев капиталистических стран.

И, наконец, вспомните те строки из повести, где Натка задумывается над тем, что теперь она по-новому, по-иному поняла и спокойные глаза Альки, и упрямую хватку Баранкина, и холодный, беспощадный взгляд Владика.

Что же она, в сущности, поняла?

Да то, что в помощь Красной Армии подрастает такое поколение, которое поражений знать не может и не будет.

И это у Красной Армии — тоже своя военная тайна.

А каково это поколение — как оно пока живет, что делает, что думает,— обо всем этом я и написал, все это и попробовал я раскрыть в своей повести.

Вот вам ответ на второй вопрос...»

В апреле 1933 года на страницах газеты «Пионерская правда» появилась «Сказка о военной тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове». Затем «Сказка» вышла отдельной книжкой в Детгизе с яркими рисунками художника В. Конашевича.

Целиком повесть была напечатана в 1935 году в журнале «Красная новь» (№ 2) и почти одновременно вышла отдельной книгой в Детгизе.

Как «Сказка», так и повесть в целом вызвала противоречивые оценки критики. Журнал «Детская литература» начал печатать дискуссионные материалы о повести. В январе 1936 г. заведующий отделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б) А. С. Щербаков, выступая на Всесоюзном совещании детских писателей, сказал:

«Деловой, принципиальный спор, творческая взаимная критика необходимы как воздух. Без этого литература не может развиваться. Плохо то, что иногда идейность и принципиальность в критике подменяются мелкой, ненужной возней, что в эти споры вносятся неделовые моменты,— в результате споры перерастают в мелкие придирки, и тогда грош цена этому спору.

Примером такой непринципиальной, а стало быть, ненужной дискуссии явилась дискуссия о книге Гайдара «Военная тайна».

Жизнь подтвердила правильность этой точки зрения. «Военная тайна» вошла в золотой фонд советской детской литературы.

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Аркадий ГАЙДАР

Собрание сочинений в трех томах

Том I

Редактор тома Н. А. Самохвалова

Оформление художника А. И. Неровиого

Технический редактор В. Н. Веселовская

ИБ 1224

Сдаио в иабор 26.08.85. Подписаио к печати 20.11.85.
Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1.
Гариитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,94.
Уч.-изд. л. 24,52. Усл. кр.-отт. 25,20. Тираж 2 000 000 экз.
(4-й завод: 600 001—800 000). Заказ № 678. Цеиа 2 р. 30 к.

Набраио и сматрицироваио в ордеиа Леиииа и ордеиа Октябрьской Революции типографии имеии В. И. Леиииа издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатаио в типографии изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, проспект Леиииа, 49.

Индекс 70686



-84-


2 р. 30 к.